НЕВА 11
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА
2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ГРИГОРЬЕВ
Стихи • 3

Дмитрий СКУРИХИН
Регги-роман • 8

Александр ВЕПРЁВ
Стихи • 86

Татьяна ЯНКОВСКАЯ
И вот она стоит ласточкой на камне. *Рассказ* • 92

Мария РУБИНА
Стихи • 98

ПУБЛИЦИСТИКА

Константин ФРУМКИН
Закономерности духовных революций • 102

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Николай НАБОКОВ
Кусевицкий. Рождество со Стравинским.
*Главы из книги «Старые друзья и новая музыка».
Перевод с английского и примечания Михаила Ямщикова.
Подготовка текста и вступительные очерки Евгения
Белодубровского* • 113

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ
На стыке трех времен .
Исторический очерк: ислам — иудаизм — христианство • 157

12+

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Эпоха и образы. Лев Аннинский. Страсти по Георгию. **Правда художественная и историческая.** Ольга Карбасова. Федор Достоевский. Ускользающая вера. **Приметы времени.** Наум Синдаловский. Нетерпимость на «улице веротерпимости», или Как отразилась в городском фольклоре эпоха разрушения храмов и глумления над верой. **Забытая книга.** Александр Поляков. О смерти Пушкина. По новым данным. *Подготовка публикации Маргариты Райциной*. **Заметки постороннего.** Наталья Грацева. Незабвенный Херасков. **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Хорн. **Дом Зингера.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 168–254

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена

Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталия ЛАМОНТ
(*ответственный секретарь, коммерческий директор*)

Александр МЕЛИХОВ
(*зам. главного редактора*)

Маргарита РАЙЦИНА
(*контент-редактор*)

Ольга МАЛЫШКИНА
(шеф-редактор молодежных проектов)

Игорь СУХИХ
(*шеф-редактор гуманитарных проектов*)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(*редактор-библиограф*)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **М. Райциной, Л. Жуковой**

© Журнал «Нева», 2013

Алексей ГРИГОРЬЕВ

ТИХИЕ ДНИ

Те дни выпекались вкусные, как пироги,
Не верилось даже, что осень уже всерьез,
Собаки стабильно имели четыре ноги —
Длина их зависела от положения звезд.

Никто не кончался, не вешался, не тонул,
Не крал чужих яблок, не наставлял рога,
Порою хотелось в какой-нибудь Барнаул,
Однако смущало резонное «на фига?».

Все книги той осенью были без первых глав,
Все песни, на редкость, звучали без левых нот,
Ночами в квартире, как надо, густела мгла,
А утром все было, естественно, наоборот.

В буфете хранились дежурные триста грамм,
С паркетов два раза в неделю стиралась пыль,
А ту, что бродила за окнами по вечерам,
Мы звали не смертью. А как, я уже забыл.

РЫБЫ

В этом месяце — крепком, как стылая глыба,
Слишком рано выходит на небо луна,
И плывут человеки — печальные рыбы
Вдоль по лунной дорожке у зыбкого дна.

Рыбий мир. Идентичные снулые лица.
Привыкаешь: звонят — это точно не ты,
Вынимаешь glofish, и из трубки струится
На паркет серебристая нитка воды.

Привыкаешь: беззвучие — это серьезно,
Громкость в плеере ставишь на минус один,
И сияют тебе молчаливые звезды
В час, когда ты за кормом плывешь в магазин.

Привыкаешь: любовь — это полое слово —
Колокольчик на мертвом твоем язычке.

Алексей Григорьев родился в 1972 году в Москве. Печатался в «Литературной газете», журналах «Новая юность», «Дети Ра», «День и ночь», «Волга», «Интерпоэзия», «Зеркало», «Сибирские огни», «Современная поэзия», «АлконостЪ», «Homo Legens» и др. Редактор сайта «ТЕРМИтник поэзии».

Эта женщина станет женой рыболова —
Ты исполнишь брейк-данс у нее на крючке.

Рыбий мир несуразен и вычурно выгнут,
Но порою — когда замираешь без сил —
Пробежит по гортани и к небу подпрыгнет
«Я люблю» на серебряном рыбьем фарси.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

в не ровен час за листопадами
зима спешит к тебе и падает
за окоем
судьба качает веткой елочной
и мир готов к снегоуборочной
и мы пойдем

домой где спрятавшись за шторами
фонарь льет свет свой кохиноровый
на этажи
и с неба сыплет кашей рисовой
и малость есть еще анисовой
в сугрев души

внизу за детскою песочницей
дежурный бомж от снега морщится
на поводок
сосед берет двух мопсов — мальчиков
и мир раздавленным стаканчиком
лежит у ног

и быт наш прост до изумления
но есть кровать и отопление
и чай и Бах
и сердце бьется ложкой чайною
и жизнь как рыба на молчание
клюет впотьмах

ПОСЛЕВКУСИЕ

А если что из детства мне и снится —
В восьмидесятом призрачном году
Январская студеная водица
И корка апельсинная на льду.

И снимся мы под звездной круговертью —
Под этим вечным неводом в дугу —
Сопричество, потерянное смертью
Из виду на замерзшем берегу.

Мы там стоим — у речки, в хрупком мире,
Где вечер снегом выпавшим согрет —
Колян, еще не севший на четыре,
Серега, не замерзший в декабре.

Там снег летит бессмысленно пушистый,
А я отсюда силюсь воспринять
Вкус корочки... Нет — послевкусье жизни,
Что вечно ускользает от меня.

В СВОЙ ЧЕРЕД

Закат окрашивал дома
Багровым отблеском распада,
Ты мне читала «Илиаду»,
Кончалась долгая зима.

Трамвай, как пустотелый конь,
Бежал один среди пожара,
Поверх руки моей лежала
Твоя холодная ладонь.

Спешил на выручку апрель,
И снег летел трамваю в стекла —
За тело бедного Патрокла
Сражалась поздняя метель.

И жизнь текла, ломая лед,
И чуть горчил портвейн «Массандра»,
И, как пророчила Кассандра,
Все завершилось в свой черед.

КАК БУДТО

Бежали огонечки «Спортлото»
Над синей остановкою трамвайной,
Снаружи, постепенно остывая,
Сдувался день, как шарик золотой.

Мы ехали и пили «на двоих»,
Ползли навстречу частники на дачи,
Поставив на тебя и на удачу,
Я к вечеру остался при своих.

Пока мы отражались от стекла
Трамвайного с подложкою заката,
Под ровное колесное стаккато
Тихонько тень над городом текла.

И к полночи уставший Джо Дассен
В динамиках сменился поздним Пресли,
Мы в ночь сошли с подножки и исчезли,
Как будто нас и не было совсем.

ГОП-СТОП

Конец восьмидесятых. Во дворе
Трехдневный алкогольный перегрев.
Июнь плывет, как баба баттерфляем.
Там «вальс-бостон» в динамике в окне,
Блатной Увар дает угля стране
И улицу Советскую гуляет.

Два пацана — на вид пятнадцать лет,
Им что-то трет шестак по кличке дед,
На нем пиджак в коричневую клетку.
Но свесится с балкона мент Чуйков:
«Семенов, отвали от чуваков!
Чего ты примотался к малолеткам?»

Ночной шалман, потом буфет, вокзал,
Сисястая буфетчица-коза,
И не дает, а только спьяну ноет.
Отставший от плацкартного слабак...
Эй, ты с гитарой, ну-ка нам слабай
Чего-нибудь душевное, блатное.

Кастет на стол, натужное «гоп-стоп»,
В бутылке остается где-то сто,
Базар-вокзал, четыре тени в луже.
Семен, он сука! Брешешь! Сотка-гвоздь.
Металл проколет легкое насквозь
И камня в глубине не обнаружит...

Грибы пошли. Который день подряд
Высматриваю кнопочки маслят
В Суханово у леса на границе.
Насвистываю старенький «гоп-стоп» —
И пусть мне больше нравится «бостон»,
Для нашей синагоги все сгодится.

МАРТ

Не здесь, не там, а словно где-то меж
Он достает тетрадку цвета беж
И видит в ней в больничном сквере лужи,
Кушетку, на которой спит сестра,
В глазах соседа любопытный страх
И двух котов под деревом снаружи.

И далее — непрочный лед в реке
И сто страниц на мертвом языке.
И слушает внимательный покойник
В соседней роще беличью кадриль,
И комьями слетают воробьи
На каплями гудящий подоконник.

Уже весна, и в полдень рыбий жир
Течет на талый снег сквозь этажи,
Цветет герань в натопленных квартирах,
На ланч плывет из офисов планктон,
Филолог выпивает две по сто
За вновь переведенного Шекспира.

Он видит снег и в луже мокрый бинт
И понимает, что успел забыть,
Как умер тут. Как будто не об этом
Последняя прочтенная глава.
Что главное — пойти и лечь в кровать
И слушать март до самого рассвета.

ВАТЕРЛОО

Тому, кто был разбит при Ватерлоо,
Врачи рекомендуют пить мерло,
Носить мундир, подсчитывать потери,
Штыком колоть под кожу силовит,
Послать гонца за бромом (се ля ви)
И вынести во всем подъезде двери.

Он думает, что жизнь еще не честь.
Повсюду щурит глаз товарищ Че,
Поводят челюстями магазины,
В конвенте правят педики в мехах,
Попробовать шаверму и джихад
Неверных завывают муэдзины.

Придет проститься Эмма Бовари,
Напьется водки, станет говорить
Про жизнь и смерть, опробует джакузи,
Сломает телевизор к иппеням,
Польет шампанским красного коня
И яблоком отравленным закусит.

Она умрет, а он пойдет в кино,
Где валят орков под Бородино,
Где горлуму сожгут родную хату.
Найдет записку через восемь лет
«Яд все еще в бутылке на столе,
Поверь, любовь опять не виновата».

Дмитрий СКУРИХИН

РЕГГИ-РОМАН

Глава I. Делегация

Вертолет немилосердно трясло, словно он не летел по воздуху, а ехал по проселочной дороге. Адольф Моисеевич Высенко с неудовольствием глядел вниз, где желто-зеленое море тайги заполняло весь горизонт, а одинокая полоска красноватой неасфальтированной дороги, постепенно сужаясь, уничтожала последний шанс к наземному отступлению.

Адольф Моисеевич не любил выездных пиар-мероприятий, особенно связанных с путешествиями в дикие места, но положение обязывало, и от присутствия на открытии новой школы в забытом богом лесном краю он не мог отказаться по целому ряду причин, главной из которых была предвыборная кампания.

Клара Леопольдовна Низенко, смазливая, хоть и немолодая женщина, сидела в кресле напротив и решала кроссворд. В бытность свою простой учительницей пачка одинаковых журналов с одинаковыми кроссвордами помогла ей произвести впечатление на вышестоящих чиновников, и, поднявшись до невообразимых бюрократических высот, она помнила об этой палочке — выручалочке. Если бы в этот момент Адольф Моисеевич взял у нее журнал и начал спрашивать особенно трудные слова, Клара Леопольдовна легко бы разгадала их, вызвав в начальнике — смотря по ситуации — чувство благоговения или презрения к себе. Она была оптимистичным помощником большого руководителя, со всеми вытекающими, и это как нельзя лучше характеризовало ее.

Вертолет летел, и летело время. Наконец, натужно воя винтами, он приземлился на небольшую зеленую полянку, оказавшуюся школьным футбольным полем.

Скользнув взглядом по угрюмой физиономии небритого мужика в спортивном костюме, подтаскивающего красную ковровую дорожку к ступенькам трапа, Адольф Моисеевич скорчил подобающую случаю отеческую гримасу и, элегантно подав руку Кларе Леопольдовне, спустился вниз.

— Дорогим гостям рады мы всегда, расцвела в стихах Пайская земля! — заорал мужичонка в синем, хорошо выглаженном, но явно не новом костюме, и Адольф Моисеевич догадался, что это местный директор.

Дмитрий Анатольевич Скурихин родился в 1969 году в г. Орлове (Халтурине) Кировской области. Окончил Кировский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, работал руководителем автомодельного кружка, учителем трудового обучения в коррекционной школе в г. Кирово-Чепецке. В 2005 году стал победителем городского и областного конкурсов «Учитель года». На всероссийском финале в Калининграде вошел в число пятнадцати лауреатов конкурса, по итогам заключил договор с издательством «Владос», где в 2010 году выпустил книгу для учителей столярного дела. Награжден званием «Почетный работник общего образования РФ» (2006), выиграл грант Президента РФ (2006). С 2006-го по 2009 год работал заместителем директора Вятской гуманитарной гимназии, с 2008 года — директором вечерней школы г. Кирово-Чепецка. В 2011 году стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы-2011». Начал писать прозаические произведения с 2004 года, публиковал их на ресурсе «Проза.ру».

— Спасибо, спасибо, — важно прогундел Высенко. — Значит, в ваши руки мы передаем построенное здание? М-м-м, храм науки, м-м-м символ возрождения Пайского края.

Заметив кучку людей, ютившихся на крыльце действительно неплохого учебного корпуса, Адольф Моисеевич разглядел представителей местного правительства и журналистов, хищно заряжающих свои замысловатые орудия. Визуально уточнив маршрут, Высенко направился в их сторону неспешно и важно, не забывая демократично помахивать рукой и посверкивать линзами стильных очков без оправы.

— Добрый день, — протягивал он руку, пытаясь не забыть иерархию людей, уже встречавших его в аэропорту ранним утром, — замечательный край, сильный, могучий, богатый лесами. Настоящий русский север...

Адольф Моисеевич временами замолкал, и Клара Леопольдовна, стреляя глазами во все стороны, подхватывала эстафету с народной простотой:

— Эх, воздух-то какой здесь, вкуснотища просто, а не воздух. Курорт высшего класса. Вот, помню, в горной Швейцарии и в Андорре был такой, — она кокетливо улыбалась и продолжала нахваливать местную экзотику до тех пор, пока комар не тяпнул ее в шею, после чего церемония значительно ускорилась.

Они прошлись по пустым, свежеотремонтированным коридорам, и местный глава произнес проникновенную речь, смысл которой был настолько ускользающим и мутноватым, что передать его невозможно.

Приглашение к небольшому импровизированному ужину было встречено присутствующими с восторгом, и никто не заметил двух пар злобных глаз, рассматривающих делегацию сквозь дверную щель в ожидании условного знака.

Утро. Клара

Клара Леопольдовна проснулась от некоего дискомфорта, необычного до такой степени, что ей вспомнились студенческие годы и первая, выпитая в стройотряде кружка настоя конопли в сгущенном молоке. Она ровным счетом ничего не могла понять. Голова гудела, и гул этот совсем не был похож на похмелье, поэтому почти непьющая Клара Леопольдовна сразу вспомнила небольшой фужер настойки, выпитый по итогам приемки.

«Что же это такое? — думала она, прислушиваясь к собственным ощущениям, — неужели я настолько отвыкла от вина, что заболела от одного фужера. Отравили, не иначе как отравили!»

Она попыталась оглядеть помещение, но глаза подчинялись с трудом, и она долго моргала, мучительно стараясь стряхнуть непонятную сероватую вуаль, которая окутывала весь внешний мир. Минуты через две ей удалось разглядеть стены из бревен и грубо обтесанные потолочные доски, украшенные по углам черными кругами труднообъяснимой природы.

Тут она с удивлением обнаружила, что в комнате не одна. Рядом с серым квадратом окна на грубом табурете сидел привлекательный, но плохо одетый мужчина лет двадцати-двадцати пяти. Клара Леопольдовна тут же ревизовала свой наряд, и, убедившись, что лежит под ватным одеялом без пододеяльника как минимум в колготках и лифчике, слегка успокоилась и решила тактично выяснить обстоятельства ее пребывания в столь необычном месте и в столь необычном виде:

— Скажите, пожалуйста, который час?

Молодой человек прислушался к звуку ее голоса немного напряженно, и Клара Леопольдовна сначала решила, что произнесла фразу на иностранном языке, но пауза разрешилась просто и естественно:

— Так не знаю, который. Утро уже. Позднее, — произнес незнакомец, делая паузы после каждого короткого предложения.

— Я, наверное, вчера перепутала коттедж, — начала Клара Леопольдовна, но тут же, почувствовав приступ дурноты, изменила тон: — Вы не могли бы купить завтрак в местном ресторане? Ну, салатик там, и главное — какой-нибудь фрэш?

Произнеся это, она посмотрела на молодого человека, с которым при слове «ресторан» начали происходить странные метаморфозы. Поза незнакомца напоминала охотничью стойку, заговорил он очень медленно и с некоторой долей почтения:

— Нету ресторана. Кафе есть. Но в соседнем селе. Салатик можно. А этого, чтоб «врежь», я не знаю.

Вспомнив вечерний полет и оценив возможные перспективы грустного провинциального утра, Клара Леопольдовна даже развеселилась, подумав, как будет рассказывать о своем приключении в Москве. Но организм требовал срочной подпитки, поэтому она пошла в атаку:

— Так будьте добры, молодой человек, принесите мне поесть и попить. Фрэш — это свежий сок.

Чувствуя, что местные цены могут быть низкими, она извлекла из сумочки сторублевую купюру и протянула ее собеседнику. Тот, с сомнением осмотрев желтую бумажку, ловко свернул ее и стал выжидательно и преданно смотреть на гостью.

— Чего вы еще ждете? — спросила Клара Леопольдовна, раздосадованная его тупостью. — Я вас прошу, сходите как можно быстрее. У меня впереди вертолет и вообще тяжелая дорога.

— Поесть и попить, — произнес молодой человек. — На всю сотню.

— Вот именно.

— Сходить в кафе за соком и салатом?

— Конечно, сходить, что тут непонятного?! — почти задохнулась Клара Леопольдовна. — У вас тут что, никогда не завтракают?

Молодой человек, видимо, сделал какие-то выводы, потому что начал действовать очень быстро и аккуратно. Встал, задвинув табурет под грязный, довоенного вида стол, и быстрым шагом пошел к выходу, подхватив с торчащего над дверью лосиного рога засаленную бейсболку с надписью «ЛДПР», и загрохотал низкой, сколоченной из столетних досок дверью, открыв ее носком добротного кирзового сапога.

Оставшись в одиночестве, Клара Леопольдовна, не вставая с постели, прощупала экипировку и убедилась, что лежит одетой в ту одежду, в которой приехала, но только без полусапожек — их короткие голенища торчали из-под кровати.

«Фу, какой стыд, — думала Клара Леопольдовна, — это значит, я вчера напилась, и меня принесли в это бунгало на отрезвление. Но почему мы не улетели обратно?»

Задумавшись над этим вопросом, она пришла к выводу, что Адольф Моисеевич тоже был не в лучшей форме, так как в противном случае ее бы все равно загрузили в вертолет и увезли. Укрепившись в этой мысли, она стала ждать молодого человека, поражаясь тишине и отсутствию обычных уличных шумов. Как–то незаметно она заснула спокойным, безмятежным сном, не услышав, как в дом вернулся хозяин, поскрипел половицами и, несколько раз глубоко вздохнув, удалился.

Когда Клара проснулась, то увидела на столе эмалированную тарелку со свежими яблоками и трехлитровую банку с мутной, коричневатой жидкостью. Недоумевая и негодуя, она вылезла из-под одеяла и, поеживаясь ступая по холодному полу, подошла к столу.

Что делать в этой дикой ситуации — она не знала: очень хотелось есть и пить, но яблоки производили впечатление немытых, а жидкость в банке вообще не под-

давалась никакому анализу, ибо по ее поверхности плавали подозрительного вида островки. Она бы промучилась еще долго, если б входная дверь вновь не заверещала и на пороге не предстал хозяин.

— Послушайте, молодой человек, как вас зовут? — спросила Клара Леопольдовна, невольно затрепетав при виде здоровенного молодого самца, превосходившего ее ростом сантиметров на тридцать. Оценив физические кондиции утреннего собеседника, она была поражена. — Что вы принесли вместо завтрака?

— Зовут Николаем. Силованов Николай, — представился мужчина. — А принес, как договаривались: попить и поесть.

— Почему же вы не сходили в кафе?

— Кафе далеко. Да и дорого там всякую ерунду покупать.

— Ну если дорого, могли сказать сразу, — Клара Леопольдовна прошлепала по полу к сумочке и, вытащив пятисотенную купюру, попросила: — Только на этот раз, Николай, я попрошу вас купить что-либо съедобное. И, пожалуйста, уберите эту ужасную банку!

Николай, помолчав несколько секунд, поинтересовался:

— Убирать квас? — снова недоверчиво спросил Николай.

— Ах, боже мой, так это квас?

— Самый лучший. На меду.

— Нет, я все же попрошу вас принести свежего сока и салат. Можно даже с креветками или белым мясом.

Истолковав эту просьбу снова как-то по–своему, Николай удалился, оставив квас и яблоки на прежнем месте.

Клара Леопольдовна между тем решила привести себя в порядок и достала из сумочки косметический набор. Из маленького зеркальца на нее глянуло лощеное, не утратившее привлекательности лицо женщины лет сорока. Она вздохнула совсем по-бабьи и уже открыла баночку с кремом, но остановилась, внезапно осененная мыслью:

«А что, если сегодня мы никуда не улетим, и придется провести в этой лесной берлоге еще одну ночь?» Мысленно оценив жизненные силы Николая и его убогое жилище, инстинктом настоящей женщины она поняла, что наводить макияж не стоит. Она уселась на кровати и в упоении от греховных мыслей болтала ногами в предвкушении завтрака.

Прошло часа два, и Клара Леопольдовна, забравшаяся от холода под одеяло, снова уснула. Разбудил ее невнятный шум с улицы — не то плохо работающий сабвуфер, не то приглушенная вечерним туманом хорошая драка. Она с испугом огляделась: в доме стало темненько. Яблоки и квас по-прежнему стояли на столе, Николая не было, а из-под пола раздавались весьма подозрительные шорохи.

Она пересилила страх и подошла к окну, но ничего не смогла разглядеть из-за толстого слоя серой пыли на крохотных створках. Невыносимо хотелось пить, и Клара Леопольдовна, поборов брезгливость, отпила прямо из банки: стаканов на обозримом пространстве не было. Хлебнув кваса, она прослезилась — мощный заряд закваски с мятным вкусом привел ее в состояние шока. Минуты через три она почувствовала легкую эйфорию и решилась на следующий шаг — съесть яблоко.

Жизнь за окном как-то сразу перестала быть страшной, а звуки под полом притухли. «Да это же брага! — подумала Клара Леопольдовна, держа банку за горло левой рукой и уперев правую в бок. — Алкаши проклятые, из всего извлекают алкоголь. Но как хорошо!». Она сделала еще один приличный глоток и немедленно зажевала яблоком, после чего осмелела до того, что решила найти выключатель, и нашла, но свет в горнице не загорался.

«Ну и ладно! — с пьяной бравадой подумала Клара Леопольдовна, — все равно скоро придет Николай и принесет еды. Потом мы с ним познакомимся поближе, ну а уж потом можно лететь домой».

В это время калитка громко хлопнула, и тяжелые шаги зазвучали совсем рядом. В сенях Николай зажег керосиновую лампу и, указывая на висевший неподалеку горшочек, произнес:

— Мой руки. Потом в горницу. Поужинаем.

Она подставила руки к горшочку, но вода не побежала. Клара Леопольдовна уже собралась уходить, но неловко коснулась маленького гвоздика внизу горшочка, и произошло чудо: струйка холодной чистой воды оросила ее запястье. Удивляясь произведенному эффекту, она быстро вымыла руки, протерла лицо и несмелой рысцой взбежала по ступенькам. Николай уже ждал ее за столом.

Свеча, горевшая в маленьком блюдце, бросала на черные стены таинственные тени, но на столе вместо обещанного ужина стояла подозрительная бутылка с прозрачной жидкостью и два стакана. Рядом лежал надкушенный огурец. Когда Николай поднял стакан и проговорил: «За знакомство», Клара Леопольдовна отчаянно тряхнула кудрями и взяла стакан всей пятерней, ожидая близкой, неминуемой смерти. Однако, выпив суррогата и закусив его огурцом, она снова почувствовала эйфорию и представилась:

— Клара.

Николай, не говоря больше ни слова, сгреб ее в охапку и, сделав пару шагов, бросил Клару, переставшую быть Леопольдовной, на кровать.

Тот же день. Адольф Моисеевич

Утро выдалось туманным и каким–то тяжелым. Адольф Моисеевич с трудом открыл глаза и попытался осмотреться. К своему изумлению, он понял, что лежит в ветхой хибарке на нестираном покрывале, а оно, в свою очередь, на невообразимом сооружении, ассоциирующемся в голове Адольфа Моисеевича со словом «топчан». Все внутренности болели, и он потянулся за привычной утренней сигаретой. Сигареты лежали во внутреннем кармане пиджака, а вот зажигалки нигде не было, и ему пришлось встать. Дом производил впечатление совсем необжитого, грубые доски пола были покрашены в неопределенный темный цвет. Вместо мебели вдоль стен тянулись длинные полки, пустые и серые от пыли.

Сердясь на непонятный дом, Адольф Моисеевич надел туфли и вышел в сени, отмечая про себя крайнюю расхлябанность и нерадивость хозяина. Распахнув скрипучую дверь из черных досок, он вышел наружу, вдыхая влажный и густой деревенский воздух. Его встретил огромный пес и абсолютно бесшумно несколько раз втянул воздух ноздрями, отчего у Адольфа Моисеевича появились нелепые мысли о волках. Поэтому он быстро направился к калитке и, уже закрывая ее, спиной почувствовал, что спешил совсем не напрасно.

Соображая с большим трудом, Адольф Моисеевич пытался вспомнить события вечера, но мысли обрывались все время на желании закурить, и он, поигрывая сигареткой «Ив Сен Лоран», стал дожидаться прохожего. Через полчаса это занятие наскучило, и он хотел вернуться в дом, но, подойдя к забору на расстояние метра, был встречен неистовым лаем, от которого сейчас же заболела голова.

Положение становилось почти безвыходным, но тут на дороге появился прохожий — давешний небритый мужик со стадиона, и Высенко поспешил навстречу, втайне радуясь близкому разрешению ситуации.

— Господин э-э-э, запамятовал, — заговорил Адольф Моисеевич в обычной манере. — Не будет ли у вас прикурить?

— Боксеры не курят, — с тихой угрозой в голосе ответил мужик, но тут же улыбнулся и, подмигнув, продолжил: — Сена не надо ли? Хороший стожок, не моченый, на подкатнях. И с ценой договоримся.

— Нет, что вы, — пролепетал Адольф Моисеевич, не ожидавший такого поворота. — Вы меня не совсем правильно поняли. Я просто остался без спичек, а на улице никого, вот я и обратился к вам, по старой памяти.

— Ага, — сказал мужик, о чем–то напряженно размышляя. — Не покупаешь, значит, сено. Он полез в карман и вытащил китайскую зажигалку с надписью «КПРФ», что было еще объяснимо, но, прикуривая, Адольф Моисеевич поразился политической активности мужика: у того под курткой обнаружилась грязная белая футболка с надписью «Единый фронт демократических сил — ЯБЛОКО».

— Слушай, братан, — неожиданно тепло проговорил мужик, — займи стольник до вечера, а то я хотел сена покосить, а вышел без денег.

Почувствовав к собеседнику неожиданное расположение, Адольф Моисеевич охотно согласился и вытащил из кармана лопатник. Действие это произвело на мужика очень хорошее впечатление: он потеплел глазами и даже попросил закурить.

Они закурили, и расслабившийся Адольф Моисеевич посетовал на то, что сигареты кончаются, а бестолковые помощники куда-то пропали.

— Так я сбегаю, — совсем весело предложил мужик. — Тебе какие надо-то? Такие же? Дороговато у нас, сам понимаешь, Франция далеко.

Адольф Моисеевич снова почувствовал себя хозяином положения и, царственно вытащив из кармана тысячную купюру, проворковал:

— Вы вот что, уважаемый, принесите еще перекусить и купите в аптеке «Алказельцер», или какого-нибудь сходного тонизирующего, а то я вчера с непривычки слегка перебрал.

— Конечно, принесу, раз хороший человек! — совсем радостно заорал мужик. — Ты, главное, ни с кем не разговаривай, а если спросят, скажи, что ждешь Серегу-физрука. Это я и есть. Понял?

Утро было хоть и зябким, но прекрасным. Во дворах селян пели петухи, весело блеяли козы, где-то мычала корова. Адольф Моисеевич обводил великолепие деревенского пейзажа мудрым отеческим взглядом, вспоминая нелепый разговор и бесхитростную наивность Сереги-физрука, который даже не ведал масштабов собеседника. «Так вот живет патриархальное село, — благодушно рассуждал Адольф Моисеевич, — сена покосить, приезжему услужить. А что им еще нужно от жизни? Наверное, ничего. По вечерам деревенские пляски, телевизор и теплый бок жены. Им даже ходить никуда не надо, а уж тем более ездить. Здесь, наверное, и театра-то нет. Однако как хороши здешние люди, одно слово: крестьяне».

Он бы мог еще долго рассуждать на подобные темы, но тут на дороге появился еще один представитель местной общины. Высокий, голубоглазый брюнет в плюсовых очках на нелепой резинке от трусов. С первого взгляда Адольф Моисеевич определил его местным дурачком, но когда тот подошел ближе, то в душе Высенко зацарапали коготки страха. На куртке алела надпись «Справедливая Россия», а бейсболка с логотипом «ЛДПР» была лихо заломлена на затылок, при этом глаза горели лихорадочным огнем. Адольф Моисеевич подумал, что политизированность села играет с его обитателями злую шутку.

— Здравствуйте, — заговорил подошедший, — вам сено не нужно?

После этих слов глаза незнакомца засветились еще сильнее.

Осознавая всю нелепость разговора и памятуя о предупреждении, Адольф Моисеевич ответил:

— Я жду Серегу-физрука, он сейчас вернется.

Молодой человек сник и уже собирался уходить, но все же почти обреченно проговорил:

— Сенца я хотел... Всего то и надо сто рублей, — он собрался уходить, но Адольф Моисеевич, гордясь собой, снова погрузил руку во внутренний карман пиджака за портмоне и, передавая новенькую желтую купюру, назидательно произнес:

— Не понимаю я вас, молодой человек, продаете сено, а не имеете элементарной мелочи для его заготовки. Это же простейшая экономика: не выпили вчера водки, и сегодня уже есть инвестиции для производства, ферштейн зи?

— Отлично понимаю, — воскликнул встрепенувшийся селянин, — тут все дело в категорическом императиве Канта. Пить или не пить: вот в чем вопрос. А деньги я вечером отдам. Сено продам и сразу вам принесу, не сомневайтесь.

Он припустил по улице и очень скоро скрылся за кустами.

«Что же это такое? — думал Адольф Моисеевич, — может, радиация? Это ж ни в какие ворота! Ведь все люди здесь одеваются как пропагандисты, продают сено и исчезают в неизвестном направлении...»

Тут он понял, что совершенно зря расстраивается, поскольку стоит ему сделать один звонок, и все село будет стоять по стойке смирно, оплакивая свое недостойное поведение. Он пошарил рукой по поясу, но футляра с телефоном не было, и тут Адольфу Моисеевичу стало по-настоящему страшно: он понял, что телефон остался в избе, а сторожевой пес, видимо, начал последний джихад против непрошеного гостя.

Он еще долго стоял, соображая, что следует предпринять и как нужно действовать, но тут его размышления были прерваны вежливым покашливанием. Рядом с Адольфом Моисеевичем стоял бесшумно подошедший благовидный старичок, одетый, против обыкновения местных жителей, в приличную куртку зеленого цвета, зеленую шляпу с поднятым накомарником, камуфляжные штаны с претензией на фирму, и берцы, не походившие на обычный армейский ширпотреб.

— Здравствуйте, — поговорил неизвестный, искренне улыбаясь. — Какими судьбами в наши палестины?

— Да вот где-то отстал от своих и теперь жду, — унизительно быстро заговорил Адольф Моисеевич. — Тут, понимаете, небольшая накладка получилась, собачка вот хозяйская не пускает в дом.

Посмотрев на собачку, которая, присмирев, стояла у калитки, слушая разговор, старичок укоризненно покачал головой, отчего волкодав начал проявлять признаки любви и дружбы, виновато помахивая хвостом.

— М-да, — произнес старичок. — Ну, давайте знакомиться. Корчёмкин. Местный пчеловод, кхе — кхе.

— Высенко, — сухо представился Адольф Моисеевич. — Здесь в командировке из Москвы.

Он хотел произнести последнюю фразу как можно весомее, но от холода и стресса связки издали хрипловатый фальцет, и старичок снова заулыбался.

— Напрасно вы вышли в одном пиджачке, у нас август — это уже о-го-го, — продолжал Корчёмкин, хитро поглядывая то на Адольфа Моисеевича, то на собачку, — простудиться можно у нас в августе.

— Что же делать. Этот несносный физрук не появляется больше часа... — Адольф Моисеевич не докончил фразу, потому что старик вдруг нахмурился и, хотя губы его продолжали улыбаться, внутри серых, стальных глаз появились льдинки.

— Вы давали деньги Сереге-физруку? — поинтересовался он.

— Совсем немного, на сигареты, и там еще какую-то малость.

— Сколько?

Адольф Моисеевич счел вопрос бестактным, а пожалуй, не только бестактным, но и хамским, но старик смотрел, не мигая и не улыбаясь, холодным, расчетливым взглядом.

— Тысячу сто, — почти прошептал Высенко, сознавая, что совершил ошибку, неподвластную его разуму.

— Зовут-то тебя как? — поинтересовался Корчёмкин, переходя на «ты» и подавляя собеседника интонацией.

— Адольф Моисеевич.

Сухой, заливистый клекот, похожий на крик ястреба-тетеревятника, по-видимому, означал смех старика Корчёмкина:

— Нет, не пойдет, робя, — продолжая клекотать, прокомментировал старик. — Убьют тебя здесь с таким именем. Ты уж давай, чего другое придумай. Надо же: Адольф, да еще Моисеевич. В войну, небось, родился-то? Папка на фронте, мамка — в тылу?

Не выдержав хамских намеков, Адольф Моисеевич отвернулся, всем своим видом выражая негодование и протест, но старик Корчёмкин ничуть не обиделся, а, наоборот, продолжил беседу:

— Вот что, Адольф Моисеич, есть у меня средство от собачек. Любых: и больших и малых. Ты им натрись, а не то, неровен час, порвут тебя друзья человека.

Адольф Моисеевич, хоть и решил отомстить невоспитанному старику в будущем, решил пока не выказывать намерений:

— Давайте попробуем, — он изобразил на лице вежливую улыбку, — даже интересно, как это средство будет работать.

— И мне интересно, — подтвердил старик Корчёмкин, — расплачиваться как будешь? Китайская медицина, пятьдесят долларов за грамм. Это если в чистом виде , а так... Сколько у тебя есть?

Тут Высенко, прикинувший курс доллара и имеющуюся наличность, решил проявить деловую хватку:

— Сначала товар, потом деньги!

Старик Корчёмкин извлек из кармана маленький флакончик с жидкостью и выдавил капельку на тыльную сторону ладони, растер и смело направился к калитке. Пес повел себя совсем как домашняя болонка, все время пытаясь лизнуть старика именно в то место, где была нанесена мазь, из чего Адольф Моисеевич сделал вывод, что средство подействовало. Однако он решил проявить дьявольскую осмотрительность, поэтому потребовал:

— Теперь я хочу попробовать!

— Да ради бога, ответил старик, — давай смелее.

Когда старик растер руку Высенко пахучей жидкостью, то произошло чудо — пес попытался лизнуть Адольфа Моисеевича. Все признаки удачной сделки были налицо, поэтому Адольф Моисеевич вновь извлек лопатник.

— Две тысячи семьсот, — задумчиво пробормотал старик Корчёмкин. — До двух граммов не хватает трехсот рублей. Плюс пробник. Итого. Угху. Хм-м-м.

Наконец вычислительные директивы в его голове сложились в четкую картину, потому что старик почти весело произнес:

— В долг я не даю. Денег у тебя больше нет. Есть еще ценные вещи?

— У меня в доме телефон, — сказал Адольф Моисеевич, решив предварительно позвонить кому следует. — Сейчас принесу.

Он бросился в черные сени, толчками открывая непослушные двери. Телефон и вправду валялся под кроватью вместе с футляром, но толку от него не было никакого, ибо индикатор показывал отсутствие сети и вообще доступных сетей...

Старик Корчёмкин ждал, почтительно сложив руки и опустив голову, казалось, он вообще спит стоя, но когда Адольф Моисеевич подошел на расстояние в несколько метров, он снова заговорил, подняв голову:

— Телефон здесь без толку. Я согласен на твой лопатник.

— Вы с ума сошли, там карточки, дорожные чеки, как вам в голову пришла такая мысль! — возмутился Адольф Моисеевич.

Старик выдержал небольшую паузу и сказал чрезвычайно рассудительно и подбирая слова:

— В довесок к средству я дам тебе пару советов. Совет первый: если спросят про имя, говори, что ты — Андрей Минеич. А второе: заготавливай дрова. Когда начнешь, потребуются деньги, за лопатник и все его содержимое я дам тебе пятьсот рублей, заходи, кхе-кхе.

С этими словами он вложил в руку почти невменяемого Адольфа Моисеевича пузырек с китайскими каплями, на котором явственно проступила надпись «нафтизин», повернулся и, не прощаясь, ушел по раскисшей грунтовке.

Следующее утро. Похмелье и настоящая жизнь

Клара открыла глаза и зажмурилась от ярких солнечных лучей, которые, чудом найдя бреши в пыльных стеклах, царапали ее глаза коготками солнечных зайчиков. Она счастливо улыбнулась, вспоминая прошедшую ночь, и томно прогнулась, вытянув руки вдоль тела.

Николай сидел у стола и что–то писал, изредка слюнявя химический карандаш. Приключения последних двух дней пробудили в Кларе дух баловства, и она попыталась привлечь внимание нового знакомца весьма фривольно: высунув обнаженное бедро из — под одеяла, Клара стала мурлыкать «мур-мур». Однако Николай не обращал на нее никакого внимания, и Клара, решив притвориться обиженной, томно проворковала:

— Ну что же ты не идешь ко мне, котик? И не жди, что я пожелаю тебе доброго утра, ты не заслужил.

Николай недовольно дернул головой и снова принялся слюнявить карандаш, что-то напряженно обдумывая, и Клара решила изменить тактику. Она выскочила из–под одеяла, быстро накинула на обнаженное тело кофточку, и подбежала к Николаю, собираясь закрыть ему глаза. Однако, оказавшись в двух шагах от стола, она остановилась, пораженная открывшейся картиной.

На столе лежала Кларина сумочка, из которой Николай извлек и аккуратно разложил кучками все содержимое. Причем деньги были отделены от всех безделушек и лежали прямо перед рукой Николая, которая выводила цифры на грязном лоскуте листовки «Мы за русских, мы за бедных».

— Что ты делаешь? — прошипела Клара, потерявшая дар обычной речи. — Ты что, с ума сошел? Положи мои вещи на место и немедленно! — голос Клары дошел до высшей точки, но Николай отреагировал на это восклицание совершенно индифферентно и продолжал писать цифры столбиками.

— Ты что, оглох? Мужлан, мерзавец! — задыхалась Клара, — положи на место!

Николай наконец перевел на нее мутный, слезливый взгляд и проговорил по обыкновению медленно и короткими предложениями:

— Тысяча шестьсот деньгами. Рублей на триста барахлом. Будем покупать козу.

— Какую козу?! — взвыла Клара, — придурок, я на тебя в милицию заявлю!

Николай встал, и маленькая водородная бомба взорвалась в правом глазу Клары, после чего мир потух. После мастерского удара в глаз не успевшее упасть Кла-

рино тело развернулось по инерции на сто восемьдесят градусов и получило очень приличный пинок под мягкие ткани седалища.

Очнувшись, Клара откуда-то издалека услышала конец отповеди:

— ...Так и будет. Сейчас принесу рабочее. Собирайся на картошку. Валяться некогда.

Он прогрохотал кирзачами перед ее носом и, сверкнув «элдэпээром», вышел на улицу.

Клара медленно поднялась с пола и рухнула на кровать. Слезы полились сами собой, мысли о скорой и неминуемой расплате, вызове оперативников и аресте Николая переплетались с фантастическими видениями ночной Москвы и свежих слив, которые совсем не к месту настойчиво привязывались к образам судей Басманного суда. Она плакала и представляла сливы и черный виноград «дамскике пальчики», а еще баклажаны и прочие прелестные плоды, цвет которых гармонировал с цветом ее правого века и левой ягодицы.

Через пару часов, одетая в старые треники, резиновые сапоги и куртку с надписью «Газпром — мечты сбываются», она стояла у заросшего сорняками поля, опираясь на черенок штыковой лопаты марки ЧТЗ-67 и не веря огромности поставленной задачи.

С другого конца поля к ней шел человек, напоминающий кого-то знакомого. Когда он приблизился, она ахнула, узнав любимого шефа, камуфлированного ветровкой «Мы открыли Самотлор!», отсутствием очков и ужасным синим фингалом на оба глаза через переносицу.

— Адольф Моисеевич! — закричала она, презрев этикет и манерность, бросаясь к шефу на шею. — Боже мой, наконец-то!

Они стали бормотать, что-то невнятное, но очень похожее. Из всего диалога только и можно было различить: «Серега-физрук... я ему сейчас должен... били меня как животное... картошку копать» и «Николай, мерзавец... все деньги... козу захотел... картошки ему, подлецу».

Трогательная встреча была прервана грубым окриком:

— Эй ты, гвоздь беременный! Ну-ка быстро ко мне!

— Это Серега — физрук, — быстро зашептал Адольф Моисеевич, — сейчас я к нему, но думаю, что нас уже ищут войска, спецтехника. Потерпи немного, делай, как они скажут. Потом на суде мы им все припомним!

Отстранившись от Клары, он вприпрыжку побежал к Сереге-физруку, стоявшему на противоположном конце поля.

— Ты что же, пинч позорный, вместо работы по бабам бегаешь? — начал физрук угрожающе. — Я ведь предупреждал: норма на день — двадцать ведер, вот мешки. — Серега кивнул на тряпичный куль. — Не смей филонить, иначе — во! — Он поднес розовый мосластый кулак к самому носу Адольфа Моисеевича.

— Так, Сергей Владимирович, — залебезил Высенко, — я же городской человек, не знаю технологию этого дела. Вот хотел у товарища спросить, в плане общих сведений.

Серега перестал хмуриться и даже широко улыбнулся:

— Технологию, говоришь? Ладно, научу. Вот смотри, — он взял лопату, подошел к ближайшему кустику ботвы, обхватил его левой рукой а правой резко воткнул лопату в грунт и, помогая левой ногой, ловко извлек грудку картофеля, откинув ее в борозду. — Понял?

Он пошарил рукой на дне ямки и извлек еще две картофелины:

— Смотри, чтоб недокопа не было. Приду — проверю!

— А как же это? — недоверчиво проговорил Адольф Моисеевич. — В смысле, можете еще раз показать?

— Могу на примере, — проговорил Серега. — Бери лопату. Да ниже наклонись, ушлёпок!

Адольф Моисеевич нагнулся совсем унизительно, и в этот момент Серега навесил ему пендаля под зад, отчего Высенко совершил небольшой кульбит и хлопнулся на землю, где и услышал последнее наставление:

— Не будет двадцати ведер, получишь по такому же за каждую недостающую картошину. Время пошло, — с этими словами Серега-физрук смачно сплюнул и отправился по делам.

Августовское солнце согревало небольшое поле, кажущееся зеленовато-коричневой заплатой на ковре желтоватых лесов. Воздух был густым и ароматным, сладко пахло травами и свежестью, то ли грибной, то ли дождевой. Где–то перекликались гуси, а на лесной просеке стоял красавец лось, стригущий ушами в преддверии сезона любви. На коричневой заплате поля ползали два муравья, совсем не замечавшие великолепия сельского пейзажа.

Необходимый комментарий

Мы дошли до того момента, когда необходимо сделать краткое отступление и пояснить причину невероятных приключений чиновников в глухой таежной деревне.

Все случилось от невероятного стечения обстоятельств: вертолет, доставивший Адольфа Моисеевича и Клару Леопольдовну, был захвачен учителями местной школы. Они же добавили в напитки гостей меда (о его необычных свойствах речь впереди). Одурманенных гостей разнесли по домам. Николай Силованов, рабочий, вахтер, гардеробщик и шофер местной школы, взял к себе Клару Леопольдовну, а Адольфа Моисеевича поместили в пустующую избу, о странной судьбе хозяина которой тоже будет сказано. Утром страдающих чиновников должны были опохмелить и отправить восвояси. За это отвечал головой физрук Сергей Владимирович Тумаков. И в этом состоял план директора школы, персонажа весьма колоритного и житейски мудрого. Иван Тимофеевич Чугунец (так звали директора) имел благородную и высокую цель — защитить школу от чиновничьего сглаза — и совсем не предполагал, что учителя, супруги Жертвины, захватят вертолет для побега на большую землю.

Коварный план Жертвиных провалился: пилоты, пытаясь выйти из кризисной ситуации победителями, не желали взлетать. Тогда старший Жертвин, в миру учитель математики, начал угрожать взрывом вертолета при помощи фляги с самогоном и зажигалки. Командир принял решение о взлете, с тем чтобы по прибытии сдать террористов в органы, но жена Жертвина, в миру учитель русского языка, почуяла неладное и через сорок минут полета взяла командование на себя. Что произошло дальше — доподлинно неизвестно. Обгорелые остатки вертолета и четыре скелета были найдены и идентифицированы поисковыми отрядами как жертвы столкновения с линией электропередач совсем в другом районе, о чем сухой строкой сообщили все новостные агентства.

Поиски были прекращены. На родину героев улетели цинковые гробы с останками несчастных Жертвиных, а Адольф Моисеевич и Клара Леопольдовна остались жить в деревне Безбожница Пайского района Н-ской области, вкушая плоды собственной административной деятельности.

Областное начальство в тот злополучный вечер отбыло в район на двух «уази-

ках», оставив любимое руководство на произвол судьбы совсем не из халатности. Во-первых, их тоже опоили, во–вторых, дорогу в район перерезала небольшая, но весьма своенравная речка Забияка, снесшая двенадцать лет назад единственный мостик, связывающий Безбожницу с соседним селом. Только в августе, когда капризная речушка падала в русле до минимума, ее форсировали трактора типа К-700 (Кировец), и один из таких тракторов ждал правительственные джипы в этот злополучный день лишь до 22.00, с тем чтобы перетащить через русло на удавке. В-третьих, директор школы Чугунец поручился за благоприятный исход дела, и, когда полуобморочные чиновники услышали шум винтов около девяти часов вечера, они вполне логично предположили, что комиссия последовала в областной аэропорт. Однако для надежности Чугунец был взят с собой как заложник, на случай каких-либо осложнений.

Осложнения произошли, и их печальные итоги произвели на директора весьма негативное действие. Однако привлекать к уголовной ответственности его было не за что, и Иван Тимофеевич был через неделю отпущен к себе в Безбожницу пешим порядком.

Население деревни, отрезанное от цивилизации, вело автономный образ жизни. Товары первой необходимости завозила два раза в месяц автолавка-вездеход только до противоположного берега Забияки, в семи километрах от Безбожницы. Там же происходили расчеты, которые вел Чугунец, ибо население деревни было неплатежеспособным. Объемы этой торговли постоянно снижались, так как местные аборигены предпочитали приобретать одежду и алкоголь у пчеловода Корчёмкина, который неведомым способом доставлял их в деревню.

Говаривали, что Корчёмкин связан с нечистой силой, а некоторые, особенно впечатлительные, уверяли, что видели ночью в лесу дьявола, издающего страшный рык и окруженного ореолом огней и зловония, несущегося по просеке, примыкающей к усадьбе пчеловода.

Вот почему поведение жителей так удивило Адольфа Моисеевича. Наличных денег в деревне было очень мало, и приток нескольких тысяч серьезно влиял на политический расклад — противодействие сил финансовых, в лице старика Корчёмкина и директора школы Чугунца, и физических, представленных Серегой–физруком и Николаем Силовановым.

Чугунец имел преимущество информационное: электричество подавалось только в здание школы, равно как телефонная связь и Интернет. Остальные дома были давно отключены за долги, а провода сняты, сданы и пропиты еще до крушения моста. Фонарные столбы были аккуратно выкопаны и оприходованы хозяйствующими субъектами для собственных нужд.

Корчёмкин же имел преимущество материальное, ибо владел запасом меда и алкоголя, расфасованного в пластиковые емкости по 0,25 литра. Именно поэтому самой популярной купюрой в селе была сотня, составляющая стоимость заветного литра.

В начале вынужденной изоляции с обеих сторон предпринимались попытки мятежа и захвата власти, но с течением времени страсти улеглись, и между противоборствующими сторонами установился вооруженный паритет.

Иногда по осени в деревню на тракторах повышенной проходимости заглядывали фермеры из соседней республики, искавшие дешевых кормов. Поэтому любого нового человека жители Безбожницы встречали коммерческими предложениями. Одежду же и мелкий скарб добывал зять Корчёмкина, работающий во внутренних органах райцентра. Самыми ходовыми товарами были рекламные продукты политических партий и конфискат со складов крупных компаний, попавших в немилость к власти.

Зимой положение несколько менялось — в сношения с внешним миром вступал школьный автобус, ведомый Николаем Силовановым. К сожалению, Николай не мог ездить на автобусе далее, чем до ближайшего села под громким названием Москва, так как не имел водительского удостоверения, а кроме того, разыскивался районным военкоматом за уклонение от военной службы.

Попав в село, Николай первым делом заправлял полный бак, ибо бензин был также стратегическим товаром для Безбожницы. В этом ему противодействовал участковый, капитан Запивахин, пытавшийся арестовать Николая за ряд мелких уголовно наказуемых деяний на территории Москвы.

Однако рейды участкового совместно с военкомом в Безбожницу заканчивались плачевно: мстительный Николай высверливал лед по периметру переправы, и однажды вылазка закончилась для Запивахина ледяным купанием, после чего он затаил еще большую ненависть к деревне, одновременно решив отказаться от карательных операций на территории противника.

Поскольку трактор, расчищающий дорогу раз в месяц, также останавливался у переезда через Забияку, сношения с Москвой велись только по перволедку, примерно до начала декабря, после чего военные действия прекращались из-за снежных заносов.

Можно добавить, что Серега-физрук и старик Корчёмкин прекрасно понимали, с кем имеют дело в лице Высенко, но по выработанной годами привычке вели себя придурковато, просчитывая личную выгоду. Николай Силованов действовал наобум безо всякого расчета, но его извиняет то, что действовал он так всегда, а избиение и ограбление жены, коей уже считал Клару, мыслил обычной семейной жизнью.

К моменту возвращения в Безбожницу директора Чугунца прошло десять дней. Адольф Моисеевич и Клара работали в поле. При этом Адольф Моисеевич регулярно получал пинки за невыполнение плана и недоумевал, как Серега-физрук определял недостачу — количество заполненных мешков всегда равнялось пяти. Ничего сверхъестественного здесь не было — просто Серега пересыпал добро в подпол при помощи ведер, а считать он умел. И Высенко перед ужином обязательно получал несколько смачных пендалей, иногда за дело, а иногда просто для профилактики. Потом они вместе выпивали пузырь спирта и закусывали деревенским салатом из печеной картошки и лука, иногда сдобренных тушенкой. Несмотря на тяжелый труд и пьянство, Адольф Моисеевич начал остро чувствовать вкус жизни и к концу первой недели даже ощутил позывы к контакту с женщиной, хоть и был импотентом уже несколько лет. Выкапывая клубни картофеля, он недоумевал, почему не идет помощь, а иногда горевал, потому что ночи становились все прохладней и засыпать ему помогал только спирт, неминуемо разрушающий печень. Жил он только надеждой на скорое освобождение.

Клара почти свыклась со своим положением. Николай относился к ней в целом неплохо, и по окончании первой трудовой недели истопил баню, впечатления от которой заставляли Клару работать как можно интенсивнее в предвкушении следующей.

Вечерами за кружкой самогона или медового кваса Клара рассказывала неразговорчивому Николаю о жизни в Москве, стараясь не употреблять сложных выражений или аллегорий. Синяки почти прошли, обиды забылись, но одного Клара никак не могла простить: своих совершенно запущенных, обломанных камнями и почерневших от земли ногтей. Николай сдержал обещание и продал маникюрный набор вместе с косметикой Корчёмкину, оставив лишь флакон духов, поскольку ему нравился запах Кензо. Иногда Клара с ужасом думала о том моменте, когда духи кончатся. Впрочем, она полагала этот момент концом жизни и надеялась не на

освобождение, а скорее на чудо, которое перенесло бы ее обратно в нормальную жизнь. Доя козу, она представляла себя массажисткой из модного салона, а стирая Николаевы портянки — финансисткой по отмывке денег, про которых много слышала, но слабо представляла характер их деятельности.

Глава II. Новая школа

На одиннадцатый день, копая по обыкновению картофель, Клара и Адольф Моисеевич почти одновременно заметили человека, который брел по дороге с узелком на палке за спиной и был похож на персонажа сказок братьев Гримм. Хоть был человек небрит, пылен и ужасно устал, профессиональная память Клары тут же идентифицировала бродягу как директора местной школы. Ею овладели двоякие чувства: с одной стороны, хотелось броситься и удушить его, с другой — слабая надежда быть замеченной, не сорвав плана заготовок, велела стоять на месте или, в крайнем случае, помахивать рукой.

Адольф Моисеевич человека не узнал, поэтому следил за ним исподлобья, не переставая орудовать лопатой.

Чугунец (а это действительно был он) испытал шок от увиденного. Во-первых, поле принадлежало бывшему колхозу «Заря коммунизма», а ныне агрофирме «Заря», однако наличие колхозников на нем было фактом невероятным. Во-вторых, поле было засажено пропавшим по весне Антоном Безрогим, который, несмотря на короткую историю проживания в Безбожнице, пользовался известным авторитетом. В — третьих, ему мерещилось, что картошку копают покойные гости из Москвы, непостижимым образом переселившиеся в тела неизвестных крестьян. Моргая и кашляя, прошел Чугунец мимо непонятного, чувствуя всей кожей кардинальные политические перемены, связанные с его долгим отсутствием.

По приходу домой он тут же наорал на жену Оксану Федоровну из-за отсутствия горячего обеда, с наслажденьем умылся, а заметив на столе пузатую бутылку первача и тарелку соленых грибочков и горбушку домашнего хлеба, пришел в хорошее расположение духа.

— Ну что, мать. Как вы тут живете без меня? Новости есть? — обращаясь на «вы», он имел в виду еще и тещу-пенсионерку, которая была в неплохой форме для семидесяти трех лет и приносила исправный доход, получая пенсию на карточку «Visa», которой мог пользоваться только Иван Тимофеевич.

— Новостей много. Да ты пообедай, в районе наверно не кормили? — осторожно отвечала Оксана Федоровна. Увидев, как муж выпивает и закусывает, она продолжала:

— Серега-физрук и Николай Силованов Антоново поле копают. Прибрали каких-то пришлых, теперь вот к делу их пристроили.

— Когда прибрали, откуда? — заинтересовался Чугунец, наворачивая грибочки с хлебом.

— Никто не знает, только вот как Жертвины пропали, так эти и объявились.

Услышав новость, Чугунец перестал жевать и уставился на жену тяжелым взглядом. Заметив перемены в поведении мужа, Оксана Федоровна заторопилась все обсказать:

— Да с того проклятого дня, как увезли тебя в район, смотрю, Николай Силованов с утра идет пьяный. То-то мне бабы и сказали, что Николай раздобыл сотню да и выторговал у Корчёмкина четыре пузыря. Потом Серега-физрук тоже на деньги разжился и взял с рук четверть самогона. Гужбанили до вечера, а вечером всех мужиков и пацанов, какие попадались, отхвостали кулаками.

Потом меж собой тоже было сцепились, но разговор у них какой-то пошел, и весь вечер они Леху-интеллигента искали, будто он им еще сотню должен. Но Интеллигент не дурак, надрызгался и ушел в лес, у него там землянка. На следующий день смотрим: чужаки Антоново поле ковыряют, ну я и спросила у Сереги, чего, мол, за дела, а он усмехнулся и говорит: «Смычка города с деревней. Шефы приехали родному колхозу помогать». А сам вечером мешки таскал домой прямо с поля.

Слушая жену, которая была одновременно профессиональным помощником, работая его же заместителем в школе, Чугунец понимал, что доходяги в поле и впрямь могли быть московскими гостями. Не представляя механизма всего макабра, он крестьянским умом чуял, что произошла ужасная подмена и разбившийся вертолет увез в последний путь его главную опору и надежду — учительскую семью Жертвиных.

Чувствуя слабость в животе, он налил стопку до краев и залпом выпил, после чего спросил уже более для проформы, нежели в надежде на благоприятный ответ:

— Какие из себя эти пришлые?

— Да почти обыкновенные, — ответила Оксана Федоровна. — Мужик высокий, худющий как жердь и седоватый. Волос вьется, нос — большой, фонарь на два глаза. Баба вроде получше, в теле, тоже кудрявая, волосы белые, морда круглая.

Собираясь встречать высоких гостей, Чугунец использовал жену для приготовления стола, но смотреть на начальство не разрешил, боясь, чтобы она не наговорила лишнего, и полагался лишь на Жертвиных, принадлежавших ему телом и душой. Теперь он расхлебывал заваренную кашу, страшась и одновременно оценивая возможные последствия.

Сначала он подумал об уголовной ответственности за незаконное лишение свободы. Потом — о награде за спасение государственных людей. Потом — о том, что государственные люди захотят поквитаться за райскую декаду в деревне. Потом — что учителей больше нет и взять их негде. Потом он вспомнил, что государственные люди по образованию как раз и есть учителя, причем именно недостающих предметов: русского языка и математики. Потом ему стало страшно от пришедших в голову мыслей, а потом, после очередного выпитого стаканчика, ему стало тепло от гениальности пришедших в голову идей.

Новую школу власти начали строить еще в благословенные времена, когда школы строились, а не закрывались. Безбожница тогда была основной базой перспективного леспромхоза и росла как на дрожжах. Однако, построив каменные стены, закрыв крышу железом и застеклив окна, стройку остановили вместе со страной. Чугунец в те времена писал письма во все инстанции и старался изо всех сил завершить работы, но добился лишь завоза материалов и явки прораба Антона Безрогого, который приехал в деревню как раз накануне крушения моста через Забияку.

Антон Безрогий был весьма примечательным типом, как и многие жители Безбожницы, хотя бы потому, что приехал в нее по собственному желанию, накувыркавшись в перестроечных водах и нахлебавшись мути гласности. Он был чист душой и силен телом, но страдал привитым еще в стройотрядовской молодости идеализмом. Прочитав однажды о том, что комсомольские стройки 30-х годов осуществлялись силами заключенных, он вдруг остро осознал свою никчемность: какие мелкие цели преследовал он, воруя стройматериалы и устраивая свое двухкомнатное гнездышко, как смешна жизнь человека, потратившего эту самую жизнь на строительство собственной камеры окончательного заключения.

В поисках выхода он стал читать. Прочитанное повергало его в уныние, и свет в конце тоннеля мерк все сильнее, пока по роковой случайности он не прочитал

«Мастера и Маргариту» Булгакова. Цепочки логических рассуждений замкнулись в голове Антона весьма специфическим образом: мастер написал главную книгу и остался в истории, Антон же строил дома и, по логике, должен был, построив главное здание, заслужить покой.

Поиск подходящих проектов привел его однажды в забытый богом и людьми областной центр, а оттуда в Безбожницу. Антон взялся за дело засучив рукава. Он строил, лепил, красил, копал, подводил и запитывал. Он гонял деревенских воришек и бегал кроссы по утрам, учил местных подростков строительству и играл по вечерам на гитаре. Три года он противостоял деревенскому быту, а добило его малозначительное событие: контора, направившая его на завершение долгостроя, приказала долго жить, проглотив документы и не заплатив зарплату за полгода.

Антон начал выпивать и приставать к женщинам. Антон начал превращаться в обывателя. Единственное, чем он отличался от всех остальных жителей Безбожницы, — так это фанатичная тяга к работе. Через двенадцать лет он затер последний шов на плитке школьной котельной и исчез так же неожиданно, как появился. В деревне не особо удивились, поскольку решили, что Антон ушел на охоту и погиб. Во дворе его дома появился волкодав старика Корчёмкина, и, вопреки всякой логике, остался там жить, а по деревне прошел слух, что Антон попал в лапы сансары. (К чести безбожницев нужно сказать, что они понятия не имели, что такое сансара, с этим словом их познакомил еще один местный уникум — Леха Псушкин, по кличке Интеллигент.)

Так или иначе, школа была построена. Старая школа была торжественно пущена на дрова, и директор мог смело начинать учебный год. Дело обучения подрастающего поколения он поставил на широкую ногу: все предметы вели всего пятеро учителей: он сам — историю и обществознание, его жена — географию, химию и биологию, Жертвин-старший — математику, физику и информатику, а Жертвина-младшая — русский и иностранный языки, а также литературу. Серега-физрук, кроме физкультуры, вел труд и ОБЖ, а также выполнял функции сторожа и дворника. Кроме того, Чугунец числился уборщиком служебных помещений, а его жена секретарем, библиотекарем и социальным педагогом. На деле прибирали школу и ее территорию провинившиеся ученики либо супруги Жертвины. Однако главное ноу-хау Чугунца состояло не в прогрессивной системе распределения трудовых обязанностей.

Уловив бесподобным нюхом тенденции нового тысячелетия, Иван Тимофеевич оформил пластиковые карточки на весь персонал, запер их в сейф и единовременно стал хозяином школы, а с ней и половины деревни: деятельностью, приносящей доход, в Безбожнице, кроме работы в школе, было только получение пенсий. Для противодействия усилиям государства по урезанию бюджета он набрал в качестве учеников всех дебилов из округи, коих, благодаря образу жизни взрослого населения, было достаточно. Дойдя до рекордной цифры в 35 учащихся, он увеличил бюджет учреждения до фантастических восьмисот тысяч и жил весьма неплохо, поглощая две трети выделяемых средств, пока на его голову не свалился единый государственный экзамен.

Два месяца изучали супруги Жертвины хитромудрость нового дела, а изучив, донесли до Чугунца благую весть: ничего страшного в экзаменах не было. И вот когда была получена новая школа вместе с бюджетом, когда дочь Чугунца поступила в МГУ и когда материальное положение семьи стабилизировалось, они получили страшный удар в виде потери основных кормильцев — учительской семьи Жертвиных. Сопоставив известные и вновь открывшиеся факты, Иван Тимофеевич выработал план спасения.

Этот план был прост и преступен: Чугунец решил выкупить Высенко и Низенко из рабства «силовиков» и приспособить их к преподаванию в школе. Оформлять дело документально Чугунец не решался — о смерти Жертвиных никому неизвестно, а поскольку их паспорта и банковские карточки вместе с кодами лежали в школьном сейфе, операция по замене специалистов могла пройти без сучка и задоринки.

Вечером он взял бутылку самогона, настоянного на Корчёмкинском меду, и отправился к физруку. Он нашел картофельных компаньонов в состоянии трезвом, усталом и озлобленном. Адольф Моисеевич, лишенный очков, директора не узнал и, приняв его за Серегиного друга, начал лебезить, порываясь встать и предлагая свои услуги по розливу напитков, но из-за вялой реакции Сереги стушевался и, отойдя от стола, устроился в тени на лавочке.

— Здорово живешь, Сергей Владимирович, — начал беседу Чугунец, — невеселый ты сегодня какой-то.

— А чего веселиться, — прогундел Серега, — Корчёмкин, гад, все настроение испоганил.

— Что так? — поинтересовался Иван Тимофеевич, откручивая пробку. — Спиртяги не дал?

— Какой спиртяги! — вспылил физрук, — подходит сегодня на поле, говорит: «Докапываете уже?» Я ему: «Наше дело, хотим — докапываем», а он мне: «Поле-то колхозное, Сереженька, семена Антона Безрогого. Это, — говорит, — дело общее!» Выторговал, паразит, тридцать процентов — семьдесят ведер. Пришлось отдать.

— М-да, — проговорил Чугунец, — это он может. Ну, давай хоть горе спрыснем. Компаньон! — обратился он к Адольфу Моисеевичу, — подсаживайся, чего как неродной?

Они выпили, и, закусывая печеной картошкой, Иван Тимофеевич обдумывал, с чего начать главный разговор.

— Первое сентября скоро, — начал он издалека.

— Да и хрен с ним, — ответил Серега, — в первый раз, что ли?

— Работать-то как будем, без Жертвиных?

— А как работали, так и будем. Напишешь бумагу, что специалистов не хватает, и шабаш!

— Не выйдет, Сергей Владимирович, — печально ответил Чугунец, — выпускать надо одиннадцатый класс, им уж восемнадцатый годок. Нельзя больше на второй год оставлять.

Серега задумался: отсутствие выпускников могло повредить и ему лично, так как закрытие школы означало закрытие многих его проектов по покупке и продаже алкоголя.

— И что ты предлагаешь? — спросил Серега, зная, что Чугунец никогда просто так не проставляется, — искать этих уродов?

— Не найти их, Сергей Владимирович, замену надо. Загремим ведь, если не найдем.

— И?! — озадаченно проговорил физрук.

— Так вот ведь, специалист! — Чугунец ткнул пальцем в опешившего Адольфа Моисеевича. — И математик и физик. Куда лучше-то?

На физиономии Сереги изобразилась борьба чувств. Наконец он мотнул головой, призывая директора не затягивать с очередным стаканом:

— Я так понимаю, Иван Тимофеевич, ты уже придумал все? Значит, твой интерес в этом деле понятен. А я как же? Этот червяк волосатый даже картошку копать не умеет, представляешь, сколько я на него сил потратил?

— Дело говоришь, — согласился Чугунец. — Я думаю, двадцать процентов от его зарплаты по всем понятиям твои.

Серега пьяно кивнул головой, но соглашаться не спешил:

— Проценты пусть банк считает, сколько это в деньгах?

— Я думаю рублей пятьсот в месяц, не меньше, — солидно произнес Чугунец, ожидая острой протестной реакции, но, к его удивлению, Серега претензий к размеру контрибуций не проявил, а выдвинул другое предложение:

— И пусть сортиры моет школьные, его ведь идея была — персонал сократить.

— Это можно, — согласился Чугунец

Адольф Моисеевич слушал этот диалог, ужасаясь. Возражать не хотелось физически, соглашаться было чудовищно, но еще более чудовищно было то, что его согласия никто не спрашивал, и торг происходил так, будто речь шла о козе или мешке картошки. Он одновременно думал о том, что поисковая операция уже совсем близко и все эти разговоры, конечно же, не воплотятся в жизнь. О чем-то подобном подумал и Серега:

— Ну а как, если по морозцу участковый приедет?

— Пусть едет. Жертвиных он толком не знал, а этого, — Чугунец кивнул на Адольфа Моисеевича, который чуть не упал с табуретки, — уже списали, так что все тип-топ.

Услыхав о том, что его списали, Адольф Моисеевич, несмотря на страх, решился протестовать:

— Минуточку, господа, — увидев изумленное лицо физрука, Адольф Моисеевич, тем не менее, продолжил. — Как это списали, кого это? Вы хоть знаете, о ком идет речь?

— О ком? — поинтересовался Чугунец.

— О ком?! — переспросил Адольф Моисеевич, чувствуя необычайную легкость в теле и языке. — Надо думать, когда говорите такие вещи вслух! Не укладывается у этих господ в концепцию и начинают по процедурным вопросам цепляться. А где экономическая выгода?! В Канаде выгода, — пьяно признался он, забыв начало фразы. — В Канаде совсем другая модель. По восемнадцать учеников на учителя в Канаде. Автобус школьный — и очень просто, — тут он вспомнил начало и торжествующе завопил, — вот о ком!

— Ты бы, Адольф Моисеевич, поменьше про Канаду трещал, — посоветовал Чугунец, — а то вот Сергей Владимирович не уважает космополитов.

— Козлополипов тоже, — подтвердил Серега, с интересом рассматривая пьяного Адольфа Моисеевича. — Ну, давай, коллега, за новое назначение. Завтра у тебя наступает новая жизнь, учителем, значит, будешь... Будем! — воскликнул он опрокидывая стакан.

Адольф Моисеевич, затерявшийся в собственных мыслях как вошь в мочалке, то складывал губы трубочкой, то наоборот вытягивал их в струны. Сказать о своих чувствах связно он не мог, поэтому решился на экспромт, которые позволял себе в прошлой жизни:

— Единый государственный экзамен — это этанол... — понимая, что сказал что-то не то, он упрямо продолжил: — Это элатон, та-а-а -к — сказать.. Оптимизация та-а-к с — з — з а-а ть государственных затрат!

Посмотрев на собеседников и идентифицировав их как полных профанов, Адольф Моисеевич совсем разошелся:

— Другими словами — стандарт, и наша новая школа — это вам вот! — он скрутил дулю и начал ею размахивать, словно заводя невидимый авиамотор. — Модернизация российского образования! Все в автономию, и чтоб того... этого...На позитивный образ учителя!

Проговорив последнюю фундаментальную фразу, он упал с табуретки и затих в полном упоении от силы высказанных тезисов.

Переговоры Чугунца с Николаем Силовановым прошли еще более спокойно. Выяснив, что Клара заменит «русичку» Жертвину и будет получать хорошее жалованье, Николай сразу задал вопрос о покупке второй козы и получил ответ о покупке не только козы, но, пожалуй, и теленка. После того все дальнейшие вопросы отпали сами собой. Клара отнеслась к факту переговоров спокойно, потому как легкомысленно полагала, что худшей работы, чем заготовка картофеля и быть не может.

Чугунец шел домой, переполняемый грандиозными планами развития бюджета, и звезды над головой падали, прочерчивая огненные борозды в небе.

Ночь, лежавшая над Безбожницей, была прекрасна, молодежь резвилась на школьном стадионе, откуда долетали звуки гитары и девичьи взвизги. Корчёмкинский волкодав, заскучавший по Адольфу Моисеевичу, тихо подвывал, Леха — Интеллигент ворочался в землянке на подстилке из душистого сена, Серега–физрук клевал носом над темным столом, а Адольф Моисеевич сладко спал под столом. Ему снились желтые автобусы.

Будни

Следующая неделя прошла очень быстро, поскольку 1 сентября выпадало на ближайшую субботу. Весь коллектив школы, вышедший из «отпуска», трудился не покладая рук: Чугунец проводил ежедневные совещания, Оксана Федоровна стучала планы на компьютере, а Серега-физрук заставлял Адольфа Моисеевича выравнивать грунт на футбольном поле. К четвергу две трети поля были аккуратно выложены и пострижены канцелярскими ножницами, за что Серега получил благодарность с занесением в трудовую книжку, а Адольф Моисеевич был подвергнут остракизму за отсутствие рабочих программ, которые требовала строгая Оксана Федоровна.

Клара писала программы сутками напролет, отвлекаясь только на сексуальные домогательства Николая. Получив возможность заняться знакомым делом, она жадно линовала выцветшие тетрадки и, с трудом разбирая почерк усопшей Жертвиной, писала безжалостными словами о новых педагогических технологиях вперемешку с образами Базарова и Онегина, указывая на необходимость использования компьютерных презентаций и интерактивных досок. Однако дело двигалось медленно, и Клара получала разгон на очередном совещании.

— Сколько же можно говорить о рабочих программах! — разорялась Оксана Федоровна, глядя на Клару, как на нагадившего щенка. Не позволим работать плохо, забудьте старые времена! — продолжала Оксана Федоровна, косясь на мужа, который тихо кивал в знак одобрения. — Предлагаю совету трудового коллектива лишить Клару Леопольдовну Низенко премиальных за сентябрь в размере пятидесяти процентов, — наконец закончила Оксана Федоровна. — Кто «за»?

После единогласного решения, при котором воздержался Николай Силованов, совещание пошло своим чередом. Клара тихо плакала, растроганная смелым поступком Николая и терзаемая чувством несправедливости, поскольку знала, что рабочих программ не было ни у кого, но она не протестовала, вспоминая, что в другой жизни сама же и продвигала новую систему, дабы растормошить нерадивых учителей.

Обидно было другое: несмотря на закончившуюся битву за урожай, она не толь-

ко не ощущала облегчения, но наоборот: дикая усталость от бесконечной писанины и головные боли от наездов администрации заставили ее почувствовать себя хуже, чем на картошке, а между тем учебный год даже не начался. Она мысленно успокаивала себя тем, что когда придет время уроков, она отдохнет как следует и заставит учеников хлебнуть лиха.

По окончании совещания все пошли по домам, и Клара, утерев слезы, тоже направилась к дому Николая Силованова, но тут до ее уха донесся звук, которого она безотчетно ждала и на который хотелось бежать, крича на всю улицу: «Свобода! Спасены! Слава богу!», ибо это был звук дизельного двигателя.

Адольф Моисеевич, в остракизме красивший деревья по периметру школы белой известью, тоже услышал волшебный звук и бежал, бросив ведро и лубяную кисть. Он торжествовал: звук подобного тембра мог идти только от военной техники, и техника эта, несомненно, была направлена на поиски его — величайшего деятеля современного образования.

Каково же было разочарование Адольфа Моисеевича, когда он увидел здоровенный трактор, увозящий скирду сена в неизвестном направлении. За рулем восседал суровый черноусый мужчина, целеустремленно глядящий вперед, рядом с ним — второй, почти такой же, но с двуствольным ружьем в руках.

Дикая мысль зародилась в голове Высенко, он завопил на всю деревню и бросился к трактору, бессвязно выкрикивая мольбы о помощи. Но действия эти произвели на чужаков обратный эффект: когда Адольф Моисеевич приблизился к трактору на расстояние в двадцать метров, сидевший рядом с водителем высунул ружье через боковое окно и навел стволы на Адольфа Моисеевича. Тот остановился в ступоре и начал выкрикивать проклятья, что, впрочем, не произвело на чужаков никакого действия. Через пять минут от трактора с возом остались лишь следы.

За этой сценой внимательно наблюдал старик Корчёмкин, с осторожной злобой оценивая слабые места своего противника — Чугунца, чтобы в нужный момент нанести решительный удар. Поведение Высенко навело его на мысль о возможном сообщнике. Старик Корчёмкин решил оставить многострадального Адольфа Моисеевича на дальнейшее созревание в школе. Коммерческий акт, а именно продажу сена, Корчёмкин никак не мог пропустить мимо своего хозяйского ока. Размыслив, что деньги на данном этапе важнее, чем Высенко, он покачал головой и побрел на розыски односельчан, столь ловко проделавших трюк с сеном. Адольф Моисеевич, отстояв положенный природой ступор, опустился на землю и стал медленно раскачиваться взад-вперед, уставившись невидящим взором в придорожную пыль.

Фокус с продажей сена провернули братья-близнецы Чернухины. Скирда сена, которую пробовали продать всем приезжим все жители Безбожницы, принадлежала той же агрофирме «Заря», что и картофельное поле. Подвиг по заготовке сена произвели студенты областной сельхозакадемии, присланные в агрофирму для прохождения практики.

Половина жителей деревни Безбожница носила фамилию Чернухины, так как раньше вся деревня называлась селом Большие Чернухинцы. Претерпев приход советской власти и разобрав небольшую деревянную церковь на дрова, село потеряло статус и приобрело нынешнее название за самые гнусные традиции местной комсомольской ячейки.

Братья Родион и Муслим не были в числе крутых деревенских воротил как по причине умственной недостаточности, полученной по наследству вместе с именами Нахапетова и Магомаева, так и по причине малых физических сил в результате

плохого питания. В этот счастливый день они пошли на рыбалку и, оказавшись у переезда первыми из односельчан, обнаружили трактор из соседней республики. Торг не занял много времени: договорившись на четыре тысячи рублей, они приехали к полю со скирдой практически незаметно. Однако шум дизельного двигателя постепенно собрал у скирды большую толпу наблюдателей, которые завидовали братьям и роптали по поводу упущенной выгоды. Пытавшийся выдать сено за свое бывший рижский омоновец Эдгар Косилас был встречен стволами фермерского ружья, после чего всем присутствующим была объявлена цена контракта, а также то, что любой человек, претендующий на авторские права по данной скирде, должен будет разбираться с братьями Чернухиными, а не с фермерами. Толпа постепенно разошлась.

Старик Корчёмкин, как на грех, был в это время на пасеке и права на сено предъявить не мог, а Серега-физрук и Николай Силованов — на совещании, посвященном Дню знаний, в результате чего братья Чернухины, получившие по двадцать заветных сотен, разбрелись по домам отмечать удачу.

Первым пострадал более тупой Муслим. Корчёмкин застал его у поленницы за процедурой прятанья денег и, подождав окончания, начал как обычно:

— Кхе-кхе. Ну здравствуй, Муслим, здравствуй.

От этих слов младший Чернухин подскочил и развернулся на 180 градусов, выпучив глаза и приземлившись в немыслимом полупоклоне.

— Вижу, что и ты рад встрече, — констатировал старик. — Вот время-то какое пошло, быстротечное да лихое. Не успеешь сено приватизировать — его уж нет.

Он внимательно посмотрел на Муслима, по всем признакам обретавшего дар речи:

— Не говори ничего. Сам понимаю, хочешь оправдаться. Ну, давай посчитаем. Стог был колхозный, значит, всем поровну. Поровну на три части: тебе, Родиону и мне, — продолжал гнуть свою линию старик Корчёмкин. — Всего у нас четыре тысячи. Четыре на троих не делится, не бутылка. Верно?

— Не делится, — подтвердил Муслим.

— Предагаю по-братски разделить пополам, — предложил Корчёмкин, располагающе улыбаясь. — Тысячу тебе, тысячу мне.

Муслим, услышав такое шикарное коммерческое предложение, обомлел от радости, но, зная коварный нрав Корчёмкина, решил поинтересоваться:

— А если на троих?

Старик словно ждал этого вопроса:

— Тогда придется с прикупом, как в карты.

Нужно заметить, что братья Чернухины, как и все жители Безбожницы, очень любили играть в карты, и новое предложение вызвало в Муслиме волну энтузиазма:

— Давай с прикупом!

— А давай! — поддержал его старик Корчёмкин. — Значит я добавляю сверху два литра — две сотенных, значит. Четыре тысячи двести делится на троих без остатка, получается по тысяче четыреста каждому.

В его словах была железная логика, и когда старик забрал из рук Муслима деньги, а затем отсчитал свою долю, тот даже не пикнул, но, получив назад совсем маленькую грудку купюр, снова засомневался:

— Дак как-то я не понял...

— Литр отдам вечером. Заходи, как темнеть начнет.

С Родионом пришлось повозиться, ибо тот ни о каком дележе и слышать не хотел, но уразумев, что Корчёмкин согласен на тысячу и просчитав вариант с переделом общака, по которому каждому из братьев досталось бы полторы тысячи, не-

охотно отдал старику требуемую сумму, после чего сразу побежал к младшему брату, где получил урок экономической грамотности, который закончился ужасным мордобоем.

Денежный вопрос с сеном был урегулирован и старик Корчёмкин полностью погрузился в обдумывание плана с вербовкой Высенко. Прикинув так и сяк, счел, что толку от нового союзника немного. Старик горестно кивал головой, не забывая прикидывать стоимость оставшихся у Высенко вещей, а также крепость мёда собранного несколькими часами раньше.

Мед был одной из главных материальных и духовных ценностей не только самого Корчёмкина, но и всей деревни — не только лечил простуду и избавлял от боли, но и придавал напиткам, приготовленным на его основе, волшебную жизнетворную силу. Все селяне считали Корчёмкинский мед абсолютным ноу-хау, ревниво охраняя его от выхода за пределы деревни. Многие объясняли его свойства дьявольскими связями старика, но, крестя полученные продукты и даже закрывая банки медового кваса иконами, все равно продолжали употреблять его, удивляясь неизменному эффекту.

Сам Корчёмкин был жестким реалистом, поэтому поддерживал все невероятные слухи о волшебстве меда. Мед и вправду обладал необыкновенными свойствами, однако по вполне прозаической: Корчёмкин много лет назад облюбовал овсяное поле за своей избой, засадил его коноплей и маком, развел самых свирепых кавказских пчел и начал самое прибыльное дело в своей карьере.

Дом Корчёмкина стоял на отшибе и раньше был первым домом погибшей деревни Синюхинцы — продолжением в далеком девятнадцатом веке села Чернухинцы. Безжизненные остовы Синюхинцев тянулись еще на добрый километр, прикрывая предприятие Корчёмкина с дороги. Кавказцы же обороняли волшебное поле с воздуха, поэтому даже самые безбашенные жители не рисковали подходить к владениям старика. Забор из колючей проволоки закрывал дурманную палестину со стороны леса. А наследство секретной воинской части, укрытое в этом лесу, давало старику и другие конкурентные преимущества, превращая его бизнес в цветущее, хоть и противозаконное предприятие.

Старик анализировал дилемму: заточение чиновников явно строилось на принципе закрытости, и самым простым и верным оружием против Чугунца в этой ситуации была гласность. Осуществить подрывные действия было легко: обладая конспиративным окном в райцентр, Корчёмкин мог дезавуировать Чугунца и навести на его след компетентных товарищей. Однако гласность могла повредить ему лично и в целом Безбожнице, поскольку логичным ее итогом стало бы закрытие школы, а, следовательно, практически полное уничтожение финансовых потоков, на что Корчёмкин пойти никак не мог.

Поэтому в голову старика пришла простая в своей гениальности и легко осуществимая провокация — он решил устроить побег для Высенко и Низенко, не участвуя в нем лично: для этого нужно было всего лишь запугать невольных гостей. Он решил живописать гостям все прелести деревенской зимы, после чего намекнуть на возможность пешего бегства. Уверившись в правильности рассуждений, старик пошел спать, обдумывая по пути риски предстоящей операции и все более восхищаясь найденным решением.

День знаний

Первое сентября встретило Клару Леопольдовну и Адольфа Моисеевича ярким солнцем, первым осеним заморозком и странными приготовлениями: Чугунец рас-

порядился вытащить школьные парты во двор и выстроить их буквой «П». Затем Серега-физрук выставил в окно школы здоровенный звуковой монитор, а Николай Силованов подогнал к парадному входу автобус, предварительно прицепив к нему старинную тракторную телегу.

Перетаскивая парты, Адольф Моисеевич думал о том, что руководство школы окончательно свихнулось. Он видел в этом добрый знак для себя, поскольку накануне Оксана Федоровна после жесткого теста по математике сообщила ему, что он допущен к преподаванию. При этом вид она имела торжественный и просветленный, из чего можно было сделать вывод о том, что сумасшествие прогрессирует и в скором времени наступит долгожданное освобождение.

В девять часов утра к зданию начали подтягиваться ученики, выглядевшие на удивление мило: с огромными однотипными сумками «1С: решение для жизни», многие были одеты в школьную форму, девочки целомудренно укрывали волосы под одинаковыми косынками с надписью «III молодежный форум», а Эдуард Косилас, сын рижского омоновца, даже прикрепил на грудь бант из триколора с надписью «Всероссийская перепись населения». Это было тем более удивительно, что перепись еще не началась.

Заиграла веселая музыка, учителя выстроились во главе стола, а ученики, сопровождаемые родителями, начали доставать из сумок съестные припасы — столы быстро заполнились, и линейка стала напоминать банкет.

— Дорогие ученики! — зычно провозгласил Чугунец. — Мы рады поздравить вас с началом нового учебного года и пожелать успехов в деле обучения и воспитания! Этот год объявлен Правительством Российской Федерации Годом Учителя, а это значит, что учителю в этом году будет уважение и почет, невиданные до сих пор.

После продолжительных аплодисментов, переходящих в овацию, слово взяла Оксана Федоровна:

— Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу рассказать об учебном плане на первую четверть. Поскольку у нас новая школа и новая котельная, дров заготовленных в прошлом году, не хватит на зиму, поэтому мальчики в этом году не пойдут на уборку урожая, а будут работать в лесу. Дрова будут доставляться силами школьного автобуса, и родителям не нужно предоставлять гужевой транспорт!

Овация была несмолкаемой и сопровождалась криками «Ура!» и скандированием «Молодцы!», после чего Чугунец снова взял слово:

— Этот год, Год Учителя, начинается с еще одной новости: знакомьтесь, у нас новые педагоги: Адольф Моисеевич и Клара Леопольдовна.

Почувствовав некую заминку, Чугунец отдал приказ к завтраку, и началось шумное и веселое застолье.

Когда линейка в своей эволюционной фазе дошла до братания учителей с учениками, к Адольфу Моисеевичу за стол подсел Косилас-младший со странным разговором:

— Здорово живешь, босс!

— Какой я вам босс, — ответил Высенко, несколько оттаявший после глотка из чайника, — к учителям нужно обращаться на вы!

— Как скажешь босс, — согласился Косилас, — только имя у тебя какое-то поганое, нерусское у тебя имя.

Нужно заметить, что отец Косиласа, после печальных событий у Рижского телецентра выпав из нормальной жизни, стал отчаянным русофилом. Свои взгляды он привил сыну, восемнадцатилетнему Эдуарду Эдгаровичу, не видевшему в жизни ничего, кроме Безбожницы. Поэтому будущее свое рисовал в далекой и прекрас-

ной российской армии, но при этом наивно полагал, что удел солдата — ненавидеть все нерусское и вести себя грубо, решая все проблемы с помощью кулаков. Виной тому были и агитационные материалы одной запрещенной партии, которые семья Косиласов использовала для чтения. Поставлял литературу старик Корчёмкин, дальновидно полагавший, что работа с перспективной молодежью — залог будущего. Вручив накануне Косиласу триколорный бант, старик попросил о небольшой услуге...

— Так что скажешь, босс? — настаивал юнец, — учить нас будешь, или тебя самого поучить?

Адольф Моисеевич, не ожидавший нападения, уставился на Косиласа широко открытыми от ужаса глазами.

— Подумай, босс, подумай, — добавил Косилас, вставая, — может, тебе уехать отсюда?

Эдуард Эдгарович полагал слово «босс» одним из самых отвратительных ругательств, поскольку его отец часто говорил про боссов из-за океана, не дающих русскому человеку нормально жить. Он был глуповат, но исполнителен, к тому же более всего любил уроки физкультуры и драки, уступая в них только троим: Серегефизруку, Николаю Силованову и своему отцу.

Первое зерно для мыслей о побеге было посеяно, и Адольф Моисеевич, даже не зная Косиласа, был напуган его внешним видом, свинцовыми глазами и тихой угрозой в безграмотной, но доходчивой речи. Он сидел за столом в холодных лапах ужаса, и это был ужас не только перед физической расправой, но и перед перспективой давать уроки людям, подобным этому молодому расисту. Он неожиданно подумал о том, что профессиональные учителя, ведущие уроки ежедневно и получающие за это ничтожные зарплаты, в десятки раз сильнее его духом. Адольф Моисеевич припомнил свои прежние дела и пренебрежительное отношение к этим людям, которые в конечном счете были просто героями. Они не жаловались на притеснения, а несли свой крест просто и величественно. Десятки мелких эпизодов, в которых можно было принимать продуманные и взвешенные решения, Высенко бездумно гробил, подчиняясь диктату денег. Он ежился и закрывал глаза, но это не помогало: мозг упорно крутил видеоролики свершенных деяний, газетных заголовков и сытую отрыжку в качестве реакции на критику.

Между тем Эдуард Косилас, довольный произведенным эффектом, направился к Кларе Леопольдовне.

— Здорово живешь, коза нерусская! — начал разговор Эдуард.

Клара, раскрасневшаяся от угощения и вообще чувствовавшая себя замечательно, с недоумением посмотрела на него, силясь вспомнить, где они познакомились столь панибратски.

— Э-э-э, не припомню, — ответила она, — я, знаешь ли, плохо запоминаю людей.

— А я и не лезу знакомиться, — тихо, но решительно проговорил Эдуард, — только вот имя твое нерусское бесит!

Клара начала бледнеть и искать взглядом Николая, но того нигде не было.

— Сможешь отсюда бежать, беги, — продолжал Косилас, — бить не будем, все же баба. Соответственно и поступим как с бабой. Всем классом.

Клара обреченно кивнула головой, одновременно деревенея внутри, потому что в речи ученика была очень убедительная интонация.

Когда Николай вернулся, она взяла его под руку и прижалась, вызвав его неудовольствие, которое отразилось в комплименте: «Отцепись, лахудра!» Но она не отцепилась, а только слегка отпустила руку, стараясь следовать за Николаем повсюду, куда бы он ни направлялся. Когда Николай пошел к автобусу, она потянулась

следом, но получила жесткое указание идти домой, что и выполнила незамедлительно.

Старик Корчёмкин внутренне ликовал: оранжевая революция, задуманная им, начала давать первые ростки, Чугунец ни о чем не подозревал, а использование школьного автобуса для заготовки дров сулило старику очередную прибыль. Однако, пройдя большую часть пути, Корчёмкин вдруг почувствовал дискомфорт трансцендентной природы: с одной стороны — все было хорошо, а с другой — чем ближе становился дом, тем менее ему хотелось в нем очутиться. Он остановился, оглядев окружающий ландшафт из-под накомарника, стараясь не крутить головой — слежки не было. Не было вообще никого — большая часть населения Безбожницы гуляла в школе. Корчёмкин не был религиозен, но тут перекрестился и пошел к дому семенящей походкой, словно по минному полю, непрерывно осматриваясь и прихрамывая подколенками. Он вошел в горницу, принюхиваясь, как зверь, и остановился у стола, чувствуя удары сердца.

— Ну, здравствуй, Алексей Иваныч, здравствуй! — прозвучал насмешливый голос.

Старик подпрыгнул от неожиданности, губы его затряслись, предвещая сердечный криз, и если бы не полутьма избы, бледность лица высветилась бы совершенно отчаянно.

— Сатана! — с сердцем воскликнул он, вглядываясь в темный силуэт с выделяющимися белками глаз на черном лице

— А ты думал, жизнь медом намазана? — произнес тот же голос. — Садись, поговорить надо.

Плоды просвещения

Пятый день Адольф Моисеевич сидел в учительской, тренируя каллиграфический почерк. Занятие давалось плохо: отсутствие очков давало о себе знать. Бдительный Серега-физрук доложил Оксане Федоровне о своих подозрениях относительно почерка Высенко, и на проведенном тест-драйве Адольф Моисеевич позорно провалился, после чего получил срок на исправление почерка.

Важность красоты почерка была связана с необходимостью заполнения классных журналов. Пока все ученики, возглавляемые Николаем Силовановым, пилили сушняк, учителя тщательно записывали в строки журналов необходимые сведения о проведенных уроках и домашних заданиях, как того требовал стандарт образования. Втайне негодуя, Адольф Моисеевич внешне своих эмоций не проявлял, по опыту зная, что любое несогласие вознаградится очередным идиотским и трудозатратным поручением. Он уже не задавал вопросов: «Кто виноват?», понимая, что виноват он сам. Зато вопрос: «Что делать?» после первого сентября приходил на ум с завидным постоянством. Он выводил бесконечные задания из программ почти автоматически, иногда отстраняясь, чтобы оценить плоды творчества, после чего вздыхал и принимался писать заново. В его голове всплывал образ Косиласа, и рука дрожала, предательски искажая буквы, одновременно он словно слышал слова: «А может уехать отсюда...уехать...отсюда...может...отсюда». Нельзя сказать, что он не думал о побеге, но сложность затеянного отпугивала его. Кроме того, пока в школе не появились ученики, жизнь выровнялась, картошку копать было не нужно и ночевал он в доме, оставшемся ему от Безрогого в наследство. Пес, которого, как выяснилось, звали Аргон, привык к новому жильцу и беспокойства не доставлял. Наоборот, выказывал всяческую дружбу, после того как Адольф Моисеевич по совету Сереги стал кормить его вареной картошкой и объедками.

Вообще с Высенко начали происходить странные, но приятные происшествия: сначала он начал находить у дверей своей избы продукты питания, а на третий день сентября к нему в гости пришла кроткая женщина в коричневом платке и, убедившись, что именно Адольф Моисеевич будет учить ее детишек математике, предложила снабжать его хлебом и молоком.

Отбыв в школе положенные законом шесть часов, он пошел домой, соображая, чем можно было бы заняться, так как уборка и мытье посуды ему уже порядком надоели. Еще неделю назад в чуланчике он обнаружил много полезных и нужных вещей, назначения некоторых он не понимал, но запасные нитки, инструменты и посуда были весьма кстати.

Подойдя к дому, он увидел молодую и очень аппетитную женщину, вызывавшую своим цветущим видом кустодиевские аллюзии. Женщина стояла у калитки и гладила Аргона по голове, для чего тот специально встал на задние лапы. Подивившись такой идиллии, Адольф Моисеевич про себя решил, что женщина эта — мать кого-то из учеников, но ошибся.

— Здравствуйте, — улыбнувшись, заговорила незнакомка, — вот поджидаю вас, в школе как-то неловко.

— Отчего же, — ответил Высенко галантно, — хотя вы правы, здесь удобнее. Позвольте представиться: Адольф Моисеевич, учитель.

— А я знаю, — сказала женщина, — вы новенький. Меня Настасьей зовут. Настасья Русских.

— Очень приятно, ответил Адольф Моисеевич, — чем обязан такому замечательному знакомству?

Женщина глядела на него, слегка улыбаясь и с некоторой долей обожания, смущая Высенко непонятной паузой и давно забытым чувством влечения. Наконец она заговорила, сверкая восхитительными зубами:

— Да нет, ничем вы мне не обязаны. Я вот просто подумала — такой хороший мужчина. Умный, образованный, почему не познакомиться?

— Кто? — оторопел Высенко, — то есть вы это про меня? Я, конечно, образован, но почему вы решили, что я хороший...

Он потупился, сообразив, что порет чушь и вовсе не следует так вести себя с молодой красавицей.

Настасья смотрела на него бесхитростно и как-то по-настоящему. Адольф Моисеевич соображал, что нужно сказать или сделать: поведение Настасьи его просто обезоруживало. Он и не помнил, когда разговаривал не только с женщиной, но и вообще с человеком без тайных уколов, надуманности и пафоса. Она стояла и смотрела на него как на равного, понравившегося мужчину. Тут Адольф Моисеевич сообразил, что выглядит совсем неподобающе: синяки правда почти сошли, но нестриженые волосы и запылившийся костюм совсем не располагали к подобного рода беседам. Он совсем застыдился, опустив глаза.

— Может, зайдем в дом, — предложила Настасья, — стоим на улице как пионеры.

— Конечно, конечно, — заторопился Адольф Моисеевич, — только у меня не прибрано и угостить нечем.

— А я не на угощение, я поговорить пришла, — ответила Настасья, — а чаю попить я прихватила, так что почаевничаем. Она подняла с травы вязаную сумку, Адольф Моисеевич по-рыцарски подхватил ее, и они вошли в дом.

В доме, по счастью, был чайник, и Адольф Моисеевич стал суетиться с разведением огня в печке, но Настасья воспротивилась:

— Адольф Моисеевич, зачем же печку топить — тепло пока, да и дров у вас мало.

— Как же вскипятить воду? — удивился Высенко.

— На улице есть плитка — для нее и надо-то десяток щепок.

Они вышли к заросшему огороду, и Настасья, раздвинув лопухи, показала пораженному Адольфу Моисеевичу приспособление, напоминавшее маленький дот. Она быстро разожгла огонь и поставила чайник на металлическую решетку.

— Очень просто, — пояснила Настасья, — потом останется зола — вы ее в ведерко с водой насыпьте, вскипятите и будет самый лучший щелок.

— Что? — спросил пораженный Высенко. — Какой щелок, для чего?

— Ну как же. Волосы помыть, постирать — щелок, понимаете?

— Это вместо мыла! — догадался Адольф Моисеевич, — но зачем такие сложности, можно просто купить, — начал он как обычно, но тут же осекся. — Впрочем, понимаю.

Настасья смотрела на него, улыбаясь и качая головой:

— Да, вам только привыкнуть нужно.

Чайник быстро вскипел, и они пошли в горницу, где Настасья ловко заварила стебли высушенного растения с мелкими желтыми цветами, отчего по дому распространился приятный запах, и Адольф Моисеевич, положивший помалкивать, не выдержал:

— Что это за растение?

— Зверобой, свежий.

— Понятно, — задумчиво проговорил Высенко, — А вместо сахара вы, наверное, используете мед.

— Можно и мед, — согласилась Настасья, — правда я больше люблю чистый вкус зверобоя или смородины. Вам что больше нравится?

«Байча» — подумал Высенко, но вслух ничего не сказал. Ему вдруг стало неловко признаться, что он раньше употреблял чай, стоивший пять тысяч рублей за коробку.

Они стали пить чай, имевший необыкновенно терпкий, но приятный вкус.

— Зверобой от всех болезней, — говорила Настасья, — никаких лекарств не надо. Можно до сотни лет жить и ничего не заболит. Вообще у нас в Безбожнице — земной рай, вы не находите?

— Возможно, — не стал возражать Адольф Моисеевич, — только очень сложно все.

— Что, например? — спросила Настасья удивленно.

— Электричества нет, связи.

— А зачем они нам? — вновь удивилась Настасья. — Я помню, когда это все было, никаких денег не хватало.

— Что если человеку плохо станет? — возразил Адольф Моисеевич, — что, если умирать человек начнет?

— Сильно заболеет — в Москву отвезем, — ответила Настасья, — а уж помрет, значит, Бог прибрал. Царствие небесное.

— Как в Москву?! — вскричал пораженный Адольф Моисеевич, — разве отсюда можно в Москву?

— Что тут такого, — спокойно ответила Настасья, — до Москвы семнадцать километров. Правда, через Забияку не всегда переберешься, но на лошади можно почти всегда.

В разговоре наступила пауза, поскольку в голове Высенко не укладывался факт, что они находятся в Подмосковье.

— Вы про какую Москву говорите? — спросил он. — Про столицу нашей Родины?

— Да нет же, соседнее село называется Москва! — рассмеялась Настасья, — а вы что подумали?

Они стали смеяться, но совсем по разным причинам: Настасье казалось забавным, что собеседник не знает простых вещей, а Адольф Моисеевич радовался, что у женщины нет психических отклонений.

— Скажите, Настасья, — продолжил Высенко насмеявшись, — а пешком можно до этой Москвы добраться?

— Конечно, можно, только зачем? Там наших не очень любят, да и участковый Запивахин все время пристает с документами, то ему не так и это не этак.

Услышав, что в соседнем селе живет участковый, Адольф Моисеевич очень оживился, глаза его заблестели, а все существо наполнилось непонятной радостью. Он упустил нить разговора и очнулся лишь после того, как собеседница обиженно замолчала.

— Что вы сказали? — весело поинтересовался Адольф Моисеевич, — я задумался и не расслышал.

— Не надо вам в Москву, — сказала Настасья, — Здесь вы уважаемый человек — Учитель. А там... Пропадете вы там.

— Кто уважаемый человек?! — воскликнул Адольф Моисеевич, — кто вам сказал, что учитель — уважаемый человек. Вы телевизор не смотрите?

— Не смотрю, — спокойно ответила Настасья. — Да и нет его у нас. Вот Жертвины в школе насмотрелись своего Интернета и сгинули.

Адольф Моисеевич имел представление о Жертвиных только по оставшимся конспектам и об их судьбе толком ничего не знал, но заявление Настасьи задело его:

— Информация, как и другие спутники прогресса, сами по себе несут человеку только добро. Вот вы говорите про Жертвиных. Я думаю, они просто решили жить заново. Что в этом плохого? И кто вам сказал, что они сгинули, может, люди просто сменили место жительства, просто решили элементарно заработать! А здесь у вас — что?! Физрук меня избил просто так, заметьте — незнакомого человека, который и знать его не хотел. Николай Силованов — вообще мерзавец и бандит. Чугунец — сволочь и выжига, а его супруга — ненормальная!

Настасья слушала спокойно, не перебивая и даже с некоторым интересом, когда Адольф Моисеевич выдохся, она непринужденно стала разъяснять, загибая пальцы:

— Денег заработать — разве это в жизни главное? Вот вы Сереге-физруку задолжали денег, вышло из этого хорошее? На Николая вы злитесь, потому что он жену вашу увел, да ведь он орел, не таких уводил. А Чугунцы просто умеют жить, казнить их за это прикажете?

— Какую жену? — сконфуженно произнес Высенко, начиная понимать некоторые закономерности в жизни деревни, — моя жена в Москве, то есть в столице.

— Ага. Значит, и нету у вас никого, — победно произнесла Настасья, — я почему-то так и думала.

— А вам что за дело? — буркнул уязвленный Адольф Моисеевич.

— Может, и есть дело, — сказала Настасья, вставая. — До завтра, прощайте. Принесу вам травяного сбора, чтоб не сидели всухомятку. С этими словами она вышла из горницы, чем несколько озадачила Высенко, ожидавшего продолжения интересной беседы.

Побег

Адольф Моисеевич подготовился по всем правилам. Перво-наперво он выбрал день — ближайшее воскресенье, потому что его отсутствие в школе в любой другой день могло бы вызвать подозрение и погоню. Во-вторых, он соорудил поясную сумку из ремня и брезентовой емкости, которая раньше служила чехлом для како-

го-то инструмента. В эту сумку он положил маленький ржавый ножик, пластиковую бутылку с водой, средство от собак и зажигалку, выменянную у Корчёмкина. Подумав еще немного, он поместил туда же моток веревки со странными вплетениями синей суконной нити и огрызок свечи. Потом Адольф Моисеевич подумал, что в дороге захочется есть, и положил в сумку сухарь из половины деревенского каравая, которым он очень гордился, поскольку сам засушил столь ценный продукт, готовясь к трудным временам.

Все было готово, и оставшееся до побега время Высенко терзался муками совести, потому как жалел Клару Леопольдовну, которая все больше теряла присутствие духа и старалась прятаться от людей. На попытки заговорить она отвечала какой-нибудь чепухой, но при этом выстреливала таким жалким и испуганным взглядом, что Адольфу Моисеевичу начинало казаться, будто ее подвергают ежедневным пыткам. Он был недалек от истины, только пытки эти были муками совести, к ним примешался страх после беседы с Косиласом-младшим.

Но вот наступило воскресенье, и Высенко еще затемно вышел из дома, опоясанный подсумком и осененный сказкой странствий. Проснувшийся Аргон поднял шум и возню, лаем выражая свое отношение к происходящему. Пришлось его взять с собой, но на самой окраине Безбожницы Аргон заметил домашних уток, неспешно бредущих к пруду, и устроил настоящую охоту. Поднялся невообразимый переполох, и первую часть пути Адольфу Моисеевичу пришлось проделать кавалерийским аллюром, дабы избежать встречи с хозяевами уток.

У него закололо в боку, а легкие превратились в градирню, изрыгающую если не огонь, то, по крайней мере, перегретый пар. Он немного успокоился, выбежав на дорогу у картофельного поля, где недавно совершал трудовой подвиг. Дальше он пошел быстрой походкой, стараясь не оглядываться и не думать о судьбе Аргона, брошенного самым позорным образом. Через час Адольф Моисеевич почувствовал новое, необычное для себя, но приятное чувство свободы. Лесные птицы пели в осеннем лесу совсем не так, как летом, дорога местами была покрыта мхом, ступать на который было приятно, и рассвет давал щедрые авансы дню.

Через два часа Адольф Моисеевич дошел до коварной Забияки и остановился в нерешительности. Дорога уходила прямо в речку, и не было никакой возможности обогнуть это препятствие. Он с сомнением осмотрел свои растоптанные штиблеты, не решаясь снять их. «Главное — не намочить сумку, — думал Высенко. — Перейду на тот берег, разведу костер и просушусь».

Он взял сумку в руку и, высоко задрав ее, сделал несколько решительных шагов. И тут Забияка показала свой дикий нрав, подставив Адольфу Моисеевичу осклизлый голыш под ногу. Нелепо взмахнув руками и сумкой, он полетел в самую середину течения. В первую секунду его охватил ледяной холод и страх утопления, но, почувствовав под коленками грунт, он попытался встать, однако размешанная тракторами торфяная жижа облепила его со всех сторон. Адольф Моисеевич забился совершенно инстинктивно, как попавшая в болото лошадь. По счастью, Забияка отпустила пленника и, дрожа всем телом, он на четвереньках вылез на противоположный берег, оставляя за собой черный, бархатистый след. Сумка осталась в руке, но разводить Высенко не стал, сообразив, что задержка в таком опасном месте может повредить и пошел по дороге не чувствуя ног, втайне удивляясь своим жизненным силам. Однако, пройдя примерно километр, почувствовал резь в ногах и вынужден был остановиться для привала.

Великолепный некогда сухарь совершенно размок, и его пришлось выбросить, зато зажигалка после продувки-просушки оказалась очень кстати. Адольф Моисеевич уже научился разжигать огонь в печи, но костер совсем иное дело. Пальцы

дрожали, собранные ветви были еще мокрыми от росы и не хотели гореть, но тут на помощь Высенко пришла природная сметка, и он поджег свечку, а уж с ее помощью — сухой еловый лапник, после чего костер запылал, и Адольф Моисеевич не смог удержаться от победного крика. Он смотрел на огонь и чувствовал, как в его душе «прорастают забытые корни», он уселся на ствол поваленного дерева и принялся изучать ноги — на них обнаружились отвратительного вида пузыри, и он горько пожалел, что не взял в дорогу каких-нибудь медикаментов. Он бы еще долго сидел в неге у костра, но сороки стали ужасно стрекотать, готовясь к баталии за остатки сухаря, и Адольф Моисеевич понял, что пора в путь. Форсировав Забияку, он уже ничего не боялся.

Дорога стала значительно хуже, превратившись в глинистые колеи, и он вынужден был идти по обочине, хлюпающей коричневатой жижей. Ноги побаливали, но мозг все время выбрасывал допамин, призывая все органы к концентрации для последнего рывка. Наконец Высенко увидел просвет в лесу и первую, посеревшую от времени избу. Припоминая подробности знакомства с Безбожницей, он достал противособачное средство и намазал руки, но в этом серьезно просчитался: средство представляло собой спиртовой раствор меда и служило Корчёмкину идентификатором при встрече со своими же пчелами. Со временем безбожнические собаки привыкли, помня, что нападение на обладателя такого запаха может окончиться хорошей трепкой, однако собаки московские этого не знали и, почуяв неладное, начали собираться в стаю, злобным лаем подбадривая друг друга.

Адольф Моисеевич происходящего не понимал и, остановившись, панически наблюдал за собаками, которые постепенно окружали его, хищно скалясь и гавкая, подбираясь все ближе. Наконец из избы показался первый абориген — неопределенного возраста мужик, он нес самое настоящее двуствольное ружье и Высенко едва не лишился чувств, представляя в разгоряченном сознании сцену убийства. Однако опасался он зря: мужик, услышавший лай, решил, что в Москву забрался медведь, как уже бывало, и, разогнав собачью стаю пинками и матом, уставился на Адольфа Моисеевича тяжелым взглядом.

— Высенко, — дрожащим голосом представился Адольф Моисеевич. — Я здесь в командировке из Москвы. — Тут он понял, какую промашку совершает, но было уже поздно. — То есть из столицы нашей Родины. Вернее, в командировку я не к вам в Москву, а в Безбожницу...

Мужик с сомнением глядел на измазанного торфяной жижей и одетого в тряпье Высенко, думая о чем-то своем. Придя к определенным выводам, он произнес низким голосом:

— Документы есть у вас, господин хороший?

Высенко, почувствовав своеобразную дежавю, начал догадываться, что слишком рано обрадовался свободе, поэтому решил отвечать односложно и как можно яснее:

— Документы мои в гостинице города Пая.

— Нет, значит, документов, — произнес мужик, направляя стволы на Адольфа Моисеевича, — тогда пошли к Запивахину.

— Участковому?! — не удержался Высенко, но впечатления на мужика с ружьем не произвел.

— Иди, там разберемся, — произнес мужик, махнув стволами в сторону дороги. Адольфу Моисеевичу оставалось только подчиниться.

Капитан Запивахин находился в самом дурном расположения духа по причине двухдневной трезвости, что было вызвано очередным нераскрытым накануне пре-

ступлением — кражей барана. Да и на барана-то, честно говоря, ему было наплевать, если б его владельцем не оказался отец начальника Пайского РОВД майора Гнутого — ветеран труда Аркадий Гнутый.

Гнутый-младший приехал в Москву для расследовании лично, и поставленный в ружье весь мужской контингент поселка быстро нашел в лесу рожки да ножки несчастного животного. Но злоумышленник скрылся, оставив на рогах барана обрывок веревки со странным вплетением синей нити. Вот именно этим куском и тряс перед носом Запивахина в субботу вечером майор Гнутый, щедро сдабривая речь идиоматическими выражениями, о значении которых трудно догадаться по отдельным словам:

— Понимаешь, капитан, что ты все дело запарываешь?! — горячился Гнутый, — в дупло тебе грибов, если до завтра не найдешь беспредельщика. Я тебе лом в помидоры, а не представление на знак! Я тебе в Чечню путевку по самые гланды укатаю! Ты у меня как горный ишак под шляпой будешь скакать. Я тебе валенки на задние ноги вправлю, если не найдешь! Понял задачу?!

В словах начальства содержался явный угрожающий намек, и Запивахину не оставалось ничего другого, как в перерывах буйного живописания экзотических наказаний иногда вставлять: «Так точно, товарищ майор!» или: «Все понял, товарищ майор!» Когда Гнутый несколько выдохся, Запивахин предложил ему вариант компенсации, который после пары десятков ругательств был принят. По договору о контрибуции капитан лично отвел во двор Аркадия Гнутого собственного барана, выкатил два литра отличного, для себя деланного самогона, а также пообещал майору раскрыть преступление в кратчайшие сроки, то есть до вечера воскресенья.

В деле пропавшего барана Запивахину чудился след из Безбожницы, такую веревку он уже встречал то ли у Антона Безрогого, то ли у студентов, заготавливавших сено в Безбожнице, но ехать с карательным рейдом ему совсем не хотелось, да и в физической возможности этой акции капитан сомневался. Каково же было его удивление, когда из окна он увидел конвойную процессию, сулившую не только освобождение от Гнутого, но и, пожалуй, долгожданный знак «За отличие при охране общественного порядка».

— Вот, — пробубнил конвоир, войдя в помещение и втолкнув несчастного Адольфа Моисеевича, — через село хотел пробраться, еди твой Газпром, без документов.

— Кто такой? Документы! — радостно заорал Запивахин, одновременно отмахиваясь от мужика с ружьем, который спорить не стал, а вышел на улицу и закурил.

— Высенко, Адольф Моисеевич, — представился задержанный. — Документы остались в гостинице райцентра.

Запивахин с сомнением посмотрел на Адольфа Моисеевича и скомандовал:

— Все личные вещи на стол!

Увидев моток веревки, имевшей к тому же после купания весьма злодейский вид, капитан зарделся от удовольствия: дело оказалось ясным — бродяга из Безбожницы увидел барана, поймал его и, замотав морду преступной веревкой, увел в лес, где и расправился с несчастным животным. Дальше еще проще: переночевав в лесу, он, видимо, решил поживиться еще раз, но жадность фраера сгубила.

Запивахин уже думал о протоколах и прочих атрибутах оформления дела, совершенно не слушая Высенко, который сбивчиво пытался изложить свою историю, упоминая имена безбожниковцев, чем усугублял свою и без того доказанную вину. Но для того, чтобы остудить его пыл, капитан задал вопрос, в которых, между прочим, считал себя мастером:

— Вот здесь у меня все данные по населению Безбожницы, — он постучал по

черной папке ладонью левой руки, — Никакого Высенко, да еще Адольфа Моисеевича там не проживает. Отсюда вопрос: фамилия, имя, отчество!

На самом деле в паке находились телефонограммы РОВД, но Запивахин знал своих врагов и без всякой переписи.

Высенко, совершенно выбитый из колеи последними событиями, неожиданно для самого себя промямлил:

— Жертвин я, учитель математики.

— Ага! — радостно поддержал его Запивахин, — вот сразу бы так. Данные у меня есть, так что протокол оформим в момент. Зачем к нам-то пожаловали?

— Задолжал я, — ответил сам не свой Высенко, — Сереге-физруку и этот еще, Силованов. Бьет всех вокруг, как сумасшедший...

Дело становилось очень интересным.

— Так-так, поподробнее с этого места, — заливался капитан, — значит, избивали вас, это –«хулиганка». Документы похитили, это уже ничего себе. Грабили еще и незаконно лишали свободы?

Он уже видел свою фотографию на развороте районной газеты со значком на груди, и возможная денежная премия мутила его сознание.

— Хорошо, хорошо, с этим позже! — вопил капитан в упоении. — Сейчас, значит, подпишем протокол про похищение барана и в район!

— Какого барана? — поинтересовался Высенко, словно издеваясь над Запивахиным.

— Ну как же! С которого все началось! — сердито отвечал капитан, — Значит, вы похитили барана у гражданина Гнутого и съели его в лесу. Барана то есть, а не гражданина. Это так — эпизод. Получите два года по сто пятьдесят восьмой — и всего-то. Меня больше ваши показания по Силованову интересуют. У нас их давно ждут.

— Какие два года? — посиневшими губами прошептал Высенко. — За что?

— Да за барана, я же уже сказал! — вспылил капитан, — Не тот это баран оказался, понимаешь? Ответить за него придется по полной программе. Но повторяю еще раз — это двушка, максимум. Ты про дело, про дело говори!

Совершенно сбитый с толку и очумевший от перспективы попасть в тюрьму, Адольф Моисеевич решительно ничего не понимал. Но часть его мозга, еще не онемевшая от идиотизма ситуации, все же работала:

— Я не крал никакого барана! — завопил он, — в конце концов, где доказательства моей вины?!

Запивахин, уже взявший себя в руки, смотрел на Высенко холодно и с брезгливостью.

— Хорошо, — начал он зловеще приглушенным голосом. — Вот веревка, изъятая у тебя же. Экспертиза покажет, что этой веревкой был связан баран. Вот нож, которым ты его резал, а вот... — тут указательный палец Запивахина уперся в пузырек со снадобьем от собак.

Он задумчиво взял пузырек в руки и открыл его, осторожно принюхиваясь. Запах был в общем знакомый, но цвет жидкости заставил его по-другому расценить находку. Он поддел каплю снадобья на вершину карандаша, а другой рукой вытащил зажигалку и поджег каплю, после чего по всей комнате распространился запах жженого сахара и марихуаны.

— Ну вот и все, — заключил Запивахин. — Это уже лет на восемь. Хранение и распространение.

Услыхав подобную новость, Адольф Моисеевич последний раз вздохнул и грохнулся в честный, выстраданный обморок.

Бутлегеры

— Ну, Алексей Иваныч, ты гляди — коней не двинь, — также насмешливо продолжил Антон Безрогий, ибо был это он, собственной персоной, в добром здравии и полном порядке. — Чего испугался? Не узнал или не ждал?

— Здравствуй, Антоша, — проговорил Корчёмкин, с трудом выпуская воздух из груди. — Ты что ж это пугаешь старика, так ведь недолго и прости господи, помереть!

— Тебя, пожалуй, из пушки не пробьешь! — продолжал ерничать Антон.

— Какой пушки? — забеспокоился Корчёмкин. — Ты пушку нашел?

— Присядем, Алексей Иваныч, — предложил Антон, — медовухи достань, а то с дороги я что-то утомился.

Пока старик, кряхтя, лазил за печку и некоторое время постукивал посудой и позвякивал ключами, Антон оглядывал горницу, но взгляд его был скорее устремлен внутрь себя. Когда старик появился с бутылкой мутноватой жидкости и парой граненых стаканов, Антон сверкнул глазами лермонтовского демона. Он и вправду походил: черные глаза, черные вьющиеся волосы, легкая синева от небритости и крупные формы лица. Сходства с картиной Врубеля добавляли джинсы, заляпанные кое-где торфянистой грязью.

— За что выпьем, Алексей Иваныч? — поинтересовался Антон, после того как Корчёмкин разлил медовуху по стаканам трясущимися руками.

— Так не знаю, Антоша. Может, за встречу? — вяло предложил старик.

— Можно и за встречу, но есть повод получше, — ответил Антон, — не должен больше я тебе ничего. Долг твоему зятю выплатил, как говорят сполна, так что давай за свободу. Они глухо чокнулись и выпили почти одновременно.

— Так что же Антоша, не будешь больше работать? — слезливо спросил Корчёмкин, сопя носом, от крепости проглоченного напитка.

— Почему же не буду? — откликнулся Антон, — дом вот я купил в райцентре и жениться думаю.

Новость имела весьма положительное влияние на Корчёмкина, который потеплел глазами и участливо закивал головой:

— Дело хорошее, молодое. Нашел красавицу в городе?

— Нет, не в городе. Настасью думаю уговорить, Русских.

В разговоре наступила длительная и тягостная пауза. Каждый думал о своем, и каждому было что сказать, но начинать первым никто не хотел. Наконец Корчёмкин не выдержал:

— Трудное это дело, Антоша. Настасья баба своенравная и умная. Да и лет ей уже...

— Сколько? — неожиданно и резко перебил Антон, видно было, что его тоже интересовал этот вопрос.

— Не знаю, Антоша, только чую, что выглядит она моложе своих лет, а документов у нее нет никаких. Кто ж знает, сколько ей. Может, двадцать пять, а может, и пятьдесят.

— Тогда скажи, сколько лет ее знаешь ты!

На этот раз пришла пора задуматься Корчёмкину: он поймал себя на мысли, что знал Настасью всегда. Он не помнил ни ее родителей, ни родственников, из чего можно было сделать вывод, что была она пришлой, а вот когда и откуда появилась — старик, хоть убей, не помнил.

— Не знаю, Антоша, — осторожно начал Корчёмкин, — вот ты сам подумай, за те двенадцать лет, что ты в деревне провел, она хоть капельку изменилась?

— Не помню я. Вроде всегда была. Только вроде раньше и не она, но звали так же...

— Вот-вот! — вскричал старик. — Не иначе тут дело нечистое, я говорю тебе, трудное это дело, неподъемное!

Антон упрямо сжал губы, размышляя, сверкая при этом белками сумасшедших, светящихся глаз. Видя эти превращения, Корчёмкин предпочел заняться розливом медовухи, не забывая при этом посматривать на Антона.

— Так давай, Алексей Иваныч, еще раз за свободу, только уже другую, — произнес демон двусмысленную фразу, от которой у старика побежали мурашки по коже, — за твою свободу!

Они выпили, но Корчёмкин не сводил с собеседника настороженных глаз.

— Скажи-ка лучше, Алексей Иваныч, где ты взял вещи для последней операции, -продолжал Антон, пьянея и вновь переходя на насмешливый тон. — В частности телефон стоимостью пятнадцать тысяч долларов?

— Известно где, — напряженно ответил Корчёмкин, — сменял у пришлого доходяги. А ты чего так интересуешься, продать не можешь?

— Топ-топ, Алексей Иваныч, ты, видно, совсем разум потерял, от своего меда, — продолжал издеваться Антон. — Такие телефоны стоят на учете. И когда старый владелец хочет поменять его, то обязан обратиться с официальным заявлением в компанию.

— И что? — проговорил несколько озадаченный старик, — за полцены, наверное, можно толкнуть без всякого учета?

— Нет, нельзя. Телефон этот вдова бывшего владельца ищет. Можно сказать, уже нашла и требует возвратить. — продолжал Антон, — я сейчас о другом. Ты мне про покойника не рассказывал, а значит, обманул. Как бы не пришлось ответить.

— Что ты, Антоша, что ты! — запричитал Корчёмкин, — какого покойника?! Тут он, цел и невредим, в школу учителем устроился, в твоей бывшей хате живет. Да я тебе предъявить его могу, хоть сейчас! Ты чего подумал-то? Чтоб я по мокрому пошел, да еще тебя за собой потянул — непорядочно ты, Антоша, рассудил, неграмотно!

Антон задумался на этот раз крепко. Он вспомнил, как к окончанию строительства школы задолжал Корчёмкину и как тот предложил ему новое и в некоторой степени романтичное дело. В найденном бункере воинской части много лет назад Корчёмкин обнаружил боевой квадроцикл на огромных камерах низкого давления. Это был четырехтактный бензиновый вездеход, приспособленный для движения по любой местности, включая болото и воду. Для чего он был нужен военным, Корчёмкин так и не узнал, однако приспособил к делу быстро. Вместо того чтобы ехать в райцентр через опасную Москву он нашел гениальное решение — двигаться к райцентру по просеке ЛЭП. Просека начиналась за Забиякой в нескольких километрах от дома Корчёмкина, и чтобы укрыться от взглядов земляков старик использовал заброшенный военный бункер как перевалочную базу, гараж и склад. Именно пополнение склада предложил Корчёмкин в качестве работы Антону Безрогому, который к этому времени уже начал осознавать свое положение.

С окончанием стройки Антон лишался основной идеи, к тому же рай небесный за это окончание никто не предлагал. Нравственные мучения приводили его к необходимости покупки алкоголя, что было вовремя замечено Корчёмкиным, — и трест новоиспеченных бутлегеров пополнился новым пайщиком — Антоном.

Антон возил вещи, спирт, медикаменты и частные заказы все более воодушевляясь осознанием своей необходимости обществу, поскольку не видел для Безбожницы другого выхода. Кроме того, Корчёмкин давил на жалость, упирая на то, что уже не способен управлять вездеходом. Прокол с телефоном Адольфа Моисеевича заставил Антона по — новому взглянуть на свою работу и задуматься над её

уголовно-этической стороной. Придя к выводу, что старик говорит правду, Антон немного успокоился:

— Давай-ка, Алексей Иваныч, затопи печку, я лягу на нее, отдохну. Там у баньки в лопухах — два тюка, это от твоего зятя, прибери. А я уж завтра поеду, сегодня что-то устал. И не в службу — поговори с Настасьей, как придется. Скажи, хороший человек ее замуж зовет в райцентр, в новый дом.

С этими словами Антон встал из-за стола, и протопав по приставной деревянной лесенке, взгромоздился на русскую печь, где сразу же заснул.

Старик, похмыкав для приличия, убрал со стола и пошел на улицу к заветным тюкам.

Сентябрь. Клара

Клара Леопольдовна провела первую рабочую неделю в школе крайне болезненно. Ее не на шутку испугали угрозы Косиласа-младшего, а кроме того, она терзалась от раздвоенности сознания. Каждый день утром, перед походом на работу она пыталась пожаловаться Николаю на Косиласа, но каждый раз робела от возможного возмездия. Вечером, наоборот, она отходила и рассматривала прожитый день как большую удачу. Она впервые почувствовала вкус и цену жизни в первозданной, животной ипостаси. Однако моральные мучения постепенно делали из нее неврастеничку, все более замыкавшуюся в себе.

Утром воскресенья, в которое Адольф Моисеевич отважился на побег, Николай встал так же необычайно рано и в своей манере заявил:

— Ты это. Собирайся. По грибы пойдем. — и протопал сапожищами в сени, даже не спросив мнения Клары.

Правда, она не особо сопротивлялась, понимая, что возможный отказ приведет к осложнениям только для нее самой. Кроме того, грибы Клара Леопольдовна любила и в прежней жизни готовила великолепную лозанью с консервированными шампиньонами.

Собрались они быстро, всего-то и нужно было взять две огромные корзины, в одну из которых практичный Николай положил бутылку с водой и мешок, рассчитанный на хороший урожай маслят.

Осенний лес был прекрасен, но Клару несколько напрягало отсутствие видимой дороги, и она боялась заблудиться. Николай, знавший лес, как свои пять пальцев уверенно шел впереди. Примерно через час они вышли на широкую поляну, усаженную сосняком, под зелеными лапами которого напрягли свои крепкие головки выросшие за ночь подосиновики и маслята.

— Бери маленькие, — инструктировал Николай, — Крепкие и без червей. Будем солить. Клара увлеклась сбором грибов. Она ползала между сосенками на коленках и азартно подрезала твердые ножки перочинным ножиком. Все заботы и страхи отошли на задний план, а сбор грибов казался ей захватывающим соревнованием. Она где-то в глубине души неосознанно стремилась к успеху, а новое дело предполагало такую возможность.

Набрав половину корзины, она впервые разогнулась, чтобы похвастаться Николаю, но того нигде не было видно. Клара решила, что это очередное испытание и поэтому не стала кричать, решив продемонстрировать бесстрашие и опытность.

Она снова стала собирать грибы, но уже без прежнего азарта, поминутно осматривая местность и напрягая слух. Николай же отправился довольно далеко — за белыми, полагая, что поле деятельности у Клары широкое, и намереваясь подобрать ее на обратном пути. Но при всей своей дальновидности он не учел, что Кла-

ра была все же человеком городским, и характер ее решений в экстремальной ситуации вполне мог выходить за рамки разумности. Примерно через два часа сбора урожая Клару обуял такой дикий страх, что она решила искать дорогу домой, выкрикивая имя Николая и иногда добавляя: «Ау», которое еще через полчаса трансформировалось в полноценный «Ка-ра-у-у-у-л!!!».

Она шла по своим же следам, как ей казалось, к дому, но постепенно свернула на проходимое место, полагая, что это лесная тропа. Тяжелая корзина была брошена. Несмотря на сентябрьскую свежесть, ей хотелось пить, но бутылка осталась у Николая, а спазмы страха толкали ее все дальше. Она описывала круг по лесу, когда почувствовала усталость и боль в ногах. Не зная как поступить дальше, Клара Леопольдовна села на упавший ствол у крохотной полянки и тихо плакала. Мысль металась, глаза заливал острый, сдобренный гормонами пот. Она перестала кричать, с безумным видом озирая лес, казавшийся уже не красивым, а враждебным. Стресс сделал свое дело, и Клара вдруг почувствовала позывы ко сну.

«Бред, — думала она, — я брежу! Как можно уснуть в диком лесу, в этом ужасном и страшном месте. Я никогда не усну здесь, никогда!».

Женщина поминутно озиралась по сторонам, силясь вспомнить, откуда пришла, но вдруг оказалось, что это поле, прямо за домом Николая и она, завопив от счастья, побежала знакомой тропой к огороду. Однако достигнуть дома она не могла — ноги двигались очень быстро, хоть их и связывало вязкой паутиной устрашающее бессилье. Она напрягалась, но дом не приближался, и она поняла, что бежит по кругу. Эта мысль показалась ей любопытной, и она продолжала бежать, решившись отдать бегу все силы. Но она не достигла цели, а взлетела в воздух, развив невероятную скорость, проносясь по необычным извивистым траекториям, иногда разводя руки, чтобы почувствовать ток воздуха. «Как же я могла забыть, что умею вот так летать? — недоумевала Клара Леопольдовна, — это же фантастика, это просто чудо!» Однако полет забирал слишком много энергии, и она спустилась на землю, оказавшись почему-то в школе, где у зеленой доски стояла Оксана Федоровна Чугунец, которая вроде бы и не открывала рта, но поносила Клару обидными словами, обвиняя в непрофессионализме. И тут произошло еще одно чудо: Клара Леопольдовна, не ожидая сама от себя, выпалила: «Да пошла ты к черту, ведьма ненормальная!».

Ей стало страшно от своих слов, но и одновременно невыразимо легко. Теперь все мосты сожжены. Она смотрела, как Оксана Федоровна силилась что-то сказать в ответ. Клара Леопольдовна гордо взирала на поверженную соперницу, понимая, что сейчас именно она — Клара стала завучем школы и начальницей мира. Вот эта мысль и сыграла дурную шутку: когнитивная часть Клариного сознания воспротивилась и заявила, что этого не может быть ни при каких обстоятельствах, и это — всего лишь глупый и несмешной сон. Клара завопила что было сил и...проснулась в самом деле.

Лес окружал со всех сторон, надежды на спасение не было. Женщина громко и страшно закричала, проклиная Николая и Безбожницу, потом ей пришло в голову петь песни и она, глотая слезы, выводила петушьим фальцетом: «Эх пить будем, и гулять будем, а смерть придет, помирать буде-е-е-ем!» В этот момент обострившийся слух подал команду замолчать, после чего Клара явственно различила хруст веток и звук сминаемого кустарника. «Николай! — подумала она, моментально вскочив на ноги, — Любимый!»

Однако вместо Николая на импровизированную полянку вышел огромный мужик в очках, привязанных к голове резинкой от трусов, и Клара похолодела, ожидая любого кошмара, виденного ею в прежней жизни по телевизору.

— Вы заблудились? — спросил мужик очень интеллигентно, и не дождавшись ответа, продолжал, — Я слышал ваши крики и решил прийти на помощь. Алексей Псушкин, к вашим услугам. Правда, в деревенской общине меня чаще называют Интеллигентом из-за очков.

Клара, все еще терзаемая страхом, не знала, как поступить, поэтому решила хитрить:

— Клара Леопольдовна, — представилась она, — потеряла корзинку и вот, — женщина развела руками. — Жду Николая Силованова, наверное, он скоро ее найдет.

Мужик несколько опечалился, услышав про Николая, однако предложил:

— Вы, кажется, очень устали и замерзли. Давайте разведем костер и немного перекусим. А Николай учует запах дыма и конечно явится сюда.

Клара приободрилась от такой перспективы и стала кивать головой:

— Пожалуй, вы правы. Нет ли у вас какого-нибудь питья?

— Только это, — как бы извиняясь, сказал Алексей и вытащил из кармана пузырек со спиртом. — Я сейчас разведу огонь и схожу за водой, а вы пока грейтесь.

Пока он возился с костром, Клара думала, как этот невозможный человек пойдет за водой без посуды, а главное — куда, ведь кругом лес. И когда молодой человек сделал попытку уйти, Кларе это очень не понравилось:

— Постойте же, Алексей, вы точно вернетесь? — спросила она, стараясь не выдавать своего испуга.

— Подождите десять минут, я сейчас! — с этими словами он скрылся в чаще.

Минут через пятнадцать он вернулся с полторашкой воды в одной руке и Клариной корзинкой в другой.

— Странно, что Николай не нашел ее — совсем близко лежала, — сказал Алексей, имея в виду корзинку — Давайте пожарим грибов для закуски. Так приятно встретить в лесу умного человека, — продолжал он, ловко нанизывая грибы на прутики из побегов вереса, — Вы не представляете, как иногда хочется поговорить.

Интеллигент быстро раздул огонь и некоторое время они молчали, созерцая багровое пламя, перемежавшееся иногда серым дымом, однако по мере того как огонь рос дыма становилось все меньше.

Алексей достал из кармана пластиковую капсулу от «Киндер-сюрприза» и высыпал содержавшуюся в нем соль на красный осиновый лист. Затем он ловко открутил запаянный колпачок пузыря со спиртом и разлил жидкость в обе половины от «Киндер-сюрприза» как в импровизированные рюмки, вручив меньшую Кларе.

— За знакомство! –провозгласил он, после чего опрокинул жидкость в рот, тут же запив прямо из бутылки с водой. Клара не решалась поступить так же, поэтому сидела в напряженной позе, держа выпуклую емкость на весу.

— Да вы пейте, ничего страшного не произойдет. Спирт убьет бактерии, если таковые и попали в нашу Забияку.

Клара снова почувствовала опасность, потому что ничего не знала о названии реки, протекающей неподалеку, и фраза действительно звучала диковато. К тому же человек, представившийся Интеллигентом, вполне мог оказаться опасным психом. Однако вместе с этим она подумала, что ей необходима разрядка и допинг. Поэтому Клара, тряхнув по обыкновению кудрями, выпила так же, как Интеллигент, и села дожидаться эффекта к самому костру.

— Вы кто по профессии? — поинтересовался Интеллигент, — наверное, изучали философию в вузе?

— Я учительница, — сказала все еще осторожная Клара, — филолог. Но курс философии, конечно, прослушала.

— Тогда назовите тему, — попросил Алексей, вновь разливая спирт. — Сейчас уже грибочки подойдут, и можно будет обсудить.

Выпив вторую «рюмку», Клара почувствовала тепло, но пережитый ужас все еще держал ее в мохнатых лапах, поэтому тему она нашла нейтральную:

— Ну, скажем про огонь, — задумчиво проговорила она, — или для вас это недостаточно философичная тема?

— Отчего же, — не согласился Алексей. — Огонь и вода две — вечные стихии, с которыми человек связан неразрывно и прочно. Вопрос с огнем вообще не решен даже лучшими умами. В истории человечества первоначально использовался огонь природный, а потому непостижимый и божественный, и многие народы исповедовали культ огня, что неудивительно. Однако огненная купель часто трактовалась как очищение, из этого невежественного предположения проистекло много бед — не хотел бы я быть сожженным заживо в знак божественной солидарности.

Клара слушала, напряженно соображая, откуда таких вещей мог набраться деревенский Диоген, поэтому решилась задать вопрос:

— Что же, по вашему мнению, нерешенного с огнем?

— Как что? — удивленно произнес Алексей, — главный вопрос: все-таки огонь — это дар божественный или демонический? Ведь геенна считается огненной, а не водяной или, скажем, ледяной. Прометей обрек себя на вечные муки за украденный у богов огонь, хоть и было это во времена политеические, есть над чем думать, поверьте.

Оценив масштабы рассуждений Интеллигента, Клара пришла к выводу, что стоит все же сменить опасную тему с огнем, поэтому она подождала, пока будет разлита третья порция спиртного, после чего предложила к обсуждению первое, что пришло на ум:

— А ну его, давайте про что-нибудь простое. Скажем, как вы относитесь к чиновникам?

Алексей выпил спирт как-то сухо, закусил грибком, предварительно макнув его в соль, и начал говорить медленно, словно подбирая слова, распаляясь по ходу монолога:

— Русский чиновник был и остается тварью дикой, жадной и трусливой. Трусость его всегда проистекала из страха лишиться неправедно получаемых благ, жадность — от природы, а дикость — от низкопоклонства и лизоблюдства. В какой-то момент происходит эволюция чиновника в новую форму существования — тварь дрожащую бессловесную, хоть и льющую речи гнилые, огромные, пустоцветные. — Он остановился, чтобы перевести дух, но вскоре продолжил. — Вот так получается, что после неминуемого краха чиновник молчит и о своей незавидной судьбе, и вообще о том, что видел, поглощая кашу, сваренную из чиновничьего восторга. Он бы и рад пожаловаться, да только те, что до сих пор наверху сидят, ему пальчиком грозят: мол, мы молчим, молчи и ты.

Клара Леопольдовна, удивленная таким пафосным рассуждением дикого человека, молчала. Но страх истек из нее, как молоко из худого березового туеса, — без остатка и запаха, будто его и не было.

— Беда в том, — продолжал Интеллигент, — что их слишком много. Объяснить этот феномен просто: как только чиновник влезает на новую ступеньку, работать ему неохота, и он заводит себе помощников. Где одного умного хватило бы — трое дураков сидят. Однако сейчас даже это было бы благом, потому что, кроме обычных дураков, в России появились эффективные менеджеры. У таких нет Родины, дома, страха, совести или души. Вместо этого у них калькуляторы, подлость и юридическая подготовка. Они агнцы по форме и козлища по сути, они правят, прики-

дываясь то дураками, то всезнающими спецами, по обстоятельствам, а живые обычные люди дивятся после: отчего бы такое непонятное в государстве делается, что жить невозможно?

Клара была поражена. Она чувствовала уколы как лично против нее, так и вообще против порядка вещей, и колола ее не критика, а сухая констатация: Интеллигент говорит ей сейчас горькую, неудобоваримую правду.

— Хотите услышать мою печальную историю, — наконец спросил он, — а потом я послушаю вашу.

— Откуда вы знаете, что такая история есть у меня? — спросила Клара Леопольдовна, невольно проникавшаяся уважением к этому странному человеку.

— О, это просто, — ответил Алексей, — раз вы здесь, и вы не местная, то история, несомненно, была. Я, например, в прежней жизни был аспирантом кафедры философии. И сгубила меня житейская мелочь, которую сейчас я просто и не заметил бы, произойди она со мной. Я имел страсть, которая сжигала все мое естество изнутри, — я писал стихи. Если бы я просто писал, то это бы еще полдела. Но дернул меня черт опубликовать стихотворение в университетской малотиражке.

— Что это было за стихотворение?! — вскричала Клара Леопольдовна, заинтригованная донельзя.

— Нервными пальцами тонкими,
Набирая компьютерный код,
Я сижу под березами белыми,
И обида меня берет.
Каждый день, как последний стелется
В картах вин и пропитых лет
Эх, Россия, куда ты катишься?
Нет науки, остался бред! —

продекламировал Алексей и сник, словно ожидая порицания, но Клара молчала, обдумывая жизненность описанной в стихотворении ситуации.

— Вот кому-то и не понравилось второе двустишие. В газете появилась статья «Псушкин — это вам не Пушкин!», где говорилось не о стихотворении, а о моем моральном облике. С кафедры выперли, а дальше я покатился все ниже, пока не оказался здесь. И знаете, первый год очень горевал, но потом увидел главное и остался здесь навсегда.

— И что же? — поинтересовалась Клара Леопольдовна, переходя на другую волну.

— Свобода здешняя, раздолье и благодать.

— Какая это благодать, когда вас в любой момент убить могут? — мстительно заметила Клара Леопольдовна, — здесь даже электричества нет.

— Никого здесь не убивают, в Москве скорей убьют, если будет за что. — возразил Алексей. — А электричество это бесовское — от лукавого.

— Нет, подождите, — заторопилась Клара Леопольдовна, — только что вы говорили про непознанную суть огня и нате вам — электричество уже бесовское.

Алексей улыбнулся, по всему беседа ему была приятна.

— Электричество — это не огонь. Если я спрошу очень простую вещь — откуда взялся первый огонь, вы не ответите. Электричество в сравнении с огнем — это как эффективный менеджер в сравнении с обычным дураком. Служит чьим-то целям, считая их своими. А здесь этого нет, совсем нет, ни менеджеров, ни электричества.

— Что-то ваши взгляды очень похожи на анархические, — с сомнением проговорила Клара Леопольдовна, — вы что же, полностью против государства?

— Нет, что вы! — рассмеялся Интеллигент, — это, конечно, может так выглядеть, когда разговор идет про материи отстраненные. Давайте я пример приведу: как сейчас решения принимаются. Чтобы никого не обидеть представим такое царство, Бантустанчик с царем и лакеями во главе, где-нибудь в южной Африке. Вот сидит царек на троне из кокосов, а рядом с ним советчики: дурак и эффективный менеджер. Дурак говорит: «Батюшка царь, почто холопы государственным воздухом бесплатно дышат? Надо бы налог с них брать». Сказано, сделано — с каждого жителя по банану решили собрать за воздух, да промашка вышла, забунтовал народец. Царь говорит: «Надо налог отменить, наверное?» Вот тут эффективный менеджер вступается: «Не отменить, а оптимизировать. Значит, обмерить у всех объем легких и брать по четверть банана за литр и всем хорошо будет. И граждане поймут справедливость и казна пополнится!»

— И что? — спросила недоуменно Клара Леопольдовна.

— А то! Аппаратуру надо, чтобы объем легких перемерить? Надо. А кто заниматься будет? Дело трудное. Но на то и менеджер — организует быстренько контору «Банттрахеонадзор», людей в него посадит, аппаратуру выпишет из-за границы — и дело пойдет! Самообслуживание, так сказать, за народный счет. Вот против этого я собственно и возражаю.

Клара Леопольдовна хотела сказать еще что-то, но осеклась и даже начала краснеть, припоминая некоторые аналогии, однако не сдавалась:

— Общество здесь закрытое. Вот вы говорите, не убьют здесь никого, но вы мужчина, вам проще, а что если женщину здесь просто за человека не считают? А фашисты? — почти проговорилась Клара. — Скажите, не так?

— Понимаю, вы это, наверное, про Косиласов говорите, но они не опасны, поверьте. Корчёмкин кормит Косиласов специальной литературой — только и всего. Но это смешно, потому что они исповедуют русский шовинизм, будучи латышами. — сказал Интеллигент, — вы можете расправиться с ними очень просто.

— Как, я?! — удивилась Клара, — вы это серьезно, Алексей?

— Конечно, — проговорил Алексей, внимательно прислушиваясь к шумам леса. — Все военные, том числе и потенциальные, такие как Косилас-младший, чувствуют пиетет перед словом «аттестат». Стоит вам только намекнуть, что этого самого аттестата у него не будет, как Косилас превратится в добропорядочную овечку и будет делать все, лишь бы отвратить вас от этой мысли.

Клара почувствовала вдруг необычайный подъем духа и некоторую свободу, которой ей так недоставало всю последнюю неделю. Поэтому в качестве небольшой моральной компенсации она решила рассказать свою печальную историю:

— Вы знаете, Алексей, вы были совершенно правы, у меня тоже была целая эпопея... — но договорить она не успела, потому как Интеллигент вдруг встал на ноги, одновременно пряча в карман бутылочку со спиртом. Затем он наклонился, аккуратно сгреб остатки соли в упаковку и сомкнул половинки, взяв из рук Клары полусферическую оранжевую крышку. После он поднял валяющуюся у костра бутыль с водой, и только затем счел необходимым дать пояснения:

— Николай уже идет сюда, наша встреча была бы нежелательна ни вам, ни мне, поэтому разрешите откланяться.

С этими словами он быстро и почти бесшумно зашагал в лес, оставив растерявшуюся Клару у костра. Но испугаться она не успела, поскольку не прошло и трех минут, как к костру из леса по другую сторону поляны и в самом деле вышел Николай Силованов.

— Ты это. Чего тут? — начал он, — Заплутала, что ли? — Посмотрев на Кларину корзинку, он недовольно хмыкнул, но ругаться не стал, а просто приказал: — Давай домой. Вечер скоро. В баню пора.

Безбожники своих не бросают

Адольф Моисеевич, еще лежа на полу, услышал обрывок разговора, который капитан Запивахин вел с районным начальством:

— Так точно, товарищ майор. Пока упирается, но это не страшно, когда поймет, что полностью влип, будет говорить!

— Бу — бу — бу! — отвечала трубка противным и видимо очень громким голосом.

— Машина сломалась, товарищ майор! Завтра сделаем и сразу к вам. Это вообще интересное дело, возможно — терроризм!

— Бу-бу-буу! — сердилась трубка.

— Ну как же товарищ майор, сумка у него от гранат, я проверял. Да и не съел бы он один целого барана. Я думаю, товарищ майор, где-то неподалеку банда террористов, готовят большое дело! — не унимался Запивахин.

— Ты там совсем бу –бу?! — хрипела трубка, -безо всяких! Завтра в райотделе мы тебя вместе с ним — бу-бу!

— Так точно, товарищ майор, -обреченно согласился Запивахин.

Он осторожно повесил трубку, с неодобрением глядя в окно и, видимо, обдумывая какую-то важную вещь. Наконец эта вещь сформировалась в реальное действие, поскольку Запивахин извлек из-под стола старинную бутылку синеватого стекла, откупорил ее, и по комнате распространился запах виски, после чего Адольф Моисеевич на всякий случай плотно сжал веки. Несколько раз булькнуло, и богатырский выдох окатил Высенко стойким амбре сивушных масел.

Эти звуки повторялись с циклом примерно в три минуты на протяжении получаса, затем все стихло, и Адольф Моисеевич решился открыть глаза. Он лежал на крашеных досках пола деревянной хибары. Прямо перед ним возвышалась тумба казенного стола. Поскольку из окон шел свет Высенко догадался, что на дворе день, а наличие самих окон давало надежду на побег. Он, стараясь не шуметь, приподнялся на локти, вытянув шею. Запивахин спал, уронив голову на столешницу бюро. Адольф Моисеевич постарался бесшумно встать. Надежда на окна оказалась ложной — каждое из трех окон было аккуратно закрыто металлическими решетками. Высенко направился к двери, сделав три осторожных шага, и услышал металлический щелчок за спиной, который не сулил ничего хорошего. Когда он обернулся, то заметил ствол пистолета Макарова, направленного ему в район груди, а уж затем довольную физиономию капитана Запивахина, который тут же скомандовал:

— А ну-ка ко мне! — и когда Адольф Моисеевич повиновался, — руки вперед!

Надевание наручников и путешествие в соседнее помещение, которое очень походило на затхлый чулан, Высенко запомнил плохо. Он повалился на топчан, скорее ощущая нравоучения капитана, чем понимая их смысл — выходило, что «спокойной жизни» ему осталось всего сутки, а потом придется ехать в район и отвечать по всей строгости закона за многие накопившиеся преступления. Кроме того в районе безусловно разберутся с гранатами, которые еще недавно лежали в подсумке Адольфа Моисеевича. Радости от того, что в России действует мораторий на смертную казнь вопреки желанию капитана, тоже было немного.

Лежа на топчане в комнатушке с зарешеченным окошком под самым потолком, он вдруг начал думать о вечности. Выхода не было вообще никакого. Адольф Моисеевич ловил себя на мыслях, что они совсем не о следствии или уж тем более оправдании, а скорей о самоубийстве. То он вдруг с ужасом осознавал, что не сможет убить себя, то немного радовался оттого, что и возможности для этого у него нет,

то проваливался в сон, то горевал, что не остался в Безбожнице. Ночь прошла в раздумьях о прожитой жизни, ее суетности и какой-то общей бесполезности. День вошел в камеру вместе с Запивахиным, который принес несколько сухарей и тарелку жидкого супа.

Настала вторая ночь в заточении, а Адольф Моисеевич уже чувствовал себя узником замка Иф, то ли аббатом Фариа, то ли безымянным трупом. Он упивался своими мучениями, представлял, как будет писать о них мемуары. Наручников на руках уже не было, и Адольф Моисеевич провел некоторое время в поисках инструмента для черточек тюремного календаря на стене. Когда он осуществил задуманное при помощи металлической пуговицы, то стал чувствовать себя мудрым и повидавшим многое каторжанином. Непонятно отчего в голову лезла мысль о Николае Баумане и его революционной, но в общем незавидной судьбе. Анализировать мысль не хотелось: Николай виделся только один — Силованов, а судьба революционера, его побеги из царских застенков говорили лишь о желании выжить, которое с гневом отвергала часть сознания, настроенная на муки и гибель. Кроме того, припомнив, что лояльный власти крестьянин убил Баумана ломом по голове, Адольф Моисеевич и вовсе загрустил, осознав реализм исторических параллелей и совпадений.

Собирая в полусне подобный бред, Высенко вдруг уловил движение со стороны темного провала окна: решетка зашевелилась и тихонько уползла на улицу, а в проеме появилась голова человека.

— Ты это. Тихо! — проговорила голова. — Давай сюда!

Адольф Моисеевич подбежал к окну и протянул руки, силясь подтянуться, но ничего не получалось. Тогда с улицы в тесную камеру вползли две мощные руки, которые обхватили кисти Высенко и с такой силой дернули вверх, что он, очевидно, снова потерял сознание, очухавшись только в утреннем, дышащем туманом лесу.

— Ты это. Идти можешь? — спрашивал Николай Силованов. — Немного. Хоть пару километров. Я передохну.

— Конечно! — горячо зашептал Высенко. — Но как мы здесь оказались? Вы тащили меня на себе? Но сколько? Где мы сейчас?

— Не баклань, — тихо ответил Николай, — За мной!

Они шли по влажной от росы траве, причем совсем не по дороге, но Адольф Моисеевич не замечал препятствий. На этот раз мысли не путались, а работали с завидной логикой: деревенский хулиган Силованов вытащил его, рискуя если не жизнью, то свободой. Весь тот ад, который он еще два дня назад считал худшим местом на всей земле, пришел к нему на помощь в грозную минуту. Опустив голову, Высенко остро чувствовал аромат лесных трав и запах росы, сбиваемой ногами, а также вкус жирной, приготовившейся к спячке почвы. Он переставлял ноги так быстро, насколько позволял его надорванный последними событиями организм.

«Господи, — думал он, — неужели все вот так и устроено? Но этого не может быть, на дворе двадцать первый век и человек человеку давно уже не просто волк, а биологический маркетинговый враг. Рассуждая здраво, нет таких людей, которые могли так запросто заступиться за других: нелогично, бессмысленно, неадекватно! Но с другой стороны — вот он я, иду на свободе, а все, что произошло, кажется дурным сном.

Вскоре беглецы дошли до Забияки, правда совсем не у переезда. Заметив реакцию Адольфа Моисеевича на перспективу купания, Николай взвалил его на плечо, и перетащил до противоположного берега, вызвав очередной приступ желчи и недоумения Высенко, который уже начал презирать свою нетренированную плоть.

Они дошли до дома Адольфа Моисеевича, где их торжественным лаем встречал Аргон, которому от погони за утками видимо не приключилось никакого худа.

— Ты это, — напутствовал Николай, — денек отлежись, а в четверг — на работу.

После чего, не прощаясь, удалился.

В горнице было прибрано, а на чистом столе лежал каравай деревенского хлеба и большой букет из засушенных трав. Адольф Моисеевич вспомнил о Настасье и потеплел душой. Хотелось чаю, но разводить огонь не было сил и он, быстро уметав половину каравая, рухнул на постель, провалившись в длительный лечебный сон почти без сновидений. Так кончился побег, и началась новая эра в его жизни — эра служения обществу на поприще науки и образования. Они ждали его, как ждали родители учеников исхода тягостного дела по освобождению, которое Николай Силованов осуществил просто и естественно, словно это была утренняя прогулка в парке.

Война

Через пару десятков часов Адольф Моисеевич очнулся в приятном опустошении и с чувством легкости в теле. Оглядевшись вокруг и припомнив обстоятельства бегства, он счастливо засмеялся, представляя глупую рожу капитана Запивахина. Потом ему пришла мысль заварить чая, но не успел он притронуться к чайнику, как случилось происшествие, объяснить которое было никак невозможно: из чайника, струясь и клокоча, вдруг пошел розоватый пар, он не улетучивался, а сгущался, приобретая форму налитого веретенообразного сосуда, удерживаемого в воздухе непонятной силой. Постепенно сосуд превратился в подобие манекена, а потом и вовсе стал напоминать человека, висящего в воздухе и сверкающего солнцеподобным ликом. На плечах светились рубиновые звезды погон, а лицо с картофелеобразным носом и усеченным лбом, обрамленное курчавыми, черными волосами, смотрело печально и несколько укоризненно. Было в чертах что-то невероятно знакомое, неуловимая искра узнавания мелькнула в сознании Адольфа Моисеевича, и в тот же миг он рухнул на колени, истово перекрестился и заговорил:

— Ваше сиятельство, господин Бог! Такое счастье увидеть Вас, запросто как равного, как я рад, что Вы явились мне в самую трудную минуту! Как я рад, Ваше сиятельство!

Видимо, не к месту употребляемый старорежимный графский титул разозлил духа, отчего тот свел брови:

— Какое я тебе сиятельство, Адольф, ты что, наркотиков нажрался? Это же, я Сергей.

— Какой Сергей? — обомлел Высенко, — ваше сиятельство, господин Бог, не могу узреть плана Вашего, — перешел он на невероятную смесь церковного и поэтического стилей. — Премного воздал бы вам за раскрытие очей моих нечестивых, ибо и есть вы Господь наш всемогущий и вседержащий на ниве стада своего...

— Ну ладно, раб, раз выбрал сам манеру низкую пред мной, поведаю и далее, — согласился дух, — Не бог я, а наместник на Земле — Сергей Могу.

— Какой Могу?

— Такой Могу. Министр обычных ситуаций.

Видимо, духу совсем надоела импровизированная оперетта, и он погрозил Адольфу Моисеевичу шарообразным газонаполненным пальцем:

— Кончай дурковать, Адольф. Это я, министр по повседневным ситуациям, Сергей Могу. Ну вспоминай, Могу — это фамилия.

— А почему вы сияете? — спросил несколько сбитый с толку Высенко и тут же выпалил, как ужаленный: Серега, ты, что, умер?!

— Начинаешь прозревать, — самодовольно констатировал дух, — Ничего я не умер. Это новый вид связи — сакрально-телеграфический. Опытный образец, и сразу у меня.

По интонации Адольф Моисеевич догадался, что дух не шутит и вполне доволен произнесенными словами, что было бы совершенно невероятно в случае с богом или даже ангелом. Поэтому он встал с колен, стараясь разглядеть министра как следует.

— Чего же тебе от меня надо, господин Могу? — спросил Адольф Моисеевич, все больше убеждаясь, что мнимый бог более похож на полувоенного, — не просто так меня разыскивал?

— Врать не буду, — важно ответил Могу, — Ты улетел на вертолете, а обратно не вернулся, по-твоему, это не повседневная ситуация?

— Что-то долго ты меня искал, — угрюмо ответил Высенко, пытаясь собраться с мыслями. — Теперь-то убедился, что я жив и здоров? Когда вытащишь?

— Насчет вытащить не торопись, — ответил поскучневший и несколько сдувшийся Могу. — Ты тут в историю влип, можно сказать, глупейшим образом: барана украл, побег совершил. Да еще подозрение на терроризм. Это, брат Адольф, не шутки, это даже мне надо подумать как следует.

— Понятно! — со злобой сказал Высенко, чувствуя подбирающуюся тоску, — своих, значит, сдаешь. Тогда зачем вообще нарисовался тут со своей правительственной связью, понтами министерскими, поиздеваться решил?

— Да нет, Адольф, — заискивающе затараторил Могу, — предупредить хочу. Зря ты этот побег устроил. Местные очень расстроились, наказать вас хотят, по полной программе, так что ждите гостей в ближайшую пятницу. На БэТэРе приедут, целой командой: военком, майор Гнутый и там еще Запивахин с водителем и двумя солдатами. Все при оружии и с набором наручников, ну и по мелочи: слезоточивый газ, дубинки.

— А ты, значит, ангелом-хранителем решил подработать? — все так же зло поинтересовался Высенко. — Опять расчет имеешь или по службе задание?

— Злой ты, Адольф, — огорчился Могу. — Вот представь ситуацию, что ты всю деревню предупредишь об этой операции. Предупрежден — значит вооружен. Кто ты после этого будешь? То-то. Герой!

— Что-то я не пойму, Серега. Ну стану я герой, тебе-то с этого какой резон? — продолжал не доверять Высенко. — Медаль за это не дадут, даже наоборот, может опять какая-нибудь повседневная ситуация приключиться...

Тут Адольф Моисеевич осекся, озаренный догадкой: неприятности местной власти вполне могли вызвать серьезные последствия, а значит, поле деятельности для МППС, со всем вытекающим бюджетом и возможностью расстановки своих людей по руководящим постам еще до начала выборов. Словом, план был далеко идущий и перспективный. Адольф Моисеевич посмотрел на Могу с уважением:

— Кажется, я понял, Серега, — он виновато покачал головой, — я тут, видишь ли, совсем одичал и мыслить стал узко и непрофессионально. Только у меня условие: как безбожники перебьют всю эту шушеру, ты уж вытащи нас с Кларой, а то невмоготу. И еще. — Он скривился, понимая, что ставит на карту слишком многое. — Ты потом местных не трогай, пусть живут, как им нравится.

— Какой разговор, — ответил Могу, приподнимая брови. Но Адольф Моисеевич заметил, как микроскопическая хитрая трещинка прокатилась по лицу собеседника, и понял, что совершил большую ошибку, которая в далекой перспективе могла привести к большим неприятностям, но дело было сделано.

— Как говорится, до связи, — радостно проговорил Могу и растворился в розоватом тумане.

Адольф Моисеевич со злобой сплюнул прямо на пол и стал нервно сжимать и разжимать пальцы, пытаясь перевернуть ситуацию, но все козыри были на руках Могу, и Высенко, не выдержав нервного напряжения...проснулся.

В воздухе было много электричества, и Адольф Моисеевич зябко поежился, испытывая дискомфорт и какую-то нервозность. На улице был вечер, но движение и едва различимые разговоры наводили на мысль, что в деревне происходят непонятные, и явно деструктивные события. Он надел раскисшие ботинки и вышел в прохладную полутьму, улавливая обрывки фраз, разносившихся по густому осеннему воздуху. Он пошел на звук и совсем скоро увидел первую группу селян, оживленно обсуждавших какое-то событие:

— Верно говорю! Настасья Русских шла мимо, и в платке черном. Я спросил, чего такое, а она, мол, беда. Война говорит скоро, собираться надо на супостатов, чтобы всем миром...

— Не Настасья! Корчёмкин первым начал! Он пошел к Чугунцу и так и сказал, что неладно, мол, собираться надо, и в лес — куда — нибудь, где потише!

Тут все заметили Адольфа Моисеевича и замолчали выжидательно. Высенко смутился, припоминая свой сон, который более походил на галлюцинацию. Он понимал, что собравшиеся люди не могли знать о странном содержании его сна, но по стечению обстоятельств обсуждали как раз описанные иллюзорным Могу события. Объяснять эту ситуацию было глупо, к тому же сама попытка отдавала бы шизофренией, поэтому Адольф Моисеевич стоял, не зная, что предпринять.

Молчание нарушил один из авторитетных стариков, обсуждавших близкую войну:

— Ты это, Моисеич, если можно, скажи, что и как. А уж коль не знаешь, иди в школу. Там военный совет, все уже собрались, тебя только и ждут.

Высенко очень не хотел выглядеть идиотом, но уйти совсем без пояснений он не мог, поэтому, собравшись с силами, он оглядел всех виноватым взглядом и начал издалека:

— Ничего, не так страшен черт, как его малюют! Вы только не подумайте, что я нарочно! То есть степень моей вины, безусловно, не минимальна, но и не имеет априори доминирующего характера. Каким бы ни казался период рассматриваемой сингулярности, точка бифуркации, безусловно, пока еще не достигнута, и делать выводы о возможной бинарности текущего момента с преобладанием конфронтирующей либо консенсусной составляющей без необходимого в данных обстоятельствах анализа невозможно...

Люди смотрели на него не то чтобы неодобрительно, но с явной настороженностью и прикидывая каждый на свой лад, что именно им было сказано, поэтому Адольф Моисеевич, не переставая высказывать бредовые предположения о характере космического будущего селян, начал двигаться в сторону школы, а люди так и остались стоять на месте молча и в подавленном настроении, пока тот же старик не произнес:

— Видать, били в Москве-то.

— По голове, — согласился другой старик, в оранжевой светоотражающей куртке с надписью «Энергоспецмонтаж», — другой раз и током пытают.

Гул возобновился, но обсуждение пошло простое и понятное: часть высказывала мнение, что «Моисеич так и останется дурачком», вторая же настаивала, что даже после сильной встряски мозги иногда встают на место.

В Москве же в это время тоже происходили немалые события. Майоры Гнутый и Дубоватый сидели в доме Гнутого-старшего и строили план предстоящей кампа-

нии. Если с майором Гнутым мы уже знакомы, то его собеседник, райвоенком, был весьма колоритной фигурой. Вообще он был ракетчиком и гордо носил скрещенные пушки на петлицах, однако история его перевода из действующих войск в захолустный военкомат весьма занятна.

Майор Дубоватый с незапамятных времен носил кличку «майор Туповатый»: он учил солдат-первогодок уставам, поставив в упор лежа и выговаривая при этом: «Солдат, который не знает устава, — это тупой солдат. Если бы офицер не знал устава, то и его можно было бы назвать туповатым!» Он неплохо строил карьеру, переводясь в разные места всегда с повышением, и сгубила его, как ни странно, патриотическая сверхлояльность. Однажды, к дню ракетных войск и артиллерии, зная о предстоящем приезде высокого начальства, Дубоватый приказал покрасить ракетную установку в цвета Российского триколора. Однако солдаты, которым пришлось проделывать эту процедуру, покрасили сигарообразные парадные макеты не вдоль, а поперек через каждые десять сантиметров, отчего вся установка начала напоминать то ли американский флаг, то ли рекламу джинсов. Прошедший ночью снег только добавил сходства, изобразив что-то похожее на звезды у хвостового оперения грозных ракет.

Когда приехавшие генералы округа увидели ползущий по плацу матрас, более напоминающий колготки продажной девицы, чем боевую единицу, возмущению их не было предела. Возможно, гроза все-таки прошла бы мимо, но Дубоватый сам испортил все дело, заявив, что увиденное недоразумение — это трофей, добытый его частью в Кувейте, после чего и был комиссован.

Очутившись на гражданке, он не успокоился и вынашивал планы возвращения в действующую армию посредством перевыполнения планов по набору призывников. В этом с ним был солидарен майор Гнутый, считавший, что пусть уж лучше местные тинейджеры совершают преступления на военной службе, за тысячи километров от вверенного ему района. Он называл это профилактикой молодежной преступности. Сейчас стратеги напряженно обсуждали план захвата Безбожницы, выпивая время от времени первача и тыкая потными пальцами в карту Пайских палестин.

— Без объявления! — горячился Дубоватый. — Блиц-криг, поутру, за два часа на броне всех перетрясем!

— Да говорю же, что вечером надо, — не соглашался Гнутый. — Пятница, мужики напьются, и вяжи тепленькими хоть все село. А с утра по округе каждый шорох слышно. Почуют беду — разбегутся на хрен, сто пудов им в глотки!

— Майор! — не унимался Дубоватый. — Ты, конечно, извини, но я в армии не первый десяток лет. Сейчас осень — сон крепкий. Ты подумай — приедем вечером, а там тьма кромешная, что же, с фонариками их ловить будем? Потом дорога домой — полночи считай, уж нет, ни выпить ни отдохнуть. Тебе это надо?

Гнутый задумался: выходило, что ночная операция была не так безупречна, как он представлял сначала. Однако в повадках местных жителей он не сомневался, а потому решил призвать на военный совет капитана Запивахина, который с острой тоской в сердце наблюдал за действиями солдат, готовивших бронетранспортер перекидываясь фразами вроде: «Бензина всего сто пятьдесят литров, а тут еще компрессор хреновничает!» или «Черт принес, сюда доехали, а сдохнет батарея — даже прикурить нечем!» и наконец «Заглохнет этот гроб, больше не завести!»

— Капитан, ко мне! — по-военному четко приказал Гнутый, высунувшись в окно, и Запивахин, сокрушенно вздохнув, подчинился.

Пока стратеги выпивали, капитан стоял по стойке смирно и вдыхал воздух обеими ноздрями, как собака, учуявшая дичь, однако угощать его никто не собирался,

отчего в сердце Запивахина, кроме тоски, зародилась злоба, смешанная с предчувствием большой для начальства беды.

— Так вот, капитан, халупу тебе на воротник, — заговорил Гнутый, смачно закусывая огурцом, — вопросик к тебе имеется. Как думаешь: вечером или утром Безбожницу надо брать?

— Ясно, утром, — вмешался Дубоватый, — к обеду управимся, а уж потом выпить, закусить, баньку, значит.

Запивахин, намеревавшийся было защищать ночной проект, осекся, сообразив, что, вступив в союз с Дубоватым, конечно, провалит операцию, но успеет вовремя смыться. Поэтому вслух он ответил следующее:

— С утра сподручнее, товарищ майор, в пятницу все по дому работу делают с утра, чтобы уж под вечер того-этого, — он щелкунул себя пальцем по кадыку и остановился, выжидательно глядя на Гнутого, но тот не возражал. — К вечеру, конечно, все вдугаря, кулаки зачешутся. А тут мы их тепленькими, так сказать, не встречая сопротивления.

— Что я говорил! — торжествующе завопил Дубоватый, — держи, капитан!

Он схватил бутыль и с чувством вылил в стакан остатки самогона.

— Давай, капитан, за успех нашего безнадежного, как говорится! — не унимался военком, и когда тот выпил, хлопнул Запивахина по плечу, выражая полнейшую симпатию. Мизансцена не понравилась майору Гнутому, не терпевшему панибратства с подчиненными, поэтому тоном, не принимающим возражений, он разразился тирадой:

— Так, капитан, еще раз увижу пьянство на боевом посту, корягу тебе в глотку, ты у меня на разжалование пойдешь, а не в полицию! — он грозно посмотрел на Дубоватого и скомандовал, наливаясь кровью. — Всем спать! Завтра выступаем на рассвете, форма полевая, боезапас в подсумках!

Никто не возражал.

В помещении Безбожницевской средней школы, несмотря на отсутствие уроков, горел холодный голубой свет. Чугунцы, работники школы, Корчёмкин и Настасья Русских с Интеллигентом встретили появление Высенко глухим ропотом одобрения, отчего тот перестал думать о предначертаниях, переходя на деловой лад.

Адольф Моисеевич, вдруг остро осознавший свою вину, решился на безумный поступок и заговорил о своем сне как о действительной стратегической информации. Он, конечно, не упоминал о ее источнике и изложил лишь основной план нападения на деревню с применением бронетехники, увиденный во сне, после чего в учительской воцарилось тяжелое молчание.

— Кхе-кхе, — осторожно начал старик Корчёмкин, — вот значит какое дело. Оно и понятное, с властями шутить негоже. Так вот, я думаю, — старик замешкался, — в общем и целом весь переполох начался как раз из-за этих вот пришлых субчиков.

Он указал кивком головы на Адольфа Моисеевича и сидевшую за последним столом Клару Леопольдовну, которая была ни жива не мертва от ужаса и ближайшей перспективы насильственного освобождения.

— Что вы хотите сказать? — напряженным тоном поинтересовался Чугунец, кожей почувствовавший угрозу школе. — Выражайтесь яснее. Все мы здесь равноправные члены общества и делиться по цензу проживания не имеем права.

— Это, конечно, — быстро заговорил старик, — только посудите сами. Вот Адольф Моисеевич своей глупой выходкой расстроил органы, а отвечать за него

должны все? Давайте поступим просто: выдадим их властям и дело с концом. Органы надолго успокоятся, нам мороки меньше, ну а этим. — Он многозначительно вытянул лицо. — В крайнем случае, отсидят за грехи и новую жизнь начнут, изначальную, настоящую.

В разговоре вновь наступила пауза, но тут из-за спин вдруг поднялся Интеллигент, который до этого момента сидел очень тихо, стараясь не привлекать внимания. Однако в его облике произошли заметные и удивительные перемены. Это не был уже тихий, слегка сумасшедший алкоголик. Глаза его горели холодным голубым огнем, очки исчезли, а побелевшие губы вытянулись, выражая крайне напряжение. Ноздри напряглись, обостряя вершину носа, похожего на оперение реактивного самолета перед атакой. Он заговорил чистым и ясным голосом, похожим на звон колокола, не давая никому перебить себя:

— Послушайте-ка вы, доморощенный бизнесмен. А не пойти ли вам к черту со своей рабской пропагандой? Давно бы уже следовало вывести вас на чистую воду, ибо вы и подобные вам ренегаты всегда имеют гнилую, предательскую сущность. Как долго мы терпели ваши постыдное обогащение и неприкрытый цинизм? Как долго мы были слепы и немы, только потому, что надеялись на лучшее. Никто не верил в то, что эта постыдная гримаса коммерционализма останется навсегда и не будет выплеснута на помойку. Момент настал, и гневная ладонь народного возмущения занесена над вами, несчастный апологет рыночных ценностей. Убирайтесь вон, вместе со своими советами и ухмылками, и береги вас бог от попыток нового предательства.

Тишина в классе стала осязаемой, даже Клара Леопольдовна поддалась силе услышанных слов и смотрела на Интеллигента, удивленным и обрадованным взглядом, не понимая произошедших с ним перемен.

— Алешенька, — проблеял Корчёмкин, притворяясь больным и сирым старичком, — я ведь только как лучше...

— Я вам не Алешенька, — непреклонно прервал его Интеллигент, после чего упрямо мотнул головой. — Вон! Николай, помогите очистить зал!

Силованов встал, втянув голову в плечи, от чего стал походить на былинного Илью Муромца, а Корчёмкин, не слова не говоря, быстро вышел из класса, затворив скрипнувшую дверь.

Чугунец, осознавший наконец общую победу, решил снова возглавить собрание, поскольку Интеллигент сидел, выражая полнейшую умиротворенность.

— Так вот, значит, товарищи, предлагаю перво-наперво решить проблему с немощными, — он посмотрел на Адольфа Моисеевича и, не встречая сопротивления, продолжил. — Предлагаю всем жителям, неспособным противостоять вторжению, равно как и учащимся, укрыться в лесу. Старшим предлагаю Алексея Псушкина, как самого опытного по делам конспирации в лесу.

Гул одобрения, прокатившийся по залу, придал Чугунцу сил, и он продолжал отдавать распоряжения:

— Значит, Николай Силованов — с тебя нейтрализация техники и живой силы. Нужны помощники?

— Так это, — ответил практичный Николай, — Само собой Серегу-физрука, ну и бензин, — он по обыкновению притормозил, но продолжил внятно. — Будет там. Наверное. Забрать бы надо.

Чугунец, слегка опешивший от такого нахальства, переспросил:

— Так ты предлагаешь слить бензин из военной техники? — он повел бровями и, желая набрать авторитета, пошутил: — На ходу сливать-то будешь?

— На ходу неудобно. — возразил Николай. — Мы его сначала стреножим. Потом

немного повредим. А там ведра надо. Бутыли или канистры. Чтоб литров на двести. И носильщиков.

Николай, не привыкший говорить так много за один раз, засопел.

Чугунец, осознав, что в произнесенных словах нет и доли шутки, решил продолжать серьезно и вдумчиво:

— Вся эта ситуация обычным гражданам ничем не грозит, в конце концов, это не оккупация, а простой приезд районного начальства. Не желательно с ними встречаться только особым категориям, то есть тем, у кого нет документов или имеются разночтения с законодательством, которые вышестоящие начальники могут истолковать неправильно. — он обвел собравшихся ясным взглядом и остановился на Настасье Русских. — Ваши, например, какие планы?

Настасья встала, неловким движением поправив и так аккуратно сидевшее платье, и ответив Чугунцу спокойным взглядом, начала неторопливо говорить, распаляясь по ходу речи:

— Все знают, что война — неженское и жестокое дело. Я почувствовала еще прошлым вечером, что над нашей общиной собираются силы зла, и намерения их прямолинейны и безжалостны. Об этом я говорила, когда предупреждала людей, и когда просила вас, Иван Тимофеевич, собрать это вече. Однако намеки, которые вы сейчас позволяете себе, требуют немедленного разъяснения. Не буду вдаваться в подробности, как складывалась моя судьба, это слишком долгий и бесполезный разговор, но, являясь частью общества, хочу напомнить вам и всем собравшимся, что тучи приходят не на каких-то отдельных представителей рода человеческого, а на всех без исключения. Это значит, что среди нас нет отдельных категорий, и не может быть людей более или менее ответственных за судьбу только свою, а не всеобщую. Так какие же могут быть вопросы относительно намерений того или иного человека в условиях общей опасности, если он не трус и предатель? Не по себе ли вы мерите людей, здесь собравшихся?

В классе снова повисла тишина, все собравшиеся обдумывали услышанное, примеряя на себя вериги народного защитника. Однако Настасья более ничего не говорила, а с независимым видом села рядом с Интеллигентом, поглядывая на Чугунца, словно оценивая его дееспособность.

Иван Тимофеевич все понял, а потому заключил:

— Значит, завтра к вечеру уходим в лес, тару под бензин соберем по миру, прошу только об одном: нам не нужны жертвы, поэтому Николай, подумай, как все сделать тихо. Адольф Моисеевич и Клара Леопольдовна также идут в эвакуацию, поскольку сохранение учительских кадров есть наша первостепенная задача.

Следующие сутки прошли очень по-деловому. Необходимые материалы и припасы были собраны, несколько деревенских мужиков были рекрутированы в качестве носильщиков, и к ночи караван потянулся в сторону Забияки для встречи Гнутого и компании. Настасья, категорически отказавшаяся от бегства, также пребывала в боевом настроении, неся десятилитровую канистру для бензина. Оставалось только ждать.

Туманное утро пятницы было немного зябким, но внутри ревущего двумя моторами бронетранспортера было достаточно тепло. Выдыхая винные пары, майор Гнутый спал. Майор Дубоватый, находившийся в приподнятом настроении, пел про себя прицепившуюся песню «Солдатушки, бравы ребятушки», Запивахин зевал от волнения, а двое солдат в касках тихо кемарили. Всё вместе напоминало картину, на которой дружная семья собралась на пикник. Собственно говоря, так и было до самого момента, пока механик-водитель не осадил железного буцефала у берега коварной Забияки.

— Чего встали? — недовольно поинтересовался Дубоватый. — Уснул он там, что ли? Однако стратегам пришлось выйти, поскольку водитель, отличавшийся и наблюдательностью, и сообразительностью, не увидел на противоположном берегу следов техники и логично предположил, что форсирование водной преграды должно быть санкционировано.

— Ну, чего стоим, — ныл майор Дубоватый, — речушка как речушка. Мы ж на танке!

— Проверить надо, — отвечал майор Гнутый. — А ну-ка, капитан, проверь брод.

Запивахин, вышедший из БТРа, с опаской глядел на воду, предчувствуя очередные неприятности.

— Холодно, товарищ майор, простужусь. — с сомнением ответил он, — Я эти места знаю, тут не глубоко, да и осень сейчас, уровень воды самый низкий. Я думаю, товарищ майор проедем без проблем.

Гнутый еще раз внимательно оглядел брод, принимая решение.

— Ну смотри, капитан, — с тихой угрозой проговорил он. — Все на броню и смотреть в оба!

Когда группа захвата влезла на броню, водитель осторожно тронул машину к воде. Там и вправду оказалось неглубоко, но как только бронетранспортер доехал до середины речки, из-под колес вдруг поднялись мощные струи воздушных пузырей, а двигатели заревели как бешеные. Майоры, заинтересовавшиеся таким поворотом событий, стали крутить головами, а Запивахин с ужасом втянул голову, догадываясь о причинах и следствиях видимого.

С трудом шевеля колесами, БТР, как раненый кит, выбросился на противоположный берег, где проехал с десяток метров и остановился, заглушив моторы.

— Эй, водила с Нижнего Тагила! — заорал Дубоватый, — Чего встал, ехай дальше!

— Все, трындец, товарищ майор, — ответил водитель из люка. — Колеса пропороты, компрессор накрылся.

Остановившийся бронетранспортер представлял собой печальное зрелище. Шины осели, и в некоторых местах были видны чудовищные, словно пробитые пулями дыры. Слышался затухающий свист выходящего воздуха, пахло перегретым маслом и болотной тиной.

— Капитан, — процедил глухим басом майор Гнутый, — Я же приказал проверить брод. Ты понимаешь, что тебя ждет?

Казалось, что майор слегка повредился головой, а Запивахин смотрел на него немигающим взглядом зомбированного бандерлога. Солдаты, видя явные проблемы в общении начальства, закурили, ожидая дальнейших распоряжений.

— Под суд за порчу казенного имущества и разжалование в сержанты за невыполнение приказа, — тихо цедил Гнутый.

— Я вот только думаю: чего дальше-то делать? — подытожил майор Дубоватый. — Ехать не на чем. Обратно тоже нельзя — не лезть же в воду? Там на дне небось з а м и н и р о в а н о .

— А вот мы сейчас и проверим, — недобро усмехнулся Гнутый, — а ну, капитан, через брод в Москву бегом, шагом марш!

Услыхав приказ, капитан расслабился по той простой причине, что ни в какое подводное минирование не верил, зато ожидал в ближайшем будущем хороших кренделей и приказ к отступлению был для него как нельзя кстати.

— Сейчас я, товарищ майор, быстренько. Я сразу на уазике вернусь и лодку резиновую прихвачу, — затараторил он, снимая сапоги. Идти прямо по следам БТРа он не решился, а спустился чуть ниже по течению и, ежась от холодных объятий Забияки, побрел к противоположной стороне.

Он вприпрыжку бросился в сторону Москвы, решив не слишком торопиться.

Майоры, соскучившись и озябнув, снова решили держать военный совет, для чего извлекли из БТРа бутылку самогона, походный коврик и банку с солеными, этого года огурчиками, стаканы и походные ножи вместо вилок.

Они выпили по первой, поговорили о возможности пешего нападения, но пришли в к выводу, что оно небезопасно. Выпили по второй, после чего степень опасности предприятия значительно снизилась. Нужно ли говорить, что после третьей боевой дух поднялся до невообразимых высот, и стратегическое решение о нападении было принято единогласно с оговоркой — оставить водителя у бронетранспортера на карауле.

Когда процессия, размахивая руками и матерясь, удалилась в сторону Безбожницы, лес начал оживать. Стоящий на посту водитель почувствовал легкий озноб. Где-то далеко взлетела и застрекотала сорока, ветви кустарника зашевелились. Несчастный солдат стал всматриваться в заросли ивняка, но ничего подозрительного не заметил и еще больше заволновался. Он поудобнее перехватил автомат и решил обойти бронемашину, имея целью сокрытие внутри, но не успел. Огромная жилистая рука, словно выросшая из куста, аккуратно и несильно приземлилась на его каске, издав тупой и совсем не металлический звук. Мир исчез.

Кусты зашевелились вполне отчетливо, и, как по волшебству, к месту событий начали выходить люди, вооруженные канистрами и бутылками.

— Ты его не слишком? — поинтересовался Серега-физрук у Николая, обыскивающего жертву.

— Так это. В самый раз, — ответил Николай, — денег нет, только патроны. Вот.

— На кой они тебе? — спросил Серега, — мы ведь не террористы какие, оружие нам без надобности. Да и служивому достанется.

— Я так. Чтоб не пальнул, — ответил Николай с сомнением. — Давай свяжи его. Будем бензин брать.

После изъятия наличного топлива и мелкого трофейного ширпотреба отряд растворился в лесу. На месте событий остались лишь Николай Силованов и Серега-физрук, как обычно, зачищавшие объект.

Они сняли одежду и неторопливо полезли в холодную, прозрачную воду, отфыркиваясь, словно кони. Через несколько минут с большим трудом выволокли на берег заляпанную тиной тракторную борону марки БЗТ-1,8 со сломанными в некоторых местах зубьями. Потом вытащили и вторую, перенесли добро в кусты и закидали мусором из неухоженного леса, после чего оделись в камуфляжные телогрейки и закурили, ожидая пробуждения пленного. Когда тот начал подавать признаки жизни, пытаясь стащить повязку с глаз, Николай решил его проинструктировать.

— Ты это. Не ори главное, — он задумался, но скоро продолжил. — Твой автомат — внутри. Когда твои подойдут — найдешь.

— Скажи им, что зря они все это придумали, — перебил Серега.

После такого напутствия парочка удалилась в лес, а часовой замер, прослушиваясь к легкому шелесту веток.

Между тем в самой деревне происходили не менее интересные события. Сильно измучившись от долгого пешего марша, майоры, сопровождаемые бойцами, страшно обрадовались, когда увидели первый дом. Однако тишина и какая-то неестественная торжественность утренней деревни оставляла ощущение нереальности.

— Так, — высказался майор Гнутый. — Что-то я никого не вижу. Спят они, что ли?

— Не похоже, — отозвался Дубоватый, — Как-то уж очень тихо, на засаду похоже. Сейчас зайдем в дом и узнаем, спят или прячутся! — с пьяной бравадой предложил военком. Он смело подошел к калитке и уже собрался отворять, как вдруг на его пути выросла огромная собачья морда. Майор отскочил с неожиданной резвостью, хватаясь за левый бок правой рукой, но пистолета не оказалось, и Дубоватый, злобно сплюнув, заорал:

— Боец, ну-ка очередью по калитке — пли!

Однако боец был трезв, поэтому резонно заметил:

— Товарищ майор, применение оружия в такой обстановке — не по Уставу. Да и отчитываться за патроны придется.

— Какой «отчитываться», я же приказал — убей гадину!

Тогда боец сообщил уж совсем неприятную новость:

— Товарищ майор, у меня патронов нет.

— Как нет! — возмутился Дубоватый, — Да ты у меня на дембель 31 декабря в двенадцать часов ночи пойдешь! Понимаешь ты, скотина нестроевая! А ты? — обратился он к более молодому солдату — У тебя-то все есть?

— Никак нет, — ответил солдат, — Товарищ прапорщик из «оружейки» еще до выезда сказал, что патроны даст только проверенному человеку.

— Кому-у-у?! — заорал Дубоватый в исступлении.

— Сержанту, который за водилу у нас, только он в карауле остался...

Повисла напряженная тишина. Гнутый, вытащив табельный «Макаров», глубокомысленно смотрел на дорогу, а военком шевелил губами и выпучивал глаза. Солдаты курили, деревня молчала.

— Пошли дальше, — наконец заговорил Гнутый, — все равно кого-нибудь найдем, а уж он приведет нас к преступникам, никуда не денутся. — Вы, ребята, если что, передергивайте затвор, — он поправил козырек фуражки стволом пистолета, — никто не знает, что патронов нет, — испугаются!

Дубоватый, пялящийся на дорогу, как на злейшего врага, дополнил:

— Я вас научу без патронов стрелять, как вернемся.

Так они шли довольно долго и уже достигли здания школы в центре деревни. И тут их ждал маленький тактический успех. У забора стоял здоровенный детина с недавно пробившимися над верхней губой усами и серыми ледышками хитрых маленьких глаз на узком лице.

— А ну-ка ко мне! — завопил было Дубоватый, но милицейский начальник проявил волю, жестом руки прервав незаконное требование.

— Гражданин, предъявите ваши документы, — начал он, профессионально вытаскивая служебное удостоверение. — Майор Гнутый, ОВД Пайского района.

Он махнул корочками перед носом ухмыляющегося юнца, ожидая ответной реакции.

— Так это! — ответил Косилас, — Эдуардом меня зовут. А документы отец спрятал, чтобы я в армию не убежал.

— Ага! — взвился Дубоватый, — Призывник, мать твою так! Какого года?!

— Девяносто второго, — с достоинством ответил Косилас, которого упоминание пусть и чужой, но все-таки матушки перевело в несколько иной режим диалога. — А ты кто такой, дедок?

— Я тебе не дедок, урод, я тебе — господин майор! — продолжал бесноваться Дубоватый, — Я тебя, поганец, на Северное море пристрою, будешь каждый день с дедом Морозом разговаривать! Я из тебя подводника, мать твою, подлёдника сделаю! Ты у меня зубы все в тундре на крайней полосе оставишь!

— Так ты чукча, — разочарованно подытожил Косилас. — Не-е-е, на Север я не хочу. Мне бы в горячую точку, чтоб было, где отличиться.

— Ах ты шпана! — зашелся Дубоватый и ринулся в бой. В тот момент, когда его кулак уже летел в голову Косиласа, тот ушел вправо и легонько ткнул рукой в майорский живот, в котором тотчас же что-то булькнуло, и военком рухнул на траву пустым мешком.

— Стоять! — страшно заорал Гнутый, бросаясь к месту драки, но Косилас легко перемахнул через забор, в два прыжка оказался на школьной аллее, после чего судить о его местонахождении оставалось только по звуку удаляющихся шагов.

— Догнать! — коротко скомандовал Гнутый, проследил, как солдаты рванулись вслед за беглецом, и склонился над пострадавшим, пытаясь определить пульс. Убедившись, что жизни майора ничто не угрожает, он осмотрелся и заметил легкое движение у забора на противоположной стороне улицы. Тень огромной собаки мелькнула и скрылась, а Гнутый моментально вспотел.

Он оценил свое положение: солдаты исчезли, Дубоватый лежал, сложившись циркулем. Ждать новых сюрпризов, да еще осознавая свою полную беспомощность, ему не хотелось. Нужно было немедленно что-то предпринять, но патовое положение не позволяло наступать или отступать, и майор, всей кожей ощутив неприятные коготки страха, присел на корточки, поминутно оглядываясь. На его счастье, солдаты вернулись минут через пятнадцать и, тяжело дыша, сообщили ожидаемую новость — Косиласа догнать не удалось.

Промежуточные итоги экспедиции выглядели так: деревня, нагоняющая страх пустотой и собаками-привидениями, была захвачена, но абсолютно безрезультатно. В отряде появился раненый, отчего дорога к переправе обещала быть очень длинной. Запас спиртного иссяк, а вместе с ним и военный задор. Гнутый, оценив первую стычку, подумал о том, что местные, в случае возвращения, могут нанести серьезный ущерб его репутации, и отдал приказ к отходу. Отчаянно матерящегося и охающего военкома удалось повесить на плечи солдат, и процессия повернула обратно. Невидимый Аргон встретил это событие завыванием и лаем, а Гнутому у каждого дома стали мерещиться адские врата. Он старался не глядеть по сторонам и тешил себя мыслью об участи Запивахина, если «уазика» не окажется у брода к моменту возвращения. Так закончилась очередная осенняя кампания в противостоянии Москвы и Безбожницы.

Глава III. Конец императора тайги

После вооруженного конфликта жизнь в Безбожнице пошла обычная и даже хорошая. Адольф Моисеевич, начавший страдать от заморозков, уже морально приготовился к смерти от холода, но одним студеным и прозрачным утром ноября незнакомый мужик привез ему телегу дров, поминая при этом, что все путем и все положено, значит, нашему учителю. Если еще что надо, то всегда поможем, потому как пацаны сухостоя для кочегарки и нужд работников школы заготовили много. И ты давай, наколи дровец, а то кругляком они гореть будут и долго и плохо, а окна утыкай хоть паклей, и бумагой тоже можно, дак лучше топить к ночи и если совсем холодно, то и с утра, дров хватит, печка у Антона добрая, закрывать только не забывай.

Все эти напутствия Адольф Моисеевич слушал со странным чувством. С одной стороны, Высенко уже давно перестал опасаться за свою жизнь и строить планы побега, поскольку решил, что ему суждено очиститься посредством адской работы в школе (которой он и хлебнул-то всего месячишко). С другой — так и не научившись думать о других и считая всех за себе подобных, он почитал свое замерзание вершиной и главным итогом упомянутого очищения. Поэтому когда он увидел це-

лую телегу дров, слезы сами навернулись на глаза, выражая и признательность народу, и крушение очередных идеалов, поскольку трагическая кончина от холода явно откладывалась. Он таскал сухие березовые и еловые болванки в клеть, как орудийные снаряды, боясь уронить, физически осознавая, как уходит опасность и как с каждым рейсом все больше появляется надежда на удачное завершение еще и не начавшегося зимовья.

«Вот так, вот вам и борьба за жизнь, — рассуждал он, укладывая дрова в подобие берлинской стены. — Сейчас натаскаю дров, поколю, натоплю печь круто, чтобы до жары. Но какие подлецы все же! Умереть не дают, и жить невозможно, как же это так в двадцать первом веке и такие несуразицы? А я терплю. И буду терпеть, но ради чего?» Он думал еще про многие вещи: про то, как местные жители, наверное, строят планы его унижений, или про то, как Чугунец, закусывая с Оксаной Федоровной, хохочет над несчастным Адольфом Моисеевичем, припоминая первую зарплату в девятьсот рублей, которой он одарил ничего не понявшего Высенко по окончании октября. Впереди была беспросветная работа, борьба за жизнь, снова работа, снова борьба за жизнь — и так до конца. Стоп! До какого-такого конца? Продолжаться так вечно не может, и через год или два, ну в крайнем случае три, обязательно жизнь изменится к лучшему, потому что в противном случае вообще нет никакого смысла ни в чем.

Он снова упирался в барьер смысла всего сущего и выхода из очевидного логического кольца не находил. Впрочем, мысли о конце всего сущего, переплетенные с укладкой дров, не дают такого ужасающего эффекта, как мысли, переплетенные с алкогольным угаром в светлой и теплой московской квартирке. Поэтому даже отзвуки мысли о самоубийстве растворялись как-то сами собой, а каждая новая лента дров вносила в жизнь видимую и четко осязаемую перспективу.

Закончив носить, он напился квасу, которым его теперь снабжал Корчёмкин (видимо, в качестве контрибуции за некрасивое поведение времен военного лихолетья).

Неожиданно в дверь постучали, и Адольф Моисеевич поспешил открыть, полагая, что его ждут и другие, до сих пор не выявленные сюрпризы. Однако он ошибался: на пороге стоял сгорбленный и какой-то усталый Чугунец. По тому, как он мял в руках белую, а-ля «советская армия» шапку-ушанку с надписью «Russian games» и не решался переступить порог, Адольф Моисеевич понял, что стряслось что-то очень серьезное, и его, Высенко, касающееся самым непосредственным образом.

— Ты это, Моисеич, в компьютерах шаришь? — начал Чугунец без предисловий, лишь войдя в горницу — Я понимаю, что воскресенье сегодня. Но по-другому нельзя — вопрос жизни, так сказать!

Несколько опешивший Адольф Моисеевич сложил губы в подобие конверта и стал напряженно размышлять, какие дивиденды может сулить новое дело. Чугунец воспринял это молчание по-своему, поэтому продолжил, не дожидаясь ответа:

— Раньше Жертвин все делал по компьютеру, а теперь вот некому. Ты даже не думай про деньги — полторы сотни с меня, — для солидности он поднял брови. — И это каждый месяц и, соответственно, на отпускные и на все, что полагается.

— Ага, — наконец произнес Адольф Моисеевич, — это, надо полагать, что вы мне новую работу предлагаете за какие-то копейки, да еще пытаетесь обставить все как большую милость?

— Какие же это копейки? — удивился Чугунец, — копейки, это когда дрова везут прямо домой, без всякой компенсации, или картошку выдают каждую неделю и не спрашивают, когда вернете. Я вас, товарищ Высенко, еще спрошу за родительские

подарки и коррупцию, не предусмотренную законом об образовании, что тогда скажете?

Адольф Моисеевич не нашелся , как ответить, поскольку родительские подношения и вправду имели место быть, но связывать все эти милые безделицы с работой на компьютере... И тут он неожиданно вспомнил о Сергее Могу и возможностях электронных коммуникаций, которые (слава богу!) пришли в российские школы. Все эти соображения трансформировались в неопределенное пожимание плечами и фразу, более похожую на согласие:

— Вот если бы двести рублей ежемесячно и новые сапоги, то можно было бы подумать...

Требование новых сапог родилось спонтанно, поскольку выданные ранее кирзачи, с белыми надписями внутри голенищ «в/ч 5487 инв. 13. 1947» были очень жесткими и постоянно натирали ноги, хотя и спасали от грязи и холода.

Чугунец, ограниченный рыночным потолком в 250 целковых, помолчал, а вспомнив о яловых сапогах, оставшихся ему еще от деда, служившего в НКВД, несколько оттаял и предложил:

— Хорошо, сто восемьдесят пять — деньгами, полторы тысячи сапогами — единовременно. Только давай так, сначала работа, потом сапоги.

— Я бы хотел еще узнать, что именно нужно делать с компьютером, — он выдержал паузу, выразительно потирая переносицу. — Если нужны навыки программиста, то я вряд ли смогу быть полезен. Навыки у меня пользовательские, скажем так, — продвинутый юзер.

Услыхав слово «юзер», Чугунец сник, так как не понимал значения некоторых слов, но чувствовал их железный для сведущих людей смысл. Обучив компьютерной науке жену и Жертвина, он полагал излишеством собственное образование, хоть и купил на всякий случай пользовательское удостоверение в обществе «Знание».

Однако тут он совершил большую ошибку, поскольку бумажные наезды различных компетентных органов постепенно начали перетекать в компьютерную сферу, и отплевываться от них стало все сложнее. Вот и сейчас по электронной почте пришел формуляр, содержание которого поставило в тупик исполнительную, но некомпетентную Оксану Федоровну. Речь шла о получении ключей и регистрации данных на сайте совершенно неизвестного Чугунцам ресурса, помеченного двуглавым орлом, что само по себе наводило на мысли о скорых и немалых неприятностях.

Адольф Моисеевич, решивший, что день положительно удался, быстро оделся в теплую, хоть и не новую куртку с надписью «МСУ-132. Ипотека от производителя», натянул заскорузлые солдатские сапоги и вязаную шапочку «Лыжня России - 2009», после чего отправился в школу, ожидая встречи с Интернетом, пожалуй, даже больше, чем новых сапог.

После необходимой авторизации, которую Оксана Владимировна выполняла по желтой, сильно потрепанной бумажке, шевеля при этом губами, Адольф Моисеевич, буквально прожигаемый взглядами бдительного Чугунца, был допущен до клавиатуры.

— Ну что, — важно начал Высенко, прочитав письмо, — вроде ничего страшного, письмо как письмо.

— Там приложение есть, — прошелестел Иван Тимофеевич, — слова там всякие, как и что делать. Это и непонятно.

— Я бы сказала, что все понятно, но не получается, — поправила мужа Оксана Федоровна, — сайт почему-то слетает и все время выдает ошибку.

Адольф Моисеевич открыл приложенный файл, некоторое время изучал его, припоминая, что что-то подобное уже встречал в прежней жизни. Потом хмыкнул, недоуменно посмотрел на Чугунцов и глубокомысленно произнес:

— Ну что тут сказать, ну мониторинг модернизации системы, что же тут непонятного?

— Помидоринг, — просипел Чугунец, побледнев и сжав губы. — Так и есть, помидоринг...

— Что? — переспросил удивленный Адольфы Моисеевич. — Какой «помидоринг», вы что, меня не поняли?

Нужно сказать, что Чугунец неспроста исказил слово. Виной всему был комплекс, который выработал у него покойный Жертвин, отличавшийся желчностью и сарказмом по отношению к реформам образования. Заметив однажды в поведении Чугунца пунктик, связанный с непониманием нововведений в образовательной сфере, он начал целенаправленно расшатывать директорские нервы, вводя новую трактовку общеизвестных понятий.

Так он называл тремя конями Апокалипсиса нового школьного уклада ненавистные процедуры «украдитации», «откусации» и «помидоринга», имея в виду аккредитацию, аттестацию и мониторинг.

С первыми двумя конями на практике столкнулся и Чугунец. Получив от их грубого ржания самое негативное впечатление, он начал вполне доверять Жертвину, который специально выискивал во всемирной паутине пугающие предвестия приближающейся катастрофы. Однако до большого мониторинга, устроенного министерством, он не дожил, но зная о его скором начале, запугивал Ивана Тимофеевича высказываниями вроде: «Помнишь украдитацию, Тимофеич? То-то. Жди помидоринга, он почище будет!», или: «Откусация без помидоринга — как свадьба без невесты!» и наконец: «Помидоринг придет, так же как и кабздец, — незаметно!».

— Помидоринг, — повторял он, косясь на Адольфа Моисеевича, — значит, все-таки прискакал.

Оксана Федоровна, хорошо знавшая характер мужа, быстро вышла из кабинета, намереваясь принести бутылку первача и соленых грибочков для дальнейшей продуктивной работы.

— Так это, Моисеич, — заискивающе просипел Чугунец. — Договорились ведь. Можешь его как-нибудь сковырнуть?

— А то! — самодовольно ответил Адольф Моисеевич, почувствовавший некоторую новую точку опоры. — Мне ключи нужны, пароль и логин, понимаете?

Очнувшийся было при слове «пароль», Чугунец снова окоченел от слова «логин» и, когда дверь отворилась, пропуская Оксану Федоровну с подносом, вид имел весьма угрюмый и жалкий.

— Ну-ка товарищи, давайте, — запричитала Оксана Федоровна, откупоривая бутылку и разливая пахучий самогон, — в районе говорят, что с ключами и дурак справится, тут надо выполнять, а не ключи просить. Тут надо сначала сделать, а уж потом думать, как отчитаться.

— Как же сделать, если без ключа система не впустит? — возмутился Адольф Моисеевич. — Замок без ключа — пустая железка, и никто его не купит, даже вор, потому что вору замки вообще не нужны.

— Вору, может, и не нужны, — подтвердила Оксана Федоровна, наблюдая, как Чугунец пьет спасительный первач, — а мы не воры. Мы — работники образования, нам и солома едома, когда прикажут. Мы денежки получаем от образования, поэтому должны выполнять без разговоров и быстро. Сказано помидорить — будем помидорить.

— Нет, простите, — не согласился Адольф Моисеевич, чувствовавший себя по ходу дискуссии все увереннее. — Как же так можно рассуждать, бездумно? Система мониторинга очень важна и актуальна, потому что без нее о пути вперед не может быть и речи. Для того чтобы этот мониторинг был объективным, нужна защита электронных коммуникаций, а для того чтобы работать с этой защитой, нужны ключи и инструкции. Впрочем, инструкции есть, — добавил он, взглянув на монитор. — Тут сказано, что ключи разосланы всем авторизовавшимся школам, а чтобы авторизоваться, нужно войти в систему, используя эти ключи...

Тут он понял, что допущена непонятная ошибка. Он взял придвинутый заботливой рукой Оксаны Федоровны стакан и с некоторым неодобрением на лице выпил, после чего снова уставился в монитор.

«Инкультурация ориентирована на развитие творческих способностей к самостоятельным культурным практикам в существующих социокультурных условиях..» — он прочитал этот интернетный мусор, неизвестным образом проникший на страничку мониторинга и задумался над смыслом прочитанного очень надолго.

Обратно его вернуло лишь кряхтение несколько ожившего Чугунца:

— Ну так справишься, хм-хм? Или как, хм-хм?

— Да, наверное, есть выход, — глубокомысленно ответил Адольф Моисеевич. — Просто нужно авторизацию пройти с постороннего адреса и подождать ответа — глядишь, ключи и вышлют.

— Ты мне вот что проясни, — произнес начавший пьянеть Чугунец, — вот это всё зачем нужно?

— Ну как же, — ответил Адольф Моисеевич, — я ведь говорил уже. Чтобы развиваться, нужно знать место, где мы сейчас. Чтобы ясно было, где мы находимся!

— А так не ясно? — гнул свою линию Чугунец, — известно где, в самой .... И тут он употребил совсем непарламентское выражение, что для него было совсем нехарактерно.

— Нет, вы не поняли, — заторопился Адольф Моисеевич. — Нужно совершенно определенно знать, выполняются ли поставленные задачи и как именно они выполняются.

— Допустим, не будет помидоринга, что изменится? — упорствовал Чугунец.

— Трудно так прямо ответить, — начал Адольф Моисеевич, но тут он снова вспомнил фразу про инкультурацию и в очередной раз крепко задумался.

— А то, что затраты меньше, а результат больше, — вот и вся на хрен диалектика. — подытожил Иван Тимофеевич. — Если у нас в образовании помидоринги и украдитации всякие отменить, то работа лучше пойдет, потому как по прямому пути. Да еще паразитов навроде тебя, бывшего, стряхнуть — опять же деньги появятся. Скажешь, не так?

Адольф Моисеевич молчал, поскольку видел в директорских словах железную логику жизни. В голове крутились воспоминания о Финляндии, где почти отсутствовал ведомственный контроль за школами, а образование находилось на лидирующих позициях в мире. Все эти мысли, незаметно отшлифованные очередной порцией спиртного, вдруг привели к парадоксальному выводу: накопление денег как единственная парадигма чиновничьего житья есть величайшее зло.

Чугунец, словно вспомнив о важном деле, вдруг сказал:

— Кстати о кадрах. Завтра у нас нерабочий день, по причине прихода из рядов Вооруженных Сил Березина Николая, выпускника нашей школы. Так что надень одежду поприличнее и приходи к школе к двенадцати часам — встретим как полагается, как у нас заведено.

Допив предложенный Оксаной Федоровной стакан, Адольф Моисеевич при-

нялся за дело и через пару часов мог торжественно рапортовать о регистрации личного кабинета на странице мониторинга, чем вызвал очередной приступ панибратства и щедрости Чугунцов.

Дорогу домой он помнил плохо, а сразу по пришествии рухнул на кровать и заснул мертвецким алкогольным сном.

На следующий день он встал поздно, поеживаясь от прохлады, первым делом растопил печку и согрел травяного чая, сдобренного медом. Он вспомнил, что, несмотря на понедельник, день обещал быть хорошим. Адольф Моисеевич пошел к школе, мурлыкая под нос какую-то привязавшуюся мелодию, недоумевая от неожиданно нахлынувшего праздничного настроения — несмотря на ноябрь, день был легким и солнечным.

У школы было многолюдно: столы уже стояли во дворе, играла гармошка, и танцевали девушки из старших классов, а Настасья Русских стояла во главе стола, украшенная лентами и венком из засушенных, но прекрасных полевых цветов. Женщины сновали, расставляя на столе плетеные корзинки и фарфоровые тарелки с угощением, а также запотевшие старорежимные графины с разноцветными напитками. Серега — физрук сидел на лавке у стола с необычайно серьезным видом. Он был одет в костюм и сорочку, выглядевшие на нем несколько нелепо. Николая Силованова не было видно, но Адольф Моисеевич догадался, что он вместе с Чугунцами и Кларой Леопольдовной поехал к Забияке для встречи солдата. Игравшее солнце делало весь этюд красочным, торжественным и веселым. Неподалеку переминался с ноги на ногу старик Корчёмкин, он был, как всегда, галантен в своем фирменном камуфляже, но, что особенно удивительно, на его груди сиял почетный знак неизвестной, но, видимо, очень почитаемой им организации.

Адольф Моисеевич заметил, что у некоторых присутствующих на лацканах или просто на грудных карманах отливали серебром и золотом регалии, полученные еще в далекие советские времена. Все это было трогательно до такой степени, что Адольф Моисеевич подсел к Сереге и поинтересовался, не нужна ли какая помощь.

— Какая от тебя помощь, доходяга, — отозвался Серега, задумчиво поигрывая алюминиевой вилкой в руке, — пришел — молодец. Понимаешь, значит, как это важно — встретить нового человека. Да и он тебя приметит, глядишь, больше нас станет, если, конечно, Николай захочет здесь остаться.

Адольф Моисеевич присмирел, размышляя о демографической политике. Но тут произошло движение — гул голосов смолк и все, как по приказу, повернули головы в сторону показавшейся на окраине деревни процессии. Расстояние не позволяло рассмотреть идущих, но то, что в самой середине военный, сомневаться не приходилось.

Между тем к Настасье присоединился Интеллигент, в нормальных очках и светском костюме, а вперед вышли двое селян с хлебом и солью — видимо, родители прибывающего Николая Березина.

Адольф Моисеевич щурился, рассматривая идущих — как он и предполагал, это были Чугунцы, Николай Силованов, Клара, но один человек, шедший последним, никак не поддавался идентификации, это заметили многие, и по толпе прокатился ропоток удивления.

Наконец гости подошли, и солдат, получив из материнских рук хлеб, поклонился и, передав хлеб дальше, Оксане Федоровне, крепко и восторженно обнял отца, потом расцеловал мать, а затем уже пошел к остальным, смачно здороваясь за руку и подмигивая раскрасневшимся девушкам.

Дошла очередь и до Адольфа Моисеевича, тот разволновался, но практика пребывания в деревне возобладала, и он, протягивая руку для крепкого рукопожатия, представился:

— Адольф Моисеевич Высенко, учитель.

— Эге, братан, — вежливо ответил Березин, — говорили мне, что новые люди появились, и то уж хорошо, что родная деревня живет. За столом еще поговорим!

Он отправился к Настасье и Интеллигенту, словно те были почетными свидетелями. Впрочем, возможно так оно и было, поскольку Николай сел во главе стола, оставив место справа родителям, а слева — Настасье и Интеллигенту. К удивлению Адольфа Моисеевича, Чугунцы скромно устроились сбоку, и брать в свои руки ведение праздника не собирались.

Неизвестный нашел себе место в самом конце, рядом с Корчёмкиным, и, как ни странно, у них завязалась беседа.

Между тем слово взяла Настасья:

— Два года назад провожали мы тебя, Николай, на святой долг — службу Отечеству. Наши наказы были как и всегда: служи честью и верой, защищай Родину от врагов. Знаем, что ты не посрамил землю отцов и нес свой крест верно, как и положено защитнику Отечества. И вот настал день сегодняшний, и ты, как человек, побывавший в иных землях и дышавший чужими ветрами, вернулся с положенными почестями и славой. Так поднимем кубки за твое возвращение и верную службу!

После того как все торжественно выпили, Николай разразился ответной речью, коротко описал положение дел в армии и в мире, чаще всего употребляя выражения «бардак» и «хана», после чего поднял стакан и поклонился одной головой, выражая признательность всему обществу.

Внимание Адольфа Моисеевича все более отвлекалось на непонятного незнакомца. Одет тот был очень даже недурно и, если бы не нелепые темно-зеленые сапоги, то вполне сошел бы за топ-менеджера небольшого завода. Впечатление на Адольфа Моисеевича произвели запонки, которых он не видал уже несколько месяцев, и изредка сверкавшие часы Patek Philippe, средней ценовой категории, или их хорошая копия.

Корчёмкин также был удивлен внешним видом гостя, его галстуком Gianfranco Ferre и запахом неизвестного одеколона, имевшего ненавязчивый, но крайне дорогой аромат. Их разговор, за которым ревниво наблюдал Высенко, крутился вокруг вещей далеких и, как казалось Корчёмкину, запредельно неземных.

— Как там в Москве? — вопрошал Корчёмкин

— Обычно, — отвечал незнакомец. — В эту пору там холодно, серо и неуютно.

— Вы зимой за границу? — поддерживал беседу Корчёмкин.

— Я и сейчас за границей, — таинственно отвечал незнакомец, — но сейчас такое время, что понятие границ стирается, если же вы имеете в виду южные страны, то я стараюсь спланировать работу так, чтобы оказаться осенью в Таиланде или Австралии.

— Да-да, — кивал Корчёмкин, — такая работа. Я тоже вот здесь с небольшим бизнесом поселился, но выезжаю очень редко. Дороги, знаете, суета.

— Я заметил, — отвечал незнакомец, — даже бронетранспортер у реки застрял.

— Военные, — с некоторым неодобрением откликался Корчёмкин, — у нас очень большая армия и слишком много устаревшего оборудования. Но если вас интересует конкретно этот БТР, то могу содействовать. Вы по этой линии тоже работаете?

— Бизнес есть бизнес, — уклончиво говорил незнакомец, — но я предпочитаю работать с людьми.

— Людьми бизнеса? — гнул свою линию Корчёмкин.

— И с ними тоже, — отвечал незнакомец. — Вы, я вижу, всех здесь знаете?

— Это да, — бодро говорил Корчёмкин, кажется, привыкая к манере пришлого

человека и соображая, как именно следует его использовать. — Вас кто-то конкретно интересует? Имена, фамилии, если хотите, полный биографический портрет.

— Сто пятьдесят второй федеральный закон, — неясно и, как показалось старику, насмешливо отозвался незнакомец. — Впрочем, чем дальше от центра, тем меньше законов.

— Согласен, — отвечал Корчёмкин, — так кто конкретно вам нужен?

— Вот этот солдат, Березин, из уважаемой фамилии? — вопросом на вопрос отвечал незнакомец, — Такая встреча, что даже не верится, наверное, вся деревня здесь?

— Так вам Колька нужен? — повелся Корчёмкин. — Так он нашенский, с самых младых ногтей. Родился в Москве, но с рождения, значит, тут проживал.

— А вот эта женщина с венком? — спрашивал он. — Ни дать ни взять царица!

— Настасья, — с неохотой отвечал Корчёмкин, — она, как бы вам сказать, человек совсем иной породы. Про нее вообще мало что известно, к ней сор не липнет. Так и живет — вроде бы и тихо, а вроде и главная она здесь, хоть и живет своим подворьем, без денег.

— Это видно, — говорил незнакомец, — терра инкогнито, бриллиант в навозе. Ну а рядом с ней принц Гарун-аль-Рашид? — насмешливо, но вежливо продолжал незнакомец.

— Интеллигент, — цедил Корчёмкин, — Леха Псушкин, записной алкоголик и тунеядец. Удивительно, как до сих пор жив. Шестьдесят девятого года рождения, аспирант-интеллигент-пропойца!

— Женат?

— Так кто за него пойдет? Хотя нет, кажется, в разводе, но уже очень давно.

— Алименты?

— Да что с него возьмешь?! — разгорячился Корчёмкин, вдруг осознавший, что незнакомец уж очень заостряется вокруг Интеллигента. — А вы почему интересуетесь?

— Бизнес, — снова неопределенно сказал незнакомец, — Ну а вы, насколько я понимаю, Корчёмкин Алексей Иванович?

— Так точно, — ответил польщенный Корчёмкин. — А откуда собственно...

— В районе вас знают, — перебил незнакомец, видимо решивший ни за что на свете не открывать своего имени. — Говорят, что бизнес ваш самый лучший и что вам половина деревни должна денег. Вот, скажем Псушкин много вам должен?

Корчёмкин в долг Интеллигенту не давал никогда и ничего, но его задело замечание, что не весь его бизнес ликвиден и рентабелен, поэтому он решил вести себя агрессивно:

— Такие сведения стоят очень дорого. Две тысячи. За всего Интеллигента с потрохами — хорошая цена.

— Две тысячи чего?

— Турецких лир, — пошутил Корчёмкин, но заметив серьезность взгляда незнакомца, решился на продолжение шутки. — Евро, конечно. В Европе ведь живем.

Тут он вспомнил о линии Европа-Азия, которая проходила не так уж далеко от их района и понял, что излишне распустил язык.

— Так лир или ойро? — уточнил незнакомец, на его лице не было и тени улыбки, темно-коричневые глаза смотрели жестко и холодно.

— Евро, конечно евро!

Но незнакомец совершенно неожиданно перевел тему разговора:

— А вот этот господин, что так внимательно нас рассматривает, у него такое одухотворенное лицо, совсем не похож на фермера.

— Моисеич, учитель наш, поэтому и на колхозника не похож.

Тут настала пора задуматься незнакомцу. Он был весьма сведущ в вопросах поиска людей, а, даже украшенное деревенскими реалиями естество Адольфа Моисеевича было до боли знакомо. Но, видимо, текущее дело занимало незнакомца значительно более, поэтому он снова принялся изводить беднягу Корчёмкина:

— Хотелось бы мне знать, чем дышит этот самый Интеллигент, но цена, предложенная вами, совершенно нелепа! — он еще раз взглянул на Адольфа Моисеевича, словно стараясь как можно лучше того запомнить. — Впрочем, возможно, мне и потребуются некоторые ваши услуги.

После этого разговор прервался.

Гулянье, как водится, претерпевало очередную эволюционную фазу, которая выразилась в том, что Николай Березин вышел из-за главного стола и пошел в массы, не забывая, кроме разговоров с односельчанами, наливать и выпивать. Когда он дошел до Адольфа Моисеевича, то с трудом вспомнил, что перед ним новый учитель, и стандартное предложение выпить показалось Николаю несколько бестактным.

Адольф Моисеевич кожей чувствовал интерес незнакомца к своей персоне и смекнул, что Николай, ехавший с ним в автобусе, а возможно, и до Москвы, мог дать весьма ценные сведения.

— Послушайте, молодой человек, — начал он, глядя мимо удивленных глаз Николая, — вот этот человек, что сидит рядом с Корчёмкиным, — кто он?

— Заезжий фраер, — ответил Николай, деловито наливая в свой стакан, — говорил, что агент из брачной конторы. Во бардак-то! Клиентов ищет для богатых дамочек.

Адольф Моисеевич удивился, но переспрашивать не стал. Он поднял свой стакан, клянясь дружить со всей семьей Березиных, что если какая там случится оказия, бардак, чтоб помочь мог и все такое, как положено. Ведь учиться надо, и если что, наука, она не лишняя, даже и в армии. А дети пойдут, их тоже надо будет учить, иначе хана. Короче, давай!

От выпитого на душе Адольфа Моисеевича потеплело, и он уже вырабатывал коварный план переговоров с неизвестным коммивояжером по продаже своей личности в банк данных женихов — чем черт не шутит? Но тут ему пришлось осознать, что в делах подобного рода необходима расторопность, потому как незнакомец уже стоял рядом с Лехой-Интеллигентом и, масляно улыбаясь, говорил о чем-то серьезном и приятном, не забывая время от времени окидывать быстрым взглядом окружающее пространство. Адольф Моисеевич испытал забытое чувство утерянной выгоды и уколы самолюбия. Однако решил свои планы несколько сдвинуть, а сейчас как следует выпить и закусить, но просчитался — неизвестный и Интеллигент вышли из-за стола и в деревне больше не появлялись.

Дикая охота

Характер северной погоды непредсказуем — теплый и солнечный денек сменяется холодом и кинжальным ветром порой за какой-нибудь час.

Со времени чествования Николая Березина прошла неделя, а небо уже не дышало осенью, его заволокли тяжелые тучи, и не успел Адольф Моисеевич вкусить радости от получения дров, как однажды утром вместо жухлой зелени за окном обнаружил белое покрывало из чистейшего, девственного снега. Он быстро растопил печь, но желанного эффекта не получилось, и он был вынужден топить второй вязанкой, с ужасом сознавая, насколько быстро ненасытный огонь потребляет его скромные ресурсы.

Клара Леопольдовна за могучей спиной Николая Силованова подобных проблем не испытывала. Учебный год был в разгаре, и она трудилась все интенсивнее, прикидывая возможности выпускников, за которых отвечала головой перед Оксаной Федоровной. Она ощутила зиму по другой причине — световой день сократился до неприличных четырех — пяти часов, а запасливый, но экономный Николай относился к идее ежедневного сожжения стеариновых свеч крайне негативно. Конечно, готовиться к урокам можно было и в школе, но Николай, приспособивший Клару Леопольдовну к приготовлению пищи из припасов, заготовленных в подполе, не любил ее задержек на работе, если сам не болтался в школе по каким-либо делам. С появлением снега прибавилось забот по хозяйству, козы требовали ухода, а подворье — борьбы со снеговыми заносами. Клара Леопольдовна начала уставать, и хотя психологические проблемы по совету Интеллигента она решила достаточно просто, им на смену пришли испытания физические.

Старик Корчёмкин наступление зимы встретил философски: его ограда была полна дровами на годы вперед. Он попивал то чаёк, то медовуху, поджидая гостей — ходоков за спиртом, а снег разгребал скорее для поддержания физических кондиций — народная тропа к его дому не зарастала сама собой.

Зима в Безбожнице обычно была похожа на торжественный анабиоз. С одной стороны — холод и темнота, с другой — спокойное потребление заготовленных ресурсов. Происшествий зимой почти не случалось. Но на этот раз события стали развиваться стремительно.

Первым неладное почувствовал Аргон и разразился лаем и бестолковой беготней по деревне, чем привлек всеобщее внимание. Через несколько минут озадаченные жители услыхали рев мощных моторов, а еще немного погодя, увидали кавалькаду несущихся в снежных вихрях снегоходов. На первом восседала закутанная в камуфляжный костюм и мощную светозащитную маску фигура с перекинутым через плечо карабином. Следом ехали еще четыре снегохода, на каждом по два человека с ружьями, а последний снегоход, видимо, самый мощный, пер здоровенные сани со скарбом. Многие решили, что начинается новая война, и поспешили укрыться в домах. Но процессия пронеслась по заснеженной околице в самый конец деревни, прямиком к дому Корчёмкина. Там рейдеры спешились, заглушили моторы и принялись курить, сопровождая этот процесс громкими разговорами и смехом, отчего патриархально-тихая деревня пришла в ужас.

Вожак кавалькады курить не стал, а прошел прямо к дому и скрылся внутри, выказывая манерами опытность и уверенность в себе.

Когда дверь в горницу открылась и гость опустил маску, старик увидел ухмылку Антона Безрогого.

— Ну, здравствуй, Алексей Иваныч, — проговорил Антон весело и, как показалось Корчёмкину, вызывающе. — Гостей принимаешь?

— Почему не принять, Антоша, — слезливо просипел Корчёмкин. — Ты чего это с таким громом. Конспиративную фазу решил закрыть?

— Сейчас это уже не важно. Вот людей тебе привез на постой. Охотники из города, любители острых ощущений.

— И на кой они мне?

— Масштабов не понимаешь, Иваныч. Охота сейчас в большом почете и дефиците. Вот представь: запустим сегодня пробный шар, если им понравится — пойдет слава, а там и до международных связей недалеко. Немцы, например, очень любят по весне глухаря добыть. Две тысячи евро — с каждого, улавливаешь!

— Улавливаю, Антоша, — ответил Корчёмкин, прикидывая свою будущую долю и возможные затраты. — Сейчас-то кого будете промышлять?

— Сейчас лося хотим добыть. Так зову мужиков? Ты пока медовухи приготовь. Это для них экзотика, водки у них и так навалом, а вот твоего товара они и не нюхали. Да не скупись, ты, — добавил Антон, заметив кислое выражение на благообразном лице Корчёмкина, — все окупится, я отвечаю.

Пока Корчёмкин лазал в подпол за медовухой, Антон провел необходимую организационную работу, и вся ватага, дружно вооружившись припасами из саней и рюкзаков, бодро ввалилась в хату, от чего в ней моментально стало очень тесно.

Когда наконец все уселись за стол, украсив его предварительно различной снедью и походными стаканчиками из нержавейки, Антон провозгласил:

— Предлагаю выпить за нашу первую, дай бог, не последнюю, охоту и за хозяина этого дома, который приготовил специально для такого случая прекрасный напиток, можно сказать, нектар богов!

Никто не возражал, даже увидев нектар богов, который на первый взгляд казался жидким и мутноватым супчиком. Можно сказать более: приехавшие экстремалы уже после первого стакана почувствовали необычайный прилив красноречия и необыкновенную, хрустальную четкость мысли, какой не бывает после водки. Тосты полились, как и медовуха, обильно и ароматно. После третьего стакана Корчёмкин заметил:

— Так что, на охоту сегодня уже не идем?

— Почему это? — поинтересовался мордатый господин в шерстяном свитере. Корчёмкин пожал плечами, а господин попытался встать из-за стола, но тут же рухнул обратно, удивленно выкатив глаза.

— С ногами что-то не то, — произнес он озадаченно. — Эй, старик, ты что, отравил нас?

Он еще раз попытался привстать, но повалился, причем на этот раз мордой на стол, после чего и затих. Правда, его поведение не произвело никакого впечатления на окружающих, и они выпили еще, после чего начали падать на или под стол.

Корчёмкин поинтересовался у Антона, который после первого стаканчика лишь симулировал питье:

— Значит, говоришь, охотники?

— Городские жители, — резюмировал Антон. — Ну а мы с тобой поедем лосей искать. Да, и еще: набери людей в загонщики человек десять, обещай каждому по бутылке.

— Перебьются, — резонно заметил Корчёмкин, — по пузырю спиртяги, и будет с них.

Между тем за околицей собралась целая пресс-конференция. Жители, отошедшие от первого шока, потянулись к дому Корчёмкина, обсуждая на ходу подробности невиданного наезда удивительной техники, ее странные следы, похожие на зубчатую дорожку, и запах от выхлопа высокооктанового и даже синтетического топлива.

Адольф Моисеевич был среди первых по причинам, о которых несложно догадаться: он почувствовал свой шанс, и главным сдерживающим фактором, по которому он не полез прямо в горницу Корчёмкина, была осторожность. Памятуя о недавнем аресте и вытекающем из него уголовном преследовании он мучился одной мыслью: не было ли среди прибывших милиционеров?

Когда двери избы Корчёмкина отворились и перед всем честным народом предстал Антон Безрогий, в толпе загудел рой удивленных голосов.

— Ну что, земляки? — весело и трубно провозгласил Антон, — Чего зашугались? Я — это я. Вот на охоту приехал с друзьями, лося пойдем промышлять, кто желает — пожалуйста, он кивнул на дом, Алексей Иванович угостит.

Заметив, что даже такое перспективное предложение не вызывает у земляков ответных эмоций, он задумчиво уставился на Адольфа Моисеевича, словно что-то припоминая:

— Так это ты сейчас в моем доме живешь?

Адольф Моисеевич, совершенно не ожидавший нападения, стал оглядываться, словно ища поддержки, но все молчали, и он смутился еще сильнее:

— Это вы знаете, как вышло? Это случайно все, я не хотел!

Но Антон не дал ему договорить.

— Ничего, ничего, — это я так, для знакомства, — произнес он с ударением на последнюю букву. — Будешь, значит, завтра главным загонщиком, и, вообще, человек ты не глупый, так что будем дружить! Завтра чуть свет, часиков в шесть, приходи сюда.

— Всех касается! — добавил он, — пока в лесу снега мало — загоним лося да и погуляем потом на кровях!

Поездка в лес, которую обещал Антон, выдалась достаточно легкой. Объезжая небольшой перелесок в паре километров от деревни новоиспеченные охотники обнаружили свежий след. Антон удовлетворенно заметил:

— Ну вот, переход свежий, а выхода нет. Значит, тут они, лежку сделали, завтра расставимся по номерам, и мужики в загон пойдут со стороны деревни. Как думаешь?

Корчёмкин, который не очень удобно чувствовал себя на снегоходе без спецэкипировки, конечно же, не возражал:

— Дело простое, если конечно лоси не поднимутся раньше. Только вот сам лесок не очень мне нравится, что-то тут не так.

— Чего ж тебе еще? — удивленно спросил Антон, — совсем близко, мясо возить удобно, просеки хорошо простреливаются — бери — не хочу.

— Да нет, Антоша, — продолжал гнуть свое Корчёмкин. — Предчувствие у меня какое-то нехорошее. Вот, помнишь, ты ко мне без известия приехал? Так я еще за сто шагов почуял неладное, аж домой заходить не хотелось. Вот и сейчас, не лежит душа, хоть тресни.

— Перестань, Алексей Иваныч, ты же в этом лесу небось каждую тропинку знаешь!

— Это Интеллигента можно было спросить, где какая тропинка, он больше понимал. А теперь некого спрашивать, Антоша, пропал он вместе с пришлым коммерсантом. Нарисовался тут тихим фраером, мол, из брачной конторы, а у самого на руке часы за десять штук баксов. Настасья и Интеллигент в последнее время вроде как сдружились. И вот заманивает этот неизвестный нашего Интеллигента с первого слова — и все. При этом Настасья остается как и была — одна-одинешенька.

Антон помрачнел лицом и осунулся, было видно, что разговор задел самые потаенные струны его души.

— А ты с Настасьей говорил по моему делу?

— Говорил, Антоша, даже не дослушала. Я ей и так и сяк: озолотит, дом новый поставил, свое хозяйство, да и мужик — ого-го. Дай бог каждой такого.

— А она? — быстро спросил Антон.

— А что она, — говорит, что от чужого несчастья своего счастья не построишь.

— Какого несчастья?

— Не знаю, Антоша, тут объяснений много можно найти. Я ведь предупреждал, что баба эта непростая.

Они замолчали, размышляя каждый о своем, однако погода не располагала к долгим посиделкам.

— Так что, Алексей Иванович, — спросил Антон, -поедем дальше искать или оставляем вариант с этим перелеском?

— Оставляем, — нехотя отозвался Корчёмкин. — Ты, Антоша, гостей проинструктируй как следует, чтоб стволами не крутили, а то перестреляют загонщиков к чертовой матери.

— Вот это дело, — согласился Антон, — первым делом с утра надо будет переговорить, что и как.

— И насчет мужиков, — пусть их довезут, а то какое-то рабовладение получается: господа на тройках с бубенцами, а холопы — пешком?

— Заметано.

Всю ночь перед охотой Адольф Моисеевич не спал. Ему мерещились снежные купелеи, которые поджидают незваных гостей, опутывают тросами ветвей и морозят до смерти. То вдруг приходили мысли, что все окончится счастливо, и он, Адольф Моисеевич, уедет на мощном снегоходе навстречу прежней жизни. Иногда в нем просыпался древний инстинкт, и он представлял, как охотники подстрелят красавца лося с огромными рогами и как потом во главе с главным загонщиком Адольфом Моисеевичем устроят веселую пирушку. Приближение условленного часа Адольф Моисеевич почувствовал, словно внутри у него спрятался хронометр — он пошарил в темноте и зажег свечу. Даже не глядя на механические настенные часы, которые Чугунец выделял всем учителям на учебный год, он понял, что уже около шести часов и пора вставать. Услыхав веселый лай Аргона, который тоже собрался на охоту, Адольф Моисеевич утвердился в мысли, что навыки проживания в деревне могут принести пользу в последующей жизни.

Он быстро перекусил вчерашним вареным картофелем, благоразумно завернул в тряпицу кусок деревенского хлеба, подумал и о квасе, только вот подходящей тары для него не находилось, но Адольф Моисеевич вспомнил, что в чулане видел пластиковую бутылку. Он нашел эту бутылку, но даже при минимальной освещенности заметил пятна пыли, перемешанные с черноватым.

Он стал тереть бутылку. Тут начало происходить примерно то же, что при трении волшебной лампы Аладдина: знакомый розовый пар сгустился в подобие человеческой фигуры значительно быстрее, чем летом, и богоподобный лик Сергея Могу показался Адольфу Моисеевичу на этот раз неприятным и надменным.

— Здорово, Адольф! — весело начал Могу, но, заметив гримасу Адольфа Моисеевича, быстро перешел на деловой лад. — Гляжу, ты уже обжился?

— Здравствуй, Сережа, — без энтузиазма ответил Высенко. — Опять с новостями или так, развлечься с утра пораньше?

— Почему же развлечься? Вот снова решил твой зад спасти.

— Как в прошлый раз?

— Нет, пожалуй, серьезнее. Ты куда это в такую рань собираешься?

— На охоту иду, на лосей.

— Ты ж не охотник, Адольф, я же помню, как ты чуть в обморок не упал, когда мы с мужиками зайца застрелили.

Адольф Моисеевич сердито засопел, вспоминая, как, услыхав крик подраненного зайца, едва не заплакал перед всей честной компанией.

— Так вот, Адольф, — продолжал Могу, — предчувствия у меня совсем хреновые, лучше бы тебе никуда не ходить.

— В ангелы-хранители лезешь? — неожиданно зло огрызнулся Адольф Моисеевич.

— Пойми, чудило! –проникновенно заговорил Могу, — жалко просто стало

тебя — дурака. Ведь ты уже почти шизофреник — с бутылкой разговариваешь, а что дальше? Живешь простой, понятной жизнью, в общину местную вписался — молодец, но сам лезешь в петлю!

— Чего это, — пробурчал Адольф Моисеевич, — с какой это бутылкой я говорю?

— Пойми, что меня здесь нет, да и быть не может! — загорячился Могу, — это просто психология, ты спишь и представляешь себе влиятельного собеседника. Пройдет немного времени, и я стану твоим воображаемым другом, а это уже вполне определенный диагноз. Заметь, диагноз, который, как и многое другое, пришел к нам с запада. Но дело даже не в этом! Ты не того человека выбрал в друзья! Понимаешь, я, в отличие от своей фамилии, практически ничего не могу, ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях! Я не могу делать того, чего мне хотелось бы! — Он жестом руки не дал Адольфу Моисеевичу возразить. — Как же так получилось, что начинали мы с тобой с желания обустроить жизнь и быть счастливыми, а заканчиваем: ты –свободой, а я — тюрьмой духа? Да у тебя сейчас есть все, о чем я даже помечтать не могу! — Могу остановился, сл — Такие сведения стоят оч овно переводя дух.

— Чего это ты погнал? — спросил Адольф Моисеевич, — если хочешь, я охотно поменяюсь с тобой местами. Вот и живи на свободе, а я как-нибудь в кабинете перекантуюсь, с секретаршей и горячим кофе.

— Ты натурально не видишь выгоды своего положения, — сказал Могу печально, -я просто предупредить хотел, да и повод нашелся.

— Какой повод? Откат мимо рук прокатился? — язвительно поинтересовался Адольф Моисеевич.

— Да нет. Мы тут катер купили за шестьдесят миллионов, а потом оказалось что на его обслуживание еще десять каждый год нужно выделять. А бюджет всей твоей школы вместе с потрохами — до трех не тянет, вот я и подумал — а на кой черт нам этот катер? Людей спасать на «Flippere»? Не смешно даже.

— Ты что, совесть завел? Так обратись через прессу к народу, покайся, что не так жил.

— Злой ты, Адольф, — печально заключил Могу, — я тебе как другу, а ты смеяться. Не хочешь по-хорошему, не надо. Не ходи на охоту, пожалеешь!

С этими словами дух начал дематериализоваться и через несколько секунд исчез, а Адольф Моисеевич судорожно вздрогнул и …проснулся. Он еще долго тряс головой, снимая наваждение, потом пошел в горницу, налил в бутылку кваса, оделся в зеленую телогрейку и строительные штаны из грубого сукна, натянул яловые сапоги и побрел в морозную тьму, размышляя о своем психическом состоянии, а также причинах, которые могли его вызвать.

У дома Корчёмкина было уже довольно людно. Продравшие глаза охотники выходили на крыльцо, кряхтели оглядывали местность и возвращались в избу. Деревенские мужики, коих набралось восемь человек, покуривали, негромко обсуждая новости, делая упор на возвращение Антона и возможные последствия этого чудесного события. Адольф Моисеевич почувствовал новое настроение, не праздничное или торжественное, но несомненно приятное, побуждающее и волнующее одновременно.

На крыльце появился сам Антон, видно было, что он волновался, но самообладания не терял:

— Значит так, братва! — начал он, — до леска вам лучше прямо сейчас протопать пешком, чтоб тихо. Ездить туда-сюда поутру — опасно, можем лосей встревожить. Я дам вот ему, — Антон указал на Адольфа Моисеевича, — маленькую рацию. По

его команде все пойдете цепью в загон. Как пройдете до просеки — шумите , топайте чтобы охотники на номерах вас за зверя не приняли. — он помолчал, видимо собираясь с мыслями. — Ну, как говорится, ни пуха ни пера!

Мужики начали тихонько двигаться, Аргон, увязавшийся-таки за Адольфом Моисеевичем, нетерпеливо мотал головой и фыркал, нюхая снег, поэтому ничего не оставалось делать, как взять у Антона небольшую «уоки-токи» и последовать за общей массой. Дорога не показалась Адольфу Моисеевичу слишком трудной. Некоторую уверенность придавало присутствие Николая Силованова и отсутствие Сереги-физрука. Тот принципиально не пошел «на мажорный флэш-моб за копейки». Николай же расценивал акцию с чисто экономических позиций, рассчитывая на хороший кусок мяса и поллитру спирта, что и полагал высокой оплатой за однодневную работу.

Мужички попроще были рады хоть какому-то развлечению и предстоящей попойке под свежую печенку. Через некоторое время, когда ближний лесок уже замаячил черноватым островом на фоне кустарников, загонщики услышали звук снегоходов, которые везли охотников на номера. Однако Адольф Моисеевич, слабо разбиравшийся в охотничьих тонкостях, решил, что хозяева жизни развлекаются, выбивая из себя вчерашний хмель и снова внутренне возмутился несправедливостью жизни, не решаясь, впрочем, на открытый бунт. Остальным мужикам на философские проблемы было наплевать и, когда они дошли до леска, то остановились и начали выжидательно смотреть на Адольфа Моисеевича, который задумчиво стоял, потирая рацию в кармане холодной, начинавшей неметь рукой. Аргон шнырял по окрестным кустам без голоса, словно сознавая серьезность предстоящей операции. Многочисленные следы лесных жителей говорили ему много, и в его собачьей душе просыпались более древние инстинкты, чем чувство социальной справедливости.

Наконец из хриплого динамика прозвучал невнятный шорох и изменившийся до неузнаваемости голос Антона:

— Все. Мы на номерах, потихоньку начинайте гнать!

Адольф Моисеевич, не сразу найдя кнопку «talk», торопливо полупрошипел:

— Понял!

После чего взмахнул рукой в сторону леса — и охота началась.

Назвать мероприятие охотой можно было условно. Правда, идти было трудно, лес был глуховат, и, несмотря на совсем тонкий слой снега, общее направление поддерживать можно было только по шелесту справа и слева, где продирались через ветви и кочки сотоварищи. Постепенно Адольф Моисеевич начал ловить себя на мысли, что ничего не слышит, и если бы Аргон не появлялся все время с разных направлений, но неизменно и дружелюбно мотая хвостом, то вновь испеченный охотник мог удариться в панику и повернуть обратно по своим же следам.

Так или иначе, загон продолжался, при этом на пути попадались все более непреодолимые препятствия, пока Адольф Моисеевисч не набрел на совершенно невероятный пейзаж: в центре леса вдруг обнаружилась полянка, до такой степени свободная вверху и перекрученная сломанными стволами деревьев на земле, что сама мысль пройти по этому месту, более напоминавшему место падения тунгусского метеорита, казалась невозможной. Аргон как на беду куда-то запропастился, и близкий страх, перемешанный с аллюзиями из «Войны миров», начал гнать в кровь усиленные порции адреналина.

Адольф Моисеевич решил обходить непонятную поляну слева, где должны были находиться другие загонщики, но, видимо, скорость их продвижения по лесу была значительно выше, и он отстал. Как раз в тот момент, когда он вознамерился

совершить обходной маневр, дико взвыл Аргон, а лес наполнился хрустом и тяжелым уханьем, от которого Адольф Моисеевич, кажется, моментально поседел, превратившись в статую. Огромные серые тени напролом понеслись с противоположной стороны «поляны», Аргон, не унимаясь, лаял, лес гудел, а звуки прыжков производили впечатление внезапно заработавшего «Сибирского цирюльника».

Адольф Моисеевич нелепыми прыжками понесся в противоположную сторону и, когда под ноги стали попадаться упавшие стволы, он вдруг почувствовал, что проваливается в яму, оставшуюся от вывороченного корневища, наступив на что-то мягкое.

Он судорожно начал молотить ногами и руками, как в кошмарном сне, пытаясь выбраться из ледяного ужаса. Он рвался и на четвереньках рыхлил снег, пытаясь высвободить застрявшую ногу. Когда силы начали оставлять его, перед самым носом вдруг возникла всклокоченная морда Аргона, и Адольф Моисеевич схватил пса обеими руками, не прекращая дрыгать ногами. Он наконец вырвался из снежной ловушки и пополз. То мягкое, что поджидало незадачливого охотника в яме под вывернутым деревом, вдруг вознеслось и издало душераздирающее рычание. Аргон вырвался и бешено забрехал, вытанцовывая по кругу, вздыбив шерсть на загривке и сверкая глазами.

Когда Адольф Моисеевич обрел зрение и оглянулся назад, то увидел оскаленную пасть дикого, разбуженного в самый неподходящий момент медведя.

Адольф Моисеевич выпрыгнул в высоту из позиции стоя на четвереньках и оказался в нескольких метрах, а Аргон, прикрывая человека, кинулся в бой, стремясь обойти медведя сзади и схватить за хвост. Лес огласился истошным лаем, в этот момент совсем недалеко загрохотали выстрелы, и Адольф Моисеевич вспомнил про рацию. Он вытащил ее из обледенелого кармана и, нажав кнопку вызова, заверещал:

— Здесь медведь! Медведь! Я наступил на медведя!!!

Рация что-то пискнула в ответ, но он не хотел слушать, продолжая выкрикивать бессвязные короткие предложения, перемежая их криками ужаса и матом. Однако охотники были далековато и прорваться в самую чащу на снегоходах, конечно же, не могли.

Озверевший медведь кидался на Аргона, стремясь зацепить его лапой, из которой, как по волшебству, вылетали огромные изогнутые когти, но, к счастью, сделать это ему не удавалось, и Адольф Моисеевич отползал все дальше и дальше. Наконец он почувствовал себя в относительной безопасности, укрывшись за деревом. Медведь, видимо, уходил, и звуки звериного боя отдалялись, пока громко и однотонно не завыл Аргон, после чего послышался только отдаленный треск сминаемых сучьев. Адольф Моисеевич перестал жать кнопку вызова на рации, поэтому через несколько секунд она ожила:

— Чего у тебя там? — хрипел динамик, — Выходи уже, мы лося завалили, так что «с полем», сейчас пить будем. Все уже здесь, на просеке.

— Медведь, — проговорил совершенно обессилевший Адольф Моисеевич. — Медведь бежит, наверное, на вас, его Аргон гонит.

— Повтори! — взвыла трубка, — где медведь? Откуда?!

— Я не знаю, — ответил Адольф Моисеевич, — я шел и провалился, а оттуда медведь. Аргон его за хвост стал кусать, он и убежал.

Слышно было, как на том конце Антон начал орать: «Все по номерам, заводи, сейчас медведь выбежит, надо валить его, а то шатуном станет, деревне житья не даст!»

После чего все затихло. Адольфу Моисеевичу ужасно захотелось спать, и, воз-

можно, он так и замерз бы под деревом, но, услыхав отдаленные выстрелы, он решил выбираться. Вспомнив о квасе, который так и лежал во внутреннем кармане, он достал его и жадно выпил, пытаясь стряхнуть наваждение, которое обволакивало и мутило сознание. Двигаться категорически не хотелось, но все же он пошел прочь от страшной поляны, навстречу красным лучам восходящего солнца. Оставшуюся дорогу он не помнил.

Когда Николай Силованов подхватил его под плечо и вывел на просеку, где уже пылал костер и вкусно пахло дымом и кровью, сознание вылетело из его тела. Следующее прояснение наступило уже в собственной горнице, где трещали дрова в печи, а неизвестная женщина в белом платке заботливо поила его кипяченым молоком с медом.

Между тем на просеке происходили весьма интересные события: после получения сообщения о медведе все охотники повскакали на снегоходы, оставив убитого лося под охраной Николая Силованова. Они быстро рассыпались веером по просеке, но Антон, имевший общее представление о повадках разбуженного медведя, поехал дальше и не ошибся. Медведь уходил в сторону деревни, и на его перехват оставалось совсем мало времени, поскольку прямо по курсу вырастал совсем другой лес — непроходимый не только для снегоходов, но и пеших загонщиков. Антон широкими взмахами призвал всех стрелков к преследованию, и они понеслисть через мелкий кустарник, взлетая на кочках и проваливаясь в невидимые под снегом лужи. Медведь был уже совсем близко к лесу, и некоторые горячие головы начали беспорядочную стрельбу, наудачу пытаясь подранить зверя. Последним спешился Антон. Оптика его карабина вполне позволяла стрелять с расстояния в четыреста метров. Он тщательно прицелился и нажал спусковой крючок. Ухнуло. Было отчетливо видно, как от загривка медведя отлетел порядочный кусок шерсти, но уверенности в выстреле у Антона не было. Меж тем хищник скрылся в первой гряде елей, и охотнику не оставалось ничего другого, как только вновь сесть на снегоход и ехать осматривать след. Крови на снегу было совсем мало, и по ее цвету можно было предполагать только совсем легкое ранение. Это было плохо. Мало того, что медведь был разбужен, так он стал еще и подранком.

Подтянулись остальные охотники, они были уже навеселе, и хоть Антон говорил, что до конца охоты не следует употреблять алкоголя, фирменные фляжки, без которых участники сафари не представляли себе этого действа, были уже наполовину пусты.

— Так, мужики, — обратился Антон ко всей компании, — медведь ушел, и достать его в этом лесу — считайте бесполезно. Я сейчас пойду по следу, если начнет кровить — попытаюсь его добрать. Вы поезжайте на просеку, разделывайте мясо и угостите загонщиков. Я скоро!

Слишком скоро ему обернуться не удалось: след медведя петлял и уклонялся по самым непроходимым кустам, а капли крови, кое-где обагрявшие след, заставляли Антона продвигаться дальше. Так он тропил медведя не менее часа, пока не убедился в бессмысленности этой операции. Он подумал, что неплохо было бы взять собак и еще раз попробовать отыскать лесного хищника. Тут ему пришла мысль, что Аргон на просеку не выходил, да и вообще давно не было слышно его веселого, заливистого лая. Антону сделалось кисло, и он решил возвращаться, тем более что издалека были явственно слышны выстрелы, которые могли говорить только об одном — компания уже здорово набралась и вымещает свой охотничий азарт на воронах, которые наверняка слетелись к месту добычи лося.

Он почти не ошибся. Охотники первым делом начали фотографироваться с

трофеем на телефоны, которые, к слову сказать, все равно не работали по прямому назначению, и на цифровой фотоаппарат, припасенный одним из гостей. Потом им пришла мысль отрезать голову лося и уже с ней разыгрывать не совсем художественные мизансцены. Подпоив мужичков, которые начали разделывать тушу, охотники решили снимать всю операцию на видео, а некоторая часть возмутилась стрекотанием сороки, и за той началось форменное преследование со стрельбой и громкими выкриками. На беду, один из охотников попал в шапку снега на еловой верхушке — она восхитительно разлетелась, вызвав целый водопад снега. После сообщения, что такой эффект повлекла дробь, примененная пятым номером, вся компания в течение десяти минут развлекалась уничтожением боеприпасов. На звуки этой какофонии из леса появился Адольф Моисеевич. Он был очень бледен, а при встрече с Николаем Силовановым рухнул на снег без сознания. Его тут же попытались напоить водкой, но организм новоиспеченного загонщика не принимал алкоголя, и Николай увез Адольфа Моисеевича домой на снегоходных санях, приготовленных к вывозу мяса.

Когда он вернулся, компания уже не вязала лыка, и ему пришлось грузить многопудовые окорока вповалку с наиболее «отличившимися» охотниками, а затем перевозить их к дому Корчёмкина, который с неудовольствием наблюдал эту картину, время от времени наделяя подошедших загонщиков пузырями со спиртом.

К моменту прибытия Антона на просеке оставалась шкура, голова и требуха от некогда могучего красавца, костер уже догорал, снег был усеян стреляными гильзами, полит кровью и кое-где продуктами жизнедеятельности. Охотники, еще хоть что-то соображавшие, пытались устроить гонки на снегоходах, но, проехав некоторое расстояние неизменно падали или просто глушили моторы. Антон быстро распорядился к отъезду, помог Николаю Силованову с остатками, которые практичный Николай предложил на корм собакам и свиньям. В этом предложении был определенный смысл, поэтому Антон согласился. Они приехали в деревню последними. Стоявший на крыльце Корчёмкин подслеповато щурился, но, опознав прибывших, поинтересовался:

— Так что, Антоша, с полем?

— Можно и так сказать, — излишне бодро ответил Антон, чем вызвал очередную порцию качания головой и приохивания старика.

— Мясо я в сенях пока повесил, — доложил Корчёмкин, — только думается, что мужички подрастащили килограммов пятьдесят.

— Пусть так, — ответил Антон, — охотникам не столько мясо ценно, сколько ощущения. Экстрим.

— Куда теперь твоих приятелей? — поинтересовался Корчёмкин, — глядишь, до темна не проспятся, а там дорога дальняя, как бы неприятностей не вышло.

— Ничего, — успокоил его Антон. — До завтрашнего утра как — нибудь очухаются. Среди них работяг нет, опаздывать некуда, так что пусть спят.

— Слыхал, медведя подняли? — гнул свою линию Корчёмкин, — как бы он на пасеку мою не полез.

— Это да, — признался Антон, — как он в этом перелеске очутился — совсем рядом?

— Чего ж не очутиться? Очутиться много ли ума надо? — философски заключил Корчёмкин, — только оставлять его теперь нельзя. Добирать надо.

— Надо, — согласился Антон, — только ушел он в самый бурелом. Без собак не поднять, а собака не всякая на медведя годится.

— Так вроде Аргон за вами увязался? — спросил Корчёмкин, — Аргоша мой кого хошь возьмет!

— Не вышел он из леса, — потупившись, ответил Антон, — медведя держать в одиночку, это знаешь... Может, еще вернется?

Корчёмкин захлюпал носом, одновременно качая головой.

— Хреновое дело, Антоша, — сообщил он, слезливо глядя на компаньона, — ты ведь почти местный, это дело должен понимать. А-ну как не вернется? Другого такого уж не будет.

— Не будет. — согласился Антон. — Да только и жизнь на месте не стоит. Бизнес начинать всегда не просто — значит, такая судьба, никто его на это дело не подписывал, сам пошел. А собачек еще добудем, не переживай. Заживем!

Они болтали о перспективах бизнеса, о том, что местных мужиков можно будет обеспечить прибыльной работой, превратив всю деревню в охотничью базу с лошадьми и выгонами, большой псарней и домиками в наем. Их обуревало предвкушение больших дел и больших денег.

Аргон не вернулся, а в деревне с того дня начал править медведь. Он забирался в стойла и калечил коров, воровал припасы и рушил соломенные крыши сеновалов, наводя на жителей тоску и страх. Мужики несколько раз пытались устраивать облавы, но каждый раз дело срывалось, и неуловимый медведь растворялся в лесах, неизменно возвращаясь в деревню для грабежей и бесчинств.

Благие намерения

Долго шла морозная и вьюжная зима, долго и непомерно тягостно плыли сумерки безнадежных дней и не развязывались черные мешки беспокойных ночей. Но, как это бывало всегда, природа взяла свое, и, несмотря на суровый ветер и безразличие ледяных равнин, солнце начало припекать все сильнее, а на тропинках глухой патриархальной деревни появились сине-серые проталины, говорящие о приходе весны — самого веселого и скоротечного времени года.

Адольф Моисеевич был совершенно вымотан беспрестанными наездами Чугунцов, которые, по мере приближения единых государственных экзаменов, все более напоминали одуревающих от допинга бойцовых собак. Электронные базы данных Адольф Моисеевич делал уже автоматически, угрозы и понукания за ошибки почти не замечал, в его облике также наметились изменения, говорящие совсем не в его пользу. Клара Леопольдовна выработала некоторый иммунитет и даже время от времени отваживалась высказываться в свою защиту, мотивируя свою беспередельную смелость полным комплектом необходимых документов и хорошими результатами вменяемых учеников на предварительных испытаниях.

Когда на Безбожницу обрушился май, зацвели оттаявшие поляны и воздух наполнился гоготом перелетных гусей, деревню взбаламутило известие: пришедшие с рыбалки братья Чернухины в один голос утверждали, что на берегу Забияки происходят странные и необъяснимые события. Братья утверждали, что появились чужаки в строительных комбинезонах и, как по волшебству, на берегу вырос целый лагерь из передвижных аккуратных вагончиков, а непонятные люди ходят с трубками, похожими на дальномеры и пишут что-то в свои аккуратные пластиковые папочки.

Естественно, что такие грандиозные новости из столь неавторитетного источника требовали скорой проверки. Но вот вернувшийся из разведки Серега-физрук объявил пораженным односельчанам, что события имеют место быть, а причиной этих событий является строительство капитального моста, проект какового был создан еще при старом режиме, в начале девяностых. Теперь строительная фирма перепроверяла его пригодность к делу, а в ближайших планах имела скорое и качественное строительство.

Известие родило немало кривотолков и обсуждений, поскольку такое затратное мероприятие для такой глухой деревни, как Безбожница, без всяких перспектив к ее последующему росту, не могло не изумлять. Самые распространенные версии были: в окрестностях Безбожницы найдена нефть; в окрестностях Безбожницы найден газ; секретная версия.

Как водится на Руси, секретная версия победила, и Забияка через какое-то время стала напоминать Юкон времен Джека Лондона. Золотоискательством занялись все от мала до велика, и Чугунец был вынужден издать приказ по школе о запрещении пропуска уроков даже на мероприятия по вымыванию золота, хоть и сам тайком уходил в лес с небольшим подносом и саперной лопаткой. Масла в огонь подлил тот факт, что Николай Березин намыл небольшой самородок из неизвестного материала, внешним видом похожий на дулю. При этом даже экспертиза, проведенная Корчёмкиным, который на зуб определил, что «самородок» скорее всего является окаменелым пометом обыкновенной коровы, не дала повода усомниться в справедливости предположений селян. Однако золотая лихорадка прошла через пару недель сама собой. Между тем приготовления к строительству моста продолжались, и это было тем более удивительно, что версии о причинах строительства лопались одна за другой.

Слухи и кривотолки множились, но как-то мельчали, пока наконец не просочилась информация о том, что строительство оплатил безумствующий миллионер, уставший от жизни и решивший провести ее остаток в глухой тайге, на роль которой неведомым образом выбрал Безбожницу.

В целом жители позитивно восприняли этот слух и даже начали строить нехитрые житейские планы относительно будущего сотрудничества. Обсуждались десятки важнейших вопросов, как-то: женат ли этот самый миллионер? Почему он начал со строительства моста, а не дороги или, например, повальной газификации? Каковы предпочтения миллионера в плане досуга и будет ли он покупать скотину? Да и вообще, собирается ли он жить в Безбожнице зимой, когда затраты на связь с внешним миром безмерно вырастут?

Все эти важные и перспективные вопросы обсуждались охотно и повсеместно, нельзя было выйти на улицу, чтобы не услышать мнение о характере сумасшествия будущего односельчанина. В ход шли научные термины, такие как «деменция», «шизофрения», «кондратий» и даже «тудым-сюдым».

Настасья Русских была единственной аборигенкой, которая избегала подобных обсуждений. Она казалась неразговорчивой и замкнутой, почти перестала навещать Адольфа Моисеевича, в одежде полюбила неброские цвета и темные платки, словно готовясь к трауру. Быть может, она видела будущее деревни в несколько ином свете, чем остальные?

На самом деле мост приносил всей деревне освобождение от вынужденной изоляции, свободу передвижения и новые экономические возможности. Но у любой медали всегда бывает две стороны, и эта не до конца осознанная вторая сторона, по всей видимости, наводила Настасью на грустные, пессимистичные мысли.

Пожалуй, настало время рассказать, как и почему началось строительство. Осенью, когда вся деревня встречала Николая Березина из армии, а господин Корчёмкин пытался вести беседу с заезжим коммерсантом, в душе Лехи Псушкина, по кличке Интеллигент, происходило весьма ощутимое томление, поскольку давно ненадеванный костюм непривычно врезался в тело, а ситуация со встречей героя вводила в беспокойство. Он долго размышлял и, как всегда, сделал весьма философичный вывод о том, что успешно подавленная интеллектом часть его эго пыталась взбунтоваться.

Проще говоря, Алексей, как истинный интеллигент, чаял добра для своего теперешнего общества, но путей к оному не находил, даже простое возвращение из армии в родные пенаты было для него недоступным. Между тем признания за какой-либо совершенный благородный поступок очень хотелось.

В тот момент, когда мысли стали выпуклыми и вполне осязаемыми от выпитого, к Алексею и подошел незнакомец, так интересовавший Корчёмкина.

— Здравствуйте, Алексей, — произнес он бархатным тембром, достаточно бесцеремонно заглядывая в глаза. — Я вижу, что вы вполне разделяете пристрастие ваших земляков к общинной жизни?

Интеллигент поглядел на незнакомца, словно что-то припоминая, но не в силах воскресить в памяти предыдущие встречи, поинтересовался:

— Я не припомню вашего имени, но, конечно, приветствую. Мы были знакомы в прежней жизни?

— Возможно, — отвечал неизвестный, — только связь была односторонней, я читал ваши работы.

— Какие же? — вскричал польщенный Интеллигент, — в печати я тогда не выступал, это было очень трудно. Остается библиотека университета, там, возможно, сохранился мой автореферат.

— Именно, — благосклонно прогудел незнакомец, — «Развитие экзистенциальной мысли у народов Севера» — очень остроумный трактат. Только читал я его не в библиотеке, а в Интернете. Полезнейшее, знаете, изобретение.

— Так будем знакомы, — радостно предложил Интеллигент, — вы уж не обессудьте, что здесь ничего подакцизного нет. Но вот эта брусничная наливка — весьма приятный продукт.

Он полез за графином с красноватой жидкостью, но незнакомец, улыбаясь, отстранился ладонью:

— Вы знаете, у меня правило: на работе ни-ни.

— Как же? — огорчился Интеллигент, — Как-то не по-русски получается...

— Это ничего, Алексей, я, собственно, даже не гражданин этой страны.

— Кто же вы? Как мне вас называть?

— Если угодно, зовите меня Леонидом — так будет почти правильно.

Интеллигент насупился, чувствуя себя несколько уязвленным, Леонид это заметил и поспешил с объяснениями:

— Понимаете, Алексей, я, собственно говоря, человек дела, и все эти ненужные формальности опускаю как по причине их неэффективности, так и из-за прежнего печального опыта. А поговорить нам с вами действительно есть о чем.

— Уж наверняка не о моем реферате, — попробовал съязвить Интеллигент, но получилось не слишком убедительною.

— Как будет угодно, — ответил Леонид, — но мне более интересна другая тема. Скажите, Алексей, насколько вы готовы помогать людям?

— Это имеет отношение к делу? — все еще не совсем дружелюбно поинтересовался Интеллигент.

— Имеет, очень даже имеет, — ответил Леонид, — я скажу еще более откровенно. Вы когда-нибудь задумывались о судьбе людей с ограниченными возможностями?

— Это вы про инвалидов? — спросил Интеллигент, не понимая предмета, но заинтересовавшись.

— Инвалид в широком смысле этого слова также может иметь ограниченные возможности, но ограничения наступают не только вследствие военных ранений. Это, знаете, во всем мире не совсем так.

Заметив, что Интеллигент слушает внимательно и не задает лишних вопросов, Леонид продолжал:

— Парадокс этого мира или, я бы сказал, один из парадоксов состоит в том, что сила, равно как и слабость, взаимозаменяют друг друга при определенных обстоятельствах. Китайская концепция мироустройства как раз гласит, что мягкое в статистическом большинстве случаев побеждает твердое. Если выражаться проще, то люди с ограниченными возможностями в определенных обстоятельствах могут повелевать людьми с неограниченными возможностями бюджетов. Но даже и это не удивительно, более странно, что сами люди с ограниченными возможностями весьма зависимы от третьих, четвертых и даже тысячных лиц. Получается, что все мы так или иначе связаны! — он произнес последнюю фразу достаточно торжественно, словно открывая величайшую тайну мира.

— Очень интересно, — проговорил Интеллигент, — это значит, что и мы с вами уже в каком –то лимите отношений, даже не подозревая о существовании друг друга.

— Именно! — провозгласил Леонид, — и очень давно! Алексей, вы еще помните, что такое гемопоэтические стволовые клетки?

Заметив выражение недоумения на лице собеседника, перемешивающееся с алкогольной маловразумляемостью, Леонид решил еще упростить объяснения:

— Вы ведь сдавали кровь для банка, очень давно, когда были в рижской командировке?

Интеллигент припомнил, что и в правду когда-то присоединялся к международной программе против лейкемии, но как это было, он совсем запамятовал, правда, не настолько, чтобы забыть ответить: «Да».

— Вы помните условия той программы, — продолжал Леонид, — полная защита информации и бесплатность. Бесплатность для донора, — торопливо добавил он. — Это очень важно. Напомню вам, что возможность полной идентичности стволовых клеток в одном регионе составляет не более чем 1:50 000, а если брать мировые масштабы, то процент этот уменьшается стократно! Теперь представьте, что в далекой стране на берегу океана лежит умирающий мальчик, который ждет вас, Алексей! Что вы предпримите в этом случае?

— Я спасу его! — несколько пафосно ответил Интеллигент, но, вовремя спохватившись, добавил, — я постараюсь насколько это возможно.

— Возможно. И не просто возможно, а необходимо. Собственно, за этим я и разыскал вас, — сказал Леонид проникновенным голосом, — поверьте, нам нужно ехать совершенно не медля. У переправы нас ждет автомобиль, потом аэропорт. Вам еще необходимо получить загранпаспорт и визу, но это уже мои проблемы.

— Вы хотите сказать — прямо сейчас? — спросил Интеллигент, — то есть нельзя терять и минут?

Леонид, по-своему истолковавший последнее заявление, решил внести окончательную ясность:

— Насколько я понимаю ситуацию, здесь вас ничто не держит, нет, вы, конечно, можете закрыть дом, взять какие-то вещи. Но вы правы в том, что каждая минута дорога. Скажу более — дедушка умирающего ребенка очень влиятельный человек. Не здесь, — он мотнул головой, вновь неправильно истолковав мотивы Интеллигента, — В мире! Я уверен, что он выполнит любую вашу просьбу. Вы представляете перспективу? Вы сможете изменять мир!

— Я смогу помочь всем им? — Интеллигент повел рукой, будто собираясь в хоровод.

— Да разве только им! — горячо ответил Леонид, — Но начинать нужно с малого. И это малое — ваш human leukocyte antigens, решайте же!

— Я готов, едем. — просто ответил Интеллигент, после чего они пожали руки и, не медля более, отправились в путь.

Нет нужды описывать долгую дорогу и терпкий вкус другой жизни, про который Алексей Псушкин давно забыл, а вернее сказать, даже и не пробовал.

Потом были долгие процедуры в медицинском центре, когда он находился в удобном анатомическом кресле, а кровь, которую у него брали, медленно струилась по прозрачным силиконовым трубкам в неведомую даль. Процедуры были не очень болезненными, и часть крови он получал обратно. При этом весь персонал был настолько любезен, а проживание столь комфортно, что Алексей ощутил совершенно новое и волнующее чувство — уважение к себе. Возможно, это чувство зародилось еще тогда, когда врач с благородной сединой и невероятно ухоженным лицом через переводчика пояснял, что процедуру, которую следует пройти, называется цитаферез и связана она будет с забором периферийной крови, а также, что сам доктор просто поражен результатами повторного типирования, и вопрос о донорстве господина Псушкина — это вопрос спасения жизни ребенка.

Сидя в шезлонге на берегу моря рядом со столиком, на котором лежали фрукты и стояла бутылка с настоящим красным вином, стоимость которого приводить просто неприлично, Алексей все время возвращался мыслями к покинутой деревне. Он часто думал, что триумфально въедет в белом лимузине, а потом устроит настоящий пир для всех. Он представлял восторг и обожание, которым его щедро оделит вся община, а возможно, и Настасья станет для него благосклонной, а потом... Ах, как хорошо будет потом!

Он знал об этом наверняка. Несмотря на то, что Леонид, которого, впрочем, все местные называли Лео Глазманом, основательно прополоскал ему мозги насчет гуманности и подвижничества международного братства доноров, господин Чарльз Гаффин, дед умирающего мальчика, сразу поставил все точки над i, заверив, что гонорар господина Псушкина будет адекватным. Кроме того, он предложил господину Псушкину вообще не возвращаться на Родину и жить где-нибудь поблизости на собственном острове, с тем чтобы в случае нужды вновь стать донором.

Все эти обстоятельства очень льстили Алексею, и, хотя он и не собирался селиться на островах, по-прежнему полагая высшей удачей триумфальное возвращение в Безбожницу, с его мировосприятием произошли определенные изменения. Он перестал ощущать тягу к алкоголю, перестал болезненно воспринимать собственную никчемность и, более того, вдруг остро почувствовал свое предназначение и миссию, столь чудесным образом вошедшие в его жизнь. Он много думал о том, что мог бы сделать, располагая средствами, но мысль все чаще скатывалась к лимузину и Настасье, пока однажды, уже обдумывая техническую сторону вопроса, он не подумал о своем неумении водить автомобиль, равно как и о переправе через Забияку, которая без строительства моста казалась фантастической.

Первая проблема разрешилась достаточно просто: при первой же просьбе у него появился инструктор и белый восхитительный джип, на котором он катался сначала на специальном автодроме, а потом и по городу — благо движение там было совсем небольшим. Что касается моста, то обращаться с таким пожеланием он просто не мог, отчетливо представляя стоимость проекта.

Он думал о нем все чаще, прикидывал и сопоставлял, но никак не мог определиться с главным вопросом: по силам это мероприятие или нет? Он даже вытребовал русифицированный ноутбук и Интернет, пытаясь найти информацию о небольших мостах в России. В конце концов стоимость мостов начала превращаться для него в навязчивую идею, и он записывал все попадавшиеся в сети размеры и сто-

имость того или иного моста, из которых вывел среднее значение стоимости одного метра моста — 1,2 млн. рублей. Прикинув, что строительство на Забияке может обойтись в 30 миллионов рублей, он совсем успокоился, поскольку эквивалент одного миллиона долларов у него был, и, более того, даже его потеря существенно не затрагивала обещанного гонорара.

Месяцы тянулись очень медленно. Когда каждый день не связан с борьбой за выживание, то свободное время, словно издеваясь, приносит скуку и неприятные ощущения от безделья. Узнав, что мальчику стало значительно лучше и переливаний нужно не более чем на месяц, Алексей решил действовать, направив в Пай Лео Глазмана, который уже имел опыт общения с местной администрацией. Правда, Лео оказался не таким уж бессребреником, запросив контракт на 80 тысяч долларов, но Алексей не стал мелочиться, после чего в Безбожнице начались описанные события.

Открытие моста было назначено на 1 сентября, Чугунец, почувствовавший, что момент это несет серьезные перемены, распорядился вывезти старшеклассников для торжественной части к самой Забияке на школьном автобусе, с тем чтобы далее всей процессией проследовать в школу, но уже без застолий и неформальной части. Появление белого джипа с Алексеем Псушкиным за рулем, конечно, вызвало шок, но по приезде в деревню все само собой улеглось. Приветственные речи, удивления и восторги быстро сошли на нет, и началась новая страница в летописи Безбожницы, которая почему-то стала совсем непохожей на мечтания Алексея.

Эпилог

Прошло совсем немного времени, но жизнь в Безбожнице изменилась почти до неузнаваемости. Дело было даже не том, что автолавка, которая стала приезжать в деревню еженедельно, подорвала экономическую мощь Чугунца, и даже не в том, что Корчёмкин, не дожидаясь визита компетентных товарищей, вырубил и сжег свою плантацию, после чего самым непредсказуемым образом вымерли все его пчелы. Нет.

Исчез неповторимый дух или, даже можно сказать, исчезла идентичность, благодаря которой деревню и можно было называть заграничным и романтичным словом «регги». Боб Марли тут совсем ни при чем. Простая и веселая беззаботность деревенских будней сменилась сероватой и колючей правдой бытия, которая не просто не хотела уходить, а жила и побеждала, подобно ленинской идее построения коммунизма. Жители начали вступать в общественные отношения, которые нельзя было назвать ни капиталистическими, ни социалистическими. Страшненькая и выматывающая повседневность затопила деревню и вымела железной щеткой сострадание и доверие, озлобляя сердца и разрушая ментальность. Однако жизнь есть жизнь, и люди постепенно стали приспосабливаться, как могли.

Серега-физрук уехал в Москву сразу, как только деревенская школа была оптимизирована (закрыта), там он довольно быстро переквалифицировался в военрука и организатора спортивно-массовой работы. Лишь иногда он приезжал в Безбожницу, чтобы посмотреть на футбольное поле, которое заросло травой и превратилось в сенокосный участок, из-за которого передрались, как водится, братья Чернухины. (При этом Муслим сломал Родиону нос, и тот получил кличку Грузин.) Серега подолгу стоял у края поля, вспоминая прошедшие спортивные баталии, а также следовавшие за ними пирушки, и по его небритой щеке иногда сползала предательская слеза.

Чугунцы перебрались в райцентр, где была открыта новая бюрократическая

структура — управление образовательного округа. Структура занималась дублированием и размножением документов, смысл которых нельзя понять даже приняв пол-литра на грудь, но в общем-то имела безобидную роль пятого колеса в телеге, а потому ее существованию не угрожали никакие реформы. Имея неплохой капитал, нажитый еще в Безбожнице, и покладистый характер, Чугунец на государственной службе отъелся и лишь изредка наезжал в подконтрольные территории на казенной «Волге», чтобы навести страху. Оксана Федоровна нашла себя в риэлтерском бизнесе и подумывала об открытии собственной ипотечной конторы, но Иван Тимофеевич не разрешал, опасаясь помех по службе.

Николай Силованов получил небольшой срок за все предыдущие грехи, но от этого с ним не приключилось никакого худа, и когда он вернулся домой, то деревня из последних сил устроила традиционную встречу, в общем-то последнюю в своем роде. Позже Николай устроился работать у Антона Безрогого на лесоповал, накопил денег и купил корову и двух поросят, после чего его жизнь совершенно наладилась.

Антон стал большим предпринимателем, построил в Москве шикарный коттедж и организовал VIP-туризм, сафари и еще бог знает какие бизнес-услуги. Поговаривали, что для этого ему пришлось избавиться от конкурента — зятя старика Корчёмкина, служившего к тому времени в областном УВД, но это были лишь слухи. Доподлинно известно, что зять Корчёмкина пропал при невыясненных обстоятельствах, а его место в областных органах занял майор Гнутый. На свое бывшее место он перевел капитана Запивахина, которого и дрючил по любому поводу или вообще без оного, просто из любви к предмету.

Алексей Псушкин не выдержал собственноручно осуществленных перемен и стал пить горькую. Однако после того как компетентные органы, направляемые умелой рукой майора Гнутого, начали расследование финансовых махинаций при строительстве моста, Алексей попытался этот мост уничтожить, но был задержан бдительными гражданами и арестован. Много позже он был выпущен из органов при очень странных обстоятельствах, которые выразились в одновременной покупке компетентными товарищами Гнутым и Запивахиным новых автомобилей иностранного производства. Алексей уехал на острова одной экзотической и очень теплой страны, где вечерними закатами часто глядел на океан, горестно вздыхая и попивая квас на марихуане, который заставлял изготовлять горничную — пожилую негритянку с печальными глазами.

Адольф Моисеевич после приезда в столицу хлебнул много горя, доказывая, что он — это он, а не какой-либо похожий проходимец. Работы он, конечно, лишился, но вышел на пенсию и выторговал у семьи, уже вступившей в наследство, небольшой домик в дальнем Подмосковье, в котором и стал жить. Соседи шептались, что новый сосед не совсем в своем уме, и было от чего. Адольф Моисеевич не разговаривал с людьми, не пользовался никакой связью, отключил электричество, а все свободное время посвящал земледелию и заготовке дров, которых к исходу одной из зим стало так много, что штабеля, возвышавшиеся над изгородью, затеняли соседские участки, но это не волновало Адольфа Моисеевича. Он часто сидел на крыльце, блаженно улыбаясь, поглаживая своего нового пса Вермута и бормоча что-то вроде: «От теперь-то я в королях. Теперь в тепле. Да и полный подпол овощей. Не-е-е-т, Вермут. Не взять нас с тобой за рубль двадцать. Эт-то счастье — и школы здесь нет, и дров много, а получу пенсию, еще прикупим. Эх, Вермут, вот ведь как хорошо: и на свободе, и в тепле!» Вермут слушал, не выражая никаких чувств, лениво кося дымчатыми глазами на хозяина.

Клара Леопольдовна вернулась в светскую жизнь несколько проще. Поскольку педагогические навыки, приобретенные в Безбожнице, были столь отточены, что

она без труда прошла конкурс и устроилась работать учительницей в частную школу, где очень скоро вступила в связь с родителем одного из «золотых» детей. Обеспечив себе безбедное проживание и даже некоторый комфорт, она почти не отвлекалась на мысли о проведенном в заточении времени. Единственным следом от пережитого приключения в памяти остались сны, в которых ей чаще всего представлялся Николай Силованов в различных ракурсах, но, просыпаясь, она вспоминала, что все уже прошло, быстро успокаивалась и снова засыпала.

Об удивительной судьбе Настасьи Русских осталось очень мало информации. Она исчезла из деревни одной из первых, и поговаривали, что она ушла от мира в еще более глухие таежные палестины, где бродят волки да раскольники ведут жестокий спор с жизнью. Однако Клара Леопольдовна однажды встретила Настасью в Москве на презентации одного государственного мегапроекта, куда ее затащил бойфренд. Клара была поражена цветущим видом Настасьи, ее изысканными украшениями, но поговорить им так и не удалось, о чем Клара потом очень жалела.

Адольф Моисеевич часто говаривал Вермуту, что лучшие дрова продает ему Настасья Русских, никогда не обманывая с ценой и качеством. Но что взять с выжившего из ума старика — ведь этого просто никак не могло быть?

Еще более нелепо звучат рассказы Антона Безрогого о том, что после строительства моста Настасья согласилась стать его женой, но потом, устраивая охоту для одного крупного бизнесмена, Антон сильно перебрал и за игрой в карты продал жену заезжему олигарху, оценив в тридцать тысяч долларов, о чем также жалеет по сей день.

Из всех разрозненных источников нельзя сделать однозначного вывода о судьбе Настасьи. Даже Леха-Интеллигент, из пальмовых зарослей своего острова каждый день пишущий ей письма с адресом «Russia, до востребования», не мог заключить о ее доле, резонно полагая, что о такой смерти было бы известно.

Александр ВЕПРЁВ

ЗЕМЛЯКИ

Знал Заболоцкого при жизни я,
Овидия любительское фото
над письменным столом висело...
Киров
Сергей Миронович, оратор-коммунист,
братан-земляк... Но я его не слышал.
Здесь по соседству братья Васнецовы
со мною жили.
Петр Чайковский тоже...
Здесь рядом во дворе романтик Грин
боярышник таскал в избу-читальню,
а террорист Халтурин смастерить
придумал бомбу для царя Руси...
Здесь с крыш домов
в овраг стекало небо
и растворялось в красноземной глине,
и становилось глиной.
В это небо
смотрел из КПЗ горящим глазом,
похожим на оконный светлячок,
окурок капитана Иванькова.
Что думал тот окурок — я не знаю:
о Маршале, быть может, Соколове,
а может, о полковнике, а может,
о космонавте № 50.
А может быть, о памятнике-танке,
всей мощью устремленном прямо в небо,
смотрящим также в небо,
только дулом,
как будто на незанятый рубеж...
— Откуда родом ты? — меня спросили.
Ответил.

Александр Иванович Вепрёв — поэт, художник. Родился в Кирове (Вятке) в 1960 году. Окончил Вятское художественное училище им. А. А. Рылова, автор шести книг стихов, в том числе книги избранных верлибров «Картофельное солнце», которая вышла в переводе на румынском и удмуртском языках. Стихи публиковались в журналах «Дети Ра», «Журнал Поэтов», «Юность», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Луч», «Италмас» (Удмуртия), «Hyperion» (Румыния), финалист литературного турнира им. Даниила Хармса, лауреат литературной премии журнала «Дети Ра», газеты «Литературные известия» и др. Отмечен Дипломом Ее Императорского Высочества Великой Княгини Марии Владимировны. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века, Русского литературного клуба. Живет в Сочи.

А потом еще добавил:
— Где Михаил Калашников живет,
который изобрел свой автомат
Калашникова!..
— Боже упаси! потомкам жить в таком
смешенье жутком,
где можно в воскресенье насладиться
искусством
и в соборе помолиться...
а в понедельник пулю получить!
а то и бомбу...

ЗИМНЯЯ КОРОВА

Однажды в студеную зимнюю пору,
когда мы были студентами художественного училища,
мы купили —
мясо.
Мы положили его в сетку и повесили через фортку,
чтобы утром разморозить и сварить
праздничное блюдо!
К утру мясо выпало из сетки и превратилось
в зимнюю корову...
Корова бродила по улице и мычала.
Шел сильный снегопад.
И в этом чутком пространстве плавали,
как рыбы в аквариуме —
разноцветные огни крупноблочных бараков.
Возможно, со временем наша корова растаяла,
около теплого подъезда.
Возможно, ее поймали радостные жители городка.
И съели...
А снегопад идет...
И все также плавают разноцветные рыбы
напротив нашей общаги,
где когда-то мы жили студентами
художественного училища...

ЛОШАДИ НА КРЫШАХ

Помню Питер таким: крыши, крыши,
крыши, крыши, крыши
да балкончик с перилами —
чугунными ажурными вензелями,
на котором стоял-думал,
глядя простуженными соплями
на Петербург, думая
о Ленинграде, покрытом временем,
словно ржавчиной солнечно-рыжей.
А потом пытался сам себя фотографировать

здесь —
прямо на гостиничном балконе:
сигарета в руке, волосы в небе,
взгляд, как у Иосифа, Владимира, или Петра,
со своей-чужой картавой речью о Ленинграде,
что редактируют корректора-
сквозняки, играющие «Прощание славянки»,
как будто на синхрофазотроне.
Правда, речь не запечатлеть на фото,
можно разве что на видео, ведь
у фотоаппарата есть кнопочка «видео»,
да чего только нет у фотоаппарата
Canon!
Сверху я поглядывал на упавшую улочку,
по которой, как будто мышата,
суетились петербуржцы, гости Питера...
Им хотелось спешить, им хотелось лететь.
Каждый был занят своим: кто сумкой,
кто сырным пакетом, кто просто ничем.
Каждый вилял хвостиком, носик направлял
по ветру,
ушки ставил — торчком.
Один что-то вытаскивал из парадных дверей,
другой размахивал кушаком,
третий с четвертым играясь, как будто катились
к набережной колобком:
и от дедки ушли, и от бабки ушли,
а потом исчезли с улицы насовсем...
Каждый был рад по-своему в ржавом посвисте крыш,
увенчанном кое-где
то ли флюгером, то ли шпилем, то ли антенной,
то ли александрийской трубой.
Каждый! но никто не расправлял крылья,
как, в общем-то, и не ходил по нужде,
где приспичит: ни на площади,
ни на остановке у театра, ни за музеем-избой...
А у меня получалось фото, только словесное
с чугунными ажурными вензелями...
Помню Питер таким: крыши, крыши, крыши,
да еще иногда с лошадями.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

1. Петр

Петр Николаевич Розовощеков очень гордился тем,
что его родители назвали его Петром.
Петр Николаевич, когда шибко подрос, влюбился
в соседку Катю, гуляющую не только
со всем шустрым двором, но и с центральной улицей

на Васильевском острове, а значит со всем островом!
Петр сказал ей: — Теперь ты будешь моей женой!
И только будешь со мной гулять там, где захочешь... —
и помечтал. — Ты скоро будешь царицей, а я царем!
— Петенька, я безумно тебя люблю! — отвечала она. —
Только с тобой, дорогой!.. —
Вместе они сняли отдельную квартиру,
создали модный кооператив по фотоуслугам...
Фотографировались сначала со всем двором, улицей,
Васильевским островом, а потом вышли на площадь...
Он облачался в царские одежды Петра Первого.
(Кафтан, шведский воротник, камзол, сапоги,
широкополая шляпа с перьями, ордена-побрякушки...)
Она — в одежды-наряды царицы Екатерины.
(Завитой парик, платье до пят, туфли с пряжками,
всякие там ленточки, бантики, брюлики-фантики...)
За небольшую плату фотографировались
не только с жителями родного Петербурга,
но и с гостями северной столицы огромной страны:
ижевчанами, магаданцами...
Даже с иностранцами:
немцами, французами, финнами, афро-американцами...
— Вот видишь, дорогая, — говорил он. —
Ты стала царицей, я стал царем!
— Петенька, я безумно тебя люблю! — отвечала она. —
Ты мой повелитель! Ты мой, дорогой! —
Так жили.
Она — царица, он — царь! Однажды Петр Николаевич
простудился и надолго слег.
Он что-то шептал ей в бреду, типа: «Когда я умру,
ты поставь мне памятник, где я буду изображен
с поднятой над страной десницей,
сидящим на вздыбленном коне, конь будет стоять
на скале, а на скале надпись, что этот памятник
поставлен мне моей женой... Люди обязательно будут
фотографироваться со мной-памятником,
и тебе хватит денег, чтобы взять ипотеку...»
Она говорила ему: — Успокойся, Петенька,
возможно, ты умер уже, потому что стоит памятник тебе
с поднятой над страной десницей;
ты изображен на коне, конь стоит на скале,
а на скале надпись, что этот памятник поставила я,
твоя жена Екатерина,
а ипотеку, как не давали, так и не дают. —
Петр Николаевич Розовощеков успокоился, взял да ожил!
— Что-то долго я болел, — сказал он Екатерине.
Надел камзол, обул сапоги на босу ногу,
надвинул на лоб широкополую шляпу, взял шпагу
и отправился на дворцовую площадь
наводить порядок

в своем немилостивом государстве, где ветер давно
смотрел в пустые глаза царской резиденции,
выводя скудную молитву:
«Благодарю тебя за то, что ты есть...
Азъ есмь!»

2. Роги

Редакция литературного журнала была закрыта,
только вывеска напоминала,
что еще существует журнал «Звезда».
Хорошее название, намного лучше, чем «Знамя»,
но что мне до названия, когда закрыт журнал.
Ну, что ж, — подумал я, — пойду в «Кафе»
выпить чашку чая или кофе с бутербродом.
Прошел немного по улочке, дальше прошел,
посмотрел вокруг мимоходом...
Ну что мне до бутерброда, когда «Кафе» не нашел.
— Что ж, поеду на трамвае или в трамвае к центру, —
решил я и на остановке встал.
Подъехал незнакомый такой трамвай,
с бубенцами, ленточками... Широченный, как самосвал!
Ну что мне до трамвая, если это был не трамвай...
Тогда я пошел, куда глаза глядели;
шел, шел, шел, как ходок, и вышел на площадь,
там увидел дворец, на крыше которого стояли
странные люди, странные лошади...
Ну что мне до дворца, если на крышах лошади!
Я поспешил на вокзал, купил билет, сел в поезд.
Ехал, ехал, ехал по железной дороге.
Из Питера в Москву. В голове мелькали строки:
«А может — маленькие роги...
Писал профессор Ольдерогге».
Приехал в Москву и направился в редакцию
литературного журнала «Знамя».
— Вот мои стихи, — сказал я в редакции журнала. —
Я хотел их отдать в другой журнал,
у него хорошее название, лучше, чем «Знамя»,
но был закрыт тот хороший журнал... —
Со мной согласились, сказали примерно так:
есть лучше названия, чем «Знамя», например: «Динамо»,
«ЦСКА», «Зенит», «Спартак»...
Тогда я пошел в редакцию журнала «Журнал Поэтов».
Ходил, ходил, оглядывая Москву, как узбек и ингуш...
Спрашивал у прохожих: «Вы не подскажете,
как пройти в редакцию «Журнал поэтов?»
Но люди, пожимая плечами, молча проходили мимо...
— Что ж! — напрягся с мыслями я, как Грибоедов —
и уехал в Сочи, хотя там нет
ни одного литературного журнала. Зато тепло!

А где тепло, там и Родина!
Мать-Ривьера,
отец-Бочаров ручей, сестрички Мацеста и Ло***о***.
А еще на рынке можно купить свежих
абхазских груш...

3. Царь

Я люблю раздавать подарки-награды... Видимо, в прошлой жизни я был царем.
— Ты, Костя, будешь моим придворным поэтом. Будешь петь песни-оды во славу мою, славу будешь множить и умножать.
Что делать, если страна в совершенстве говорит на разных языках...
— Ты, Зураб станешь моим придворным художником-скульптором, будешь ставить мне памятники при жизни по всей стране и даже заграницей.
Что делать, если народ привык жить среди каменных идолов и кланяться головой в землю...
— Ну, а ты, Вова будешь министром космических дел. И что с того что ты не умеешь!
Ты умеешь хорошо говорить, а людям это нравится, пока они слышат...
Что с того, что у нас ничего не получится, главное, что мы порознь будем вместе!
— А после нас, как потоп!.. Останутся памятники, оды-песни, портреты-скульптуры.
Люди будут говорить о том, что было раньше хорошее время: пели песни, награждали.
Что делать, если народ любит праздники на улицах-площадях, названных нашими-моими именами...

Татьяна ЯНКОВСКАЯ

И ВОТ ОНА СТОИТ ЛАСТОЧКОЙ НА КАМНЕ

Рассказ

Катскильские горы невысокие, обжитые: деревушки, дачные поселки, курорты, дороги, тропы. Мужчина и женщина оставили машину высоко на паркинге и пошли к смотровой площадке. На небе виден кусок радуги. Тоня забралась на выступ скалы, сделала ласточку и крикнула: «Тошик, чикни меня! Вон оттуда, чтобы я была под радугой!»

И вот она стоит ласточкой на камне, душа поет, только слов не разобрать, но мелодия такая знакомая! Внизу перед ней долина со змейкой реки, озеро, редкие домики, за деревьями мелькают движущиеся точки машин — все как на ладони, — и как на ладони ей видится вся ее жизнь.

Еще одна фотка с ласточкой будет вставлена в прорези картонной страницы старого альбома. Вот она делает ласточку на даче, куда выезжали с детским садом, а это — в пионерлагере: группа ребят показывает акробатический этюд, по краям две девочки-ласточки, одна из них Тоня. А это на берегу Днепра под Киевом. На ней новый купальник, и у нее — фигура. Такая красивая, как будто ее сняли с витрины! Она влезла на валун, сделала ласточку, и мальчик из класса ее сфотографировал. А вот это в доме отдыха с первым мужем-летчиком, когда она поднялась на вершину холма, и он ее заснял. Вот Тоня-ласточка в Эмиратах на пляже — песок такой чистый, и небо без единого облака, она так любила туда летать! — а теперь будет еще одна, в американских горах под радугой.

Тоне под пятьдесят, она выросла в крупную женщину — сначала ввысь росла, теперь вширь, но в душе так и осталась девочкой. Может, потому ей и не дано было стать матерью? А она бы хороших детей могла воспитать! В Америке, когда работала няней, из всех выделялась.

...Маленькая детская площадка всегда забита детьми и женщинами — мамами, няньками, сидящими на скамейках. Только один мужчина, представляющий женское начало в паре геев, выгуливает недавно удочеренную ими девочку. Тоня никогда не сидит — она то играет со своей подопечной Яной в мяч, то помогает ей взобраться по ступенькам на горку, то следит, чтобы она не упала с пластмассового велосипеда. Вдруг крики, шум. Мальчик лет трех просунул голову между металлическими прутьями забора — видно, хотел пролезть с площадки в парк, но застрял. Ребенок верещит, мать кудахчет, все в панике — что делать? Тоня выбегает за воро-

---

Татьяна Владимировна Янковская родилась в Ленинграде. Окончила химический факультет Ленинградского государственного университета. С 1981 года живет в США. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Слово/World», «Вестник», «Чайка» (США), «Время искать» (Израиль), «Континент» (Франция) и других. Лауреат нескольких международных литературных конкурсов. Книга «Детство и отрочество в Гиперборейске, или В поисках утраченного пространства и времени» вошла в длинный список премии «Ясная поляна» (2013).

та площадки, подходит к мальчику, поворачивает боком его тельце, и оно легко проходит между прутьев следом за головой. Тоня берет его за руку и подводит к матери. «Как это вы догадались?» — все галдят. «Нет, это как *вы* не догадались», — хочется сказать Тоне, но она молчит и улыбается. Она не любит говорить и даже думать о людях плохо, хотя иногда приходится и думать, и говорить. Ну да ладно, пусть им будет хорошо — так всегда говорила ее бабушка.

Тоня любит показывать Яне картинки в книжках, даже сама купила ей в подарок несколько штук, читает ей вслух. Рано приучила ребенка к горшку, а у американцев и трехлетние в дайперсах, чтобы, говорят, психику ребенка не травмировать. Чудно! И чего не выдумают, чтоб люди денег побольше истратили, пока ребенок вырастет! Говорят, на свалках эти дайперсы — главный мусор. Тоня показывала Яне и называла птиц, деревья, цветы. Хорошая у них была учительница в школе, водила их на прогулки в парк, на пришкольный участок и все показывала, объясняла. А Яна такая умная девочка! В три года умеет считать, говорит волшебные слова, выделяется среди детей своей ловкостью — а все Тоня. Мамаши подходят к ней, удивляются, спрашивают, не согласится ли она с их детьми сидеть, больше денег предлагают. А чего удивляться? Она ведь окончила училище дошкольного воспитания в Киеве! Правда, воспитательницей не работала: увидела объявление о наборе в стюардессы и решила попробовать. Проверяли их от и до — она подошла и по здоровью, и по анкете, и по внешним данным, такая блондинка-украинка. Хотя украинской крови в ней почти нет, больше русской и польской.

Как она любила летать! Самолет летит, распластав крылья, а Тоня внутри сама чувствует себя птицей. Как будто это она летит, раскинув руки и подставив лицо ветру. Днем облака внизу, как сахарная вата. А ночью — как снежное поле, освещенное луной. Когда летишь на восток, обгоняешь время. Луна со звездочкой в поводу сопровождает самолет, а потом отстает. Куда только Тоне не приходилось летать! Иногда им разрешали остановиться на пару дней в местах назначения. Едешь из аэропорта, а вдали дикобразом поднимается даунтаун какой-нибудь столицы или просто большого города. Теперь по всему миру так — что Китай, что Эмираты. Место экономят, небоскребы строят. Опять же перещеголять всех хочется — ну-ка, кто выше? Особенно она полюбила Шанхай. Молодцы китайцы! Так поднялись, в магазинах любые товары — и так дешево!

В эскадрилье следили все за всеми. Регулярно вызывали на беседы. Тоне доверяли, она хорошо работала, и все летчики хотели с ней летать. Она быстро стала старшей бортпроводницей. Некоторые девочки не выдерживали близости к доступному алкоголю. Одна стюардесса как-то напилась, как свинья, все это видели. Ясно, что по возвращении пришлось бы на нее донести: не сделай этого Тоня, все остальные донесли бы и на нее, и на девчонку, и ту в любом случае выгнали бы с треском, а Тоне не поздоровилось бы за покрывательство. И она, приведя девчонку в чувство, тогда же, во время рейса, сказала: или ты, или я. Та все понимала, ушла сама из эскадрильи, освободив Тоню от камня на душе.

После развала Союза Тонин муж, как и многие летчики, потерял работу и запил. Новые деньги ничего не стоили, и Тоня взяла отпуск за свой счет и поехала в Америку поработать нянькой. Ее наняли в семью американских евреев, недалеко от Нью-Йорка, с проживанием. Приходилось и стирать, и готовить, но и жила на всем готовом, и денежки потихоньку копились. Было тяжело, потому что словарного запаса бортпроводницы не хватало, и дети были нелегкие, особенно младший, четырехлетний. Когда она брала его на руки, он недоверчиво рассматривал крест на ее груди, а однажды сорвал его, повредив цепочку. Хозяйка была толстая и вечно всем недовольная, а хозяин заступался иногда за Тоню, но ей не нравилось, что

он смотрел на нее, как хохол на сало. В выходной день она выходила погулять. Тротуаров не было, она шла вдоль дороги, и встречные машины гудели ей, водители высовывались и что-то кричали, а иногда останавливались, что пугало ее. В торговом центре, где она покупала себе одежду и подарки для родных, мужчины, не стесненные броней автомобиля, вели себя еще наглее. Один, немолодой уже, ходил, осматривал ее со всех сторон, облизывался, а потом подошел и предложил выйти за него замуж. И Тоня решила, что выйдет здесь замуж, — не за этого пожилого толстяка, конечно, а за нашего эмигранта. Знакомая из российского консульства познакомила ее с Толей. Он ей понравился: положительный, не мот, но и не жадный, есть односпальная кооперативная квартира с видом на Гудзон, дача в Катскильских горах, надежная работа, поет хорошо, а главное, не пьет.Тоня слетала в Киев, разошлась со своим совсем уже опустившимся бескрылым летчиком и вернулась в Нью-Йорк.

Тогда она и устроилась нянькой в эмигрантскую семью. Яночке было всего два месяца, и Тоня полюбила ее, как свою. Платили, конечно, маловато и донимали своей кошерностью: еду в холодильник не ставь, ешь нашу, а сами оставляли ей какие-то булочки. Хотя вообще-то она уважала Яниных молодых родителей за то, что чтут свою религию. Вспомнила иконы в бабушкином доме, ее рассказы о православных святых. Со знакомой из консульства сходила как-то в русскую церковь, и так ей понравилась служба! Стала Тоня праздники отмечать, пост соблюдает каждый год, хоть и трудно выдержать. А мужу готовит специальную еду на еврейские праздники, хотя ему все равно, он не религиозный — и сало ест, и свинину. Вообще покушать любит, а на Тониных харчах совсем раздобрел.

Так приятно деньги зарабатывать! Толя сделал в квартире ремонт, Тоня с наслаждением ездила с ним по магазинам, покупала новую мебель, любые продукты, какие душе угодно, одежду, обувь. Потом Толя начал перестраивать дачу, и она ездила с ним и вкалывала все выходные напролет. Она была влюблена в Америку. Здесь каждый может подняться, только учись и работай! Наработавшись, они сидели в новом джакузи или ехали гулять, и она взмывала ласточкой на камень то на берегу ручья, то в лесу возле озера. «Тошик, чикни!»

Яне скоро пять, она пойдет в школу. Должен родиться второй ребенок, но прибавку Тоне обещали мизерную. Среди нянек-негритянок на детской площадке попадались и белые. Сначала она подружилась с москвичкой, а потом с болгаркой, полькой, черногоркой и венгеркой, которые немного понимали по-русски. Все они были из тех нянек, что судачили, сидя на скамейках. Они жужжали ей в уши, что хозяева ей не доплачивают, а вот одной, мол, отпуск оплатили, а другой подарили на Рождество аж тысячу долларов. В Тоне нарастало недовольство, она и правда получала меньше всех. Она стала приносить на работу бутерброды с индейкой и с сыром и клала их в холодильник, когда хозяева уходили. Мыла мясную и молочную посуду одной мочалкой. А что, подумаешь! Кошерные, а у самих грязь в квартире. Тоня брала ведро и швабру, драила полы, вытирала пыль — ведь в доме ребенок! Играет на полу, а потом у нее руки черные. Но разве хозяева замечают, ценят Тонино рвение? Она стала тяготиться своим бэбиситтерством.

Толя узнал, что в стоматологической клинике, где владелица и большинство докторов были эмигранты из СНГ, обучают на помощника дантиста, а потом берут на работу. Платят всего восемь долларов в час, и ехать на трех автобусах, но зато есть перспектива! Скоро все врачи в офисе, как когда-то летчики, хотели работать с Тоней. Каждый год зарплату поднимали на доллар — она уже одиннадцать долларов получает! А со сверхурочными это какие деньги выходят! Она теперь обучала новеньких — да не так, как ее когда-то мексиканка учила, а со всеми тонкостями и

ухищрениями, которые сама освоила за время работы в клинике. Еще хозяйка поручила ей вести инвентаризацию. Тоня следила, чтобы не было перебоев с материалами, завела книгу учета. От других ассистенток требовала приносить пустые тюбики и контейнеры, чтобы получить взамен новые, а то они выбрасывали почти полные. Уговаривала хозяйку перейти на другой бренд перчаток и масок для сотрудников, подороже и получше. Она расцвела от сознания своей полезности. «Тошик, мне так нравится! Я так люблю зубики! Я уже делаю временные зубы сама. Я Дева, я добрая. Я всех людей люблю — больных, здоровых. Если б я могла, я бы так сделала, чтобы всем-всем было хорошо». Вот только нечестность некоторых врачей выносила с трудом. Даже выходила из кабинета, пока они уговаривали пациентов, особенно молодых, поставить пломбу или коронку, которые, Тоня знала, им совсем не нужны.

В конце декабря ей позвонила домой хозяйка и сказала, чтобы с нового года она на работу не выходила. Тоня была убита.

— Тошик, как же это? Я ведь так хорошо работала!

— Не хочет тебе доллар прибавлять. У вас ведь, наверно, никто столько не получает?

— Но я и работаю больше! И лучше! Все доктора это говорят!

— Ей не нужно лучше. Она свои деньги и так получит. Да и то, что ты просила более дорогие маски и перчатки заказывать вам для работы, ей тоже, наверно, не нравилось.

— Но это же для всех хорошо! У меня из-за работы в маске гаймориты начались, сам знаешь, а от плохого латекса экзема на руках бывает.

— Это никого не волнует. Главное в бизнесе — прибыль.

Вот тебе и Америка! Тоня привыкла всей душой отдаваться работе, делать больше, чем от нее ждали, и ее всегда за это хвалили, а тут... Найти другую работу оказалось трудно — кризис. Она начала ходить на бесплатные курсы английского для иммигрантов. В основном это были приезжие из Латинской Америки, бывшего Советского Союза, Восточной Европы, Азии. Вот какая Америка, всех учит!

А деньги были нужны, ведь они с Толей купили недавно квартиру-студию во Флориде. Но цены на квартиры упали — дорого не сдашь, — а ипотека осталась, да и дома сидеть надоело, и Тоня решила попробовать убирать квартиры: тут можно назначать цену не за час, а за работу и за полдня получать те же деньги, сколько за день с ребенком. В районе, где они жили, много обеспеченных людей, и всегда есть спрос на помощниц, которым можно доверять, — не пустишь же к себе кого попало. Вскоре Тоня уже убирала несколько квартир в большом доме по соседству. С хозяйкой одной из них, Мелани, установились особенно теплые отношения. Кроме огромного пентхауза, у Мелани с мужем было два дома в Вестчестре, которые они сдавали, потом дочке квартиру в Манхэттене купили, и всюду Мелани возила Тоню с собой помогать. Приглашала на званые обеды и вечеринки, где Тоня разносила на подносе напитки и закуски, подавала и убирала со стола, мыла посуду. Платили ей хорошо. Мелани была рассеянная: как-то вместо пяти двадцаток дала ей пять пятидесятидолларовых купюр. Тоня обнаружила это уже дома, тут же позвонила и вернула деньги. Она полюбила эту семью, но была у нее и нелюбимая, где психически больная жена доставала Тоню, и она несколько раз порывалась уйти, но муж, Джо, на котором держался весь дом, слезно уговаривал ее не бросать их. В общем, Тоня была довольна, что есть заработок, но никому не рассказывала, что ее уволили из зубной клиники.

Однажды вечером ей позвонила Мелани:

— Хай, Тонья! Я звоню сказать, чтобы ты завтра не приходила.

— Нет проблем, Мелани. А когда прийти?

— Вообще больше не приходи. Мы с Полом не хотим, чтобы ты у нас работала.

— Что случилось, Мелани? Я что-то сделала не так?

— Джо позвонил Полу и сказал, что у его жены из сумочки пропали деньги. Они думают, что это ты взяла.

— Да я у них не была уже неделю и сумочку ее никогда не видела, даже не знаю, как она выглядит! Может, из дружков сына кто-то взял? Джо говорил, что им с женой не нравятся эти ребята. Да она и сама могла забыть, сколько у нее денег было! Мелани, скажи, ну разве я хоть раз сделала что-то плохое вам с Полом?

— Пол считает, что ты и у нас могла брать деньги и ценности, а мы просто не замечали. Он уже договорился, чтобы в квартире поменяли замки. Хочешь, позвони Джо, поговори с ним, а то он всем в доме рассказывает о краже. Ситуация, конечно, неприятная, и все же, если мы встретимся, я хотела бы сказать тебе «хай!». О'кей?

Толя прибежал из спальни на крик. Тоня захлебывалась от рыданий. Ну как, как такое может быть? И с ней! С ней, которую всегда уважали и ценили на работе!

— Мелани сказала, чтобы я позвонила Джо.

— Не о чем тебе с ним говорить. Пусть обращается в полицию, если хочет. Но он не обратится, у него нет доказательств.

— Как же я пойду работать в этот дом? Джо всем рассказывает, что я украла деньги!

— У людей есть свои глаза и головы на плечах. Кто знает тебя, ему не поверит.

— Но Мелани и Пол поверили!

Она снова ездила с Толей на дачу — теперь не нужно было, как в клинике, работать по выходным. Напахавшись в доме и на участке, они гуляли по окрестностям.

— Тонь! Вон выступ какой красивый над рекой! Давай, ласточка, я тебя здесь чикну.

— Да ладно, Тошик, тяжеловата я уже для ласточки.

Почему-то вспомнился случай, о котором Тоня никогда не рассказывала. Однажды перед приземлением в Смоленске ее вызвали в кабину, и командир корабля сообщил, что переднее шасси не работает, но он попытается сесть, как обычно, — вдруг повезет? Сначала Тоня сказала только бортпроводницам. Самолет пошел на посадку, но чуда не произошло — только заднее шасси рогами раскрылось под брюхом самолета, и командир быстро увел его вверх. Решил садиться на брюхо. Теперь все решали минуты. Сообщили вниз диспетчерам, к месту посадки сразу отправили пожарные машины и несколько «скорых». Теперь пятеро бортпроводниц проинформировали пассажиров и приготовились к аварийной посадке — на все давалось девять секунд. Каждая знала, за какой люк отвечает, кто что вытаскивает, надувает, куда ведет пассажиров.

В салоне повисла мертвая тишина. Всем существом Тоня ясно ощутила реальность смерти. Она у развилки: через мгновение она может умереть, но может и остаться жить. Как положено по инструкции, бортпроводницы сели и пристегнули ремни. Тоня взяла за руку молоденькую стюардессу, сидевшую с ней в паре. «Давай будем вспоминать своих родных». И они вспоминали и улыбались, и было совсем не так страшно, как можно было ожидать. Завершив круг над аэродромом, летчик направил самолет к земле. Он дал машине коснуться посадочной полосы задним шасси и предносовой частью длинного корпуса, резко повернул ее носом в траву и

остановил, слегка накренившись вправо и упершись концом крыла в землю. Тонкая работа! Он чувствовал машину, как себя, знал, как она отреагирует на каждое его движение, и огромная махина была доверчива и послушна.

Они сели! Со всех сторон к спускавшимся из самолета бежали люди, их встречали как героев. Самолет и всё вокруг него пожарные щедро поливали пеной, чтобы не было возгорания, и все были покрыты ею, как снегом. Господи, как они были счастливы! Стюардессы обнимались, смеялись и плакали. Последним из самолета вышел командир, весь взмокший от напряжения, подошел к девочкам: «Да, мы все родились в рубашках». Они бросились его обнимать. Опытный был командир, заслуженный летчик СССР.

Прошел месяц. И вдруг — звонок от Мелани:

— Тонья, мы хотим, чтобы ты вернулась. Мы так к тебе привыкли и не хотим никого другого. И дочка наша не может найти тебе замену. Мы будем тебе больше платить.

— Нет, Мелани, я уже нашла другую работу.

— Но мы тебе хорошо заплатим!

— Зачем же я буду уходить от людей, которые мне доверяют, и идти к тем, кто мне не доверяет? Я не вернусь, Мелани. Но если мы встретимся, я скажу тебе «хай!».

Как-то, проходя мимо детской площадки, Тоня увидела Янину семью. Саму Яну уже не узнать. И сестричка ее подросла, а в коляске — маленький Захар. Тоню пригласили на день рождения Яны, десять лет! Она долго выбирала подарки всей семье. Ее встретили, как родную. Говорили, что оценили ее по-настоящему только после ее ухода. Никто из нянек, работавших у них после Тони, не дал детям столько, сколько она дала Яночке. Тоня подарила им вставленную в рамку фотографию, где они с пятилетней Яной обе делают ласточку. «Я ей сказала: давай как будто мы с тобой летим. Чувствуешь? Вот так ты всегда должна чувствовать!»

Вскоре стоматолог-армянин нанял ее ассистенткой на три дня в неделю. Офис у него победнее, чем прежний, зато ставка выше, и близко от дома. Главное, она снова занималась любимым делом. «Тошик! Мне так нравится! Мне там хорошо. Когда доктор начинает работать с пациентом, а я ему помогаю, у меня такое чувство, как будто я в самолете, и мы сейчас взлетим».

Она поступила на курсы английского при колледже. Дорого, но зато их учат всерьез, не как на бесплатных курсах для иммигрантов — «подай-принеси» без всякой грамматики. Училась здесь в основном цветная молодежь: школу окончили, а читать и писать толком не научились. Тоне очень трудно, но она старается. Толя такой хороший, помогает ей, хоть и теряет терпение иногда, кричит. Сказал как-то: зачем ему дети, когда есть Тоня. Она его бэби.

...И вот она стоит ласточкой на камне, расправив руки, как крылья, а над ней радуга, яркая, как мечта. «У каждого человека есть мечта. Даже если человеку очень плохо, все равно у него есть мечта. Нужно помочь человеку с его мечтой».

— Тошик, давай же скорей, чикни меня!

— Ты ж не хотела больше.

— А теперь хочу! Покажи, как получилось. Ой, как хорошо, и радуга видна! Распечатаешь мне? Я маме пошлю.

Мария РУБИНА

* * *

В синем старом лыжном свитере
выходила на Неву..
Я жила когда-то в Питере
а теперь вот не живу.
Там вода от ветра щурится,
небо — серая броня.
И Гороховая улица
не скучает без меня.
Свитер толстый, мамой связанный,
шерсть как печка, горяча.
Я ведь тоже не обязана
огорчаться и скучать.
Без особенного рвения,
жизнь обычную веду.
Только в редкие мгновения
представляю, как иду,
обращая к ветру резкому
удивленное лицо,
по заснеженному Невскому
мимо сказочных дворцов.
Нити те, что с прошлым связаны,
все равно не оборву.
Только знаю, что два раза нам
не войти в одну Неву.

* * *

Все слова просеяны сквозь сито,
но остаток все равно горчит.
Мастерская на углу закрыта, —
та, где раньше делали ключи.
Каменные пасти подворотен
ничего уже не говорят,
встречный ветер, злобен и свободен,
задувает краски ноября.
Так иди по переулку, топай!
Повторяй потерянный маршрут.

Мария Семеновна Рубина родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский институт культуры, с 1990 года живет в штате Массачусетс, США. Публиковалась в бумажных и сетевых журналах «Чайка», «Фонтан», «Секрет».

Видишь, там спилили старый тополь.
Больше тут деревья не растут.
Ветрено, безлюдно и прохладно,
и нужна ль тебе моя рука,
коли я совсем не Ариадна
и не знаю путь из тупика?
Замирает где-то шорох пляжа,
гаснут в окнах мглистые огни.
Я не знаю даже. что тут скажешь... —
c'est fini, дружище, c'est fini.

* * *

Кому нужны твои нетленки,
твои печальные слова?
Давай ложись зубами к стенке,
четыре умножай на два.
Считай расходы, дурью маясь,
прими как данность тишь да гладь.
Но только не ходи, как заяц,
как глупый заяц, погулять.
Не выползай и шутки ради
из утепленного жилья.
Не ровен час — чужие дяди
тебя прихлопнут из ружья.
А выйдешь ночью на опушку —
не обессудь и не кричи:
твою обугленную тушку
не опознают и врачи.
Из темной заводи на волю
ты выбегать ну погоди.
Один не воет в чистом поле,
а ты и так всегда один.

* * *

Не смотри на меня, босоногая кошка.
Не пекись о моей несуразной судьбе.
Я ведь тоже бродячая кошка немножко,
Потому что гуляю сама по себе.
Не гляди на меня, шерстяная малышка.
Дай я лучше за ушком тебя почешу.
Я ведь тоже, бывает, как сцапаю мышку!
Поиграю немножко, потом придушу.
И хотя я в приметы не очень-то верю,
Но признаюсь тебе, что боюсь как огня
Равнодушного страшного сильного зверя,
Что однажды бесстрастно задушит меня.

* * *

Плачет дождь который день от жалости,
город спит, продрогший и немой.
Нет на свете тяжелей усталости,
чем усталость от себя самой.
Не разгонит ветра дуновение
набежавших помрачневших туч,
и былые чудные мгновения
аккуратно заперты на ключ.
Темнота тебя сжирает дочиста,
дождь смывает неглубокий след.
«Потерпи, — сказало одиночество, —
сотню лет, всего лишь сотню лет».

* * *

Утекает вода в равнодушные дальние страны,
и безмолвные рыбы с водой уплывают гуртом.
Только гулко мычат без воды омертвевшие краны.
Кто забыл их закрыть в этом дворике необжитом?
Замирает звезда на притихшем ночном небосводе,
одинока как перст, размышляет всю ночь о своем,
но того, своего все равно никогда не находит.
Бесполезно кричать: «Я вас слышу. Как слышно? Прием».
Утекает вода — равнодушная, будто чужая.
Полумертвая жизнь нашу осень читает с листа.
Утекает вода, я ее в темноту провожаю,
а внутри пустота,
пустота,
пустота,
пустота...

* * *

Когда деревья станут белыми,
стальной — холодная вода,
а боль такою оголтелою,
что я опять вернусь туда,
где небеса ультрамариновы,
где ветер плачет, как живой,
где одиночество звериное
меня накроет с головой.
тогда шагами осторожными
к ультрамариновой реке
придет застенчивое прошлое
меня погладить по щеке.
и все ненужное забудется,
согреет пальцы тишина,
и на мгновение почудится,
что я на свете не одна.

* * *

Календари летят в корзины,
И жизнь летит в тартарары,
А я с улыбкою Мазины
Иду к Неве через дворы.
Иду-бреду помоек мимо
К реке гранитной погулять,
Духовной жаждою томима,
Моложе лет на двадцать пять.
На небесах, едва мигая,
Горит-горит моя звезда.
А я не по Москве шагаю,
А по дороге в никуда.

Константин ФРУМКИН

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДУХОВНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Почти всякая религия или иная хорошо разработанная идеология по мере своего развития формализуется и удаляется от вдохновлявшего ее духа; так она доходит в своем поступательном движении до кризиса, в результате которого рождается новая религия или идеология, призванная удовлетворять запросы, которые прежнее учение удовлетворять перестало. Самым классическим переворотом такого рода являлась христианская реформация, а по сходству с реформацией можно найти целое семейство аналогичных духовных революций с похожей структурой.

Каждая такая революция — не просто создание новой религии, но религии, отталкивающейся от старой и поэтому становящейся чем-то вроде этапа эволюции этой старой религии. Такими духовными революциями были возникновение протестантизма — в противовес католицизму, пиетизма — в противовес лютеранству, джайнизма и буддизма — в противовес традиционному ведическому индуизму, тантризма — в противовес традиционному буддизму, чань-буддизма — в противовес традиционным китайским религиям, караимства и хасидизма — в противовес традиционному иудаизму, да, пожалуй, и само христианство на его наиболее ранней стадии также возникло как иудейская реформация; основания многих сект были по своему смыслу и структуре такими же революциями только в малых масштабах; многочисленные подавляемые советским государством группы «истинных марксистов» и «истинных ленинцев» по своей структур также во многом представляли собой зародыши несостоявшейся реформации коммунизма.

Духовная ситуация в каждой из этих революций была своеобразна, и все они были не похожи друг на друга. И все же в том, что именно отвергалось новыми учениями в учениях старых, в том, в каком направлении шел пересмотр старых учений, есть много общих черт, из которых нам бы хотелось выделить четыре.

Самый главный программный пункт всех духовных революций заключался в том, что новыми учениями с большей или меньшей степенью радикальности отрицалось значение созданных старой идеологией формальностей, институтов и обрядов, а важными объявлялись только индивидуальные духовные усилия человека.

Из первого пункта естественно вытекало изменение положения вождей в сообществе приверженцев учения — титулованные жрецы и идеологи, чье достоинство было следствием присвоенного или даже врожденного чина, заменялись на людей, выдвинувшихся вследствие личных заслуг — праведности или знаний. Макс Ве-

---

Константин Григорьевич Фрумкин — журналист, философ, культуролог. Родился в 1970 году в Москве, окончил Финансовую академию. Кандидат культурологии. Лауреат литературной премии им. Александра Беляева (2009). Координатор Ассоциации футурологов.

бер называл власть вследствие достоинств харизматической — в противовес традиционной. Лютер ниспровергнул жреческое достоинство католического духовенства, которое через таинство рукоположения претендовало на мистическую и иерархическую преемственность от Христа и апостолов и превратил священников в обычных «профессиональных специалистов», наподобие стоматологов или психоаналитиков, при этом зависимых от церковной общины (к этой же юридической формуле впоследствии прибегнуло недоброжелательное к церкви советское религиозное законодательство, которое формально вообще не признавало существование такой организации, как церковь, а юридическими лицами считало только отдельные общины-приходы, нанимающие священников). Буддисты и джайнисты критиковали систему наследственных каст, говоря, что высокое звание брахмана нужно заслужить поведением, а не происхождением. Первоначальное христианство противопоставляло ученому и книжному раввинату боговдохновенность. Хасидизм на первых порах противопоставлял книжности раввина праведность цадиков. А вообще надо отметить, что очень многие сектантские движения в рамках христианства (а большинство сект — это маленькие или неудавшиеся духовные революции) имели идею ниспровержения жреческой иерархии и эмансипации «мира» по отношению к «клиру» — недаром радикальное крыло русского старообрядчества называется «беспоповцы».

В вопросе об источниках учения революции проповедовали возврат к наиболее базовым из них; при менее радикальных революциях речь шла о новом, свежем и, соответственно, «истинном» прочтении наиболее священных книг данной религии, независимом от «искажений» традиционных интерпретаций; в более радикальном варианте новая идеология отметала всякие священные книги и пыталась опираться на «действительность», «факты» или индивидуальное вдохновение — хотя это вовсе не означает, что новое учение уходит из задаваемого старым проблемного, понятийного и концептуального поля.

На знамени реформации было написано: только через писание, только благодатью, только верой.

С протестантизмом сходно караимство, которое отделилось от иудаизма под знаком «возврата к источникам» — караимство почитает Тору и ее чтение, но отвергает позднейшие зафиксированные в раввинистической письменности толкования, и прежде всего Талмуд. По легенде, караимская секта образовалась в результате конфликта царя Яная с раввинами, казнить которых царь мог, только признав, что понимать Тору можно и без интерпретаторов. То есть возникновение караимства было одновременно и «возвратом к первоисточнику», и борьбой со жречеством. Вообще естественно, что существование развитых жреческих институтов связано с существованием развитой вторичной литературы — священный канон нужно обобщать, комментировать, по нему надо составлять учебники и катехизисы — а чем еще заниматься жречеству?

Джайнизм и буддизм отвергали авторитет Вед и были вынуждены опираться на язык фактов, на анализ действительности. Именно под знаком возврата к фактам часто происходят революции в науке, утверждающие, что реальная действительность загорожена от нас концептуальностью предыдущих школ.

Обновление христианства, как правило, идет под знаком возврата к Библии, а обновление коммунизма — под знаком возврата к Марксу (вспомним также, что в философии в свое время выдвигался лозунг «назад к Канту», а девизом одной из новаторской школы психоанализа было «назад к Фрейду»). Очень характерная ситуация — когда в какой-нибудь компартии происходит раскол, то отколовшаяся фракция объявляет себя марксистской — в противовес забывшей истоки ортодок-

сии. Так в Индии были коммунисты — и коммунисты-марксисты. В КПСС в эпоху перестройки была «марксистская платформа».

Наконец, четвертая общая черта: новые учения вводят в религию новые фигуры для почитания, фигуры более далекие от небес и более близкие к людям; попросту говоря, новые учения начинают поклоняться своим вождям и выдающимся деятелям, а они какое-то время еще не успевают обрасти мифами и превратиться в богов. Мартин Лютер и иные не имеющие статуса святых богословы и пасторы — вместо полумифических чудотворцев католицизма; царевич Шакьямуни и другие праведные монахи-будды — вместо монструозных богов древнеиндийского пантеона; Сахаров и Солженицын — вместо безгрешного и мумифицированного как обожествляемый фараон Ленина.

Если обобщить все эти пункты и попытаться дать самую общую формулу стандартной духовной революции, то можно сказать, что это бунт духовного индивида против симулирующей духовность машины. По выражению Хомякова, такие религиозные реформаторы, как Будда и Заратустра, «на время восстановляли достоинство человеческое»[1]. Имеет значение только то, что делает сам человек — а не система, не институт; имеют значение только качества человека, а не те титулы, что ему присвоены; имеет значение только то, что может сам человек увидеть и прочесть — а не то, что столетиями переписывается в катехизисах и учебниках; и почитания по большому счету достоин лишь сам человек — а не мифические боги и полубоги.

Значительная часть Нагорной проповеди Христа посвящена интериоризации Моисеевых заповедей, то есть превращению их из правил для публичных поступков во внутренний душевный императив: молитва не должны быть публичной, ибо имеет значение лишь искреннее намерение молиться, в милостыне имеет значение не сама милостыня, но искреннее намерение, даже в воздержании от прелюбодеяния имеет значение не отсутствие поступка, а отсутствие намерения.

Аналогичным образом Лютер, возрождая претензии Христа к раввинату, сказал: все манипуляции церкви не имеют силы, спасти человека может лишь его личная вера. И точно так же за две тысячи лет до Лютера появившиеся почти одновременно два индийских пророка — Будда Шакьямуна и Джина Махавира — сказали: принося богам жертвы, вы ничего не добьетесь, имеет значение лишь духовная работа над собой. То же самое чуть позже скажут основатели чань-буддизма китайцам. В сущности, в том же ключе была проповедь Сократа, и тут интересно то, что сам Сократ не был ни религиозным реформатором, ни атеистом, но окружающее его общество восприняло функции его проповеди именно в этом ключе: ударение, которое Сократ делал на душе и личной добродетели, породило обвинение в критике религии. Ситуация, по-видимому, стандартная для многих культур. Стоит вспомнить, что Альберт Швейцер считал миссию Будды сходной с миссией Лютера: общее между ними заключалось прежде всего в том, что оба религиозных реформатора были обеспокоены проблемы спасения и оба пришли к выводу, что установившаяся до них религиозная практика для этой цели бессмысленна[2].

Позже вожди хасидизма точно так же противопоставят идеал личной праведности институту раввината и авторитету книжной учености — недаром теософы очень подробно и убедительно доказывают, что Христос лишь раскрыл частицу индийско-тибетской учености, а израильский философ Арье Барац называет Христа первым хасидским учителем. Так Христос связует хасидизм с буддизмом, по-

[1] Хомяков А. С. Сочинения в 2 т. Т. 1. Работы по историософии. М., 1994. С. 278.

[2] Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика. М., 2002. С. 93–94.

средничество Христа намекает на буддистскую природу хасидизма, что, конечно, никому бы и в голову не пришло — ибо хасидизм и буддизм совсем не схожи, но устроенные ими революции имели сходные функции.

Буддизм, как отмечает Е. А. Торчинов, «во многом формировался в рамках протеста живого религиозного и нравственного чувства против застывшего брахманского догматизма и ритуализма». Однако в течение первого тысячелетия свого развития буддизм сам превратился в застывшую систему, в рамках которой «возникла монашеская элита, подменявшая дух учения Пробужденного скрупулезным следованием букве монастырских уставов и формальных предписаний». В результате в качестве следующего этапа духовного обновления в середине первого тысячелетия н. э. возникло движение «махасиддхов», формально являющихся мирянами — «людей, которые предпочли опыт индивидуального отшельничества и йогического совершенствования монастырской замкнутости»[3]. Из этого движения возник тантризм («важраяна»), который, таким образом, стал играть роль духовной революции в рамках буддизма.

Внутри протестантизма такое последование революционных волн было еще быстрее, в частности, уже через сто лет после того, как Лютер взялся за обновление — отрицание католицизма, внутри самого протестантизма возник «пиетизм», смысл которого как своеобразного повторения лютеровской реформации внутри лютеранства очень хорошо сформулировал Томас Манн в романе «Доктор Фаустус»: «Тому, что произошло тогда лоне римской церкви, — восстанию личного произвола против объективных церковных устоев, — суждено было через сто с лишком лет повториться в недрах самого протестантизма в виде восстания проповедников благочестивых чувств и сокровенных духовных радостей против окаменелой ортодоксии, из рук которой в то время даже нищий не принял бы куска хлеба».

Особенность хасидизма как религиозной революции заключалась в том, что хасидизм практически не предлагал каких-то новых формул или лозунгов, он лишь требовал более живого и страстного отношения к тому, что уже и так содержалось в иудаизме (по мнению некоторых историков, примерно то же самое можно сказать про отношение старообрядчества к православию). Тем не менее хасидизм в годы своего зарождения вызвал самое яростное сопротивление со стороны консерваторов, обвинения в ереси и проклятия авторитетнейших раввинов того времени.

Поскольку история хасидизма менее известна, чем история буддизма или протестантизма, то мы позволим себе привести цитату Эли Визеля, в которой он характеризует ситуацию в иудаизме накануне возникновения хасидизма. Эта характеристика замечательна тем, что легко может быть отнесена к ситуации в очень многих идеологиях накануне духовных революций: «В духовном плане иудаизм переживал не менее серьезный кризис: существующие раввинские институты окостенели и стали слишком замкнутыми. Они запрещали любые отклонения и не допускали никаких индивидуальных усилий. Травмированные кошмаром лжемессий XVII века, раввины с подозрением смотрели на все новое, на все неизвестное. Того, кто отходил от строго традиционной интерпретации Закона или обещал слишком много, немедленно обвиняли в ереси. Они считали, что иудаизм достаточно натерпелся от вдохновенных мистиков и демагогов. И чтобы сохранить традицию, ее окружил различными препятствиями. Тот, кто пытался их опрокинуть, подставлял себя непостижимо суровым репрессиям»[4]. Стоит попробовать применить эти слова Визеля к католицизму или коммунизму в их не лучшие поздние эпохи.

---

[3] Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб., 2005. С. 372–373.

[4] Визель Э. Рассыпанные искры. М.; Иерусалим, 1999. С. 30.

Учение Льва Толстого и толстовство, по сути, также была попыткой аналогичного реформирования православия и христианства — тут стоит вспомнить, что «еретические» сочинения Толстого были попыткой «буквального» прочтения Нагорной проповеди, без искажений, внесенных церковным преданием и катехизисами.

Все эти ситуации в рамках различных религий, по сути, являются проявлением феномена «возрождения», как он был интерпретирован в книге востоковеда Н. И. Конрада «Запад и Восток». По мнению Конрада, эпохи возрождения присущи всем культурам мира, и их характерными чертами являются чувство человечности, освобождение от догм и апелляция к древнейшим авторитетам вопреки ближайшим.

Все крупные духовные революции происходили под знаком антропоцентризма — но этот антропоцентризм содержался не в самих учениях, где статус человека был различен, а в повышенных требованиях, которые революции предъявляли индивидууму и в тех социальных функциях, которые индивидуум начинал выполнять на ранних, «революционных» стадиях существования новых учений. Можно сказать, что это был бунт не боящихся усилия людей против самоуспокоенной бюрократии, пытавшейся институциональными средствам обеспечить себе легкую жизнь. В данном пункте наша мысль имеет явные параллели с мнением В. Розина, считавшего, что к эзотерическим учениям относятся неинституционализированые практики, требующие от человека не подключения к определенному институту (церкви), а работы над собой[5]. Если согласиться, что этот импульс является характерной чертой эзотерики, то все великие религиозные перевороты, о которых говорилось выше, представляли собой либо попытку «обнародовать» эзотерическое учение, сделав его достоянием не одних только избранных, либо, во всяком случае, вдохновлялись теми же мотивировками, которые приводили к созданию эзотерических альтернатив массовым религиям. Известно, что теософы вообще считали и Христа, и Будду лишь посвященными, рассказавшими человечеству отдельные стороны Тайного учения.

Воцарение субъекта считается главной приметой модерна. С этой точки зрения все указанные нами духовные революции, включая и произошедшие в глубокой древности процессы возникновения буддизма и джайнизма, можно считать подготовкой той революции религиозного мышления, которое произошло в Новое время в Европе. Таким образом, сама принесенная Новым временем секуляризация общества было лишь продолжением движения мысли, которое ранее привело к возникновению христианства. Сходной мысли придерживается Юрген Хабермас, написавший, что «у эгалитарного права, основанного на разуме, имеются религиозные корни; они — в той революционизации образа мышления, которая совпала с подъемом великих мировых религий»[6]. Связывать возникновение христианства и общее отступление религиозности в единый процесс правомерно, поскольку «профанирование сакрального начинается с мировых религий, лишивших магию ее колдовской силы, преодолевших миф, сублимировавших жертву и раскрывших таинство»[7].

Однако содержащийся в крупнейших духовных революциях антропоцентрический момент был парадоксальным образом и футуристическим, и архаистическим одновременно. Момент модернизации заключался в противопоставлении рациональности индивидуума магичности традиции. Но идущий от индивидуума героический импульс должен вернуть общество к первоначальному героическому состо-

---

[5] Розин В. Путешествие в страну эзотерической реальности. М., 1996.

[6] Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 124.

[7] Там же. С. 129.

янию отвергаемой традиции — когда она создавалась некими харизматическими индивидами. Реформатор, призывающий активизировать индивидуальные усилия, появляется не просто в пику существующим традициям, но только в пику традициям, понимаемым как прошедшим долгий путь формализации и вырождения — хотя их первоначальные этапы были столь же революционными и антропоцентрическими. Буддисты и сторонники Махавиры отвергали наследственность звания брамина — но, как указывает Шри Ауробинда, изначально брамины и были не наследственной, а выдвигающейся в силу способностей группой, которая лишь впоследствии закоснела и стала наследственной. Этот впервые описанный Максом Вебером механизм перехода харизматического революционного движения в рациональную бюрократию применительно к религии на ее ранних этапах воплощается в замене фигуры шамана фигурой жреца.

Как отмечает антрополог Лесли Уайт, в истории культуры шаман всегда предшествует жрецу и в конечном итоге всегда последним вытесняется. Между тем разница между ними существенная: «Шаман занимается своим делом по собственной инициативе и на свой страх и риск. Его умения и результативность действий основываются на обладании или способности манипулировать сверхъестественной силой, которой он так или иначе наделен вследствие особенностей темперамента или некоторого опыта общения со сверхъестественными силами... Способность жреца общаться со сверхъестественной силой приобретается только обучением у тех учителей, которых уполномочило общество; посещения со стороны сверхъестественной силы и наделенность ею здесь не играют роли. Шаману тоже может потребоваться обучение определенным приемам, но лишь как средство для выражения его собственных возможностей. Со своей стороны у жреца нет собственных сверхъестественных возможностей; он всего лишь обучен отправлению священного обряда и умеет это делать»[8].

Коллизия, связанная с заменой шамана жрецом, возникает всегда, когда общество вынуждено заменять таланты, выдвигающиеся в силу способностей, специалистами, подготавливаемыми систематически. Если у общества не хватает врачей, оно может наладить систему медицинского образования и получить достаточное количество дипломированных специалистов, но плата за это будет высока, поскольку врачами будут становится люди, не имеющие к этому таланта и, быть может, вовсе не способные лечить. В этом случае официальная медицина будет обречена на столкновение с еретиками-знахарями, которые будут противопоставлять героически понимаемую результативность бесплодной системности.

Всегда молодые и полные энергии хищники стремятся вытеснить предыдущее, застывшее в самоуспокоении поколение хозяев жизни. Но в случаях духовных революций все сложнее. Не так-то и просто ответить на вопрос, кто, кого и откуда вытесняет. Речь идет не только о новом поколении бюрократов внутри некой иерархии, но и о новом типе религиозности, о новом типе верующих — верующих, которые были готовы добровольно наложить на себя дополнительные бремена.

Старое учение — это благополучный жрец, просящий у прихожанина поделиться своими доходами, а новый учение — это нищий странствующий проповедник, требующий от верующего самому стать нищим. Даже если считать, что история религий — это история конкуренции жрецов-обманщиков, то этим мы не объясняем успеха проповедей и тот факт, что они задевают за живое. Объяснить то, что массы людей действительно нуждались в новом учении, что новое учение действительно удовлетворяло какие-то неудовлетворенные общественные запросы, можно только

[8] Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. С. 253.

тем, что люди действительно волновались о своем спасении и начинали подозревать, что старая система неудовлетворительна. Лютер был технолог спасения, который выразил сомнение, что старая система эффективна, — так сегодня появляются исследования, сомневающиеся в оздоровительном действии бега трусцой или ставших популярными медицинских препаратов.

Христианство начинало с нетерпимых к греху групп сектантского типа, но по мере того, как паства росла, церковь становилась терпимее и сама шла навстречу массе, делая все, что та от нее ждала. Из требовательного обличителя, чинящего помехи нормальной жизни, церковь превратилась в удобнейшее бюро услуг, и, между прочим, услуг широкого спектра! Как техника спасения души продажа индульгенций настолько же облегчила жизнь верующих, насколько индустрия облегчила труд домохозяек, наладив продажу готовых продуктов в вакуумных упаковках; отказаться от этого сервиса имеет смысл только в том случае, если мы всерьез обеспокоены вопросом о спасении. То же самое можно сказать о положении в Древней Индии — накануне зарождения буддизма все проблемы тамошние верующие могли решить, совершив жертвоприношения богам через жрецов.

Религию можно сравнить со спортом. Сначала тренеры изматывали прихожан нагрузками, затем заменили профессиональный спорт оздоровительной физкультурой, а затем вообще сошлись, что для поддержания здоровья людей достаточно платить медицинскую страховку. И вдруг появляется Порфирий Иванов с проповедью, что страховые компании не дадут вам здоровья и что спастись можно только самим — и люди, вместо того чтобы платить страховые взносы, начинают купаться в проруби и ходить босиком по снегу. Забывшая свое спортивное предназначение старая религия удобнее, но бывают эпохи, когда люди сами хотят нагрузок!

Когда говорят о шпенглеровском противопоставлении Культуры и Цивилизации, забывают, что сам Шпенглер придавал этим понятиям несколько иное значение, чем сегодня принято в философской публицистике. В «Закате Европы» культура и цивилизация — это лишь последовательно сменяющие друг друга фазы развития общества, эпоха культуры — эпоха творчества, создающего новые законы и принципы, в эпоху цивилизации творчество заканчивается, созданные культурой принципы используются, а вследствие нетворческого использования — формализуются и закостеневают. с точки зрения этой терминологии, духовные революции, о которых мы говорим, — это попытки возродить культуру в развитых идеологиях, давно уже ставших формами цивилизации.

По своей структуре коммунизм как будто специально был предназначен для произведения в нем реформации. Он был настоящей религией церковного типа. В нем была жреческая иерархия с епископами, богословами-теоретиками и проповедниками-агитаторами, было застывшее в догматизме, но в чем-то весьма сильное и логичное учение, был канон священных книг, был пантеон почитаемых как полубогов отцов-основателей. Реформы Хрущева и Горбачева в их партийном, то есть осуществляемом партийным руководством, варианте имели тенденциозные черты духовных революций, хотя, конечно, не стали ими ввиду слабой разработанности подлинных идейных основ этих реформ. Интеллигенция, много писавшая в поддержку реформ, находилась вне марксизма, партийные авторы были слишком неглубоки. Правда, были еще интеллектуалы из числа профессиональных теоретиков-марксистов, но их труды мало изучены, и влияние на общество они оказывали небольшое.

Тем не менее в своих тенденциях и оттепель, и перестройка повторяли и реформацию, и ранний буддизм. Догмы учения объявлялись устаревшими, и на первое место выдвигалась личная ответственность коммуниста, «перестройку начни с

себя». В самом учении провозглашался возврат к истокам, к подлинному ленинизму, возникал всплеск интереса к работам классиков — и в этом была некоторая оппозиция к учебникам и другим опосредованным источникам идеологии. Отвергнуть авторитет ответственных работников реформаторы не могли, но начинали подчеркивать, что назначения должны осуществляться в соответствии с личными качествами. Если бы коммунистический режим был действительно настолько заидеологизированным, каким он хотел казаться, и если бы лидеры коммунизма были действительно Епископами Коммунистической Церкви, а не просто правителями, то реформы в стиле «социализма с человеческим лицом» можно было бы смело записывать в список духовных революций вслед за хасидизмом.

Однако была еще перестройка, осуществляемая либеральной интеллигенцией, — движение так называемых «демократов» (приставка «так называемых» в данном случае символизирует вовсе не сомнение в демократизме, а только указание на то, что имеется в виду вполне конкретное, ограниченное в пространстве и времени социальное явление). Период цельного и уверенного в себе развития либерализма в России длился недолго, может быть, всего года три-четыре, и поэтому он не успел выкристаллизоваться в цельную идеологию, да и не мог: распадалась интеллигенция, социальный носитель идеологии, да, в конце концов, на то либерализм и мечтает о свободе, чтобы чураться всякой организованности. Но все же тенденции к этому были, и очень многие видели за шестидесятническими лозунгами черты новой идеологической церкви — церкви, которая, к сожалению или к счастью, рухнула, не успев родиться.

Субкультуру, контуры которой в это время угадывались за отступающим и разрушающимся марксизмом, можно назвать «эпохой публицистов» — по аналогии с тем, как Гессе назвал современную ему культуру «фельетонной эпохой». Публицистика и публицисты сыграли в короткий период ранней перестройки совершенно беспрецедентную роль. Газетная и журнальная публицистика была той формой, в которой общество генерировало и воспринимало новую идеологию, она же была той ареной, на которой избивалось чучело коммунизма и на которой коммунизм передавал «ключи» своим аморфным и еще не до конца родившимся преемникам.

Что касается содержания этой новой идеологии, то она вполне укладывается в формулу антропоцентризма, которая была свойственна прочим духовным революциям. Все четыре тенденции, указанные нами выше как характерные черты всякой духовной революции, были свойственны всякой духовной революции. Во всех областях жизни — государственном управлении, творчестве, экономике — либеральные публицисты доказывали преимущества индивидуализма перед институциональным или коллективным регламентированием. Рыночная экономика противопоставлялась государственному регулированию, свобода творчества — цензуре, право на частную жизнь — вмешательству в нее коллектива, демократия и многопартийность — партийной диктатуре. Либералы отвергали канон священных книг и апеллировали к реальной действительности. Наконец они начали вырабатывать собственный пантеон почитаемых лиц — впрочем, обожествляемых и мистифицированных несколько менее, чем коммунистические вожди. Мода привнесла в публицистическую субкультуру те же черты строгости, которую в церковное учение привносят дисциплина и утвержденный соборами канон. В публицистике выкристаллизовалась вполне определенная идейная система, в которой были традиционные темы, традиционные идеи, любимые классические авторы и, наконец, фигуры для почитания и поклонения. Западные теоретики демократии, такие, как Хайек и Фридмен, становились любимыми классиками, академик Сахаров чуть ли не заменил Ленина в роли «самого человечного человека».

Однако среди всех этих тенденций и свойств новой субкультуры интереснее всего само существование такой социальной фигуры, как публицист, — их имена в те недолгие годы знали миллионы, это были настоящие кумиры и властители дум. Рассматривая перестройку как эмбрион духовной революции, вполне можно констатировать, что публицисты были новым поколением идеологов, шедшим на смену идеологам партийным. И дело тут не в том, ЧТО новое пропагандировали либералы — дело в том, КАК они это делали. Каждый либеральный публицист сам был личностью, партийные агитаторы были лишь ипостасями пропагандистского механизма.

Либеральная публицистика пропагандировала право человека на высказывания без контроля идеологических инстанций, и сами публицисты воплощали собой это человеческое право на свободное суждение. Публицисты могли мыслить сами, они не просто говорили смелые и новые вещи — они позволяли себе индивидуальный стиль и при этом не ссылались на авторитет — говорили от себя, апеллировали к фактам или возводили в ранг авторитетных классиков каких-то случайных авторов, следуя за новинками книжного рынка.

Таким образом, первоначально сама фигура либерального публициста в политике воплощала фрондерское и кощунственное право человека самому быть субъектом высказывания, а не проводником того стоящего за спинами коммунистических публицистов Трансцендентального субъекта речи, что выступал под именами Партии, Государства, Традиции, а то и самого Учения — этого надындивидуального чудовища, символизируемого трехголовым драконом Маркса–Энгельса–Ленина. Феномен либеральной публицистики был бунтом против любопытнейшего социально-культурного явления, которое можно назвать Священным Косноязычием коммунизма.

Все началось с самого Горбачева. Поведение последнего генсека, который так же, как когда-то его предшественник по реформаторству Хрущев, говорил нормально и «без бумажки», и поведение Ельцина, который в первые годы своей политической карьеры говорил не просто без бумажки, но еще и прямо отвечал на поставленные вопросы, было с точки зрения коммунистической церкви весьма смелым и даже кощунственным.

Классический генеральный секретарь (Брежнев–Андропов–Черненко) говорил по бумажке не только потому, что имел слабую память, но и потому, что он воплощал всеобщую несвободу слова, придерживаясь бумажки, он придерживался *неличного* мнения (мнение, которое, по классической партийно-бюрократической формуле, никем лично не высказывалось, но тем не менее «*есть*»).

Допустим, Брежнев не мог сказать слова без шпаргалки ввиду своей немощи. Но ведь и все остальные на официальных собраниях говорили по заранее заготовленным шпаргалкам. Для кого-то эта была помощь, а для кого-то — контроль, ведь речи рядовым трудящимся готовили партийные органы. То есть все — от Брежнева до простого рабочего — говорили лишь то, что написала Партия. А мнение партии не может быть красноречивым, ибо красноречие — продукт индивидуальных способностей, красноречие связано с индивидуальным стилем, а речи и статьи членов Политбюро, идейно и стилистически единые с программными документами партии, а также текстами идеологических учебников, были продуктами заведомо безличной, коллективной реальности. К тому же учение партии должно было быть безошибочным, а безошибочность может существовать только в выражениях крайне обобщенных и безответственных.

Что же касается специфических идеологических текстов, создаваемых дипломированными теоретиками-марксистами, то в них риторическое искусство пало

под гнетом восхищения Традицией и ее Основателями. Традиция была слишком авторитетна, чтобы ее можно было разрабатывать, не впадая в преступную самонадеянность. Идеологически выдержанный текст был не авторским произведением, а лишь путеводителем по мудрости классиков и мудрости партии. Бессилие и склонность к компилятивности современных авторов подчеркивали авторитет традиции.

Право говорить живо и красноречиво о политических вопросах в доперестроечном Советском Союзе было предоставлено лишь самым рядовым агитаторам и журналистам — тем, кто явно сам ничего не решал и поэтому не мог «вещать», но зато был обязан защищать генеральную линию от возможной критики и предполагаемых «каверзных вопросов». Рядовой районный агитатор будет говорить всегда красноречивее генерального секретаря, даже если на последнего работают десять спичрайтеров, так как агитатор говорит от себя, а генеральный секретарь делает ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ. Районный агитатор живее генсека, ибо первый — всего лишь человек, а второй — медиатор великой надличной структуры.

В секте «Свидетелей Иеговы» существует принцип, в соответствии с которым у изданий секты нет авторов, все книги и брошюры иеговистов анонимны. Говорят, этот принцип ввел президент секты, сам не владевший пером. Компартия придерживалась противоположного принципа: члены Политбюро подписывались под анонимными по стилю и содержанию произведениями. О механизмах такой «авторизации», правда применительно к власти вообще, замечательно сказано в книге югославского философа и психоаналитика Славоя Жижека: «Итак, „субстанция становится субъектом“ тогда, когда субъект возлагает на себя мнимую ответственность за то, что остается вне поля его деятельности... Монарх — вот что по Гегелю воплощает этот парадокс в его самом чистом виде. Государство без монарха — это субстанциональный порядок, монарх же знаменует точку его субъективации. Но в чем же конкретно состоит его функция? Только в том, что он ставит точки над „i“, формально присваивая (когда скрепляет своей подписью) декреты, предоставляемые ему министрами и советниками, превращая эти декреты в выражения его личной воли, придавая объективному содержанию декретов и законов форму чистой субъективности, форму „Нашею монаршей волею...“ Монарх, следовательно, это субъект par exellence, однако только до тех пор, пока он держится в рамках чисто формального акта субъективного решения. Стоит ему пожелать выйти за эти рамки, позволить себе увлечься вопросами конкретного содержания — и он пересечет границу, оделяющую монархов от его министров, а государство регрессирует к уровню субстанциональности»[9].

То же самое, что Жижек говорит о «монархе», можно сказать и о высших руководителях компартии — но не в сфере государственного управления, а в сфере идеологии и публичной речи. Все важнейшие документы, речи, статьи и даже мемуары политических лидеров готовили специальные сотрудники — готовили, не преступая рамок стилистической и идейной несвободы, а правители лишь сообщали этим документам авторитет, ставя под ними свои имена, которые, впрочем, были тоже лишь приложением к их папским и епископским санам. Генсек, который взял бы на себя смелость говорить и писать «от себя», оригинально и живо, произведет именно эту указанную Жижеком «регрессию к субстанциональности» — он перестанет быть органом безошибочной партии, а станет просто человеком, который говорит не от имени партии и традиции, а берет за свои слова личную ответственность и, следовательно, может ошибаться. Такого можно и свергнуть — что и произошло с Хрущевым, единственным из послеленинских и догорбачевских прави-

[9] Жижек С. Возвышенный предмет идеологии. М., 1999. С. 220–221.

телей, который смел говорить живо, не казенным языком импровизируя и ясно показывая всем своим видом, что это говорит Хрущев — но не Партия.

Завершая тему, остается только напомнить тот известный факт, что всякое порожденное духовной революцией новое учение немедленно начинает коснеть и формализовываться и со временем может быть потрясено другой революцией. В конце концов, те старые учения, которые отменяются духовными революциями, когда-то были новыми и возникли в результате духовных революций. В сфере политики данный механизм был описан Максом Вебером, когда он говорил о «рутинизации» революционной, харизматической власти. В отношении замкнутых тайных обществ — религиозных орденов, масонских лож и политических партий — тот же механизм был очень ярко описан Роже Кайуа, который в своем трактате «Дух сект» отмечал, что пришедшую к власти секту «покидают жертвенность и боевитость», «доблести теряют свой смысл», в результате чего секта «больше не бросает обществу вызов и не показывает ему пример»[10].

Вот что Эли Визель сказал о судьбе хасидизма после его победы над консервативным и заформализованным иудаизмом — и слова эти можно применить к любому религиозному или политическому движению:

«Но горе тем, кто преуспел. Ничто так не развращает революционное движение, как победа. Ибо первое поколение, поколение пионеров, сменяется поколением оппортунистов. Третье поколение продолжает борьбу просто по привычке, в четвертое — по инерции, обнажая изнанку триумфа. В конечном счете движение расщепляется на враждующие между собой фракции, группы, секты. Существо дела заслоняется мелочными сварами. Личности заменили собой идеи, а лозунги — идеалы. Возвышенные цели утрачиваются, миссия предается забвению. Теперь борьба разгорается вокруг званий и должностей — процесс предсказуемый и необратимый. Ибо изумление и страсть не бессмертны. Ни одному победоносному духовному течению еще не удавалось сохранить в первозданной чистоте мечты и чаяния его основоположников. Нет ничего труднее, чем лелеять надежу после того, как она сформировала реальность. Нет ничего опаснее для победы, пусть духовной, чем сама победа»[11].

Аналогичный пессимистический взгляд на судьбу любой попытки возродить религиозный дух высказывает и Шри Ауробинда: «Ибо всегда преобладает форма, а дух отступает и слабеет. Конечно, он пытается вернуться, оживить форму, но слишком сильна тенденция времени. Это явствует из истории религии; усилия святых и религиозных реформаторов постепенно становятся все более разрозненными, непродолжительными и на деле приносят все менее значительные результаты, сколь бы сильным и энергичным небыл первоначальный импульс. Мы видим этот спад в сгущающемся мраке и возрастающей слабости Индии последнего тысячелетия; своими непрестанными усилиями сильнейшие духовные личности сумели сохранить живой душу народа, но не смогли воскресить вольную силу, истину и дух или постоянно поддерживать жизнь в подчиненном условности и коснеющем обществе; через одно или два поколения конвенциализм неизменно захватывал в свои железные тиски очередное новое движение и присваивал себе имена его зачинателей»[12].

Поистине, горе тем, кто преуспел. Поэтому, пожалуй, стоит даже радоваться, что порожденное перестройкой либеральное движение не победило безусловно и не превратилось в либеральную церковь.

---

[10] Кайуа Р. Игры и люди; Статьи и эссе по социологии культуры. М., 2007. С. 276–277.

[11] Визель Э. Рассыпанные искры. С. 135.

[12] Шри Ауробиндо. Человеческий цикл. СПб., 1999. С. 22.

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ

НА СТЫКЕ ТРЕХ МИРОВ

Исторический очерк: ислам — иудаизм — христианство

При всем том, что история не имеет сослагательного наклонения, невольно занимаешь себя мыслью: что было бы с Францией в начале XIX века, если бы Наполеон был убит в первом же своем сражении? с Россией начала XX века — если бы Ленин умер от инфлюэнцы в Швейцарии? с Германией — погибни Гитлер на полях Первой мировой? Наконец, как реализовалась бы сионистская идея, если бы австрийский журналист Теодор Герцль не пришел на парижскую площадь, где совершалась гражданская казнь Дрейфуса, и не ушел бы оттуда потрясенным, впервые задумавшись о необходимости создания еврейского государства?

Эти вопросы небеспочвенны, это не пустая игра воображения. Задаваясь ими, невольно начинаешь размышлять о влиянии личности на ход истории и, анализируя эту личность, ее судьбу, истоки ее действий и мировоззрения, лучше познаешь тайные пружины, причины и последствия тех или иных событий. Более того, при всем нашем детерминистском воспитании, заставляющем воспринимать мировую историю как поле действия определенных законов, а отнюдь не как хаотическое сцепление случайностей, невольно задумываешься над тем, что многое предопределено, но ведь и свобода дана, свобода воздействия какого-нибудь бытового, вроде бы мелкого сюжета, подчас поворачивающего ход событий и ставящего весь поезд на другие рельсы.

Ведь подумать только: не застань Иван Грозный в жаркий летний день свою беременную невестку в одной рубахе, не разгневайся он на молодую женщину за ее неподобающий вид, не ударь ее в гневе, что вызвало заступничество за жену сына Ивана и убийство его отцом в порыве ярости (см. знаменитую картину Репина), трудно сказать, как пошел бы ход российской истории. В результате этого инцидента, вызванного случайными обстоятельствами, после Грозного престол занял не старший сын — убитый отцом Иван, сильный, умный и подготовленный для правления человек, а его младший брат Федор — больной, слабый, поддающийся влияниям и к тому же бездетный. А дальше все известно: правление Годунова, Смута,

---

Михаил Залманович Румер-Зараев — прозаик и публицист. Родился в Москве в 1936 году. Долгие годы работал в российских газетах и журналах («Московская правда», «Сельская жизнь», «Огонек», «Век»). Автор ряда книг: «Семейное поле», «По следам Смоленского архива», «Сошествие в ад», «Одиночество власти». Публиковался с прозой и публицистикой в «Новом мире», «Октябре», «Звезде», «Дружбе народов». «Кольце А», «22», «Время и место» и других российских и зарубежных литературных журналах. Член Союза писателей Москвы. В настоящее время живет в Берлине, где редактирует русскоязычную газету.

самозванцы, разор и оскудение земли Русской и, наконец, новая династия — Романовых. Вот вам случайность, поворачивающая ход истории.

Такого рода случайности можно обозначить как «насморк Наполеона». Некоторые историки полагают, что эта пустяковая болезнь повлияла на принятие великим полководцем решений во время Бородинского сражения, что и предопределило его ход. Можно сомневаться во влиянии этого медицинского обстоятельства на ход войны 1812 года, но то, что подобного рода бытовые мелочи иногда поворачивают движение истории, все-таки несомненно. Эти «мелочи» подчас выскакивают из глубины веков, поражая наше воображение.

Письмо пророка

Вот сражение между византийцами и арабами в Палестине, на притоке Иордана — реке Ярмук, исход которого в VII веке предопределил конец великой эпохи, начавшейся завоеваниями Александра Македонского.

В тот день, 20 августа 636 года, из пустыни дул жаркий ветер — хамсин, а византийские войска стояли с подветренной стороны, и глаза им засыпало летящим песком и пылью, что сыграло немаловажную роль в победе арабов. «Насморк Наполеона»? Возможно. Последствия победы арабов, в которой сыграл роль этот просчет византийского полководца, оказались судьбоносными. После тысячи лет эллинской цивилизации, через семьсот лет после помпеевских завоеваний, поставивших Восток под власть «римского орла», началось великое отступление европейской культуры из этих пределов и приход туда мусульманской цивилизации.

И теперь, когда мы мысленным взором устремляемся в ближневосточный ареал на полторы тысячелетия назад из нашего времени, расколотого конфликтом исламской и западной цивилизаций по всему географическому фронту — от Израиля до российского Северного Кавказа, мы видим, как глубоки корни этого конфликта, который теперь называют «третьей мировой войной».

Собственно, эта война началась еще при жизни пророка — основателя ислама. Но сначала то были мелкие и не слишком успешные набеги арабских племен на Палестину, давно и прочно принадлежавшую империи ромеев — так называли себя византийцы, эллинские христианские наследники Древнего Рима. Но эти набеги никого особенно не волновали. Главные события на сцене мирового политического театра разворачивались в столкновении Византии и Персидской империи Сасанидов. Эта война продолжалась девятнадцать лет, и обе стороны рассматривали ее как сражение между двумя мировыми религиями — христианством и зороастризмом, который тогда исповедовали персы. Речь шла о борьбе не столько за преходящие политические выгоды, сколько за торжество абсолютной истины, так как она виделась каждой стороне. И недаром византийская армия шла на персов, неся впереди себя иконы Христа и Богородицы — как знаки небесной помощи. Но при этом на кону стояли такие весьма важные и для той и для другой стороны земли, как Анатолия, Сирия, Палестина, Египет, Месопотамия, Армения... Они переходили из рук в руки, но в конце концов византийский император Ираклий вторгся со своим войском в Персию и разгромил армию царя Хозроя близ Ниневии. А дальше произошло событие, не замеченное никем из современников, но оказавшееся миной замедленного действия, взорвавшейся через двадцать лет и изменившей силой своего взрыва политические очертания всего Древнего Востока.

Когда Ираклий в 629 году принимал поздравления с победой от разных владык, в Константинополь пришло письмо от некоего арабского шейха Мухаммада, объявившего себя Божьим пророком и призывавшего императора принять его веру.

Подобные письма были посланы царям Персии, Эфиопии, губернатору Египта, но воспринимались они, по-видимому, как некий курьез, как послание безумца. Через три года этот шейх умер. Однако еще пару десятилетий спустя его имя стало греметь по всему миру, а его наследники завоевали и Сирию, и Египет, уничтожили остатки Персидской империи, убили последнего царя из династии Сасанидов и вышли на Аму-дарью. Они, как и их византийские и персидские предшественники, также вели свои войны за конечное торжество своей религиозной истины.

Причины победительного шествия ислама и создание за сравнительно короткие сроки его огромной империи могли бы стать предметом особого и весьма непростого разговора. Скажем только, что успех Мухаммада сначала как религиозного, а затем и как военного лидера объясняется не только его политическим гением, но и тем, что он как никто другой понимал арабов, разделял все чувства и все предрассудки своего народа. Это позволило ему оставить после себя прочную организацию, выживание которой было гарантировано Кораном — книгой, несущей в себе не только слово Божие, содержащей не только мудрые изречения, притчи и рассказы, но и правила ежедневного поведения, управления империей и полный свод законов.

Сила ислама была в его простоте. Один Бог на небе, один глава правоверных на земле, и один закон — Коран, по которому этот глава, халиф, правит. В отличие от христианства, проповедовавшего мир, которого оно не могло достигнуть, ислам открыто шел с мечом. Бедуины, и раньше грабившие в пустыне караваны купцов, теперь, делая это, громили неверных и чувствовали себя миссионерами. Они включались в завоевательное движение, захватывали территории, получая за эти миссионерские завоевания благословение пророка и обещание райских благ в случае гибели в джихаде — священной войне.

При преемнике Мухаммада Абу Бакре, правившем всего два года, был завершен захват Аравии. Следующий же халиф — Омар — за десятилетний срок своего правления завоевал Сирию, Палестину, Египет, Ирак, часть Ирана и заложил основы государственной организации арабов в завоеванных странах: наместничество, военные лагеря, систему сбора и распределения средств, ввел мусульманское летосчисление (хиджру).

Теперь главными врагами Византии были не персы, а арабы, воспринимаемые ромеями как варвары, подобно тому как столетия назад римляне воспринимали германцев, готов, вандалов. Но арабы, в отличие от западных варваров, несли с собой четкую и доступную завоеванным народам религиозную идею.

На первых порах император Ираклий думал справиться с новыми варварами местными силами, но когда арабы захватили Южную Сирию, включая Дамаск, и приблизились к Иерусалиму, который уже был святым городом христианства, пришлось двинуть против новоявленных завоевателей многонациональную имперскую армию. Помимо греков, составлявших главное национальное ядро Византии, под имперские знамена встали армяне и арабы-христиане, предавшие, впрочем, своего сюзерена в самый решительный момент. Основу арабских сил, которыми командовал Халид ибн-Валид, названный Мухаммадом Мечом Аллаха, составляла легкая кавалерия. Натиск ее был столь сокрушителен, что в битве при Ярмуке изнуренные хамсином византийские солдаты, даже будучи по приказу императора прикованными друг к другу цепями, бежали с поля сражения.

Память об этой победе до сих пор будоражит воображение современных мусульман. Именно в честь нее подпольная террористическая организация, уже в

наше время действующая на территории Кабардино-Балкарии, назвала себя «Джамаат Ярмук» **(**джамаат от арабского «джамаа» — общество, коллектив, община).

После сокрушительного поражения византийцев у реки Ярмук Сирия и Палестина за короткое время были завоеваны арабами. Оборонялся лишь возглавляемый патриархом Софронием сильно укрепленный Иерусалим. Эта оборона длилась два года. В конце концов патриарх, понимая, что сопротивляться штурму города — значит обречь его на разорение и резню населения, принял решение о капитуляции, выдвинув только одно условие: Иерусалим будет сдан лишь самому халифу Омару. Возможно, что в этом виделся некий религиозный смысл: христианский патриарх сдает город религиозному лидеру мусульман. Как бы там ни было, но Омар прибыл на встречу с Софронием, чтобы оговорить условия сдачи. Престарелый патриарх в своем торжественном облачении встретил Омара на Масличной горе и был поражен бедуинской простотой халифа. Тот прибыл на белом верблюде, в засаленной одежде из верблюжьей шерсти, с мешком фиников, притороченном к седлу. Софроний, привыкший к пышности византийского двора, усмотрел в таком аскетизме нового владыки оскорбление. Он горестно сказал своему окружению: «Воистину это мерзость запустения, предреченная пророком Даниилом, водворившаяся на месте святом». Он предложил Омару переодеться и распорядился, чтобы принесли сидоний — обычную одежду высокопоставленного византийца. Но Омар оставался в сидонии ровно столько времени, сколько понадобилось для стирки его одежды, а потом снова облачился в свою хламиду из верблюжьей шерсти.

В этом бытовом эпизоде — противопоставление двух миров: формирующегося исламского, пока еще несущего в себе простоту и аскетический порыв новой религии масс, и христианского, уже обросшего обрядами и выработавшего изощренное религиозное мышление.

Первое, что сделал Омар, войдя в Иерусалим, — попросил Софрония показать ему святые места иудаизма и христианства, совершил намаз у могилы «пророка Иссы» и распорядился очистить от гор мусора Храмовую гору. Во всем этом проявилась характерная черта раннего ислама: он не отрицал и не оставлял без внимания святые места других религий, но при этом старался дать им собственные объяснения и по возможности присвоить.

Надо отметить еще одно деяние халифа Омара: он разрешил евреям селиться в Иерусалиме, отменив, таким образом, христианский запрет, действовавший около пятисот лет, и, по-видимому, даже выделил им место для молитвы на Храмовой горе. Так начиналась история иудео-исламских отношений, насчитывающих почти четырнадцать веков и отражающих характер взаимодействия двух цивилизаций, истоки которого так важно понимать сейчас, во времена трагического разлома культур.

Отплывая от библейских берегов

Отношение к евреям на протяжении почти 1400-летней истории ислама менялось, колеблясь между терпимостью и агрессивным неприятием. Сам Мухаммад первоначально ставил перед собой задачу не столько создания нового учения, сколько восстановления древней религии Авраама. Будучи предрасположенным к иудаизму, он считал, что его знание о Боге происходит именно оттуда, а арабы произошли от патриарха Авраама через его сына Исмаила.

В период становления своего учения пророк во время молитвы обращался в сторону Иерусалима, соблюдал пост в Йом-Кипур, рассчитывая на поддержку бога-

тых и влиятельных евреев Медины. Все переменилось, когда они отказались признать Мухаммада Мессией, приход которого обещан в Писании. И чем упорнее становилась оппозиция евреев новому учению, тем больше в нем возникало отличий от иудаизма, тем дальше оно отплывало от библейских берегов. Молящиеся теперь должны были обращаться в сторону Мекки, пост переносился на месяц рамадан, взамен субботнего вводился пятничный отдых, и даже Авраам объявлялся мусульманином.

Более того, в некоторых сурах Корана были зафиксированы прямые враждебные высказывания против евреев, вроде, например, такого: «И воздвигнуто было над ними унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха». Эти слова любил цитировать Анвар Садат, давая тем самым религиозную мотивацию враждебному отношению мусульман к евреям.

Говоря по существу, фундаментальное сходство ислама с иудаизмом проявляется прежде всего в свойственном им обоим неразрывном переплетении религии и закона. С самого начала ислам представлял собой синтез религиозных и правовых норм. Но что это за религия... Бог в представлении Мухаммада вполне реален. Он обладает слухом, зрением, речью, может положить руку на плечо пророка так, что «тот чувствует холод его пальцев».

Вообще все в этом учении реально. Если речь идет о загробной жизни, то имеется в виду не отвлеченное бессмертие души, а воскрешение человека во всем его земном обличье, в полноте не только духовного, но и телесного бытия. Праведного ждет рай, наполненный земными радостями: гуриями, прохладой, лакомствами. Для праведного нет гибели, нет смерти: «Не думайте, что те, кто погиб во имя Аллаха, на самом деле умерли. Они живы, и Аллах заботится о них».

Фатализм, покорность высшей воле, представление об абсолютности божественного предопределения — стержень этого вероучения, рассматриваемого многими историками как упрощенный вариант двух других мировых религий — иудаизма и христианства.

Эта упрощенность плюс всеобъемлющая зависимость общественных и культурных форм жизни от религиозных предписаний стала основой цивилизации, которая по мере военных побед наследников дела Мухаммада распространилась по восточному миру.

Пребывание евреев в сфере ислама насчитывает множество трагических и блестящих страниц. После смерти Мухаммада при создании огромной империи перед ее владыками-халифами встала необходимость более или менее четко определить отношения между мусульманами и неверными. Для этого в 720 году был принят специальный пакт халифа Омара, согласно которому евреи и христиане, будучи, говоря словами пророка, «людьми Писания», могли исповедовать свою веру, в отличие от язычников, у которых был лишь выбор: принять ислам или умереть.

Тот же пакт положил начало дискриминационному законодательству, то ужесточавшемуся, то смягчавшемуся при преемниках Омара. И евреям, и христианам запрещалось обращать кого-либо в свою веру, так же как и препятствовать своим единоверцам переходить в ислам. Они должны были «вставать с места, когда мусульмане хотят сесть», им разрешалось ездить на ослах, а отнюдь не на лошадях, а халиф Гарун аль-Рашид обязал евреев носить конический колпак и желтый пояс — прообраз желтого знака, отличавшего евреев в средневековой Европе.

Тем не менее, если судить по документам каирской генизы (хранилища старых свитков и документов), ничто не мешало евреям заниматься торговлей, ремеслами, а подчас достигать высокого положения в качестве врачей и министров при

дворах мусульманских властителей.

Вот как описывает свой день великий еврейский философ Маймонид, который, руководя еврейской общиной Каира, был врачом египетского султана: «Я живу в Фостате, а султан в Каире (на расстоянии около полутора километров)... Мои обязанности при дворе султана очень обременительны. Я должен навещать его ежедневно рано утром, а когда он, или его дети, или обитатели гарема заболевают, я не осмеливаюсь покидать Каир, но должен большую часть дня проводить во дворце... Поэтому я, как правило, езжу в Каир в начале дня, и даже если ничего особенного не случается, я не возвращаюсь в Фостат раньше полудня... Моя приемная всегда полна как евреями, так и неевреями, знатью и простолюдинами, судьями и чиновниками, врагами и друзьями — пестрая толпа, которая ждет моего возвращения. Я схожу с коня (видимо, ввиду высокого положения Маймонида ему разрешалось ездить на коне, а не на осле. — *М.Р.*), мою руки, иду к своим пациентам и прошу у них извинения, чтобы хоть немного отдохнуть и поесть, это моя единственная трапеза за день. Затем я иду принимать пациентов, выписываю рецепты...»

Характерно, что арабские халифы давали евреям полную свободу во внутреннем самоуправлении. В Вавилонии, которая в первые века мусульманского владычества продолжала оставаться духовным центром мирового еврейства, имелась и светская власть экзиларха, и духовная — гаонов — руководителей двух талмудических академий, расположенных в городах Сура и Пумбадита. Именно здесь, на сессиях этих академий, обсуждались проблемы общественной и духовной жизни мирового еврейства, отсюда шли законодательные вердикты в общины Сирии и Персии, Палестины и Египта.

Все это происходило в рамках исламского государства, где со временем началось развитие религиозной философии, науки и культуры. Мусульманская культура впитывала в себя наследие Греции и эллинского мира, а молодое мусульманское правоверие, будучи еще догматически неокрепшим, строило здание своей теологии, используя философские достижения античности.

Теологи ставили вопросы, без ответа на которые религия превращается просто в народный культ: что такое человеческая душа, как обстоит дело со свободой воли, какие нравственные цели имеет мир и человек? Попытки отвечать на подобного рода вопросы привели к созданию в недрах ислама религиозно-философской школы мутазилитов (отщепенцев или, как мы теперь сказали бы, диссидентов). Их расхождение с классической мусульманской теологией было прежде всего по вопросу о свободе воли.

Этика мутазилитов предусматривала возможность человека свободно распоряжаться своей волей. Именно поэтому он ответствен за свои деяния. Это шло вразрез с фаталистическими представлениями Корана, в котором, впрочем, имелось и немало сур, утверждающих известную автономность поведения человека. Божественное предопределение, полагали мутазилиты, не может быть абсолютным, исключающим свободу человеческой воли, ибо в этом случае ответственность за зло, переполняющее мир, ложится на Аллаха.

Не менее смелым было утверждение мутазилитов о том, что Коран сотворен Аллахом во времени, то есть Божье слово не извечно, оно создано Богом и возвещено пророком в результате откровения.

Учение мутазилитов оказало глубокое влияние на отца средневековой еврейской религиозной философии Саадию-гаона, бывшего в первой половине X века руководителем академии в Суре. В своей «Книге верований и мнений» он дал первое систематизированное философское объяснение иудаизма. Среди основных

провозглашенных им принципов иудаизма — свобода воли как результат высокого нравственного предопределения человека.

Золотым веком еврейства Испании, куда из Вавилонии переместился духовный центр иудейского мира, считаются X–XII столетия, когда большую часть Пиренейского полуострова контролировали весьма терпимые к иудаизму исламские правители. В это время в Испании творили такие великие еврейские поэты, философы и религиозные мыслители, как Иегуда Галеви, Ибн-Габироль, Ибн-Эзра, писавшие, кстати, как и Маймонид на арабском языке.

Но волны христианского фанатизма, заливавшие полуостров в ходе Реконкисты — повторного завоевания христианами Испании, вызвали волну мусульманского фанатизма со стороны альмохадов, пришедших из Северной Африки племен, проводивших насильственную исламизацию.

Однако и в конце XV — начале XVI века изгнанные с Пиренеев эдиктом христианских королей евреи устремились главным образом в европейские и азиатские владения Турции. История повторялась: придя в Испанию с арабского Востока, они двинулись из Испании обратно на турецкий Восток, где находилась их древняя родина — Палестина.

Интересно, что турецкая империя возникла всего за сорок лет до изгнания евреев из Испании в 1492 году. Провидение как будто бы заботилось о создании убежища для странствующего народа.

В Турции евреи-сефарды весьма активно торговали, занимались ремеслами и науками, познакомив, кстати, турок с порохом и пушками. В одном только Константинополе в XVI веке жили около тридцати тысяч сефардов, имевших сорок четыре синагоги. Значительные общины сформировались и Иерусалиме, Тивериаде, Цфате, где возникла школа лурианской каббалы.

Однако при всем том, что в средние века условия жизни в исламских странах были для евреев легче, чем в христианских, они постоянно чувствовали себя гражданами второго сорта. Причина лежит в религиозных канонах учения Мухаммада, согласно которому иноверца надо держать в унижении.

В XX веке взаимоотношения иудаизма и ислама осложнились в результате одного из главных событий этого века — создания государства Израиль. Если в средние века в мусульманской литературе евреи изображались как фальсификаторы Священного Писания и вероломные предатели, то в современной арабской пропаганде они выглядят как враги Аллаха и всего человечества. На конференции ведущих мусульманских теологов, проходившей в 1968 году в Каирской академии исламоведения, утверждалось, что в самой природе евреев заложены пороки, вызывающие к ним ненависть всех народов, среди которых они живут. Теологи, принявшие участие в конференции, призывали к уничтожению Израиля, утверждая, что сионисты обречены на рассеяние самим Аллахом.

Геополитический конфликт Израиля с арабским Востоком усугубляется и глобализируется еще и в силу того, что Израиль воспринимается в этом регионе как средоточие всего негативного, что несет в себе западная культура.

В романе Артура Кестлера «Воры в ночи» описывается создание в конце 30-х годов кибуца на купленной у арабских крестьян земле. В строящийся еврейский лагерь приходит делегация феллахов с требованием оставить землю, которую они, несмотря на продажу, считают своей.

— Этот холм оставался бесплодным с тех пор, как наши предки его потеряли, — говорит руководитель кибуца — интеллигентный немецкий еврей. — Вы заброси-

ли землю. Дали разрушиться террасам, и дожди размыли почву. Мы расчистим камни, привезем тракторы и удобрения.

— Нам хватает урожая с долины, — отвечает старый араб, — где Бог положил камень, пусть там и лежит. Мы будем жить, как жили наши предки. Мы не хотим ваших тракторов, ваших удобрений и ваших женщин, вид которых оскорбителен для глаз.

— Мы слишком ленивы, ей-богу, — говорит ему по возвращении другой араб, смущенный активностью поселенцев.

— Ты рассуждаешь как дурак! — восклицает старик. — Я живу для этого холма, или он — для меня?

В сущности, это диалог двух цивилизаций. Диалог бесцельный, бессмысленный, ибо каждый говорит на языке свой культуры.

Вызов христианству

Но вернемся к истокам ислама и попытаемся выяснить, как произошло превращение Иерусалима в святой город ислама? В этой истории тесно переплелись и религиозные, и политические мотивы. В первом стихе 17-й суры (главы) Корана описывается, как Аллах «перенес ночью своего раба (то есть Мухаммада) от святыни неприкосновенной (то есть от святилища Кааба в Мекке) в мечеть отдаленнейшую (ал-маджид ал-Акса)». Хотя некоторые мусульманские теологи полагают, что «мечеть отдаленнейшая» находится на небе, по общепринятому у мусульман мнению, в этой суре имеется в виду Храмовая гора в Иерусалиме. Видимо, поэтому Омар приказал расчистить ее в первую очередь. Возможно также, что он построил в южной части горы временную мечеть. Но настоящие действия по исламскому освящению города начались позже, и тут мы вступаем в сферу арабских междоусобиц, длившихся в течение всего VII века.

Шесть лет спустя после захвата Иерусалима всесильный Омар пал после молитвы в мечети от ножа персидского раба, обиженного несправедливым, по его мнению, решением халифа в тяжбе этого раба со своим хозяином. На выборах нового лидера правоверных родовая знать Мекки предпочла представителя знатного рода Омейядов Османа двоюродному брату, воспитаннику и зятю пророка Али, что было несправедливо, по мнению «широких трудящихся масс» паломников. Они восстали и убили Османа. Теперь уже халифом стал-таки Али, которого поддерживали демократически настроенные мусульмане Ирака. Оппозицию мусульманской элиты этому выбору возглавил наместник Сирии Муавия.

Но дело здесь было не только в противостоянии Сирии и Ирака. В раннем исламе политика была неотделима от теологии, и, таким образом, это противостояние должно было привести к религиозному расколу, который разделил мусульманский мир на яростно соперничающие друг с другом течения и в наше время.

Сторонники Али полагали, что лишь он сам и его потомки имеют право на пост халифа. Они называли себя «шиат Али» — «партия Али» — и стали именоваться шиитами. Их противники полагали, что заместителем пророка может стать любой мусульманин, совсем необязательно связанный с Мухаммадом кровными узами. Именно такими мусульманами были три первых «праведных» халифа. Свое название это направление получило по появившемуся несколько позже сборнику поучений пророка — Сунне («путь», «дорога»). И с тех пор его последователи называют себя суннитами.

Таким образом, раскол был религиозно-политическим. И он усилился после ги-

бели Али — также от руки убийцы-одиночки. Теперь лидерство перешло в руки суннитов, халифом стал Муавия, основной базой халифата — вместо Аравии Сирия, а столицей — Дамаск. Но когда суннитский халиф, правивший около двадцати лет, передал власть своему сыну Йазиду, сын Али Хусейн, решив претендовать на этот пост, отправился с небольшим отрядом сторонников в военную столицу Ирака Куфу, надеясь найти там поддержку. Однако по пути он был убит в городе Кербела, ставшем святым местом шиитов. Смерть Хусейна сделала его культовой фигурой шиизма — святым заступником-страдальцем, породившим затем образ истинного лидера всех мусульман — махди, аналога еврейского мессии, который должен явиться в конце дней.

Дальнейшее развитие этой кровавой политической игры шло так. В Мекке при поддержке Ирака был избран шиитский антихалиф Убайдаллах, сделавший своей резиденцией второй святой город мусульман — Медину. Религиозной основой его авторитета была власть над Меккой. Естественно, против него выступил суннитский халиф из династии все тех же Омейядов — Абд аль-Малик. Прежде всего он разгромил иракских союзников Убайдаллаха. Но одной военной победы ему было мало. Нужно было лишить Медину ее духовного превосходства перед Дамаском. Рядом с Мединой была Мекка. Такая же «пара» нужна была Дамаску. И это мог быть только Иерусалим — город, куда Аллах перенес Мухаммада из Мекки. Здесь над местоположением древнего иудейского Храма разверзлись небеса и открылся путь, приведший Мухаммада к трону Господа.

В это время ислам не воспринимал иудаизм в качестве своего соперника, питая к нему снисходительное уважение. Главным конкурентом было господствующее в Иерусалиме христианство. Чтобы вступить в диалог с Церковью и дать ей достойный архитектурный ответ, мусульманские строения должны были походить на церкви внешне, но быть значительно больше и, кроме внешнего облика, иметь определенное сюжетное обоснование. Напомним также, что и Авраам, и Моисей, и Иисус считались в исламе пророками, но, в отличие от христианства, Иисус отнюдь не был богочеловеком.

У христиан Иисус не только воскрес, но и вознесся на небеса, о чем говорит Вознесенская церковь на Масличной горе. На этот вызов христианства ислам нашел свой ответ: Мухаммад тоже вознесся, и при этом он оттолкнулся от вершины горы Мория — краеугольного камня мира. И вот над ним Абд аль-Малик возводит купол, который так и называется: «Купол над скалой», теперь его именуют также мечетью Омара. А в южной части Храмовой горы, куда крылатое существо по имени Аль-Бурак перенесло пророка из Мекки, была построена Дальняя мечеть — Аль-Акса.

Так возникли культовые сооружения, сделавшие Иерусалим святым городом мусульман. Так, в VII веке началось мусульманское владычество на Ближнем Востоке, в течение которого чего только не было: и ограничительные законы для евреев и христиан, и опустошительные войны с крестоносцами, и существование на периферии огромной и постепенно дряхлеющей турецкой империи — Оттоманской Порты...

Все это тянулось вплоть до возрождения на Святой земле еврейского государства, этого форпоста западной цивилизации в исламском восточном мире. Но существование этого государства, его борьба за место под солнцем, его войны и конфликты относятся уже не к истории, а к дню сегодняшнему со всеми его непредсказуемыми политическими сюжетами.

Линия разлома

Каждую ночь меня будил крик муэдзина, наполнявший своими гортанными переливами прохладу остывающего после жаркого дня Восточного Иерусалима.И в мой некрепкий старческий сон входило видение одинокого человека, который, обратив лицо в сторону Мекки и держась за мочки уха большим и указательным пальцами (говорят, для лучшей вибрации голоса), бросает с галереи минарета в ночную тьму свой символ веры и призыв к молитве: Аллаху акбар, Ашхаду ал-ля Илляха... так что моему уху слышится сплошная вокализа: аллляилля...

И со сна не понимаешь: где я, как попал сюда? В Москве летней ночью будили пьяные крики обитателей сквера, расположенного под окнами квартиры. В Берлине утро начиналось с перезвона колоколов из-под готического шпиля соседней кирхи. А здесь. в Восточном Иерусалиме, — крик муэдзина, призывающего правоверных к намазу.

Все-таки поразителен этот мультикультурный мир с пластами различных цивилизаций, с мгновенными перелетами, нет, не на самолете, а словно бы на машине времени! И показывает тебе эта машина времени на своем зыбком мерцающем экране то ли из средневековья, то ли из лет нынешних распяленные в крике рты, сверкающие яростью глаза, вздымаемые к небу руки раскаленной ненавистью толпы. И крик все тот же — Аллах акбар и повод все тот же на протяжении всех лет XXI века — карикатура, фильм, искажающие облик, оскорбляющие образ пророка Мухаммада. Но у западного мира свои пророки, свои прорицатели.

В середине 90-х годов прошлого века гарвардский профессор Сэмюэль Хантингтон издал книгу под вещим названием «Столкновение цивилизаций». «Фундаментальное разделение человечества проходит не по идеологическим, а по этнокультурным границам, — писал он. — И основные, наиболее кровавые столкновения будут происходить вдоль границ, разделяющих эти культуры. Линии разлома между цивилизациями станут линиями фронта будущего». Нынешнюю агрессивность ислама Хантингтон объяснял не только религиозными корнями, но и социально-экономическими причинами. Таким образом, как считал гарвардский профессор, у истоков третьей мировой войны стоят ответы исламского мира на глобализацию, социальное неравенство, демографический вызов, территориальные конфликты. Все это приводит к столкновению цивилизаций, которое после 11 сентября 2001 года переросло в войну, где на одной стороне — развитые страны Европы и Америки, а на другой — разветвленная мировая сеть террористических организаций, поддерживаемых рядом исламских государств.

Несколько лет назад русскоязычная германская газета, где я работаю, провела «круглый стол» под названием «Третья мировая война — реальность или фигура речи?». Точки зрения его участников — живущих в Берлине журналистов, политологов, деятелей культуры — на проблему были разными. Одни не расценивали происходящие в мире вспышки насилия и террора как некую мировую войну цивилизаций, не отрицая того, что это некая реакция «третьего мира» на глобализацию. Другие считали, что мусульманский мир под влиянием глобалистских факторов приобретает качества, которые Лев Гумилев определял как пассионарность. И, наконец, третьи полагали, что мировая война идет, и больше всего опасались атомного оружия в руках исламского экстремизма, где бы он себя ни заявлял — будь то Пакистан или Иран.

Но пока атомное оружие готовится или лежит на складах, исламский мир пытается разжигать ярость толпы, штурмующей западные посольства, или отвечать Западу идеологическими пассажами вроде конкурса карикатур о холокосте, как это сделал в свое время Иран.

Конечно же, холокост был вовлечен в этот скандал — как же тут обойтись без евреев? Но что там карикатуры в иранских газетах! Российские антисемиты по части ненависти к «мировому еврейству» дадут сто очков вперед любому исламисту. Вот что писала тогда газета «Завтра»: «Как во времена пророков, палестинский народ молится, слагает песни борьбы, кидается на еврейские танки, затыкает телами своих детей рыгающие жерла пушек, указывая ослепленному миру, что такое Свобода, Родина, Бог. А израильтяне поливают напалмом мечети и при этом пудрят миру мозги черной перхотью, называя ее пеплом Освенцима». Это писал лауреат российской литературной премии «Национальный бестселлер», главный редактор «Завтра» Александр Проханов. Каким дьявольским параноидальным талантом надо обладать, чтобы назвать пепел Освенцима черной перхотью!

«Свобода, ядрена скатерть! — отвечал ему тогда журналист Гинодман. — И все это приходится терпеть, и покудова либо суд не признал Проханова преступником, либо консилиум психиатров — буйнопомешанным, я обязан считать его журналистом, писателем и политологом».

У этого «буйнопомешанного» есть своя логика, свой политический расчет. Он отвечает не Хантингтону, он имеет в виду некоего российского читателя, осатаневшего от своего бессилия перед властью, от поисков виновников своих мучительных социальных бед. Хантингтону же отвечал Натан Щаранский, написавший книгу «Дело демократии». Идея этой книги состоит в том, что демократия универсальна, демократическая парадигма проходит через все культуры и цивилизации. А если демократия подходит всем, то она подходит и арабам. Отрицать за каким-либо народом способность к восприятию демократии означает расизм. В своей книге Щаранский ни разу не цитирует Хантингтона, но все постулаты этой книги вступают с последним в скрытую полемику. Какая гуманная привлекательная позиция, если забыть только, что и Гитлер пришел к власти в результате демократических выборов.

И Хантингтон, и Проханов, и Щаранский воспринимают третью мировую каждый со своих позиций: цивилизационных, антисемитских, демократических. Между тем корни этого глобалистского явления уходят в глубокую историю, когда на протяжении многих столетий происходили разломы и столкновения христианской, иудейской и исламской культур. И анализируя нынешние взрывающиеся кровью и насилием конфликты с их сырьевой, социальной и политической подоплекой, нельзя забывать ее религиозно-культурологическую составляющую. И если рассматривать нынешние мировые события с этих позиций, то нельзя не увидеть, что за американской помощью Израилю стоит не только еврейское лобби, но и христианский фундаментализм, столь сильный в общественном сознании США, а за поляризацией исламского мира мы увидим противостояние суннитской Турции и шиитского Ирана. Те события тысячелетней давности, о которых шла речь выше, оборачиваются в нынешнем мировом политическом раскладе конфликтами третьей мировой войны. Каков будет ее исход и будет ли этот исход вообще, сказать трудно.

Николай НАБОКОВ

КУСЕВИЦКИЙ. РОЖДЕСТВО со СТРАВИНСКИМ

Главы из книги «Старые друзья и новая музыка»*

Нечто биографическое, или Вместо предисловия

Как известно, почти все сыновья сенатора Дмитрия Николаевича Набокова и баронессы Марии фон Корф были людьми вполне выдающимися, государству и обществу полезные. Столь же полезными и достойными стали и их ближайшие потомки. И в отношении не только службы, карьеры, чинов, но — что самое примечательное — были одарены литературно и даже активно печатались. Однако для истории почти все их творческие потуги (да и они сами) остались несколько, что называется, «в тени» писателя Владимира Набокова — и прежде всего как автора романа «Другие берега», романа-биографии, непревзойденного шедевра русской и мировой мемуаристики (принесшего мировую славу и ему, и всей «фамилии»).

Это справедливо, но лишь — отчасти. Как известно, прекрасно владел пером отец писателя — Владимир Дмитриевич Набоков. Его мемуары («Тюремные записки».1911; «Из воюющей Англии»,1916; «Временное правительство и октябрьский переворот». 1922), статьи о театре, письма — есть подлинная (тургеневская) безупречная русская проза (писал В. Д. и стихи, переводил с английского); одаренным драматургом, переводчиком был Константин Дмитриевич, политик doctor gonoris causa и изысканный меломан, автор книги «Испытания дипломата», 1926; в 1929 году в Белграде в одном из русских эмигрантских издательств была опубликована книга «Семь лет во власти темной силы» — автор Вера Дмитриевна Набокова (в первом браке — Пыхачева)...

В следующем поколении Набоковых-литераторов следует назвать историка и генеалога Сергея Сергеевича Набокова, русского бельгийца, кузена В. В. Набокова; был не чужд поэзии и даже печатался как поэт (в Праге, в годы эмиграции) младший брат — Кирилл Владимирович Набоков. Превосходнейшим переводчиком русской классики на французский и английский был недавно ушедший от нас сын писателя — Дмитрий Владимирович Набоков (список литературных произведений, принадлежащих перу, скажем, тех же Корфов–Рукавишниковых–Пущиных–Данзасов–Назимовых–Ильиных–Толстых, всех прямо или по касательной примыкающих к роду Владимира Набокова, мне библиографу с полувековым ста-

* Old Friends and New Music. Boston: Little Brown; London: Namish Namilon, 1951. Перевод с английского и примечания **Михаила ЯМЩИКОВА**.

жем легко продолжить... Стоит только обратиться к Генеральному каталогу нашей благословенной Публички).

Единственный же из всех Набоковых, одаренных литературно (с лихвой) и кому, по нашему мнению, вполне удалось избежать **тени** автора «Других берегов», был другой его кузен (сын Дмитрия Дмитриевича Набокова, старшего брата отца), композитор и общественный деятель Николай Дмитриевич Набоков (1903–1979)[1].

Речь идет о книге Н. Д. Набокова «Старые друзья и новая музыка» («Old Friends and New Music»), главы из которой впервые на родине ныне предлагаются читателям журнала «Нева»[2].

Первое издание этой книги вышло в 1951 году в Бостоне, в одном довольно скромном издательстве (Litlle Brown). И в том же году повторено в Лондоне в более солидной издательской фирме (Hamish Namilton). Написанная Николаем Дмитриевичем скорее для себя, для своих друзей и вообще, как говорится, «для немногих», эта книга (несмотря на два издания в один год) прошла мимо внимания серьезной русской эмигрантской критики (кроме двух-трех коротких отзывов в бостонской и лондонской музыкальной периодике), не стала событием. Причина такого «молчания», возможно, в том, что большинство избранных «героев» его воспоминаний (исключая «эпоху Сергея Дягилева») были еще живы и в чрезвычайной силе своего таланта, творческих исканий и свершений (включая Сергея Прокофьева, вернувшегося в СССР, и Дмитрия Шостаковича...). Как и сам автор[3].

А между тем перед нами живая веселая книга — ни больше ни меньше — шедевр мемуаристики в жанре литературы. Ибо здесь наш автор (русско-американский композитор Николай Набоков) с юмором, иронией и беспощадной достоверностью написал (легким изысканным пером) картины жизни своих закадычных близких и далеких соотечественников, друзей, а также на живописном фоне такой непростой ревнивой (ретивой) «богемной» жизни русских актеров, художников и своих коллег-музыкантов в так называемом «беженстве», прекрасный литературный источник для летописи русской зарубежной музыкальной культуры XX века.

Впервые эту книгу я держал в руках зимним декабрьским вечером 1993 года на окраине Нью-Йорка в квартире племянницы Николая Дмитриевича — профессора русской словесности Марины Викторовны Ледковской. Даже, как говорится, «без языка» (прямо по рассказу Короленко) просто — по знакомым и незнакомым выдающимся именам деятелей русской культуры, упомянутых в книге, мне было ясно, сколь был бы ценен перевод этой книги. И не столько для наших музыковедов, биографов и летописцев, сколько для истории культуры русского зарубежья вообще...

В ту пору я уже полтора месяца жил в Нью-Йорке «в поисках русского Набокова» (и вокруг его) в Манхэттене, просиживая все дни в Славянском отделе Нью-Йоркской публичной библиотеки. Здесь в открытом доступе были все издания и книги В. Набокова, его отца, его современников, друзей и где хранится его архив, только что запроданный Д. В. Набоковым. И вся (без издержек) русская эмигран-

---

[1] Краткий, но весьма достоверный и эмоционально насыщенный очерк о жизни и музыкальном творчестве Н. Д. Набокова под названием «Забытый Набоков» принадлежит литературоведу и исследователю творчества В. В. Набокова — Ивану Н. Толстому .

[2] Главы «Стравинский» и «Кусевицкий» опубликованы нами (в переводе М. А. Ямщикова) в «Новом журнале». (Нью-Йорк. Кн. 263, 267) и печатаются по этой публикации. Наша благодарность главному редактору «Нового журнала» госпоже Марине Адамович за неравнодушие и за посильную помощь при работе над комментарием и примечаниями.

[3] В одной из университетских библиотек в США хранится обширный личный фонд композитора Н. Д. Набокова. В нем, помимо рукописей, нот, фотографий, материалов личного характера и так далее, существенную часть составляет его переписка (около трех тысяч писем), которая подтверждает масштаб его личности и высокий общественный темперамент.

тская периодика. Моей задачей было также найти в Нью-Йорке людей, знавших В. Набокова, его учеников и так далее. И тут мне повезло, что одним из сотрудников Славянского отдела был господин Сергей Ильин, ни больше ни меньше как внук Надежды Дмитриевны Набоковой, младшей сестры отца писателя. Быстро обнаружив мой интерес к личности и к творчеству Набокова (особенно после России — в эмиграции, и в частности — в Новом Свете), он (как прямой родственник Набокова) добился для меня разрешения поработать в архиве В. В. Набокова (что было для меня несказанной радостью, ибо я оказался первым из русских, к нему допущенным, — тут одним словом не обойдешься). А затем представил меня и Марине Викторовне Ледковской...

И вот, повторяю, у меня в руках эта удивительная книга воспоминаний Николая Дмитриевича Набокова.

Тогда же, за чаем, Марина Викторовна (до позднего вечера) поведала мне (как бы вскользь, зная мое ревнивое отношение к Владимиру Набокову) несколько живительных фактов из жизни Николая Набокова, любимого изо всех ее многочисленных родственников. Прежде всего — у Николая Дмитриевича был природный общественный темперамент, его всегда избирали третейским судьей в спорах. Он был большим знатоком Библии, писал музыку на религиозные сюжеты, был поклонником Анны Ахматовой и Пастернака. Знал духовную музыку.

После смерти Анны Ахматовой (1966) он отыскал текст «Реквиема» (тогда почти запрещенного в нашей стране) и в одном из камерных концертов (в кругу русских друзей) исполнил сочиненную им сонату для голоса и фортепиано на один из фрагментов поэмы. Был случай, когда оба кузена — Николай и Владимир — были соавторами. Правда, заочно. Их объединила любовь в Пушкину. Это было в шестидесятых годах, когда писатель уже жил в Европе. Речь идет о сочиненной Николаем Дмитриевичем элегии на стихи Пушкина в переводе Владимира Набокова (на выбор композитора).

Что же касается этой книги Николая Дмитриевича, Марина Викторовна рассказала такой любопытный факт. Не всем известно, что первая попытка автобиографии Владимира Набокова (Conclusive Evidence. A Memoir), напечатанная в 1951 году в одном из весенних номеров «Нью-Йоркера» (NEW-JORKER. 1951), предстала перед публикой почти одновременно с книгой Николая Дмитриевича «Старые друзья и новая музыка». И независимо друг от друга. И в разных городах. Но так случилось, что на американском континенте вдруг объявилось два Набоковых. И оба авторы мемуаристов. Но первенство критиками и читателями было отдано Владимиру Набокову, к тому времени уже вполне оперившемуся поденному профессору русской литературы и энтомологу-любителю, уступившему место Набокову — романисту и поэту в Новом Свете. В этом «оперении» ему помог и Николай Дмитриевич, оказавшийся, как известно, в Штатах раньше Набокова (благодаря своему общительному характеру), довольно быстро закрепившийся в общественных и музыкальных кругах Америки.

С гордостью Марина Викторовна повторила, что это именно Николай Дмитриевич познакомил Владимира Набокова с литературным критиком, профессором Эдмундом Вильсоном — тем самым «Dear Binni», действительно большим другом и главным адресатом писателя в Америке — от первых несмелых своих шагов в Америке 1940 года и до конца дней, о чем Набоков всегда помнил и чем всегда дорожил[4].

[4] О теплых дружеских отношениях Николая Дмитриевича и Владимира Набокова (не только как родственников) довольно подробно рассказал профессор Брайан Бойд в своей двухтомной биографии писателя. См. также: Nabokov, Vladimir Vladimirovich, 1899–1977. См.: Nabokov-Wilson letters: correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940–1971 1st ed. New York: Harper & Row, 1979 New York: Harper & Row, 1979.

Вскоре, через три года, в 1954 году, Владимир Набоков опубликовал свой выдающийся роман — автобиографию «Другие берега» (та публикация в «Нью-Йоркере», как я уже упоминал выше, — всего лишь попытка, проба пера) на русском языке в русском издательстве имени А. Чехова в Нью-Йорке.

Однако почти через два десятилетия именно «Другие берега», роман, написанный Владимиром Набоковым по открытому им самим так называемому «закону Мнемозины», вдохновили композитора Николая Дмитриевича на создание своего литературного шедевра — романа «Багаж». В нем он вослед первой своей попытке заново блеснул природным талантом большого мастера мемуарной прозы и незаурядного Человека[5].

Остается добавить, что, по нашему скромному мнению, ныне без обращения к этой трогательной книге воспоминаний Н. Д. Набокова никакая биография таких гигантов русской музыкальной культуры XX века, как Игорь Стравинский, Сергей Кусевицкий, а также многих его друзей и современников, и неполна, и недостоверна.

Не более того!

Евгений Белодубровский

Кусевицкий

Впервые я услышал имя дирижера, издателя и контрабасиста Сергея Кусевицкого в 1990 году в зимнем бесснежном Нью-Йорке в небольшой квартире (23 East 10 Street) госпожи Электры Слонимской-Уорке, дочери композитора и дирижера Николаса Слонимского (1894–1995). В 96 лет он довольно легко преодолел перелет из своего «музыкального логова» в Лос-Анджелесе в Нью-Йорк специально для встречи со мной.

Еще летом, в Ленинграде, во время своего очередного приезда в гости к племяннику, композитору Сергею Михайловичу Слонимскому, Николай Леонидович привез книгу мемуаров Perfect Pitch: A Life Story, изданную в Калифорнии. Потом в один из свободных вечеров с заразительным юмором начал пересказывать нам не вошедшие в книгу «моменты» своей долгой, чрезвычайно содержательной жизни в Петербурге и в зарубежье. Тогда же у меня возникла идея перевести его книгу на русский язык и издать в родном городе Николая Леонидовича; идея была воспринята с энтузиазмом и благодарностью. И вот в ноябре я сижу в Нью-Йорке вместе с Николаем Леонидовичем и записываю каждое его слово на магнитофон.

— А вот спросите у меня, Евгений Борисович, совкто из нас, русских музыкантов, был самой заметной, самой забаоввной, ревнивой и решительно авторитетной фигурой в Европе и в Америке? Скажете — Дягилев? Нет! Шаляпин? Нет? Стравинский, Рахманинов? Нет, нет... Это Кусик Кусевицкий!!! Я в музыкальной юности по предложению своего учителя Глазунова взял несколько уроков композиции у Глиэра и

[5] Bagázh: Memoirs of a Russian Cosmopolitan (New York: 1975) Багаж. Мемуары русского космополита, Нью-Йорк, 1975. В 2003 году издательство журнала «Звезда» в Санкт-Петербурге выпустило книгу Николая Набокова «Багаж. Мемуары русского космополита» в переводе с английского; вступительную статью к книге написала его родная племянница Марина Ледковская.

вдруг узнаю, что у Рейнгольда брал уроки и этот Сергей, уже довольно знаменитый издатель и воротила в музыкальном мире Москвы и Петербурга. Потом познакомились — и на всю мою беженскую жизнь до его смерти я старался быть с ним рядом. Кусик, сын еврейского музыканта, богач, кутила, дирижер, поклонник четвертитонной музыки, маэстро-модернист и счастливый подкаблучник... Короче, личность совершенно неповторимая. В моей американской книге есть целая глава под названием «Кусевицкиана». Там все! Кусик достоин большой отдельной книги. А знаете, что Кусик еще в Москве, до переворота, открыл миру Скрябина, не взяв с него ни копейки, а сам потеряв не одну сотню на том, что так его ценил; его даже слегка поддразнивал Рахманинов, а Прокофьев побаивался. А скольких музыкантов он открыл для Америки! Один Стравинский («Свадебка»), исполняемый Кусевицким-дирижером, «стоит обедни»! Он дружил даже с «советами» в самое смутное время... Для меня же Кусевицкий — просто великий благодетель, приведший меня, молодого забияку, за руку в Бостонский филармонический оркестр — и это был старт моей карьеры! И сколько таких, как я... Вдобавок он взял меня секретарем, а это значит, что я был в курсе всего и мог знаться со всеми более или менее великими музыкантами, среди которых — самые современные композиторы и дирижеры. Часто я был с Кусевицким в контрах — он ревновал меня к моим успехам у публики. А когда он умер, в 1951-м, я полгода не мог ничего делать, не мог смириться... Вот мой тезка, композитор Николай Набоков, кузен писателя Владимира Набокова, написал очень талантливо о Кусевицком в своей книге, которая вам неизвестна... Если не найдете, я вам пришлю...

Потом, уже весной, он сообщил мне, что книгу Набокова он никак не может найти в своей заваленной книгами и нотами библиотеке... И приписал: «Ищите, дорогой Женя, и обрящете, мемуарные книги живут дольше романов...»

Служащий за регистрационной стойкой нью-йоркского отеля перекатил разжеванную сигару на другую сторону рта и пробормотал сквозь зубы: «Нет, мистера Томпсона нет... Его не будет в городе до понедельника...» — «Но разве мистер Томпсон не забронировал для меня номер?» — спросил я. Служащий нехотя заглядывает в регистрационную книгу. «Ах да, — вспоминает он, — действительно, бронировал комнату... Дайте-ка я взгляну... Вот тут фамилия...» И посмотрев поверх очков на мою небритую физиономию и на помятый френч, он спрашивает: «Вы — мистер...» — и, засомневавшись, после «мистер» произносит мою фамилию, исказив на ирландский манер: «Вы мистер Наб О'Коф?»[1]

Единственная свободная комната оказалась темной, с многочисленными следами пребывания предыдущих постояльцев. В ней стоял тот же запах старой еды и еще более старой пыли, который ударил в нос уже в вестибюле отеля. Но мне было все равно; я был рад воспользоваться гостиничной кроватью, ванной и предоставленным одиночеством. Я был рад оказаться вне залов ожидания аэропортов, фойе захудалых военных гостиниц и убогих общественных столовых; вне общих туалетов и обитых железом одноместных самолетных сидений. Я подумал: «Буду спать... Я засну первый раз за пять дней, с того момента, как сел на Азорских островах, как вылетел из Парижа. Я отдохну наконец от гула моторов в ушах, моя спина отдохнет от жестких одноместных сидений, и никто не разбудит меня в 4 часа утра окриком: „Рейс номер 84 вылетит в 4 часа 20 минут утра, все пассажиры...“ или „Все вылеты отменяются до завтра“».

Я дал носильщику на чай, распаковал набитый рюкзак, вошел в ванную, и... тут зазвонил телефон... один раз... и второй... Я схватил трубку и был готов произнести

[1] В оригинале Nab O'Cough. Cough — кашель (*англ.*).

одно из тех привычных сочных ругательств, которые звучали в ушах в течение всего моего восьмидневного путешествия, оплаченного армией, но голос в трубке опередил меня. Этот голос в знакомой спокойной и деловой манере произнес: «Это Western Union. У нас телеграмма для Николаса Набокова из Ленокса, Массачусетс. Это — вы?» — «Да, я, это действительно я», — ответив, я попросил зачитать мне телеграмму. Закрыв ванную, я нашел карандаш и записал: «С возвращением. Надеюсь, вы сможете приехать в этот уик-энд. Должен вас видеть немедленно. Позвоните в Ленокс. Наилучшие пожелания. Сергей Кусевицкий». «Вы примете ответ?» — спросил я, когда телефонистка кончила читать. Нет, она этого сделать не могла, мне следовало обратиться к телефонистке отеля. Могла бы она, по крайней мере, сказать, в какой день и час была отправлена телеграмма? Вышколенность служащей Western Union незамедлительно исчезла, она раздраженно, резко пролаяла: «В пятницу, 9 мая, в 1 час 35 минут утра» — и повесила трубку. Я позвонил телефонистке отеля и продиктовал текст телеграммы: «Прошу прощения, сегодня приехать не могу. Должен выспаться. Позвоню в субботу утром. Привет».

Кто когда-либо трясся на Беркширском экспрессе, знает, какой это медленный и неповоротливый поезд. Он долго, уныло простаивает на многочисленных станциях, и каждый раз, когда я вновь пользуюсь этим поездом, мне кажется, что остановок стало еще больше. Между станциями он ползет, трясясь и грохоча. Но когда я сел в экспресс утром в воскресенье 11 мая 1947 года, мне были безразличны его медлительность и тряска. Я освободился от армейских прелестей, я был в отпуске и направлялся в сельскую местность, я горел желанием увидеть Сергея Александровича Кусевицкого, посетить сотворенную им «землю музыки», как однажды кто-то назвал Беркширский музыкальный фестиваль. Я никогда не был в Леноксе и не видел его знаменитый «Амбар»[2], зал на открытом воздухе, оперную студию и другие здания Музыкального центра. Я был знаком с ними только по рекламным проспектам и по иллюстрациям в журналах. Теперь я собирался посмотреть на все это воочию и провести два или три безмятежных дня с создателем этого выдающегося проекта.

Кроме всего прочего, был май, стояла теплая погода, и когда наш поезд миновал Дэнбери и стал медленно переползать из одной узкой долины в другую, запах молодых листьев, сосен и жимолости наполнил вагон, и я почувствовал, что уже нахожусь в весенней сельской местности. Несмотря на то, что поезд трясло и качало, я ощущал предвкушение счастья, думая о человеке, которого собирался посетить, думал о его жизни, работе, его свершениях, о его фантастическом, невероятном успехе. Раньше я никогда не был у Кусевицкого, да и видел-то его редко с тех пор, как я приехал в Америку в 1933 году. Даже до 1933 года, в Европе, несмотря на то, что я был одним из «его» композиторов (мои музыкальные сочинения выпускались издательством русской музыки, до 1948 года принадлежавшим ему), несмотря на то, что Кусевицкий был первым значительным дирижером, исполнившим мою музыку в Америке, я виделся с ним только в редких случаях, когда после завершения своего американского сезона он приезжал в Париж и проводил месяц или два в своем комфортабельном доме на краю Bois de Boulogne. На самом деле в Европе у меня было мало возможностей стать другом или близким семье Кусевицкого. В начале двадцатых он жил в Париже, а я учился в Германии. Во Франции, куда я приехал в 1923 году, я был одним из безымянных кандидатов, пробивающих себе

[2] В 1938 году был выстроен огромный, на 5000 мест, музыкальный зал на открытом воздухе (Koussevitsky Shed), чтобы предоставить Бостонскому симфоническому оркестру постоянное помещение для летних концертов. — *Ред.*

дорогу к профессии композитора, у которого очень мало сделано из того, что действительно можно было бы предложить, в то время как Кусевицкий тогда уже был очень известным человеком, его имя звучало уже более десяти лет; он был известен не только как дирижер, но как человек, которого русские называют важным «общественным деятелем», он был известен и как один из богатых меценатов. До достижения каких-то серьезных успехов в музыке у меня было мало шансов встретиться с ним. Кроме того, Кусевицкий вскоре уехал в Америку, и, за исключением весенних месяцев в Париже, когда он проводил свою знаменитую серию концертов, у меня не было возможности повстречать его.

Кажется, именно Прокофьев познакомил меня с Кусевицким. Как-то весной 1928 года Прокофьев взял меня с собой на прием, проходивший у Кусевицкого. Это было грандиозное празднество, на котором присутствовали многие композиторы, известные исполнители, критики и влиятельные хозяйки парижских музыкальных салонов. Прокофьев представил меня Кусевицкому как последнюю «находку» Дягилева. Он использовал именно слово «находка» — в шутливом смысле, как если бы я был куском античной римской керамики, которую Дягилев раскопал в каком-нибудь пыльном музее. Кусевицкий широко улыбнулся и спросил, почему бы мне не прийти к нему и не показать свою музыку. Я ответил, что у меня очень мало наработанного, но он настаивал. И сказал, чтобы я пришел на следующий день, потому что послезавтра он отправляется в Plombieres, летний курорт в Vosges Mountains, куда он обычно ездит каждый год.

На следующий день я пришел к Кусевицкому и принес партитуру «Оды». Я энергично исполнил ее на рояле и пропел, подвывая, партии хора и солистов. Несмотря на мое никудышное исполнение, казалось, ему понравилось это произведение. Он выслушал очень внимательно и попросил меня повторить некоторые партии. После того как я закончил играть, он сказал: «Очень жаль, что я не могу сыграть это в Бостоне... Это слишком... русское, кроме того, для исполнения потребуется слишком много певцов». И наклонив голову, он спросил меня: «Нет ли у вас еще чего-нибудь... только для оркестра?» — «Но это — единственная вещь, которую он написал», — вмешался Прокофьев, который пришел поддержать меня и посмотреть, что из всего этого получится. «Ну что ж, — заметил Кусевицкий, — почему бы ему тогда не сесть и не написать что-нибудь новое?» Он пожал плечами, улыбнулся, подняв при этом брови, и, словно давая мне домашнее задание, добавил: «Вы напишите для меня симфонию, а я буду ее везде исполнять».

Через полтора года симфония была написана, и Кусевицкий исполнил ее в 1931 году в Бостоне и в Нью-Йорке. После исполнения в Нью-Йорке он прислал мне теплую двухстраничную телеграмму. Я получил ее в моем летнем жилище в Alsace, и почтальон, который принес телеграмму, воскликнул, совершенно потрясенный: «Это же не телеграмма, это огромное письмо!»

Когда я приехал в Америку и обосновался в Нью-Йорке, мне случалось видеть Кусевицкого несколько раз в Зеленой гостиной Карнеги-холла. Каждый раз он тепло и любезно приветствовал меня, но иногда я чувствовал, что в возбуждении послеконцертной суматохи он не вполне связывал меня с тем молодым человеком, которого видел в Париже и чью музыку он исполнял. Хотя к 1933 или 1934 году я уже был не «непризнанным кандидатом», а вполне оперившимся начинающим композитором, который тем не менее действительно очень сильно нуждался в помощи Кусевицкого и в его поддержке. Однако я не форсировал события, не звонил ему, не пытался увидеться и не ездил на «паломничество» в Бостон.

Я всегда испытывал определенные затруднения и скованность в знакомстве и сближении с выдающимися исполнителями, особенно с известными дирижерами.

Любопытно, но совершенно инстинктивно я чувствовал, что бескорыстные человеческие отношения между композиторами и известными дирижерами не только чрезвычайно редки и трудны, но непременно оказываются искусственными и неустойчивыми. Положение дел в нашем музыкальном мире таково, что дирижеры легко могут позволить себе обходиться без «услуг» большинства современных композиторов. Имея в своем распоряжении огромный репертуар, который соответствует так называемому «среднему вкусу любителей музыки», они могут составить (и семьдесят пять процентов из них так и делают) большинство своих программ на основе этого репертуара. Для процветания симфонического оркестра и демонстрации его хорошего вкуса необходимо лишь время от времени подтверждать существование современной музыки. Поэтому дирижер вместо того, чтобы стать помощником для современного композитора, связующим звеном между ним и публикой, оказывается непреодолимым препятствием для развития композиторской карьеры.

Надо признать, что в последние пятьдесят лет ситуация несколько улучшилась (благодаря энергии и смелости дирижеров, главным образом Кусевицкого и Митропулоса[3], и композиторов-критиков вроде Верджила Томсона[4], но до сих пор наш симфонический репертуар продолжает оставаться связанным по рукам и ногам большими Б-симфониями[5]. Процент новой музыки, которую публике следовало бы слушать, в точности обратен сегодняшнему состоянию дел в музыке. Тем не менее нам трудно получить ее в достаточном количестве из-за того, что мы испытываем неоправданное почтение к сокровищам нашей культуры, к сокровищам прошлого, некоторые из них под более спокойным и пристальным взглядом (особенно XIX век) на самом деле не являются этими сокровищами, и их легко можно раздать к выгоде всех заинтересованных лиц. В результате этой ситуации между известными исполнителями и так называемыми «серьезными композиторами» возникает трещина. Дирижер подобен банкиру, от которого композитор ожидает получить дружескую услугу в виде небольшого кредита.

Встречая известного исполнителя, у меня всегда возникает ощущение, будто он знает, что мне от него что-то надо, что у меня есть «товар», чтобы ему предложить, и поэтому он заранее боится, что в какой-то момент я наброшусь на него и спрошу: «Не хотели бы вы посмотреть из моего последнего?» Попав в столь щекотливое положение, ему пришлось бы искать оправдания. Он стал бы говорить, что уже получил более тысячи новых партитур, которыми в настоящее время завалено его фортепиано, что импресарио не позволяет ему исполнять более четырех новых произведений в год, что у него нет времени смотреть новые партитуры и в любом случае его программа на следующий сезон уже составлена. Сама возможность подобных ситуаций заставляет меня ощущать неудобство, и именно поэтому (подобно многим другим современным композиторам) я живу совершенно в другом мире, нежели мир исполнителей-виртуозов. Я встречаюсь только с некоторыми из них — с теми, кто слывет и кто действительно является энергичным проповедником музыки нашего времени. Я, возможно, отчасти идеалист в моей сдержанности в установлении дружеских связей с известными виртуозами. Действительно, такие отношения могли бы оказаться полезными, сумей я, преодолев скованность, непринужденно обращаться к ним при каждой возможности. Но в таком случае эти отношения нельзя было бы назвать дружескими. Они напоминали бы отноше-

[3] Dimitri Mitropoulos (1 марта 1896 — 2 ноября 1960) — греческий дирижер, пианист и композитор.

[4] Virgil Thomson (25 ноября 1896 — 30 сентября, 1989) — американский композитор и критик. Известен как новатор «американского звука» в классической музыке; неоклассицист.

[5] B-symphonies. Имеются в виду симфонии Бетховена.

ния продавца и его хозяина или банковского клерка и директора банка, то есть отношения, лишенные всяких теплых человеческих чувств.

Кусевицкий, однако, является одним из тех очень немногих известных дирижеров, который не вызывал у меня этой скованности, и не только потому, что его жизнь была посвящена борьбе за музыку его современников, но и по вполне личной причине: он действительно был, кроме всего прочего, первым известным дирижером, исполнившим мою музыку в Америке, он был моим публикатором, и также и потому, что он был моим соотечественником. Однако достойно удивления, что привычная сдержанность, однажды укоренившаяся, проявлялась даже в этом случае. Вместо того чтобы позвонить ему по телефону, как предложила мне мадам Кусевицкая на одной из встреч в Зеленой гостиной, я не сделал этого, и вместо того чтобы отослать ему мои новые партитуры или посетить его в Бостоне, я оставался в отдалении и безмолвным. Может быть, совершенно бессознательно я ощущал, что, будучи новичком в Америке, я очень сильно нуждался в его помощи и поддержке, и именно из-за этого чувствовал неловкость и не сделал бы ничего до тех пор, пока, как я втайне надеялся, он сам не протянул бы мне руку помощи. Но вскоре мои обстоятельства изменились, что затруднило возможность прямого контакта с Кусевицким и вообще с музыкальной жизнью крупных центров Америки, а точнее, исключило такую возможность почти полностью.

Как я уже мельком упомянул, я был так называемым «серьезным» композитором, а как каждому известно, композиторы в Америке делятся на две категории: на «серьезных» и «популярных». Популярные композиторы пишут коммерческую музыку и получают кучу денег. Серьезные композиторы пишут музыку, которая по большому счету вообще не продается, и, за немногими исключениями, этим они не зарабатывают на жизнь и остаются бедными. Таким образом, используя терминологию тридцатых годов, популярные композиторы «имущие», в то время как серьезные композиторы «неимущие».

Как отметил Верджил Томсон в своей прелестной книге «Государство музыки» (The State of Music), у «серьезного» современного композитора есть несколько альтернатив, если он должен зарабатывать деньги и продолжать сочинять: 1) богатая женитьба, 2) работа в кино, 3) преподавание. Я выбрал или, скорее, был вынесен течением в третью категорию. Я стал преподавателем и в течение пяти лет, как моль в зимней спячке, был погребен в небольшом колледже в более-менее безлюдном районе на севере штата Нью-Йорк. Я преподавал контрапункт, гармонию, историю музыки, руководил хорами, был режиссером пьес и делал все то, для чего я просто не был ни подготовлен, ни реально вооружен делать это хорошо в то время.

В те музыкально скудные для меня годы я часто размышлял о том, что случилось бы, если б вкус публики вдруг резко изменился и, ведомая менеджерами, владельцами ночных клубов, создателями музыкальных автоматов, директорами записывающих компаний и спонсорами радио, публика потребовала бы Шёнберга вместо Роджерса, Стравинского вместо Джерома Керна и Набокова вместо... Стали бы тогда влиятельные «имущие», звезды популярной музыки, «неимущими», стали бы они тогда работать в школах и колледжах, учить той самой бесполезной бессмыслице, которой «неимущие» обучали последние пятьдесят лет?

Контакты с «внешним миром» в северной части штата Нью-Йорк ограничивались периодическими концертами заезжих исполнителей и случайными поездками в Нью-Йорк. В тех условиях было трудно начать какие бы то ли было новые дружбы или даже сохранить старые. Мой мир внезапно сжался до небольшого однородного общества. В такой изоляции, в какой я жил, вдали от активных музыкальных центров, значительные и известные люди, подобные Кусевицкому, казались совершенно недоступными и абсолютно недосягаемыми.

Но незадолго до окончания войны, когда я переместился из моего педагогического рабства в еще более фантастическое закабаление, а именно в «великие книги» колледжа Св. Джона в Аннаполисе, штат Мэриленд (где меня, кроме моей обычной музыкальной текучки, заставили заниматься чтением, преподаванием и обсуждением этих «великих книг»[6], я получил неожиданное предписание ехать за границу как служащий военной администрации. Однажды в Германии цепь случайностей привела меня на должность заместителя начальника службы контроля над немецкой музыкой в американской военной администрации. Хотя я занимал этот почетный пост весьма непродолжительное время и скоро переместился на более важные бюрократические должности и получил большие возможности, я смог в течение этого короткого интервала времени сделать по служебной линии кое-что жизненно важное для Издательского дома Кусевицкого.

С момента своего создания центр Издательского дома располагался в Берлине. Во время бомбежек здание, в котором находились службы издательства и где хранилась главная документация (контракты с композиторами, рукописи и другие документы), было полностью разрушено. Кроме того, был утрачен контакт между берлинским директором и главным директором фирмы, который жил в Париже. Одним словом, последний попросил меня найти своего берлинского коллегу, обеспечить его едой, помочь, а также выяснить, сохранились ли счета, партитуры и документы, хранящиеся в Германии. Я все это проделал и, помимо этого, организовал двухнедельные раскопки в отдельной части разрушенного издательства, чтобы отыскать или, точнее, извлечь из руин стальной сейф, в котором хранились контракты. Мы не нашли сейф (Schrank, как его называли работавшие немецкие поисковики), но о моей «активности» было своевременно сообщено С. А. К. (Сергею Александровичу Кусевицкому. — *Ред.*), и спустя несколько недель я получил от него очень любезное письмо, в котором он благодарил меня за беспокойство и приглашал посетить его в Бостоне сразу же, как только я вернусь домой.

Да, по крайней мере, одного человека я знал в семье Кусевицких — его племянницу Ольгу Наумову, которая скоро должна была стать его женой[7]. До приезда в Америку она жила со своими родителями на юге Франции, в Ницце, где у Наумовых на одной из улиц, расположенных на чудесном склоне холма, была вилла, окруженная большим садом. Квартира моей матери находилась всего лишь в пятнадцати минутах ходьбы от виллы Наумовых. Мы часто ходили туда на чаепития или обеды, когда я приезжал домой навестить мать. Друзьями мы с Ольгой стали во время одного из моих приездов на Пасху 1924 или 1925 года. Она мне сразу же понравилась. Ольга так отличалась от обычных необразованных девушек из богатых русских высших классов. Она выглядела изящной и хрупкой и задумчиво разговаривала приглушенным голосом о серьезнейших проблемах. Мы часто отыскивали какую-нибудь скамейку в их чудесном саду и там, освещаемые мягкими лучами послеполуденного солнца, сидели до обеденного времени, ведя бесконечные «русские» беседы. Мы говорили о России, о ее будущем, о великих русских писателях и поэтах, о философии и религии (Ольга принадлежала к набожной семье, принадлежащей Греческой православной церкви, и сама была глубоко религиозна), говорили о русской музыке и о ее дяде Сергее.

Словом, я был счастлив увидеть Ольгу, ожидавшую меня на вокзале Ленокса, приветствовавшую меня тем приглушенным голосом, который я так хорошо помнил. И пока мы проезжали через Танглвуд, она рассказывала мне, как занят был Сергей Александрович, как много нужно было проделать при подготовке фестива-

---

[6] Great Books Program — программа образования, принятая в колледже в 1937 году.

[7] Ольга Наумова (1901–1978) была племянницей первой жены Кусевицкого.

ля, как мало времени оставалось у него для отдыха и каким изматывающим был бостонский сезон с его четырьмя концертами в неделю и мучительными гастролями. Спустя мгновение мы проехали указатель «СЕРЕНАК — частное владение» и остановились под деревянным навесом перед просторным белым домом.

«Ш-ш... ш-ш», — произнесла седая дама в сиреневом шелковом платье, пытаясь успокоить лающего старого черного кокер-спаниеля: «Бима! Успокойся!» Это была Генриетта Леопольдовна Хиршманн, близкая подруга Кусевицких, которая во время летних месяцев жила в Серенаке и работала секретарем Кусевицкого, будучи при этом его доверенным лицом и всесторонним помощником. «Сергей Александрович еще на конференции», — сказала она и указала на задернутую занавеску, которая висела поперек светлого широкого коридора, выходящего в холл. «Почему вы не приехали вчера? — спросила она приглушенным голосом. — Вчера была прекрасная погода, а сегодня, видите, идет дождь».

Мы вышли на крытую веранду, чтобы посмотреть на открывающийся вид. Ненадолго дождь прекратился. Тяжелые кучевые облака покрывали небо и низко нависали над горизонтом. Между ними местами сияли яркие голубые пятна. Отдаленные холмы, скрытые дождем, были едва видны. Земля была теплой и мокрой, и в этом безмолвии распространялся сильный аромат трав, цветов и фруктовых деревьев. Весна была в полном разгаре.

Этот дом, Серенак (анаграмма, образованная из Сер от Сергея, На от Натальи, покойной супруги Кусевицкого, его спутницы в течение сорока лет, и К от Кусевицкого), расположен на спускающемся уступами склоне холма, возвышаясь примерно в миле западнее фестивальных площадок. Это большое двухэтажное здание, доминирующее в необыкновенно широкой панораме общего вида. С его террасы открывается необъятный горизонт, на котором выделяются голубые перекатывающиеся Беркширские холмы, а у его подножия, заключенное между двумя холмами, подобно громадному овальному зеркалу, лежит озеро Макинак, или Чаша Стокбриджа[8]. Задняя часть дома защищена от северных ветров высоким холмом, поросшим лесом. Часть холма перед домом спускается под крутым уклоном к автостраде Ленокс–Стокбридж, вдоль которой растут большие старые яблони и сливовые деревья. Все вместе производит впечатление всеобъемлющего спокойствия, мирной отрешенности от деловой жизни, проходящей внизу в долине, рядом с озером. И когда появляющийся здесь человек осознает характер жизни обитателей этого дома, его охватывает чувство глубокого, бесконечного покоя. Все в Серенаке предназначено для несуетливого, спокойного отдыха. Даже во время суматошных дней фестивального сезона эта атмосфера спокойствия и мира остается неизменной.

Комнаты дома — просторные, полные воздуха, с мягкими коврами и мягкой мебелью. Декорированные заботливо, с хорошим вкусом, в стиле, напоминающем несколько громоздкий стиль, в котором богатые санкт-петербургские купцы начала девятнадцатого столетия обставляли интерьеры своих больших финских дач (пригородных вилл. — *Н. Н.*), или стиль, в котором промышленные магнаты Рейнского края украшали свои комфортабельные дома в районе Дюссельдорфа или Кёльна. Но Серенак обладает своим собственным стилем, очень индивидуальным и очень русским. Он является русским не только потому, что все его обитатели, за исключением одной-двух горничных, — русские и постоянно говорят по-русски, но и потому еще, что стиль жизни и привычки его хозяина и обеих следовавших одна за другою хозяек сформировали вокруг них особую окружающую среду и придали ей особый аромат старой русской усадьбы, деревенского дома богатого помещика, со всем своим очарованием и спокойным простодушием.

---

[8] Стокбридж — небольшой городок на берегу озера, по соседству с поместьем Кусевицкого.

Занавес распахнулся, и Кусевицкий вышел ко мне навстречу с широкой улыбкой на лице, его глаза сияли от удовольствия и дружелюбия. На чистом русском он воскликнул: «Где вы пропадали все эти годы, где вы прятались?» — тоном отца, бранящего своего непослушного ребенка-актера. «Мы искали и искали вас повсюду, пока наконец не выследили вас в Германии». И он оглядел меня оценивающе. «Ну, пойдем, пойдем, — сказал он, — уже поздно, и вы, должно быть, проголодались. Оля, Гуня (Guenia), где ланч?» Трапеза была долгой и непринужденной. Кусевицкий засыпал меня вопросами о Германии, о наших отношениях с русскими, о моем армейском опыте и работе в Военной администрации; он слушал с живым интересом мой подробный отчет о новой музыке, которую я видел или слышал во Франции, в Австрии, в Берлине, и, в особенности, о музыке на закрытых концертах советской военной администрации, на которые меня время от времени приглашали. Он хотел знать, есть ли новости о Прокофьеве и правда ли то, что Прокофьев был так серьезно болен, что не мог сочинять больше года.

По окончании ланча, когда мы вставали из-за стола, он повернулся ко мне с блеском в глазах и сказал: «А сейчас я должен поговорить с вами наедине кое о чем, что, может быть, очень интересно для вас». Он церемонно провел меня в гостиную, как если бы приготовил там для меня сюрприз. «То, о чем я хочу с вами поговорить, — начал он, когда мы сели, — это... — он сделал паузу, — предложение... да, прошлой зимой мы искали вас повсюду, чтобы... сделать вам предложение. Но мы не могли вас найти!» — и он взмахнул руками. Я извинился за то, что оказался «иголкой в стоге сена», и объяснил, что был за границей и, таким образом, неизбежно был полностью разлучен с музыкой и музыкальной жизнью в Америке. «Нет, нет, — объяснил он. — Я не имею в виду нынешнее время, эти последние годы после войны... Я имею в виду время до этого. Где вы были до войны? Почему вы прятались от меня? Что вы делали? Что вы писали?»

Я колебался, не зная, следует ли мне отвечать. Почему-то я чувствовал, что его не интересует мой ответ, что эти вопросы были риторическими, подготавливающими весомость и значительность его меценатского предложения. «Ну, так или иначе, — продолжил он после краткого молчания, — что бы вы хотели написать для нас, для Фонда Кусевицкого? Мы отложили деньги, чтобы предложить вам написать произведение».

Когда я получил телеграмму Кусевицкого, я подумал, что у него на уме могло быть что-то вроде заказа. По крайней мере, я надеялся, что таким был смысл фразы «должен видеть вас немедленно». Я думал об этом в поезде и решил, что если он сделает мне такое предложение, то я предложу написать произведение, которое в моменты относительного досуга между бюрократической рутиной и официальными приемами я начал набрасывать на плохоньком рояле, стоявшем в моей служебной берлинской квартире. Я поблагодарил Кусевицкого за его предложение, но решил кое-что объяснить. «Да, Сергей Александрович, — ответил я, — я обдумываю одну вещь. Я даже начал работать над ней, когда находился в Берлине. Это имеет отношение к длинному стихотворению Пушкина, но, однако, не знаю, следует ли мне его написать только для оркестра или положить текст стихотворения на музыку для тенора».

При упоминании имени Пушкина его лицо просияло. Но он не одобрил соло для тенора. «Публика не любит длинные сольные пьесы для тенора, — объяснил он, — их трудно предлагать, потому что мало хороших теноров. Здесь в Танглвуде, у нас есть изумительный молодой тенор, Дэвид Ллойд[9], но где-нибудь в другом мес-

[9] David Lloyd (1912–1969) — валлийский тенор.

те я не знаю практически никого... Кроме того, трудно писать хорошо для тенора и оркестра. Оркестр всегда заглушает партию тенора... он подобен слону». Он помолчал немного и внезапно, словно ему только что в голову пришла прекрасная идея, заговорил возбужденно, его лицо раскраснелось, и вены на лбу набухли: «Я скажу вам, что надо сделать. Напишите концерт для сопрано и оркестра. Никто до сих пор не пытался это сделать, и я всегда хотел, чтобы кто-нибудь написал такой концерт. Это действительно будет что-то новое. И вам нужно рассматривать голос, как если бы он был одним из инструментов; наподобие гобоя... или... флейты». И еще более возбуждаясь, он воскликнул: «Напишите мне хороший концерт в такой комбинации, а я найду вам прекрасную певицу и буду везде его исполнять. Что касается текста... не играет роли, какой текст вы используете, вы можете взять стихотворение Пушкина по-русски... Вы можете взять стихотворение на... бирманском языке или на любом другом, на каком захотите. Для пьесы такого рода текст не играет роли. Это словно слова... арии Генделя. Важно, чтобы произведение оттеняло бы голос и было бы интересно музыкально».

Он снова помолчал и продолжил более спокойно: «Вы знаете, кто спел бы это? Маленькая Марина... Вы знаете ее? Марина Кошиц[10], дочь Нины Кошиц[11]. У нее удивительный голос, она училась у матери». Я ответил, что никогда не слышал пения Марины, но знаю, что у нее очень хороший голос, почти такой же хороший, как когда-то был у ее матери.

«Но... но, Сергей Александрович, моя идея отличается от вашей, — попытался я объяснить. — Для меня смысл стихотворения Пушкина имеет первостепенное значение. Эти слова выражают что-то очень сокровенное, что-то чрезвычайно близкое моему сердцу. В самом деле, для меня это является чем-то вроде заказа самому себе... очень серьезным и важным делом». Сначала я опасался, что мои слова вызовут у него раздражение, но, напротив, по мере того как я говорил, выражение его лица менялось, и он на глазах становился все более и более заинтересованным. Наконец он прервал меня. «Но какое стихотворение Пушкина вы имеете в виду? — Спросил он. — Можете вы его прочитать?» — «Конечно, могу, — отвечал я, — но прежде чем прочитать, мне нужно рассказать вам, почему я выбрал именно это стихотворение, чтобы вы поняли, что оно действительно значит для меня... Но это займет много времени, а вам, возможно, следует пойти и немного вздремнуть». Он взглянул на меня с мягкой, дружеской улыбкой и сказал: «Продолжайте, Коленька, расскажите мне свою историю. Не беспокойтесь о моем отдыхе. Я могу вздремнуть и попозже. Продолжайте».

«Видите ли, Сергей Александрович, — начал я, — это долгая история. Она связана с моим детством в России и моей любовью к России ушедшей. Она связана с прошедшей войной и с теми обстоятельствами, которые привели меня в Германию в конце войны. Она связана с тем, что я узнал о русских в Германии, о самых разных русских, в форме и без формы, о генералах, солдатах, служащих, ди-пи. Она связана со всем этим и с чем-то гораздо большим, что трудно выразить словами».

---

[10] Марина Кошиц (Marina Koshetz, 1912–2000) — сопрано. Дебютировала в Сан-Франциско в 1947 году в «Евгении Онегине» (Татьяна). Выступала в Метрополитен-опера, в Лос-Анджелесе. Снималась в Голливуде. — *Ред.*

[11] Нина Павловна Кошиц (Nina Koshetz, 1891–1965) — сопрано. Родилась в Украине. В поздние 1910-е годы выступала в Петрограде. В 1920-х годах эмигрировала в США. Пела на премьерном спектакле «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева (1921). Позже выступала в Russian Opera Company в Нью-Йорке. В 1930-е годы выступала во Франции, в Южной Америке. С 1940-го жила в Голливуде, преподавала, одно время была ресторатором, снималась на киностудиях Голливуда. Умерла в Санта-Атте в 1965 году. — *Ред.*

Он продолжал внимательно, с теплотой смотреть на меня, время от времени кивая головой, тем самым молча показывая, что он все понимает. «Продолжай, продолжай, попытайся рассказать мне эту историю. Я хочу услышать ее всю, до мельчайших подробностей».

«Каждый изгнанник, — сказал я, — долго несет в своей душе ностальгическое видение своей родной страны, глубоко укорененную, иррациональную надежду на то, что когда-нибудь благодаря какому-то чудесному повороту истории он будет в состоянии найти дорогу обратно, обрести заново связь со своей родной землей, с ее людьми и культурой. Перемещаясь из страны в страну, без паспорта, не зная, куда идти и где осесть, он постоянно осознает свое положение изгнанника. Ему чужда культура тех стран, в которые приводят его эти скитания; даже такие космополитические города, как Париж, не могут заставить его забыть свою родину. Его преследуют воспоминания, образы детства, знакомые запахи, звуки и вкусы».

В первые годы моего изгнания, в Германии и во Франции, эта ностальгия временами овладевала мною с непереносимой силой. Меня преследовали видения улиц и мостов Санкт-Петербурга, запахи белорусских лесов, воспоминания о бесконечных просторах крымской степи или о буйных, благоуханных веснах крымского побережья. Как наркоман, я, бывало, набрасывался на стихотворения Пушкина, Тютчева и Лермонтова, жадно перечитывал «Войну и мир» Толстого и короткие рассказы Чехова, от чего только сильнее становилась ностальгия и усиливающаяся, преследующая меня сила мечты. Временами я заходил довольно далеко в лечении своей «болезни». Я пытался встречаться с людьми, которые приезжали «оттуда», даже с теми, которые приезжали как вестники нового социалистического отечества и провозглашали славу большевистскому режиму. Несмотря на то, что они давали мне понять, что подобные мне — это отбросы общества, перебежчики, которые покинули свою страну из страха за свои «эгоистические буржуазные интересы», эти люди привлекали меня, потому что они приехали оттуда, из измученной, страдающей России.

Так, например, в Берлине в начале двадцатых годов я встретил поэта Есенина. Совершенно растерянного, беспутного и развращенного, его возила по Европе его любовница, располневшая и расплывшаяся матрона Айседора Дункан. Однажды вечером в каком-то берлинском кафе он напился, стал буянить и начал кричать мне: «Убирайся отсюда к черту, ты, молокосос, буржуазный ублюдок...» И я ушел в горькой печали, потому что я восхищался им как одним из истинных русских поэтов и потому что я чувствовал, что он сам был близок к концу своего жизненного пути. Двумя годами позже, в полном отчаянии, он повесился, присоединившись ко многим умолкнувшим поэтам в его теперь полностью лишенной поэзии стране. Я встречался с Мейерхольдом, известным театральным режиссером и близким другом Прокофьева и Эйзенштейна, великого новатора современного кинематографа, и с писателями Пильняком, Катаевым, Ильфом и Петровым. Я жадно расспрашивал их обо всем, что касалось России. Как там сейчас? Становится ли жизнь легче? Смягчится ли нынешний режим или, возможно, к власти придет другое, более человечное правительство?

Затем я приехал в Америку благодаря помощи Арчибальда Маклиша[12], одного из моих друзей, товарища по моему балету «Юнион пасифик»[13]. Я получил редкую привилегию, самую главную ценность для изгнанников двадцатого столетия, — американскую иммиграционную визу. Теперь у меня снова были дом, обществен-

---

[12] Archibald MacLeish (1892–1982) — американский поэт и писатель.

[13] В Музыкальной энциклопедии этот балет назван как «Мирный союз». Однако это просто название американской железнодорожной компании.

ное положение, страна. Я получил мои первые иммиграционные документы, я присягнул на верность этому новому дому, новой стране и скоро стал одним из ее граждан, со всеми правами свободного человеческого существа. Я гордился моим новым государством и был благодарен моей новой стране за то, что благодаря ей я снова стал полноправным членом человеческого общества. Старая ностальгия, тоскливые мечты, которые преследовали меня в первые годы моего изгнания, угасли.

В это время стали проясняться условия жизни в Советском Союзе. Определенные «конкретные» факты нельзя было оправдать, пользуясь жаргоном сталинизма, надеждами и желаниями. Я видел, что вместо изменения, вместо того, чтобы становиться мягче и гуманнее, жизнь в России стала тяжелее и жестче. Усилились голод и лишения, возрастал страх, разрасталось молчание, все больше становилось убийств. Поэты, писатели, театральные режиссеры, фактически большинство моих знакомых в России стали исчезать. Люди, чьи имена раньше провозглашались самыми достойными в советской культуре, были уволены, подвергались оскорблениям или были заключены в тюрьму. Нет, ни на йоту улучшения, ничего не случилось в измученной жизни моих прежних сограждан. Никакая статистика увеличения производства вольфрама или улучшения селекции помидоров не могли изменить факты: изгнание, тюрьма, насилие и убийство.

Затем разразилась война. Подобно большинству американцев, я с большим волнением следил за сражениями под Москвой, за осадой Севастополя, за великими битвами у Сталинграда и у излучины Дона. И с переломом хода войны, казалось, появился слабый проблеск надежды на судьбу России. «Может быть, теперь, — думал я, как многие идеалисты-американцы, — народ России возьмет судьбу в свои руки, может быть, партия будет не в состоянии снова восстановить свою власть над армией, может быть, слухи о бунтах на Украине и на Кавказе верны, и это — начало развала советской власти... может быть... может быть... может быть».

Вот почему я хотел отправиться за океан и самому посмотреть, основаны ли на реальности мои новые надежды, которые разделяли все мои американские друзья. Я хотел встретиться с русскими, поговорить с ними, посмотреть на них, узнать, что они думают, как себя ведут, что говорят. Таким образом, опять, движимый «идеалистической ностальгией», на этот раз в ее новой форме, я был полон надежды, полон великих ожиданий. Я собирался за океан для того, чтобы увидеть, что мои надежды подтвердились и многолетние желания осуществились. Вместо этого я обрел окончательное избавление от моей ностальгии, появилось горькое понимание жесткой, отвратительной правды. Да, мне действительно удалось встретиться с русскими и поговорить с ними, но до того у меня были встречи с советскими официальными лицами, военными консультантами, маршалами, генералами, гражданскими советниками или с полковниками МВД. И прежде чем увидеть всех этих «активных» советских граждан, я увидел тысячи «неактивных» жертв советского государства, униженных, угнетенных, эксплуатируемых и преследуемых человеческих существ, которые жили в переполненных лагерях в агонии страха и отчаяния.

То были героические беглецы, эти серые массы русских людей, которых посылали обратно в рабство и на смерть. Мы загружали их целыми семьями, как овец, в вагоны для скота и направляли их тысячами на русские пограничные пункты, прямо в лагеря смерти МВД, такие же ужасные и жестокие, как Дахау и Освенцим. Только через десять месяцев после окончания войны наша военная администрация без особого энтузиазма вышла из этого преступного сотрудничества. Но к тому времени больше половины этой несчастной людской массы было возвращено ее «законным владельцам» — главарям сталинской секретной полиции.

Мне не потребовалось много времени, чтобы увидеть, услышать и понять прав-

ду. К августу 1945 года, когда я приехал в Берлин и начал играть свою ничтожную роль в этой «китайской церемонии», известной как Союзное четырехстороннее управление Германией, моя старая ностальгия, пустившая в меня корни болезнь, покинула меня. Тогда я понял, что моя Россия, Россия эмигрантских надежд, стерта с лица земли, и все, что осталось от нее, — это увиденные мною трагические человеческие существа, история каждого из которых сводилась к одному и тому же — к страданию, голоду, оскорблениям и насилию. Я также понял, что другие люди, которые носили большие звезды на погонах и медали на груди и животе, и «гражданские» из МГБ в голубых твидовых костюмах (позже замененных на что-то вроде униформы для швейцаров) не имеют ничего общего с тем, что когда-то было истинной культурой, буржуазной цивилизацией, надеждой и мечтой нашего детства. Они представляли собой другую породу людей, людей из страшного, бесчеловечного мира. Жесткие, вероломные, жестокие, они даже разговаривали в другой манере, не в нашей мягко звучащей русской манере, они говорили на каком-то отрывистом, резком, без гласных звуков диалекте.

Среди чиновников советской военной администрации в Берлине была одна пара, к которой я испытывал искреннее расположение. Оба были молоды, вежливы и дружелюбны и, таким образом, очень сильно отличались от обычного потока советских марионеток и зануд, с которыми американцам приходилось поддерживать вежливые деловые отношения. Мы виделись от случая к случаю первоначально на нейтральной территории, затем довольно часто — или на моей служебной квартире, или на их крошечной вилле в русском секторе Берлина, Карлхорсте. После того как барьеры ложной гордыни были преодолены, а пропагандистские лозунги отброшены, эти люди, убедившись в моей осторожности, начали разговаривать со мной с растущей откровенностью. Для начала они высказали одно или два критических замечания относительно советского режима, каждый раз сопровождая их множеством смущенных улыбок и бросаемых украдкой взглядов. Иной раз Таня, бледная, хрупкая жена мужа-офицера, отводила меня в сторону и рассказывала какой-нибудь анекдот о Сталине, прося не повторять его и не рассказывать мужу. Наконец после нескольких месяцев частых и долгих бесед их сдержанность растаяла, и они стали говорить со мной откровенно и с горечью.

Это была та же старая история, которую я слышал от сотен дипийцев: страх и огромная, всепоглощающая и бессильная ненависть к советскому режиму. Они хотели знать, что Америка думает о них. Они жадно слушали все мои рассказы об Америке. Они хотели знать, как я чувствую себя в Америке, — я, бывший русский, в стране, которая приняла меня как своего гражданина. Я рассказал им о себе. Я рассказал о ностальгии изгнанника, которая горела во мне, и о том, что теперь я ощущаю себя в Америке, как в домашней, мирной обстановке, без потребности и желания вернуться. Я вспоминаю тот вечер, когда я говорил им обо всем этом, я вспоминаю их убогую маленькую гостиную, загроможденную безобразной немецкой мебелью, со старым пианино. Ставни были закрыты, их шофер спал наверху в своей комнатке над лестницей. Когда я перестал говорить, на момент воцарилось неловкое молчание. Казалось, что мы не осмеливались смотреть друг на друга из-за страха потревожить то, что каждый из нас чувствовал. Затем негромко, не поднимая головы и ни на кого не глядя, Таня сказала: «Вы знаете, то, о чем вы только что говорили, все это есть у Пушкина, в одном из его длинных стихотворений. Вы помните? Стихотворение, в котором он описывает, как вернулся в свою деревню после долгого отсутствия и как вдруг обнаружил, что ничего из того, что он любил, больше не существует, все изменилось. Вы помните?»

На следующий день, поздно вечером, небольшой автомобиль остановился пе-

ред моей служебной квартирой, и человек из советского книжного магазина вручил мне пакет. В нем был совершенно новый однотомник Пушкина. Я открыл его, нашел нужное стихотворение, и действительно, это была моя история, история изгнанника, со всей ее тоской, ностальгией, горечью и смирением. Конечно, у этой истории был другой конец, в ней не было открытия новой жизни, новых чувств... своей Америки. Читая стихотворение, я ощутил, что это должно стать моей последней данью моему детству, его потерянным мечтам и рухнувшим надеждам. В тот же вечер я сел за фортепьяно и начал сочинять. Я искал темы и набрасывал их на последних листах нотной бумаги, которую я взял с собой из Америки.

Кусевицкий очень внимательно слушал каждое слово моей длинной истории. «Я знаю... Я знаю, что вы чувствовали, Коленька, — сказал он срывающимся голосом и дружески положил свою руку на мое плечо. — Да, вы должны непременно... Вы должны написать своего Пушкина, и Марина должна спеть его. А теперь скажите мне, что за стихотворение... прочтите мне его».

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах[14].

Кусевицкий всегда был новатором, строителем, человеком, остро чувствующим прогресс, преданным идее развития музыкальной культуры, человеком, осознающим важность искусства музыки в современном обществе. Задолго до нашей встречи он приехал в эту страну, будучи в России молодым начинающим дирижером, чувствуя себя наделенным культурной миссией, которую он должен был исполнить на благо общества. В этом он был подобен тем либеральным, прогрессивным членам русской интеллигенции девятнадцатого столетия, которые наперекор невероятному неравенству и застывшей инерции распадающегося царского режима пытались построить основу свободной демократической культуры.

Рожденный в бедной еврейской семье, он смог подняться и вырваться из окружающей его обстановки. С помощью своей жены, дочери богатого московского торговца, ставшей его энергичным соратником во всей культурной работе, он быстро занял эту позицию и стал одним из наиболее важных, наиболее дальновидных представителей русской музыки с 1909-го до 1921 год. В Москве он организовал симфонический оркестр и гастролировал с ним по всей России. Он основал первый издательский дом в России, где композиторы стали партнерами компании и где прибыли делились таким образом, чтобы композитор получал плату гораздо большую, чем в любом другом музыкальном издательском доме того времени. Он покровительствовал молодым композиторам и продвигал их музыку с настойчи-

[14] Далее приведен отрывок из стихотворения Пушкина «Вновь я посетил...» в переводе на английский В. Набокова: «...I have seen again / that corner of the earth where once I spent / in banishment two years of time unnoticed; / another ten have now gone by, and many / have been the turns and changes in my life, / and I to nature's law conforming also / in many ways changed; but here again / the past envelops me, so near and vivid / that I, me seems, but yester night among / those groves have wandered...» (*Alexander Pushkin, translated by Vladimir Nabokov*).

востью и энтузиазмом, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что делали другие дирижеры его поколения. Он пропагандировал русскую музыку, сначала в России и затем повсеместно в Европе, с таким напором, который равнялся только энтузиазму Сергея Дягилева. Он вдохновлял, помогал, советовал, работал непрерывно, жадно, восторженно...

Хорошо помню, как, будучи ребенком, я разглядывал фотографию с изображением бородатых и усатых музыкантов в тяжелых меховых шубах и шапках, входящих на борт волжского парохода, и другую, запечатлевшую всевозможные музыкальные инструменты: контрабасы, арфы, виолончели, которые грузили на тот же пароход. Я помню, как я удивился, когда мне сказали, что это был оркестр Кусевицкого, отправлявшийся вниз по Волге для выступлений в волжских городах от Нижнего Новгорода до Астрахани. Это было похоже на сказку. Я вспоминаю мое первое посещение концерта Кусевицкого в Берлине в 1922–1923 году. Он дирижировал в балете Стравинского «Весна священная» с Берлинским филармоническим оркестром. Это было мое первое знакомство с этим выдающимся произведением и, я полагаю, первое исполнение этой музыки в Берлине... Пораженный, ошеломленный, я вернулся домой и написал Кусевицкому анонимное письмо с благодарностью, первое и последнее письмо почитателя в моей жизни. Позже я посещал концерты Кусевицкого в Париже, на которых ежегодно исполнялся поток новинок, а также звучали выдающиеся музыкальные произведения, редко или никогда не входившие в программу обычных парижских симфонических концертов. Затем он переехал в Америку, и мало-помалу в Париж стали просачиваться новости о его успехах. Я завидовал жителям Бостона, у которых был такой выдающийся оркестр и такой новаторский, смелый дирижер. Несомненно, карьера Кусевицкого была непохожа на карьеру других дирижеров. Она — не только история успеха блестящего виртуоза, она является важной частью истории музыкальной культуры нашего времени.

Был вечер, когда мы вернулись в Серенак после посещения концертных площадок Танглвудского фестиваля, в доме зажгли огни. Ольга провела меня наверх, чтобы показать мою комнату, и сказала, что обед начнется через десять минут. Мне хватило времени вымыть руки и причесаться, когда Кусевицкий постучался в дверь, вошел и спросил, привез ли я какие-нибудь наброски обсуждавшейся музыкальной вещи по Пушкину. «Знаешь, — сказал он, — я думаю, это прекрасная идея, я попрошу Гуню завтра написать Марине Кошиц о нашем плане». К сожалению, у меня не было ничего с собой, чтобы показать ему, но я обещал, что до конца лета это произведение будет готово. «Ну, если оно не будет готово, я не буду его исполнять, — сказал он, — так что лучше его подготовить... но, — добавил он игривым тоном, — не торопись и не испорти прекрасную идею. Музыка должна быть хорошей, ты же знаешь». Когда мы спускались вниз по широкой лестнице, чтобы присоединиться к остальным домашним для обеда, внизу у лестницы появилась Ольга и сказала, как всегда, спокойно и неторопливо: «Ах, Ника, я забыла сказать вам. Кто-то звонил вам из Вашингтона. Может быть, вы позвоните сейчас телефонисту, прежде чем мы сядем обедать?» То был мой друг из State Department, настаивавший, чтобы я был в Вашингтоне на конференции на следующий день.

...Обед прошел в простой и непринужденной обстановке. Кусевицкий был в прекрасной форме. Он рассказывал забавные истории о своих концертах в России, о своих первых встречах со Скрябиным, Шёнбергом, Стравинским. Он рассказал в деталях, как познакомился с Дебюсси и как Дебюсси приехал в Россию и остановился в его доме на три недели в 1913 году. Он говорил о своих первых годах в Бостонском симфоническом оркестре и как были шокированы завсегдатаи пятничных концертов количеством новой музыки, которую он исполнял. «После этого, — сказал он, — я

сообщил дирекции: „Это только начало моих планов. Публике, а не мне придется научиться — научиться любить новую музыку и развивать свой вкус“». Он говорил с энтузиазмом о современных американских композиторах, рассказал историю своего «открытия» Уолтера Пистона[15] и Аарона Копленда[16] и описал первые исполнения их музыки. Большинство его историй были рассказаны с осознанием той особой роли, которую он играл, и с осознанием важного влияния его собственной деятельности на большинство музыкальных событий его времени, однако истории эти были рассказаны с такой откровенной убежденностью, с таким энтузиазмом, что я чувствовал постоянно растущую симпатию к рассказчику...

После обеда, когда мы в гостиной пили кофе, а Кусевицкий — горячую воду с ломтиком лимона, он спросил меня, как давно я слушал Бостонский симфонический оркестр. Я ответил, что не слушал его, по крайней мере, пять лет. «Ну, мой друг,— сказал он тоном фермера, который собирается показать вам своего быка-медалиста гернзейской породы, — в таком случае вас ожидает большое удовольствие следующей осенью, когда вы приедете в Бостон. Вы услышите нечто, ничего подобного нет во всем мире».

Был поздний вечер, когда мы наконец пошли наверх в свои комнаты. Больше часа Ольга подавала мне молчаливые знаки о том, что пора идти спать, но Кусевицкий не хотел уходить. Он снова расспрашивал меня о политике, о Европе и России и хотел услышать ответы во всех подробностях, которые я мог дать. Он проводил меня до дверей моей комнаты и, уже стоя в дверях, сказал: «Ну, Коленька, ни пуха ни пера, большой вам удачи, и не возвращайтесь без хорошей музыки. Спокойной ночи».

В течение всего этого лета я работал над моим пушкинским стихотворением, используя для этого все свободное время, которое я мог выкроить из очень загруженного расписания. Я оставил военную администрацию и подключился к новому и совершенно фантастическому и рискованному предприятию: я помогал организовать «Голос Америки» на Россию, а затем участвовал в его становлении. Но в августе я получил все-таки трехнедельный отпуск и провел его в тихом местечке во Франции, где и закончил свою пушкинскую элегию. Я назвал ее «Возвращение Пушкина», «элегией в трех частях»[17], и послал экземпляр первой части Кусевицкому.

Мы договорились, что я приеду к Кусевицким в начале концертного сезона в октябре и что остановлюсь в их доме в Бруклайне (Brookline), штат Массачусетс (в городке, которому я, в его честь, дал прозвище Нижне-Кусевицк). Я горел желанием сыграть для него мою новую элегию, но меня также возбуждала и мысль о том, что я услышу игру Бостонского симфонического оркестра...

К сожалению, я не смог выехать из Нью-Йорка вовремя, чтобы успеть на их последнюю репетицию. Я прибыл в Симфони-холл как раз в тот момент, когда музыканты упаковывали свои инструменты в черные футляры, и нашел «доброго Доктора» сидящим в его черном плаще-накидке в Зеленой гостиной, прихлебывающим чай из крышки термоса. «Ну, как вам понравилась репетиция? — спросил он после того, как мы обнялись. — Не находите ли вы, что мы играли хорошо?» И он с гордостью посмотрел на м-ра Бурка, составителя аннотаций оркестровых программ, вошедшего в комнату вместе со мной. Не желая расстраивать Кусевицкого, я промямлил что-то из слов «блестяще, великолепно, превосходно». Пока мы ехали к дому, он рассказывал мне с большим возбуждением и очень подробно о Пя-

[15] Walter Piston (1894–1976) — американский композитор и педагог.

[16] Aaron Copland (1900–1990) — американский композитор, пианист, дирижер и педагог.

[17] The Return of Pushkin. Элегия для сопрано и симфонического оркестра. Композитор Николас Набоков, текст — Александр Пушкин, английская версия — Владимир Набоков. — *Ред.*

той симфонии Прокофьева, над которой работал в это время, и о новом произведении Дэвида Даймонда[18], написанном для Фонда Кусевицкого.

После ланча я в первый раз проиграл для него мою элегию. Ему, кажется, понравились вторая и третья части, но он хмурился во время исполнения первой. В моем сочинении ему не понравилось, что ударные — половинные ноты вместо четвертных[19], а также изменение длительности в некоторых частях от $^{5}/_{2}$ к $^{9}/_{4}$. «Это совершенно не нужно, — сказал он. — Никто не сыграет это правильно. Все будут играть ее слишком медленно». Но при повторном прослушивании эта часть элегии понравилась ему больше, и наконец после первого исполнения произведения она понравилась ему, как и остальные части.

Вечером мы все поехали на концерт. Ольга и миссис Хиршманн сидели вместе с несколькими друзьями, а у меня было крайнее правое место в первом ряду. Как только оркестр начал играть, я понял, что Кусевицкий был прав: не было ничего похожего на звучание бостонцев. Я не слышал ни одного американского оркестра с 1941 года, а за два последних года в Германии я подвергался воздействию главным образом бесцветно звучащих денацифицированных оркестров. Я забыл, на что похоже звучание первоклассного оркестра. Кроме всего прочего, этот оркестр был не просто из ряда первоклассных оркестров, это был один из наиболее совершенных симфонических ансамблей, когда-либо созданных; инструмент чрезвычайной красоты и точности, образованный в результате тщательного отбора, ежедневной практики и десятилетий традиционно строгой дисциплины.

Мягкий эмоциональный тон его струнных инструментов, мощь и точность духовых инструментов, чистота и прозрачность его деревянных духовых инструментов и внутренний баланс различных партий делают этот оркестр одной из тончайше звучащих симфонических групп в мире, способной достичь таких звуковых эффектов, которые композиторы, подобные Бетховену или Шуберту, никогда не слышали, за исключением беззвучных представлений в их воображении. Когда я слушал этот оркестр и наблюдал за его дирижером, я подумал, что вклад Кусевицкого в создание этого исключительного ансамбля был бесценен. Для меня стало ясно, что его выдающиеся знания и поразительная способность осознавать достоинства каждого индивидуального музыканта должны были появиться, в частности, как результат его ранней практики виртуоза-контрабасиста. Хорошие дирижеры часто вырастают из оркестрантов. Но Кусевицкий был не только одним из оркестровых музыкантов, он также был потрясающим солистом, виртуозом одного из наиболее трудных и наиболее неблагодарных инструментов. Но это, конечно, только одна из составляющих истории этого оркестра. Упорство, настойчивость, способность работать и заставить работать других, энтузиазм, юношеский дух и оптимизм в преодолении всех видов трудностей и препятствий, постоянная безжалостная самодисциплина — все эти свойства его характера создали Бостонский симфонический оркестр.

Последним номером программы была Пятая симфония Чайковского, известное произведение из репертуара Кусевицкого. Как ни странно, я раньше ни разу не слышал, как он дирижирует ею; поэтому это исполнение явилось для меня откровением. Что бы ни пробовали сказать его недоброжелатели, его критики об исполнении им этого произведения, это было, несомненно, наиболее вдохновенное, романтическое, наиболее близкое Чайковскому исполнение симфонии, которое я когда-либо слышал. После этого я дважды слышал, как он дирижировал Пятой симфо-

---

[18] David Diamond (1915–2005) — американский композитор.

[19] «Ее надо было написать на 3/4, а не на 3/2», — из письма С. Кусевицкого С. Прокофьеву. См.: Юзефович. Переписка С. Прокофьева с С. Кусевицким.

нией, и каждый раз я восхищался широким и благородным размахом его интерпретации.

Когда он закончил, раздалась буря аплодисментов, подобная грому. Я посмотрел на Кусевицкого, когда он вышел на поклоны. Он выглядел молодым и счастливым. Я с благодарностью аплодировал этому невысокому человеку, на лице которого сиял яркий румянец, а вены, казалось, были готовы взорваться; весь вид которого выражал гордость, удовлетворение и триумф. Когда Кусевицкий уходил со сцены, он краем глаза посмотрел на меня и подмигнул — лукаво, счастливо, как ребенок. Я прошел за кулисы и увидел, как он стоял там, вытирая лоб, в то время как Виктор пытался пристроить черную накидку на его плечи. «Ну, — сказал он с волнением и ожиданием, — ну, как это было? Было это таким, как, я говорил вам, оно должно быть?»

Рождество со Стравинским

Дорогой Ника Дмитриевич,

Да, конечно, мы будем ждать вас на Рождество. Вы можете остановиться в нашем доме. Вы будете спать на диване, на котором спали Надя Буланже[1], Ольсен[2], Оден[3] и другие. Хаксли[4] оказался слишком длинным. Я надеюсь, что вы уместитесь на этом диване. (Какой у вас рост?)

Вы и Баланчин, вероятно, поедете на поезде «Супер-Чиф»[5], который приходит в Пасадену утром в 8–13. Мы будем встречать вас там (Пасадена — это последняя станция перед Лос-Анджелесом и ближайшая к нам).

Пожалуйста, не разочаруйте нас на этот раз — приезжайте! Вера шлет приветствия.

Ваш Игорь Стр[авинский]

Это письмо было написано по-русски, на одной стороне половины листа бумаги для авиапочты, прыгающим почерком Стравинского, очень черными чернилами. Предложение «Какой у вас рост?» было написано красным карандашом на полях с левой стороны; красная карандашная линия соединяла его со звездочкой, стоявшей после предыдущего предложения. Предложение о Пасадене было написано синим карандашом, сверху вниз в верхнем правостороннем углу. С помощью синей звездочки и синей карандашной стрелки оно соединялось с предыдущим предложением. Слово «здесь» было подчеркнуто синим карандашом; слово «там» (относящееся к Пасадене) было заключено в рамку синим карандашом; слово «приезжайте!» было жирно подчеркнуто красным карандашом. Весь этот маленький лист производил впечатление компактной и обдуманной конструкции, разноцветные линии делали его подобным веселому и выразительному рисунку.

---

[1] Надя Буланже (Nadia Boulanger, 1887–1979) — французский композитор, дирижер и педагог. В США преподавала в Juilliard School и др.; дирижировала Бостонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Би-би-си и др. В 1938 году дирижировала на премьере концерта «Дамбартон Окс» (Dumbarton Oaks) И. Стравинского. — *Ред.*

[2] Ольсен (возможно, Carl Gustav Sparre Olsen, 1903–1984), норвежский композитор и скрипач. — *Прим. пер.*

[3] Оден (Wystan Hugh Auden, 1907–1973) — известный американский поэт. Родился в Великобритании, в США с 1939 года. Лауреат Пулитцеровской премии, Боллингенской премии, премии Фельтринелли. — *Ред.*

[4] Хаксли (Aldous Huxley, 1894–1963) — известный американский писатель, автор «Brave New World». — *Ред.*

[5] «Super-Chief» — скорый поезд, курсирующий между Чикаго и Лос-Анджелесом.

Дорогой Игорь Федорович,

Пожалуйста, простите меня за запоздалый ответ, но я хотел знать наверняка, и только вчера я, в самом деле, définitivement[6] *решил ехать. Кроме того, Баланчин хочет «отдохнуть в поезде» (sic!), в то время как я хочу лететь, так что мы пришли к компромиссу: вперед мы едем на поезде, обратно летим на самолете. Мы не смогли забронировать места ни на один «Чиф». Через своего доктора Б. Баланчин получил для нас купе в салоне вагона прямого сообщения из числа «с ограниченными удобствами». Я полагаю, что он отправляется около 4 часов дня от Гранд-Централ*[7]*, но я не знаю, когда он прибывает в Лос-Анджелес. Я предполагаю, что этот поезд не идет через Пасадену. Мы Вам дадим телеграмму из Чикаго.*

Оден, который сегодня вернулся, сообщил мне, что вам нужны партитуры опер Генделя. Есть ли у вас партитуры «Цезаря» и «Роделинды»? Если нет, то я их привезу. Как дела с либретто? Наилучшие пожелания Вере Артуровне[8] *и Вам.*

Ваш Н. Н.

Дорогой Ника Набоков,

Мы рады, что вы приезжаете. Не опоздайте на поезд. Если вы собираетесь отправиться с Центрального вокзала, то, видимо, вы поедете на поезде Коммодоре Вандербильт, в котором есть вагон прямого сообщения. В Чикаго можно пересесть с него на поезд Гранд Каньон Лимитед (это — медленный поезд). Поезд Коммодоре Вандербильт прибывает в Чикаго в 8.30 по Чикагскому времени (я только что проверил по расписанию), и поезд Гранд Каньон покидает Чикаго в полдень. Таким образом, отправившись 19-го [декабря] в 4-30 дня (нью-йоркское время), вы прибудете в Лос-Анджелес 22-го в 11 утра (время Лос-Анджелеса). Мы встретим вас на вокзале, если только Мария Баланчина не будет встречать Джорджа на своем автомобиле. В этом случае она могла бы, конечно, оставить вас в нашем доме, который, так или иначе, расположен на ее пути.

Нам обоим очень понравился Оден, и я полагаю, что либретто будет очень хорошим. Да, конечно, прихватите все, что у вас есть из опер Генделя. Все остальное мы обсудим здесь. Приезжайте, приезжайте скорее. Наилучшие пожелания от нас обоих.

Ваш И. С.

P. S. Попросите Джорджа прихватить 2 бутылки Eau de Genievre — это лучше, чем водка. Я не могу найти его здесь. Джордж сможет узнать, где это найти. Приезжайте![9]

Купе в салон-вагоне прямого сообщения разочаровало меня. В моем воображении мне представлялось роскошное помещение, изобилующее хромированными предметами, с опускающимися или поднимающимися кроватями, обитыми современным роскошным материалом, не бросающейся в глаза канализацией и кондиционером. Вместо этого наши апартаменты оказались обычным купе бледно-зеленого цвета со спертым воздухом типичного туберкулезного пульмановского вагона с его кашляющей канализацией, лязгающим водопроводом и дребезжащим вентилятором.

---

[6] Раз и навсегда, окончательно (*фр.*).

[7] Grand Central — центральный железнодородный вокзал в Нью-Йорке.

[8] Судейкина-Стравинская Вера Артуровна (урожденная де Боссе, в четвертом браке — Стравинская; 1888–1972). В 1914–1916 годах выступала на сцене московского Камерного театра, снималась в кино. С 1920 года в эмиграции в Париже, с 1940-го — в США. С 1917-го начала заниматься живописью под руководством С. Судейкина; с 1920-х оформляла спектакли во французских театрах; с 1949 года занималась станковой живописью. — *Ред.*

[9] Постскриптум сделан на левом поле: первые три слова — черным карандашом, далее — красным и синим карандашами.

Баланчин, разместив на полках для вещей фантастически раскрашенные рождественские пакеты («Наилучшие пожелания Вере Артуровне — В. К.».; «Веселого Рождества и счастливого Нового года — от Соколовых[10] Стравинским»; «Веселого Рождества, ожидаем вас в скором времени в Нью-Йорке — Витторио[11]» и т. д.), устроился напротив меня с ворчаньем, скорее напоминавшим мурлыканье. Скоро он закивал носом в такт движению поезда, и страницы Daily Mirror ослабли в его руках, поникших, как стебли растения.

Наш поезд внезапно вынырнул из туннеля. В скором времени за окном вместо мелькания чахлого кустарника и мрачных жилых строений глазу неожиданно открылось плавное течение реки Гудзон; ее черная поверхность была изрезана бесцветными плавучими льдинами.

Это была моя первая поездка в Калифорнию. Я никак не хотел ехать. До последней минуты я не мог решиться, не уступить ли мне мучившей меня, хоть и ослабевающей, невралгии и не послать ли Баланчина одного. Вся поездка казалась мне нелепой и экстравагантной. Примерно на трое суток сдаться на милость скуке, беспокойству и бессоннице в «сквозных» вагонах, «роскошным» обедам («Простите, сэр, ростбиф кончился»; «Простите, сэр, вино в Чикаго забыли загрузить») и «заоблачным» авиалайнерам для удовольствия четырех- или пятидневного пребывания в Калифорнии (незнакомые люди, непонятные пейзажи) — все это казалось действительно непредсказуемым капризом.

Но верно было и то, что в конце путешествия нас ожидала чета Стравинских, которых я сильно любил и которых так хорошо узнал за годы их жизни в американском «пристанище». Оден рассказал мне, как тепло они принимают друзей, каким простым и веселым может быть Игорь Федорович в своем крошечном доме. Кроме того, я помнил строгое предупреждение Стравинского: «Не разочаруйте нас на этот раз. Приезжайте! (или если...)» — и, конечно, то неослабевающее обаяние Стравинского, под которым я находился, как и большинство музыкантов моего поколения. Увидеть его в его собственном доме, наблюдать за его работой в его студии, разговаривать с ним долгие часы и следовать за его проницательным живым мышлением, оживленным яркими метафорами («Можете представить, что такое для меня дирижировать в Сити Центре, полностью лишенном акустики и с оркестровой кабиной, подобной мужскому туалету? Это то же самое, что пустить новый роллс-ройс по русским дорогам»; или относительно Беркширского фестиваля[12]: «Все в полном совершенстве, но почему контрабасисты настраивают инструменты

---

[10] Очевидно, Лидия Соколова (Хильда Маннингс (Munnings), 1896–1974) — английская балерина, ученица А. Павловой и М. М. Мордкина. В 1912 году вступила в труппу «Русский балет С. П. Дягилева» (до ее закрытия в 1929-м). Лучшая партия — Избранная дева («Весна священная» Стравинского). После смерти Дягилева вернулась в Великобританию. В 1935 году танцевала в Leon Woizikovsky»s Company, ставила небольшие балеты. Также танцевала в Royal Ballet. В соавторстве с Р. Баклем (Richard Buckle) написала книгу «Dancing for Diaghilev» (1960). — *Ред.*

[11] Очевидно, Витторио Риети (Rieti, 1898–1994) — итальянский композитор. С 1925 года жил в Париже и был близок творческому объединению композиторов французской «Шестерки». Для дягилевской антрепризы написал балеты «Барабау» и «Бал» (либретто Бориса Кохно, хореография Дж. Баланчина), поставленные в «сезонах» 1926 и 1929 годов. С 1939 года жил в США. Упоминаемая далее в текст Элси Риети предположительно его жена. — *Ред.*

[12] Беркширский музыкальный фестиваль (Berkshire Music Festival) в городке Питсфилд, штат Массачусетс (Pittsfield, Mass.), основан американской пианисткой, меценаткой Элизабет Спрэг Кулидж (Elizabeth Sprague Coolidge; 1864–1953). В 1934 году фестиваль оформился в знаменитый Berkshire Symphonic Festival (Tanglewood, Mass.), который Спрэг также поддерживала. В фестивалях принимал участие знаменитый русский контрабасист, дирижер, общественный и музыкальный деятель Сергей Александрович Кусевицкий (1874–1951). — *Ред.*

на свежем воздухе, под соснами? Контрабасы же не являются травоядными!»), и, самое главное, внимательно рассмотреть его самые последние партитуры — все это казалось мне достаточно заманчивым, чтобы перевесить кажущуюся абсурдность утомительного путешествия.

Долгая поездка на поезде напоминает приготовление стейка. До того момента, пока мясо еще полусырое, оно сохраняет свою идентичность с животным своего происхождения; как только оно становится коричневым, оно смещается ближе к тому животному, которое собирается его съесть.

Нечто подобное произошло с нашим путешествием: в какой-то момент в Чикаго, между 8.30 утра, когда я выглянул из нашего перегретого спального выгона и увидел поток пальто, шляп и портфелей, движущийся в морозном тумане по направлению к лестнице вокзала, расположенного на Lasalle Street[13], и 12.30, когда мы с Баланчиным, окоченевшие от ветра с озера Мичиган, вернулись из одинокой прогулки по Институту искусств[14] (где нас дразнили изображенные в разгар лета изящные французские обнаженные Ренуара и радужные прогулочные коляски Сера), мои мысли изменили направление от Нью-Йорка и нашего беспокойного, сумбурного отъезда к неизвестному пока дому Стравинских в Голливуде. Скоро я начал раздумывать о том, действительно ли они смогут приютить меня, удобно ли им это. Казалось ужасной бесцеремонностью использовать их диван, особенно во время рождественской недели, когда у них, конечно же, будет много гостей. Не было бы более благоразумным остановиться в отеле? Я спросил об этом Баланчина.

«О, нет, — сказал он, — они любят принимать гостей. Он — в особенности. Не беспокойтесь, он не оставит вас одного ни на минуту; он будет разговаривать с вами день и ночь и задаст вам миллион вопросов. Они повезут вас вокруг Голливуда и поведут вас обедать в лучшие рестораны. Утром вы будете завтракать с ним и его попугаем, и вы увидите, как он делает свою венгерскую гимнастику. Вы знаете, он хорошо сложен, — Джордж сжал руки, — и феноменально силен, с бицепсами борца. Он прыгает, как мячик, ходит на руках и делает отжимания от пола с легкостью двадцатилетнего. И кроме того, — добавил он очевидную истину, — он будет играть вам свои новые партитуры: это поможет вам тщательно их рассмотреть. Не вздумайте остановиться в отеле. Вы оскорбите его, и он никогда вас не простит».

Всю дорогу мои мысли крутились вокруг Стравинского. Я думал о его неординарной судьбе, о том, какой она оказалась странной, блестящей и запутанной. Верное дитя, плоть от плоти того своеобразного организма, каким была русская цивилизация девятнадцатого столетия, Стравинский отразил как ее творческий динамизм, так и ее изысканность.

Стравинский был одним из самых ранних «великих беглецов» нашего нынешнего неблагодарного времени. Он покинул дряхлую, дышащую на ладан Российскую империю, которая не хотела иметь с ним никакого дела, в первом десятилетии нашего столетия и уже никогда не вернулся ни в одну из тех России, которые с тех пор появлялись на евро-азиатской равнине[15]. Он равным образом не хотел иметь дела с любой из них, меньше всего — с различными красными. Он не хотел иметь дела даже со своей памятью; он был полностью свободен от любой романтической тоски Улисса. Для Стравинского Россия — это русский язык, которым он пользовался с превос-

---

[13] La Salle Street — одна из главных улиц Чикаго, на которой находится центральный вокзал города, где Набоков и Баланчин делали пересадку (см. выше письмо Стравинского).

[14] Знаменитый The Art Institute of Chicago был основан в 1879 году как музей и школа. Сегодня коллекция музея содержит более пяти тысяч артефактов мировой культуры; The Art Institute считается одним из лучших учебных заведений США. — *Ред.*

[15] Стравинский посетил Советский Союз осенью 1962 года. — *Прим. пер.*

ходным умением, проявляя к нему такое же отношение, какое гурман проявляет к пище; это несколько книг; это Глинка и Чайковский. Остальное или оставляло его равнодушным, или вызывало его гнев, презрение и яростную неприязнь.

Между 1908 и 1913 годами Стравинский стал известен в Париже, столице старого мира, где волна увлечения экзотикой привела к «открытию» русской музыки, живописи, оперы и балета.

Каждый парижанин-старожил скажет вам, что это были истинные annees des Ballets Russes[16]. Удивительный успех в Париже рискованной попытки Дягилева в области балета и оперы, который начался в 1908 году с постановки «Бориса Годунова» и достиг кульминации в 1912 и 1913 годах при постановках «Петрушки» и «Весны священной», повернул Запад лицом к семидесятипятилетнему[17] русскому искусству, которое явилось «новым восточным очарованием, наполненным богатыми, яркими цветами и темпераментной, необузданной или же томной меланхоличной музыкой». Это было примерно то время, когда имена американских музыкантов начали оканчиваться на -овы, -ицкие и -овские вместо окончаний нароши, -энны, -еры и -ини; время первого вторжения Саш, Гриш, Миш и Яш.

В эти годы Стравинский, молодой человек на третьем десятке своей жизни, из страны царей, самоваров, великолепных балерин и водки, привлек к себе внимание как наиболее известный fauve[18] западной музыки, лидер ее наиболее радикального движения.

В 1913 году он шокировал собрание парижских балетоманов своей «Весной священной». Скандал на первом представлении этого балета в Театре Елисейских полей[19], вылившийся в визжание, свистки и последующие потасовки (около пятидесяти человек были раздеты почти полностью и оказались в Комиссариате полиции на улице Havre Commartin), оказался непревзойденным, он превзошел даже исторический скандал первого представления «Тангейзера»[20] (когда Jockey Club предлагал своим действующим членам элегантные серебряные свистки с надписью «pour siffle Tannhäuser»[21]).

Начиная с этого времени лидерство Стравинского в современной западной музыке становится неоспоримым. По мере того, как шли годы, авторитет его возрастал, и он получал все более глубокое уважение, смешанное иногда с завистью, ревностью или безмерной лестью. Его репутация распространялась по всему миру так же, как слава Пикассо, его близкого друга и соратника, в чем-то даже опережая ее. Каждая новая работа Стравинского становилась крупнейшим событием; его парижские приверженцы, «внутренний круг» его почитателей, провозгласили его величайшим композитором своего времени. Его произведения ожидались с нетерпением многочисленной публикой и равным образом энергично дискутировались. Едва ли был музыкальный журнал в Европе, который не обсуждал бы его искусство в каждом номере; появлялись десятки книг о его музыке. Каждый его новый

---

[16] Годы Русского балета. (*фр.*)

[17] Скорее всего, Набоков имеет в виду Сергея Дягилева (1872–1929), которому в год написания мемуаров было бы 75 лет. — *Ред.*

[18] Fauve — от *фр.* дикий зверь. В данном случае: относящийся к фовизму (направление в искусстве). — *Прим. пер.*

[19] Премьера балета И. Стравинского «Весна священная» состоялась 29 мая 1913 года в Театре Елисейских полей (théatre des Champs-Élysées) в Париже. Автор декораций и костюмов — Николай Рерих, хореограф — Вацлав Нижинский, импресарио — Сергей Дягилев. — *Ред.*

[20] Премьера оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» (Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg) состоялась 19 октября 1845 года в Королевском саксонском придворном театре в Дрездене. После восьмого спектакля ее сняли с репертуара. — *Прим. пер.*

[21] «Для освистывания Тангейзера» (*фр.*).

«штрих», каждая находка в новом стиле становились немедленно темой ожесточенного обсуждения и музыкальной модой года.

Еще на каштанах парижских бульваров не начинали образовываться почки, как в интернациональной музыкальной общественности уже бурлили слухи о новом балете Стравинского или о его концертном сочинении, первое представление или исполнение которого должно было состояться в конце мая каждого года. Я помню уникальное, незабываемо подлинное возбуждение (совершенно свободное от немузыкальных соображений), вызываемое этими первыми представлениями музыки Стравинского, электрическое напряжение аудитории и последующие овации.

Однако когда в начале двадцатых годов Стравинский перестал использовать русский фольклор как первооснову своей музыки и, обратившись к западной традиции, начал писать музыку, родственную по стилю и духу музыке периода барокко, периода Баха, Генделя и Скарлатти, произошло настоящее потрясение. Многие были так шокированы этим новым чудовищем, в котором можно было обнаружить и элементы джаза, и музыку, похожую на музыку Баха, какую-то смесь «современного человека» и обладателя напудренного парика, что они разразились интенсивными и длительными душераздирающими страданиями. Их сердца «обливались кровью» из-за потери «Русского Стравинского» (Стравинского «Жар-птицы»); они «обливались кровью» из-за его нового отвратительного порочного стиля, который, за неимением лучшего термина (или, скорее, по причине недостатка воображения), был окрещен «неоклассицизмом». Это непрекращающееся кровотечение в отдельных случаях переходило в гемофилию. Следы ее можно до сих пор найти, например, на страницах New York Times. Это проявляется в злом, возмущенном и разочарованном отрицании почти всего того, что Стравинский написал после того, как он покинул священную почву русской первоосновы.

Сегодня многие еще ненавидят его музыку по многим самым противоречивым причинам. Он обманул тех, кто от рождения был влюблен в Россию (не в новую страну, но в волшебную, сказочную Россию громадных пространств и âme slave[22]); он вызвал гнев экстремистов своим уважением традиций и возвратом к ним; он раздражил тех, кто видел в нем ревнителя диссонанса, ударных инструментов и новых сочных тембров. (Это происходило примерно в то время, когда разные люди, некоторые — настоящие композиторы, а чаще безотчетные шарлатаны, экспериментировали со странными, забавными звуками и механистическими описаниями предметов и явлений. Типичными примерами являются произведения, подобные сочинениям Онеггера «Pacific 231»[23], Антейла «Ballet mecanique»[24] и Мосолова (не путать с Молотовым!) «Iron Foundry»[25].)

---

[22] Славянской души (*фр.*)

[23] Arthur Honegger (1892–1955) — швейцарско-французский композитор, рожденный во Франции и проживший большую часть жизни с Париже. Член «Шестерки». Самое известное произведение — оркестровая пьеса «Pacific 231» (первоначальное название «Mouvement Symphonique») — построена на имитации звуков локомотива как выражение идеи «индустриализации музыки». — *Ред.*

[24] George Antheil (1900–1959) — американский композитор, пианист, изобретатель. В 1923 году переехал в Париж, где сблизился со Стравинским. В 1932-м вернулся в США, работал в Голливуде. «Ballet mecanique» («Механический балет», 1924) задумывался как музыка к одноименному фильму Дадли Мерфи и Фернана Леже. Позднее исполнялся как самостоятельное произведение. — *Ред.*

[25] Мосолов А. В. (1900–1973) — композитор-авангардист, автор симфонического эпизода «Завод. Музыка машин» (1928, из неосуществленного балета «Сталь» — «Iron Foundry»). В 1937 году был репрессирован, приговорен к 8 годам заключения, в 1938-м освобожден, но лишен права проживать в крупных городах. Позднее творчество Мосолова носило традиционный характер.

Несмотря на так называемый «неоклассический поворот», Стравинский тем не менее оставался бесспорным лидером современной музыки в Париже и на Западе в начале тридцатых годов.

Несомненно, что во втором десятилетии нашего века мощной и весьма влиятельной становится другая фигура, на этот раз в Вене, центре ослабевающей и тревожной Центральной Европы. Это был Шёнберг[26], великий отец атональной музыки, изобретатель и практик новой техники композиции — «двенадцатитоновой системы». Обычно для неспециалиста эти слова мало что скажут, но для его ушей они значат очень много. Они означают тип музыки, в которой обычные границы между диссонансом и консонансом полностью отменены. В этой музыке такое разграничение бессмысленно. Все звучит несопоставимо с привычными музыкальными представлениями нашего неподготовленного слуха, и вместо расслабления и отдыха в уютной, приятной музыке нас приглашают восхищаться супрафизическими формулами звука.

Стравинский, главным образом, является практиком, искусным мастером, в то время как Шёнберг — это доктринер, теоретик. Ни один из них не любит другого. Однако, по мнению большинства музыкантов, исключительно им обоим современная музыка обязана своей славой. После смерти Мануэля де Фальи[27] и Белы Бартока[28] Стравинский и Шёнберг продолжают оставаться единственными «отцами-основателями» этого странно эксцентричного, чудаковатого и в высшей степени анархического государства[29]. В этой анархии, в которой каждый, кажется, идет своим собственным путем, они проявляют некоторую толику согласия, видят некоторый идеологический смысл.

Разве не удивительно, что словно для того, чтобы восполнить некий судьбоносный анахронизм, оба нашли убежище в Голливуде, где несомненный чудак выглядит степенным балтийским бюргером, а анархия — это всего лишь форма супружества.

Было чуть больше полудня 22 декабря, когда жена Баланчина Мария остановила свой автомобиль на уклоне извилистой улицы North Wetherly Drive[30]. От нас справа над низким белым забором из штакетника возвышалась стена высокого вечнозеленого кустарника. Примерно в двухстах пятидесяти футах позади кустарника, выделяясь силуэтом на фоне голубовато-коричневатых холмов, стоял небольшой плоский одноэтажный дом, окаймленный узкой верандой спереди и большой террасой с левой стороны.

Баланчин выкарабкался из автомобиля. «Вот мы и приехали», — сказал он, помогая мне выгрузить мои сумки и пакеты с заднего сиденья.

За кустарником мы услышали торопливые шаги и русские голоса. Минутой позже оба Стравинских появились у маленькой боковой калитки около гаража. Они были

---

[26] Шёнберг, Арнольд Франц Вальтер (Arnold Franz Walter Schoenberg, изначально Schönberg; 1874–1951) — австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижер. Крупный представитель музыкального экспрессионизма, в частности 12-тоновой техники. — *Ред.*

[27] Manuel de Falla (1876–1946) — испанский композитор, пианист, музыковед. С 1939 года жил в Аргентине. В сочинениях начала 20-х годов отразились основные черты стиля Фальи — сочетание западноевропейского современного музыкального искусства с национальными испанскими музыкальными традициями. Большой успех выпал на долю балета Фальи «Треуголка» во время сезона «Русского балета» Дягилева в Англии в 1919 году. — *Ред.*

[28] Bartók, Béla Viktor János (1881–1945) — известный венгерский композитор и пианист.

[29] Шёнберг скончался в 1951 году. Видимо, следует считать, что время написания текста связано с поездкой автора, то есть примерно 1947 год. — *Прим. пер.*

[30] Стравинские жили по адресу: 1260 North Wetherly Drive, West Hollywood в Калифорнии. — *Ред.*

одеты для завтрака: она — в безупречно белом утреннем женском халате, который придавал ей величественный вид, он — в бордовом купальном халате в горошек, с эффектным дополнением в виде поношенной черной фетровой шляпы с узкими полями. Оба они улыбались и жестикулировали. Мы все стали обниматься.

«Ну, приехали[31] — ну, наконец-то вы прибыли», — сказала Вера Артуровна.

«Н-да... в конце концов»[32], — отозвался эхом Стравинский из-под своей шляпы.

Это зрелище внезапно заставило меня обратить внимание на то, насколько разительно отличался их внешний вид. В этом было что-то трогательное и одновременно забавное. Высокая, олимпийская фигура Веры Артуровны, широкие и правильные скандинавские черты лица, ее широко открытые, томные, улыбающиеся голубые глаза находились в таком ярком контрасте с острыми контурами лица ее мужа, его крючковатым, похожим на клюв носом и мясистыми губами и его невысокой худощавой фигурой, такой удивительно юной, такой подвижной и гибкой.

Я вспомнил, что Челищев[33] назвал его «танцующим кузнечиком» и что Кокто[34], бывало, замечал, что когда Стравинский дирижирует, он выглядит как «стоящий на задних лапках муравей из басни Лафонтена». В самом деле, в движениях его тела было что-то от движений сверчка, от какого-то насекомого. Они были быстрыми, точными и всегда хорошо контролируемыми, подобно движениям искусного танцора или акробата. Но в тот момент, когда я увидел Стравинского на фоне его сада в Калифорнии, я понял, что оба, и Челищев, и Кокто, были неправы. Он — не кузнечик, не муравей; он вообще не насекомое: он гораздо больше похож на какую-то птицу, на одну из тех некрупных птиц с большим, крепким клювом, например на кардинала или на неразлучника, движения которых отличают быстрота, возбужденность и беспокойство.

«Дайте это мне, — сказал Стравинский, подхватив мою сумку. — Боже, что в ней? Чей-то труп?»[35]

«Это только музыка, — ответил я, — и пара бутылок».

«А, вы привезли партитуры для меня. Большое спасибо. Вот только, вы знаете, у меня пропала необходимость в них. Я имею в виду оперы Генделя. Я нашел большинство из них здесь, и Хоукс[36] обещал достать мне некоторые другие в Лондоне».

«Пошли, пошли, — сказала Вера Артуровна, — входите».

Мы вошли в калитку и поднялись к дому. Дорожка вела вверх по склону через садовый участок, окаймленный с одной стороны кустами, с другой стороны — розами на длинных стеблях, розового и кремового цветов.

«Идите направо, через гостиную», — сказала Вера Артуровна, когда мы вошли в

---

[31]. В оригинале: Noo priyekhali (*рус.*)

[32] В оригинале: enfin (*фр.*)

[33] Челищев Павел Федорович (1898–1957) — художник, основатель мистического сюрреализма. Участник Белого движения. В эмиграции — во Франции, США, с 1948 года — в Италии. — *Ред.*

[34] Кокто, Жан (Jean Maurice Eugène Clément Cocteau, 1889–1963) — писатель, художник, режиссер; предтеча сюрреализма.

[35] В оригинале фраза звучит так: «Someone's meat?», что вполне в духе Стравинского, склонного к шутке. Скажем, Стравинский шутил о постаревшем Одене: «Скоро нам придется разглаживать Уистана, чтобы выяснить — он это или не он» (из книги Л. Лосева «Иосиф Бродский». ЖЗЛ. С. 105.). — *Прим. пер.*

[36] Речь идет, очевидно, о Ralph Hawkes (1898–1950), совладельце британской издательской фирмы, специализирующейся на музыке. Boosey & Hawkes; существует до сих пор, издает Стравинского, Прокофьева, Рахманинова, и др. Фирма была основана в 1930-е годы слиянием двух компаний Boosey & Company и Hawkes & Son. К сер. 1940-х годов фирма уже была держателем прав на наиболее ценные работы Рахманинова, Прокофьева и Стравинского. — *Ред.*

небольшую прихожую. Я пересек просторную солнечную комнату, заполненную весенними цветами, современными картинами, светлоокрашенной мебелью и несколькими птичьими клетками, и вошел в комнату поменьше, по двум сторонам которой выстроились книжные шкафы. Поперек комнаты, повернув свою спинку к окну террасы, стоял диван.

Вера Артуровна попросила меня снять ботинки. «Первое, что мы сделаем, — сказала она, — это подберем подходящие шлепанцы».

«...Вот они, все тут. — Стравинский указал на целое собрание меток и автографов, сделанных карандашом на различной высоте дверного косяка. — Смотрите, это — крохотная миссис Больм[37]. Она была самой маленькой из всех гостей. А это — Ольсена, самого высокого».

Мы начали разглядывать подписи.

«А кто это?» — спросила Мария Баланчина.

«Это... Вера, кто это? Ах да, это Елси Риети».

Они оба вздохнули с облегчением, когда оказалось, что моя «ватерлиния» не превышает шести футов — роста Одена.

«О, — сказала Вера Артуровна разочарованно, — я думала, что вы намного выше Одена».

«Это только из-за его шевелюры, — прокомментировал Стравинский. — Проходите сюда. Растянитесь на диване. Ты видишь, — он повернулся к Джорджу Баланчину, — он (Набоков. — *Прим. пер.*) подходит идеально: он помещается от носков до волос. Как скрипка в своем футляре».

Баланчины покидали нас, чтобы нанести визит семье Марии. Они планировали захватить всех нас вечером для обеда в итальянском ресторане «Наполи», где обычно бывал Стравинский.

«Я думаю, что вы хотите принять ванну и переодеться», — сказала Вера Артуровна.

«Ну, он выглядит свежим, — сказал Игорь, — et il ne sent pas trop mauvais[38]».

«Пошли, пошли, Игорь, оставим его одного. — Она потянула его за рукав. — Когда вы будете готовы, начнем ланч».

«Но я должен показать ему, где мыться», — сказал Стравинский и проводил меня в ванную. Перед тем как открыть дверь, он повернулся ко мне и крепко обнял, его глаза сияли радостью и теплом. «Я действительно рад, Ника, что вы наконец приехали, — сказал он. — Мне нужно о многом поговорить с вами, и я хочу посмотреть вашу новую музыку».

Он открыл дверь и пропустил меня в небольшую ванную комнату с большой черной раковиной и современным душем.

«Это моя душевая. Я надеюсь, что вы не против душа. Пока вы у нас, я буду пользоваться другой ванной, так что будьте как дома».

Он осторожно закрыл дверь, показав мне, как обращаться с замком, светом и с дверью душа.

Я почти кончил умываться и переодеваться, когда он вернулся. «Ника, если вы

---

[37] Видимо, речь идет о жене Больма, Адольфа Рудольфовича (1884–1951) — известном танцовщике, балетмейстере, педагоге. В 1908 году Больм был партнером А. Павловой в ее первых зарубежных гастролях, в 1909–1916 годах участвовал в «Русских сезонах». С 1916 года А. Больм жил в США, в 1917-м организовал труппу «Интимный балет», ставил балеты в Нью-Йорке, Чикаго, Буэнос-Айресе. Первым осуществил постановку балетов «Аполлон Мусагет» (1928) и «Петя и Волк» (1940). В последние годы жизни преподавал в Голливуде. Написал мемуары «Жизнь танцовщика» (Dance Magazine, 1926, sept., oct., nov.). — *Ред.*

[38] Букв.: от него не так уж плохо пахнет (*фр.*).

готовы, пойдемте выпьем. Я только что получил две бутылки marc[39] от одного фермера в Бретани. Давайте попробуем».

Мы прошли через короткий коридор в гостиную. Перед входом в нее он остановился перед небольшим встроенным шкафчиком и открыл дверцы. «Видите, это мой погреб. У меня здесь несколько замечательных бутылок — и вина, и бренди. Что бы вы хотели выпить за ланчем? Как насчет „Mouton-Rothschild 1937“?[40] У меня осталось только несколько бутылок, а это уникальное вино».

Стравинский вынул бутылку marc'a и аккуратно вытащил пробку с помощью одного из тех бесшумных двухступенчатых французских штопоров, которые наводили на мысль о стоматологических или родовспомогательных инструментах. Закончив операцию, он любовно понюхал пробку и сказал с очень серьезным видом: «Н-да, этот marc заслуживает абсолютного доверия[41], — и добавил по-английски:— Не так плохо!»

Мы отхлебнули водки, при этом Стравинский прищелкнул языком.

«Теперь, быстро, немного белков! Верочка, где белки? — воскликнул он возбужденно. — Дай Набокову и мне немного белков».

«А, вот они», — сказал он, когда мы вошли в гостиную. Он дал мне тарелку, полную крекеров, густо намазанных камамбером.

Ланч показался мне очень вкусным после трех дней пульмановской кухни. Небольшая и узкая гостиная была освещена светом, проходящим через выходящее на север окно-фонарь, занавешенное длинными белыми тюлевыми занавесями. В бледном свете вся комната выглядела удивительно аккуратной, чему способствовал наполняющий ее прохладный воздух.

Прежде чем мы сели, Стравинский повторил церемонию извлечения пробки, на этот раз с большей ритуальностью, с более выразительным нюханием пробки и прищелкиванием языком, а также с более энергичным: «Не так плохо!»

Во время ланча хозяева задавали мне самые разнообразные вопросы, в большинстве своем касающиеся политической ситуации. Я только что вернулся из Берлина после двухгодичной работы в военной администрации США в Германии. Это обстоятельство, в сочетании с общим интересом к политике, делало меня в их глазах экспертом-аналитиком любой политической ситуации. Более того, поскольку я, без сомнения, был знаком с правительственными секретами, я, конечно, был бы способен предсказать развитие мировых событий.

Главный вопрос был о том, будет ли новая война и, следовательно, безопасно ли планировать европейское турне на предстоящие летние месяцы. Бросалась в глаза та неподдельная озабоченность, с которой Стравинский несколько раз за время трапезы задавал этот вопрос. Я был, конечно, в курсе его сильнейшего неприятия любой формы социальных переворотов и беспорядков, будь то война, революция, забастовка или просто мирная политическая демонстрация. «Как можно работать при беспорядках?» — спрашивал он не раз.

Его прежний издатель Габриэль Пайчадзе[42] однажды описал мне, каким ошеломленным и возбужденным стал Стравинский, будучи захваченным в Париже разразившейся войной. Он не мог ни есть, ни спать, он не мог работать; случайный

---

[39] Marc — водка из выжимок винограда или яблок. — *Прим. пер.*

[40] С 1933 года барон Филипп Ротшильд (Philippe de Rothschild), вдохновленный идеей создать лучшие в мире вина, выпускал знаменитое «Chвteau Mouton Rothschild» из винограда, собранного в Медосе (Франция, пров. Бордо). — *Ред.*

[41] Эта фраза сказана по-русски. — *Прим. пер.*

[42] Гавриил (Габриэль) Григорьевич (Гергиевич) Пайчадзе (1883–1976), в 20-х годах — директор Российского музыкального издательства во Франции. — *Прим. пер.*

взрыв бомбы действовал ему на нервы; он стал сердитым, нервным и раздражительным. Все, что он хотел, — это выбраться как можно быстрее из Парижа, из Европы, в Америку, где жизнь еще сохраняла порядок.

Я вспомнил его слова, которые он сказал при прощании с одним из наших общих друзей вскоре после нападения на Пёрл-Харбор, в то время, когда не было связи между континентами. Будучи не в состоянии связаться со своей семьей и друзьями, Стравинский был очень обеспокоен мировой войной. По дороге в Голливуд после турне на Востоке у него был обед с несколькими друзьями[43]. Во время обеда беседа, по-видимому, привела всех в такое подавленное настроение, что каждый погрузился в состояние обостренного страха. Когда Стравинский уходил, он отвел этого приятеля на край платформы на вокзале Гранд Сентрал и спросил его тихим, запинающимся шепотом: «Скажите мне, только откровенно, будет революция в Америке или нет?» Наш общий друг смущенно поежился, поколебался и ответил: «Откуда мне знать?.. Может быть, будет, может быть, нет...» — «Но куда же мне деться?» — спросил Стравинский испуганным и раздраженным тоном.

Для Стравинского социальный беспорядок любого типа представляет собой главным образом что-то, что мешает ему делать свою работу, то есть выполнять свой долг. Он ненавидит беспорядок со всей силой своей эгоцентричной природы. Ему не нравятся даже термины революция и революционный, особенно когда они прикладываются к музыке. Он очень сердится, когда историки музыки используют эти слова (например, в таких сочетаниях, как «Ранние революционные работы Стравинского..». или «Революционные открытия бессмертного гения Бетховена, которые смели, уничтожили и т. д.», или что-нибудь фрейдистское и современное, вроде «Революционное принятие тональности как травмирующее условие». «Что эти слова, в самом деле, означают? — спрашивает он. — Революция — это термин, описывающий смену существующего порядка с помощью насилия. Она обязательно сопровождается беспорядком. Музыка — это антитеза насилию и беспорядку. Музыка — это порядок, мера, пропорция, то есть все те понятия, которые противоположны беспорядку. Единственное понятие, которое этот термин может обозначать, это цикл, протяженность времени, — и с дидактическим ударением на каждом слове он добавляет: — Это единственный правильный вариант его использования».

Стравинский равным образом относится с боязнью и презрением к тем условиям, при которых творческая работа художника является предметом надзора или диктата (а возможно, и прекращения) со стороны властей государства.

«Скажите мне, пожалуйста, — бывало, он говорил в сильном раздражении, — что могут эти джентльмены (власти) знать о том, как писать музыку. Я не пытаюсь советовать им, как быть чиновником[44] (бюрократом)». Поэтому понятно то глубокое неприятие, с которым Стравинский относился к положению художника в Советском Союзе, «где каждый чиновник может сказать вам, что делать».

«Я спрашиваю вас, — говорит он, — в чем разница между сегодняшними условиями и условиями во времена Глинки, когда Николаю I приходилось одобрять либретто „Жизни за царя“ прежде, чем музыка была написана? По крайней мере, Николай не пытался говорить Глинке, какого типа писать музыку».

«Нет, мой друг, — говаривал он, пожимая плечами и язвительно усмехаясь, — позволим им вариться в собственном соку. Я не хочу ничего общего иметь с этим. Пусть они пишут свою музыку в стиле м-ра Серова[45] и ему подобных». Стравин-

---

[43] В Нью-Йорке. — *Прим. пер.*.

[44] В оригинале — по-русски — *Прим. пер.*

[45] Скорее всего, речь идет об Александре Николаевиче Серове (1820–1871) — композиторе, му-

ский обычно заканчивает такую тираду одним из своих наиболее типичных замечаний по-русски: «Ну, кому это нужно?»

Понятна поэтому его непосредственная и искренняя привязанность к Соединенным Штатам, где он может работать в мире, достаточно зарабатывать и чувствовать себя в безопасности и счастливым. «В Америке мне хорошо», — повторяет он часто.

«Он стал мягче и не так часто сердится», — отзывается эхом его жена.

Стравинский не позволяет критиковать Америку в его присутствии. Он обычно прерывает собеседника и меняет тему разговора или говорит в сторону, ни к кому не обращаясь: «Что касается меня, то пусть они имеют дело со своими генералиссимусами и фюрерами. Оставьте мне м-ра Трумэна, я этим вполне удовлетворен».

После ланча Вера Артуровна в гостиной познакомила меня с другими домочадцами, меньшими только по размеру, но не по оказываемому им почитанию.

«Это — Попка, — сказала она, беря небольшого серого попугая из клетки и сажая его на плечо мужа. — Ему два года. Видели вы его изображение в журнале Time? Он обычно ест вместе с нами за столом, когда мы одни».

«Смотри, Вера, смотри! — прервал Игорь Федорович, когда попугай полетел ко мне, приземлился на плечо и начал карабкаться наверх, на мою голову. — Он уже заигрывает с Набоковым. C'est un grand amoureux»[46].

«Дело в шевелюре Ники, — сказала Вера Артуровна. — Вы для него — настоящая Мелисанда»[47].

«Попку интересуют паразиты и вши, а вовсе не Мелисанда, — съязвил Стравинский и добавил: — Будьте осторожны; вы знаете, что птицы делают у людей на головах!»

Кроме попугая, птичье хозяйство Стравинских состоит из потрепанного жизнью и имеющего довольно забитый вид кенаря по имени Лысая Душка[48] и стаи попугаев-неразлучников, числом около восьми штук.

Лысая Душка и Попка — друзья. Попугай открывает клетку кенаря, выпускает его, и оба летают, описывая круги, по гостиной. Стравинский любит попугая и кенаря, но совершенно безразличен к неразлучникам. Поэтому клетки Душки и Попки стоят в гостиной, каждая около отдельного окна. Напротив большой белой каминной полки, как бы для того, чтобы дразнить их, висит несколько гравюр с изображением соколов, орлов и других хищных птиц с большими агрессивными клювами.

Клетка неразлучников стоит снаружи, на террасе. Вера Артуровна пригласила меня посмотреть на них. Когда мы рассматривали их, она назвала мне их имена.

«Эти двое — Бьюти и Притти[49], — сказала она, показывая мне двух светло-голубых птиц, сидящих близко друг к другу на верхнем кольце большой клетки. — Они были первыми, подарены нам Эмилем Людвигом[50]. А эта, вот здесь, с сексуальны-

---

зыкальном критике, отце живописца В. Серова. А. Н. Серов учился в том же Императорском училище правоведения, которое окончили дед и отец Николая Набокова. Эстетически Серов был не близок Набокову-композитору. Долгие годы Серов мечтал о создании классической «истинно русской оперы из народной жизни», результатом чего стала его опера «Вражья сила». — *Ред.*

[46] Это неутомимый любовник (*фр.*).

[47] Возможно, речь идет о героине оперы «Пелеас и Мелисанда» Клода Дебюсси (по пьесе Метерлинка), волосы которой были сказочно густы и длинны. — *Ред.*

[48] Bald Darling (*англ.*).

[49] Красавица и Милашка (Beauty и Pretty) (*англ.*).

[50] Видимо, речь идет об Эмиле Людвиге (Emil Ludwig, 1881–1948) — немецком журналисте, писателе. Известность ему принесла книга «Наполеон» (1926). Брал интервью у Муссолини, Ататюрка, Масарика, Сталина (1931), встречу с которым описал в своей биографии. — *Ред.*

ми глазами, — Лана Тернер[51]; около нее ее самый младший брат или любовник, Вит-Вит[52]. Они все переженились, и теперь это — одна счастливая кровосмесительная семья».

Она отвернулась от клеток и показала на большого черного кота, распростершегося на солнце. «А это наш единственный четвероногий — Васька. Его полное имя — Василий Васильевич Лечкин: он был описан в New Yorker и Time. Каждый раз, когда я устраиваю выставку [своих] картин, я всегда посылаю ему отпечатанное приглашение и пишу на нем: „Пожалуйста, обязательно приходите — рыбьи кости, коктейли“»[53].

Стравинский появился на террасе и позвал меня. «Ника, если вы не очень устали, пойдемте, и вы покажете мне свою музыку».

«Но, Игорь, позволь ему отдохнуть, — заметила Вера Артуровна. И обращаясь ко мне: — Вы наверняка устали. Почему бы вам не вздремнуть до чая?»

Я ответил, что не устал. Я очень хотел пройти в кабинет Стравинского.

«Может быть, я смог бы показать вам свою музыку как-нибудь в другой раз, — сказал я. — Сейчас я бы предпочел посмотреть вашего „Орфея“[54] и вашу „Мессу“».

«Очень хорошо, пойдемте со мной», — сказал Стравинский. Он провел меня в свой кабинет в другом конце того узкого коридора, где мы выпивали перед ланчем.

Он сел за пианино, тщательно протер очки специальной салфеткой и открыл оркестровую партитуру «Орфея». Мгновение спустя мы оба были поглощены ею.

Я стоял позади него и наблюдал, как его короткие, нервные пальцы бегали по клавиатуре, ища и находя правильные интервалы, широко разнесенные аккорды и характерные для Стравинского свободные мелодические скачки. Порывистые движения его шеи, головы, всего его тела подчеркивали простую ритмическую конструкцию музыки. Он ворчал, он напевал и иногда останавливался, чтобы бросить реплику.

«Посмотрите на фугу в этом месте, — говорил он, к примеру, указывая на начало „Эпилога“. — Ее разрабатывают два рожка, в то время как труба и скрипка в унисон поют длинную, протяжную мелодию cantus firm?[56] Послушайте...» И его пальцы начали беспокойно бегать по клавиатуре. Затем, подойдя к пассажу в «Эпилоге», где соло арфы прерывает медленное развитие фуги, он остановился и сказал: «Здесь, как вы видите, я разрезал фугу, словно ножницами. — Он разрезал воздух пальцами — Я ввел эту короткую фразу арфы, подобно двум тактам аккомпанемента. Затем рожки продолжают свою фугу, как если бы ничего не случилось. Я повторяю ее через правильные интервалы, здесь и снова здесь». Стравинский добавил со своей обычной усмешкой: «Вы можете исключить эти прерывания соло рожков, склеить части фуги вместе, и получите один цельный кусок».

Я спросил его, почему он ввел соло арфы: «Какой смысл был в том, чтобы разрезать фугу таким образом?» Он ехидно улыбнулся, словно доверяя мне один из своих частных секретов: «Но неужели вы не слышите? — Он перевернул страницы назад, к середине партитуры. — Это соло является напоминанием вот этого — „Песни Орфея“, — и добавил задумчиво: — Здесь, в „Эпилоге“, это соло звучит подобно

---

[51] Lana Turner (1921–1995) — известная американская киноактриса. — *Прим. пер.*

[52] Whit-Whit можно перевести как «человек, делающий то, что пожелает». — *Прим. пер.*

[53] Игра слов: cocktail может означать «закуску из крабов и устриц». — *Прим. пер.*

[54] Балет «Орфей», написан в 1947 году. — *Прим. пер.*

[55] Cantus firmus — «заданный напев» (*лат.*), мелодия в одном из голосов полифонического многоголосия, на основе которого создается произведение. — *Прим. пер.*

[56] Voèle, vielle (*фр.*) — средневековый смычковый инструмент; виола (альт).

какому-то... необъяснимому влечению, подобно чему-то, что не в силах остановиться... Орфей мертв, песня умерла, но аккомпанемент продолжается».

Несколько месяцев спустя, слушая первое исполнение «Орфея» в Нью-Йорке, я вспомнил это последнее замечание Стравинского и понял его полный смысл. Этот «Эпилог» казался мне одним из наиболее успешных произведений драматической музыки со времени прелюдии к последнему акту «Отелло» Верди (с которой он не имел, конечно, никакого сходства). Но музыкальные конструкции этого «Эпилога» являются такими же простыми и даже очевидными, как драматическая ситуация сюжета этого балета.

Орфей только что разорван на части фракийскими женщинами; или, точнее, как предлагает хореография Баланчина и музыка Стравинского, они совершили бескровную, неотвратимую и бесстрастную хирургическую операцию над телом потерявшего надежду Орфея. Орфея больше нет, Орфей мертв. Мир остался без песни, немой и одинокий. Гимн Аполлона в память о мертвом герое и его попытка играть на его лире усиливают меланхолическое осознание смерти Орфея. Лира (или арфа) в руках Аполлона звучит покинутым аккомпанементом к песне, которая потеряна навсегда. Этот перевод простой драматической ситуации в равновеликую простую музыкальную форму выражен с невероятной ясностью и с микроскопической точностью ученого-экспериментатора.

Конструкции Стравинского всегда одинаковы: замечательная экономия средств сочетается с непогрешимым чувством пропорции, времени и формы. Как изобретательное инструментальное сочетание этого «Эпилога», так и медленное и величественное течение его полифонических линий подчиняются драматической ситуации. Сам выбор инструментов, которые исполняют эти выразительные, печальные мелодии, является знаменательным; два французских рожка и одна труба (звучащая в унисон сольная скрипка смягчается в тембре этой трубы), очевидно не заглушающие струнные инструменты.

Эти мелодические линии могли бы, конечно, быть распределены среди других инструментов — например, скрипок и виолончелей. И в некотором смысле их характер и общий контур предполагают подчиняющиеся струнные инструменты. Однако если бы Стравинский выбрал такие инструменты, он никогда бы не придал этим мрачным, средневековоо звучащим темам того характера напряженного страдания, которое он пробудил двумя плачущими рожками и одной одинокой трубой. Ибо ни один другой инструмент нашего современного оркестра не может сравняться с духовыми инструментами (рожками, в частности) по этой специфической выразительной силе. Когда рожки поют печальную лирическую мелодию в своем верхнем регистре, они звучат подавляюще, молитвенно и трагически.

Здесь еще раз Стравинский раскрыл передо мной свое поразительное чувство индивидуальности или, лучше сказать, характера каждого инструмента оркестра. Это то чувство, которое позволяет ему не только находить для каждой драматической ситуации (когда он имеет дело с драматическим сюжетом) наиболее подходящую и поэтому наиболее выразительную инструментальную комбинацию, но также каждый раз достигать нового и удивительно свежего сочетания оркестрового звучания. Все это, как я уже говорил, исполнено с величайшей экономией средств: несколько полифонических линий, минимум тонов в аккордах, минимум инструментов для каждой мелодической линии и наиболее умелое использование специфических качеств каждого инструмента. Я считаю, что Стравинский, бесспорно, является величайшим современным исследователем инструментов с точки зрения их «индивидуальностей», возможно, даже величайшим со времени середины восемнадцатого столетия.

Экспериментирование с инструментами в девятнадцатом столетии, главным образом, касалось расширения их диапазона и динамической мощи. Специфическим выразительным качествам каждого индивидуального инструмента уделялось второстепенное внимание. Причина этого лежала не столько в интересе мастера к техническим возможностям каждого инструмента, сколько в необходимости нахождения тембров, так называемых «тоновых цветов», на оркестровой палитре, для того, чтобы предложить или описать внемузыкальные образы, выражения, идеи или объекты, которые представляли интерес для романтической музыки. Действительно, только к концу девятнадцатого столетия композиторы стали опять проявлять заинтересованность в качествах инструментов, рассматривая их как индивидуальности внутри оркестровой единицы. До этого времени инструменты постоянно добавлялись к симфоническому оркестру. Оркестр поглощал их с ненасытным аппетитом, словно великан-людоед, становясь все больше и набирая все новый вес. Однако индивидуальность каждого инструмента заглушалась громогласным звуком, обезличенными сочетаниями, которые воспроизводила эта недавно изобретенная машина музыкальной войны — симфонический оркестр из ста инструментов.

Оглядываясь назад, можно сказать, что это «развитие» мало обогатило музыкальную культуру. Новый симфонический оркестр привел в восторг тех, кто любил купаться в море слащаво-сентиментальных звуков, и, конечно, дирижеров оркестра, но он вызывал отвращение у всех тех, кто беспокоился о ясности, точности и прозрачности искусства музыки.

Естественно, среди композиторов были исключения, авторы, которые продолжали интересоваться индивидуальностью или особенностью музыкальных инструментов, такие, как Чайковский (главным образом, в своих балетных партитурах), или Верди, или даже временами Рихард Вагнер, обычно самый большой противник характерных особенностей индивидуальных инструментов.

Сегодня, в середине двадцатого столетия, отношение композиторов к инструментам оркестра и, следовательно, к искусству оркестровки, несомненно, изменилось. Композиторы знают, что оркестровка не является регистрацией (она не подобна манипуляциям с клапанами, клавишами и педалями огромного электрического органа для того, чтобы получить обезличенные и «поддельные» сочетания звуков), но что она скорее представляет собой в высшей степени сложное искусство, в котором способности интуиции или воображения мышления композитора сочетаются с логическими и критическими способностями. Таким образом, это искусство может быть полностью успешным только тогда, когда композитор досконально понимает индивидуальность, а следовательно, и пределы (в смысле технических возможностей) каждого инструмента в оркестре. На этом знании он должен основывать свое искусство оркестровки.

Это не означает, как часто думают, что композитору следует уметь играть на большинстве инструментов оркестра. Его умение отличается от умения исполнителя. Это исполнительское умение имеет мало общего с работой композитора; иногда оно может даже оказаться помехой, — оно может привести композитора к тому, чтобы оценивать возможности инструментов, исходя из своих собственных возможностей исполнения. Результатом этого неизбежно будет боязливая и облегченная оркестровка.

Важная роль, которую искусство оркестровки играет в современной музыке, в значительной степени обязано влиянию Стравинского. Если мы учтем, что, по крайней мере, две трети качества инструментального произведения зависят от его адекватной оркестровки, то мы должны отдать должное подходу Стравинского к инструментальной области и его открытиям в ней.

Его подход существенным образом основан на его знании технических пределов каждого инструмента. Отсюда его изобретательное и предельно умелое использование этих пределов. Другими словами, Стравинский рассматривает каждого музыканта оркестра как высокопрофессионального исполнителя, мастерски владеющего своим инструментом. Он требует от него умения играть на предельной скорости и в то же время не испытывать затруднений в наиболее сложных ритмических конструкциях; он должен быть способен интонировать с математической точностью во всех диапазонах своего инструмента и при всех возможных динамических условиях исполняемой музыки (от очень тихой до очень громкой); и, наконец, он должен стремиться расширить диапазон своего инструмента сверх обычно принимаемых пределов.

Вот почему большинство оркестровых музыкантов, несмотря на трудность музыки Стравинского, любят ее исполнять. Когда мы спрашиваем современно мыслящего оркестрового музыканта, любит ли он играть музыку Стравинского, он обычно отвечает, что — да, любит, потому что она написана интересно для его инструмента.

Таким образом, путем использования незадействованных регистров инструментов, путем открытия новых технических конструкций, путем применения определенных инструментов для создания мелодических контуров, обычно связанных с другими инструментами, или путем сочетания инструментального звучания, которое оркестровыми канонами девятнадцатого столетия считалось необоснованным и необычным (согласно трактатам по оркестровке таких ученых мужей, как Берлиоз, Рихард Штраус и Римский-Корсаков), Игорь Стравинский достигает невероятного разнообразия оркестровых комбинаций, которые всегда звучат по-новому, свежо и в то же время убедительно. В эти последние двадцать пять или тридцать лет оркестровая ткань его музыки получила такую степень прозрачности, ясности и кристальной нежности, которая не имеет себе равных в музыке любого его современника. Иногда она производит впечатление рискованного и точного хождения по туго натянутому оркестровому канату... Дягилев как-то заметил мне, когда мы слушали одну из новых работ Стравинского (мне кажется, это был октет для духовых инструментов), что она была настолько прозрачна, что «своими ушами мы могли как бы смотреть сквозь нее».

Стравинский и Голливуд

Стравинский и я потратили большую часть времени после полудня, просматривая партитуру «Орфея» и двух частей «Католической мессы», которую он писал в это время.

Спустя некоторое время я устал от стояния и растянулся на мягком узком диване, стоявшем позади фортепиано в кабинете. На одном конце его шелкового покрытия лежал аккуратно сложенный шотландский плед, а на другом — небольшая изящная подушка. К этому времени Стравинский полностью забыл о моем присутствии и был поглощен одной из страниц партитуры своей «Мессы». Он проигрывал один и тот же пассаж снова и снова. Это выглядело, как если бы он перепроверял качество того, что он написал. Он снова и снова менял соотношения интервалов и ритмические рисунки. Его голова и тело дергались и покачивались, и он вполне отчетливо напевал про себя слова «Мессы».

Я внезапно поймал себя на том, что слежу за его движениями с особым интересом. Часто до этого я обращал внимание на движения его тела. Они всегда были оригинальны и ярко раскрывали его личность и его музыку. В самом деле, часто во

время прослушивания его музыки я закрывал глаза и видел перед собой его характерные жесты. В другой раз, когда я видел, как он в середине дискуссии на цыпочках ходит взад и вперед по комнате, при этом верхняя часть его тела наклоняется вперед, как у аиста, ищущего лягушек, а руки упираются в бока, я, бывало, был поражен соответствием его физических жестов и внутренних жестов его музыки. Она отражает его особую эластичную походку, синкопированные кивки его головы, его пожимание плечами и те внезапные остановки в середине беседы, когда, подобно танцору, он внезапно замирает в позе танцовщика и подчеркивает свой довод широкой и насмешливой ухмылкой.

Но музыка Стравинского не только действительно отражает движения его тела и характерные жесты; она так же кратко и убедительно отражает весь стиль его жизни — его отношение к его окружению, к людям, природе и вещам. Но самое главное, она отражает его любовь к порядку и его строгую рабочую дисциплину, полностью лишенную потакания своим желаниям и склонности жаловаться на судьбу. В его музыке отражаются его увлечение всевозможными механическими приспособлениями и техническими новинками, от чертежных кнопок до секундомеров и карманных метрономов, и его тяга к скобяным лавкам, и то удовольствие, которое он получает, например, от укладывания послания в оговоренные двадцать пять слов срочной телеграммы. (23 декабря мы потратили почти час в конторе Western Union, когда он «кроил», как он назвал это, две рождественские телеграммы своим сыновьям.) Музыка Стравинского отражает его отношение к деньгам, к которым, как общеизвестно, он питает «глубочайшее уважение», то, что некоторые люди путают с корыстолюбием. Иногда он высказывает забавные сравнения музыки и денег. Например, однажды во время одной из своих обычных едких нападок на современных композиторов он сказал: «Почему они полностью потеряли чувство интервала? Они не слышат интервалов и не уважают их. Следует тратить интервалы, как если бы они были долларами».

Но, может быть, еще сильнее его музыка отражает все типы его сильной и язвительной ненависти: его ненависть ко всем проявлениям глупости (глупые люди, глупое искусство, глупое письмо), его ненависть к душным, непроветренным помещениям, к грязи или беспорядку, к пыльной мебели и дурным запахам. Остроумие его колючих замечаний о людях и, особенно, о плохой музыке таково же, как и остроумие, которое содержится в его партитурах, — например, в его балете «Игра в карты», или в танцах из «Истории солдата», или в балете «Лис»[57]. Это — едкий, злой, уничтожающий юмор, который не знает сочувствия и жалости. Стравинский часто, например, искажает имя персонажа или название музыкального произведения, которые он не любит (обычно из-за того, что персонаж или произведение скучны), или же изобретает забавные клички для них. Так, опера Рихарда Штрауса «Кавалер розы» (Rosencavalier) обычно называлась им «Кавалер склероза» (Sklerosencavalier), а музыка Шостаковича — «старой устрицей». (Это прозвище взято из моей статьи о Шостаковиче, в которой я сравнил вялую, расплывчатую структуру его допотопных симфоний со структурой устрицы. Стравинскому понравилось это сравнение, и в свое время он написал мне теплое поздравительное письмо.)

Вообще Стравинский любит точные, живописные или звукоподражательные замечания. Его разговор, так же как его письма, полны ими. Однажды в Нью-Йор-

[57] «Jeux de cartes» — впервые поставлен в 1937 году. «Histoire du Soldat» — «„Сказка о беглом солдате и черте“, читаемая, играемая и танцуемая», в двух частях, сюита 1918 года. «Renard the Fox» — видимо, речь идет о пантомиме с пением «Байка про лису, петуха, кота да барана», сочинение 1916 года. — *Прим. пер.*

ке его беспокоила простуда. Он жаловался: «У меня портмоне в моей носоглотке» («J'ai un porte-monnaie dans ma nossoglotka». В другой раз мы обсуждали его новую оперу, «Похождения повесы» (The Rake's Progress)[58]. Он объяснял, как он собирался поступить с либретто Одена: «Я зашнурую каждую арию в тесный корсет».

Люди часто раздражают его, останавливая где-нибудь в магазине или на улице и спрашивая: «Простите, не вы ли композитор „Жар-птицы"?» — после чего ему протягивают книгу для автографов. «Знаете, — говорил он, — я найму секретаря и назову его „мистер Фаэберд" („м-р Жар-птица"), и когда люди опять зададут мне этот вопрос, я смогу ответить: „О, нет, вот кто м-р Фаэберд — лично, из плоти и крови"».

Любовь Стравинского к ясным терминам, лаконичным объяснениям и адекватному переводу проявляется в его энтузиазме по отношению к словарям, которыми наполнен его кабинет. Из всех словарей он предпочитает французский «Большой Ларусс» (Grand Larosse)[59].

«Вы знаете, что такое секс? — спрашивал он, бывало, открывая „Ларусса". — Слушайте: „Le sexe est une conformation particulière de l'être vivant, qui lui assigne un rôle spécial dans l'acte de génération". — „Сексуальный орган есть образование, присущее живым существам, которые передают ему специальную роль в акте воспроизведения". — Не правда ли, превосходное определение?»[60]

Его собственные замечания обычно обладают точностью словаря «Ларусса», а также остроумны и изобретательны. Когда, например, кто-нибудь спешит, он обязательно скажет: «Почему вы спешите? Лично у меня нет времени для того, чтобы спешить». Но особенно острыми и живописными являются его замечания о людях. Сверхэмоциональный дирижер, злоупотребляющий лишними жестами, напоминает ему «восточный танец живота, видимый со спины» («danse du ventre vue par derriere»), в то время как его руки — это типичные «машинки для взбивания яиц». Дирижеры в большинстве случаев без промедления навлекают на себя гнев Стравинского и его наиболее уничтожающие замечания. В картотеке под его фортепиано, в специальной папке, собраны некоторые отобранные рисунки дирижеров в высшей степени искаженных позах. Большинство этих рисунков взято из рекламных материалов или из газет.

«Посмотрите на него! — говорит Стравинский, вытаскивая экстравагантного дирижера из папки. — Посмотрите на денди! Посмотрите на его идиотское выражение, на его бессмысленные жесты. Неужели вся эта чепуха необходима, чтобы дирижировать оркестром?»

Его рабочий кабинет может служить еще одним примером точности, которая управляет его музыкой и его языком. Это замечательная комната, может быть, наиболее лучшим образом спланированный и организованный рабочий кабинет, который я видел в своей жизни. На пространстве, которое не больше двадцати пяти на сорок футов, стоят два фортепиано (рояль и пианино) и два письменных стола (небольшой элегантный письменный стол и рабочий стол с чертежной доской). В двух шкафах со стеклянными полками — книги, партитуры и ноты, распо-

---

[58] Написано в 1951 году по серии нравоучительных гравюр Уильяма Хогарта. — *Прим. пер.*

[59] Словари выпускаются издательством «Ларусс» (Librairie Larousse), основанным в 1852 году в Париже педагогом и лексикографом П. Ларуссом (1817–1875). Основные издания: «Большой универсальный словарь XIX в.» в 15 томах, «Большой энциклопедический Ларусс» в 10 томах (1960–1964), то же в 15 томах (1985–1987) и др. С 1906 года ежегодно выходит однотомный «Малый Ларусс». Издаются также отраслевые «Ларуссы». — *Ред.*

[60] В тексте приведено определение на французском языке и его перевод на английский. — *Прим. пер.*

ложенные в алфавитном порядке. Между двух фортепиано, шкафами и письменными столами в беспорядке расставлены несколько столиков (один из них — это своего рода «мечта курильщика»: на нем вы найдете всевозможные сорта сигарет, зажигалки, мундштуки, жидкости и кремни для зажигалок и ершики для чистки трубок), пять или шесть комфортабельных кресел и кушетка, которую Стравинский использует, чтобы недолго вздремнуть днем. (На следующий день я застал его на этой кушетке, лежащего на спине, с гневным выражением на лице, мягко и методично храпящего.)

Кроме фортепиано и мебели, в комнате сосредоточены сотни безделушек, фотографий, брелков и всевозможнейших предметов — на столах и конторках, а также прикрепленных кнопками и приколоченных к задним стенкам шкафов. Я думаю, что у Стравинского в его кабинете есть все необходимое для письма, копирования, рисования, склеивания, вырезания, скрепления, подшивки газет, точения бритв, ножей, карандашей — все то, что могут предоставить соединенные усилия магазинов канцелярских принадлежностей и скобяных лавок (и, однако, он постоянно разыскивает все новые и новые предметы). Природа посреди всего этого многообразия созданных человеком приспособлений представлена в виде пучка свежих роз в белой фарфоровой вазе, которая стоит на его письменном столе. Его жена срезает их для него каждое утро со специально предназначенных для этого кустов.

Но, несмотря на это изобилие всевозможных предметов и скоплений мебели, кабинет Стравинского так хорошо организован и такой функциональный, что он производит ощущение вместительности и располагающего к спокойствию удобства. Такое впечатление, что вы обозреваете шахматную доску, на которой черные и белые фигуры расположены в точном соответствии, готовые для длительной музыкальной игры.

В то же время эта комната кажется такой же компактной, как какой-нибудь муравейник. Когда ее хозяин осторожно передвигается по узким коридорам, образованным различными предметами мебели, он производит впечатление деловитого и старательного муравья, пробирающегося через построенный в строгом порядке лабиринт своей цитадели. В самом деле, отношение Стравинского к своему кабинету очень похоже на отношение типичного муравья. Он любит приносить всевозможные новинки в свой кабинет. Если кто-нибудь дарит ему подарок, как я это видел на Рождество, он не станет разворачивать его в присутствии жены или кого-нибудь другого. Он дождется удобного момента и затем незаметно ускользнет в свой кабинет. Там он развернет его, и если подарок ему понравится или окажется полезным, то Стравинский постарается подыскать ему подобающее место среди других своих подарков и предметов...

Пока я все еще сидел на диване, а Стравинский без определенной цели играл на фортепиано, на пороге кабинета появилась Вера Артуровна и объявила, что прибыли Баланчины.

«Джордж и Мария здесь, — сказала она, — и Женя Берман[61] ждет нас с водкой и закуской[62]. Игорь, время идти. Пошли, Ника».

«Сейчас, сейчас»[63], — ответил Стравинский.

---

[61] Берман Евгений Густавович (Genia Berman, 1899–1972) — живописец, график, сценограф. В 1926 году вместе с братом, П. Ф. Челищевым, К. Бераром и др. провел выставку в галерее «Друэ», которая положила начало неоромантическому направлению в европейской живописи. В 1930-х жил на юге Франции. В середине 1940-х поселился в США. — *Ред.*

[62] Произнесено по-русски. — *Прим. пер.*

[63] Произнесено по-русски. — *Прим. пер.*

Я поднялся, чтобы присоединиться к ней, в то время как Стравинский, не меняя своего положения за фортепиано, сказал мне: «Ника, пожалуйста, идите и скажите им, что я выйду через пять минут». И продолжал играть.

Спустя полчаса мы ехали на машине на квартиру Евгения Бермана. На переднем сиденье автомобиля, втиснутая между Верой Артуровной и мной, размещалась миниатюрная фигура Стравинского, на котором были бушлат и шляпа яхтсмена. (Он купил этот бушлат на распродаже военно-морских излишков и в равной степени гордился им и любил его.)

Евгений Берман, художник, — это один из немногих членов голливудского «фамильного круга» Стравинского. Мягкий, с тихим голосом, несколько меланхоличный человек, обладающий грустным юмором, Берман целиком отдает себя Стравинским, и они отвечают ему тем же. Чувствуется, что Вера Артуровна и Игорь Федорович, с их теплой и заботливой дружбой, сделали свой дом домом для Бермана.

Мы вошли в холл многоквартирного дома Бермана и подошли к к столу консьержки. Вера Артуровна сообщила о нашем приезде. Консьержка, пожилая дама в очках, взглянула на Стравинского и, узнав его в морском одеянии, сказала: «Не вы ли автор... „Жар-птицы“?»

«Вы видите? — прошептал Стравинский. — Это всегда срабатывает».

Он улыбнулся очаровательно и ответил:

«Да, мадам, „Жар-птица“ — это птица из моего птичника».

Обед в «Наполи» был веселым и беззаботным, напоминавшим один их тех обедов двадцатых годов, когда мы, бывало, собирались вместе с Дягилевым, Прокофьевым, Пикассо, Дереном, Баланчиным и другими сотрудниками Ballet Russe в ресторане «Giardino»[64], на вершине холма в Монте-Карло. Стравинский был в удивительной форме — разговорчивый, остроумный и в то же время предельно внимательный к каждому из нас. Как всегда, он заказывал лучшие блюда и, особенно, лучшие вина и просил официанта проигрывать на музыкальном автомате забавные душещипательные старые записи Карузо...

Каким бы веселым и беззаботным ни было это мероприятие, мы с Баланчиным не могли удержаться от зевоты, такой сильной, что Вера Артуровна и ее супруг (который обычно может высиживать такие встречи до рассвета при условии, что рядом будут близкие друзья и достаточно виски) стали убеждать нас всех отправиться спать, как только мы выпьем кофе.

Но к тому времени, когда мы вернулись домой и я удобно разместился на трех подушках знаменитого дивана, моя усталость прошла, и я почувствовал себя таким же бодрым, как утром, когда я прибыл на вокзал Лос-Анджелеса. Я осмотрелся вокруг в поисках книг и нашел несколько редких русских изданий на полке, которая содержала беспорядочный набор французских романов, русских классиков, криминальных рассказов и биографий. Книг по музыке не было, за исключением «Писем» Моцарта. Среди книг были работы, содержащие афоризмы того особенного и совершенно незаслуженно забытого русского мыслителя и писателя начала века Розанова, которого я знал, Стравинский очень любил и чьи труды он перечитывает и постоянно цитирует, сравнивая идеи и стиль Розанова с идеями и стилем Гоголя и Достоевского. Я взял том Розанова под названием «Опавшие листья» и попытался читать, но скоро понял, что я не могу сконцентрироваться и мой взгляд бессмысленно блуждает по одним и тем же предложениям. Я все еще находился под слишком сильным впечатлением сегодняшнего послеполуденного общения со Стравинским в его кабинете, и все мои мысли были сосредоточены на его работе.

---

[64] «Giardino» — популярный итальянский ресторан в Монте-Карло. — *Прим. пер.*

Я невольно почувствовал, что мне придется снова сформулировать ответы на существенные вопросы, связанные с его работой.

Что, в конце концов, значит его искусство для нас, современных композиторов более молодого поколения? Какова его ценность в общей эволюции музыки? Каковы его существенные открытия?

Трудно сказать что-нибудь новое о музыке Стравинского. Кажется, что уже все сказано. Трудно найти композитора, чья работа так широко обсуждалась бы при его жизни, как Стравинского. Он сам в своих двух книгах — «Автобиография» и «Музыкальная поэтика»[65] — высказал свою точку зрения на искусство музыки и тем самым косвенно проанализировал свое собственное искусство. Все, что можно сказать, кажется неоригинальным и общеизвестным.

Все же мне хочется добавить, что, лежа на диване в доме Стравинского, окруженный его теплым дружелюбием, я почувствовал, что меня переполняет неподдельное чувство благодарности за его искусство — той благодарности, которую ученик чувствует по отношению к своему учителю, настоящему мастеру. Я почувствовал, что я обязан Стравинскому многим в понимании того, как использовать материал музыки: интервалы, ритмы, мелодические принципы. Я почувствовал, что именно его искусство открыло мне глаза на увядание импрессионистской гармонии и на потерю жизнеспособности и эмоциональные судороги позднего романтизма. Самое главное, я почувствовал, что именно его пример привел меня к восхищению непрерывностью классической традиции, красотой полифонической техники и к пониманию необходимости ясно очерченной и четко выраженной формальной структуры.

В то же время я думаю, что именно искусство Стравинского показало музыкантам моего поколения новые горизонты в области ритма, новые возможности в использовании музыкальных инструментов и новую концепцию гармонии, более полную, более широкую и более благородную, чем стерильные концепции гармонии конца девятнадцатого века. Однако для меня наиболее важные открытия Стравинского лежат в его искусном восприятии и измерении потока времени путем наиболее сложных и красивых ритмических узоров и конструкций. Кто еще, я думал, среди современных композиторов может проявить такую последовательность и такое разнообразие прекрасных работ в искусстве (или мне следовало сказать — разрешений «проблем»)? Кто еще так успешно использовал все формы, все стили, все техники и объединил все это в безошибочно узнаваемом собственном искусстве? Кто еще в наше время сочинил произведения, так легко понимаемые и обладающие такой выдающейся народной притягательностью, как «Жар-птица», «Петрушка», «История солдата»? (В двадцатые годы в Центральной Европе в тысячах школ исполняли последнее сочинение, к всеобщему восторгу подростков; мой сын, когда ему было около семи лет, любил это произведение больше любого другого и всегда просил меня проигрывать пластинки с ним снова и снова.) Кто еще сочинил такие вещи, как «Симфония псалмов» и «Аполлон»[66], и в то же время создал такие совершенные шедевры, как симфония и октет для духовых инструментов или «Серенада»[67] для соло на фортепиано (которое представляет собой истинную радость для искушенных любителей музыки)? И, наконец, Стравинский, как немногие, как очень немногие композиторы нашего времени, может производить записи с такой преданностью своей профессии, при этом полностью избегая любых уступок, так бескомпромиссно и добросовестно.

[65] «Хроника моей жизни» (1935), «Музыкальная поэтика» (1942). «Музыкальная поэтика» — под таким названием были опубликованы лекции, прочитанные Стравинским в Гарварде в 1939 году после переезда в Америку. — *Ред.*

[66] «Симфония псалмов» (1930), балет «Аполлон Мусагет» (1927–1928). — *Прим. пер.*

[67] «Серенада» (1925).

Когда... Мои размышления были внезапно прерваны мягкими шагами в гостиной. Дверь отворилась, и показался Стравинский, облаченный в купальный халат.

«Почему вы не спите? Выключите свет. Уже поздно, — сказал он с упреком. Он подошел к окну. — Не открывайте его так широко — особенно при вашей невралгии. Наши калифорнийские ночи не бывают теплыми». И, закрыв окно с легким отрывистым звуком, он вышел.

Эти дни в Калифорнии прошли намного быстрее, чем мне хотелось бы. Стояла исключительно солнечная и теплая погода, она была теплой даже для таких старожилов Голливуда, как Стравинский. Мягкий, нежный воздух, розы и гвоздики в саду, увеличивающаяся гора изящных подарочных пакетов всех цветов радуги в гостиной и лавина рождественских открыток на каминной полке — все это привело меня в счастливое и беззаботное состояние. Это всколыхнуло во мне воспоминания о праздниках моего детства: ароматы Французской Ривьеры, сиреневое море Ялты и туберозы в комнате моей матери в одно пасхальное утро в Одессе. Действительно, эти голливудские праздники казались мне больше похожим на Пасху, чем на Рождество.

Эти дни были заполнены музыкой, беседами, развлечениями и весельем. Я раньше редко видел Стравинского таким счастливым и таким веселым. Баланчин был прав. Стравинский не покидал меня ни на мгновение. Он отбросил свое обычное жесткое рабочее расписание для того, чтобы проводить все время с Баланчиным и мной. Мы ходили по магазинам и покупали рождественские подарки. Он помог мне выбрать серебряный браслет ручной работы для моей жены. (Когда девушка-продавщица принесла поднос, заполненный всевозможными серебряными украшениями, я спросил Стравинского: «Что бы мне купить?» — «Прежде всего, — ответил он нравоучительным тоном, — мне нужно знать, сколько денег вы готовы ассигновать на эту покупку».)

Однажды после полудня хозяева повели меня к океану через бесконечный бульвар Сансет, где я должен был «приветствовать» Тихий океан, погрузив свои пальцы в его воды. Проделывая это, я намочил ноги, и мне было велено снять ботинки, чтобы не простудиться. На следующий день меня повезли по всем улицам и холмам Голливуда, мимо тех удивительных голубых, розовых и серебряных рождественских елок, которые стояли на углах улиц и на заправочных станциях.

Мы зашли на ланч в хорошо известный ресторан позавтракать с Олдосом Хаксли, его женой и еще несколькими другими друзьями, и я потерялся в лабиринте салат-баров из итальянских, французских и испанских блюд.

Один вечер был целиком посвящен прослушиванию пластинок с записью «Травиаты» с Тосканини, которое фирма NBC провела специально для Стравинского по его просьбе (из всех опер Верди Стравинский любит больше всего «Травиату» и «Аиду»; меньше ему нравятся «Отелло» и «Фальстаф»), и записей [фирмы] Глиндеборн[68] «Дон Джованни». К этой опере Стравинский испытывает особую любовь, особенно сейчас, когда он сам занят написанием оперы.

«Прислушайтесь к длине этих строк, — бывало, говорил он. — Прислушайтесь, как ярки они... quel soufflé, quelle clarte!»[69]

В рождественское утро Стравинский по моей просьбе продемонстрировал мне свою венгерскую (ритмическую) гимнастику. Не зная ничего о гимнастических упражнениях, я был не способен увидеть, насколько эти упражнения отличались от

[68] Glyndebourne Productions Limited — компания была создана в 1939 году с целью пропаганды оперного искусства, имеет несколько отраслевых отделений. Широко известен Глиндеборнский оперный фестиваль (Англия). Компания Glyndebourne Productions Limited делает записи с фестивальных представлений. — *Ред.*

[69] «Какой звук, какая чистота» (*фр.*).

обычных гимнастических упражнений или от немецких «Утренних физических восстановительных упражнений д-ра Мюллера», которые были популярны в России во времена моего детства. Однако мне показалось, что некоторые из этих упражнений имели турецкий или венгерский оттенок, возможно, из-за того, что Стравинский, делая их, вращал глазами, как дервиш в трансе.

Эта гимнастика была прервана звонком в дверь. Стравинский, который был в плавках, побежал в свою комнату, чтобы одеться. Я открыл дверь джентльмену средних лет с рождественским подарком в руке.

«Я хотел бы видеть мистера Стравинского, — сказал джентльмен, произнося это имя как Стро-виндски. — Я от компании X. Blueprinting».

Когда Стравинский появился, джентльмен снял шляпу и пожелал Стравинскому «очень веселого Рождества». И добавил: «А это небольшой подарок в знак нашей признательности». Стравинский вежливо и церемонно его поблагодарил и взял подарок. Джентльмен надел шляпу и сказал: «Почему вы не открываете его прямо сейчас, мистер Стро-виндски?»

Стравинский распаковал подарок, который оказался одним из коммерческих календарей с полуобнаженными дразнящими красотками на каждой странице.

«Как вам понравился наш календарь?» — спросил джентльмен, подмигивая.

Стравинский закивал с одобрением: «Очень мило, очень мило. Большое вам спасибо».

«Минуточку, — сказал джентльмен, — Откройте-ка апрель».

Стравинский открыл календарь на «апрель».

«Как вам нравится эта девушка?»

«Очень милая, очень милая молодая леди», — ответил Стравинский.

«Теперь взгляните на „октябрь“ и скажите мне, что вы думаете об этой», — сказал джентльмен, беря календарь из рук Стравинского и величественно представляя нашим взорам пару пышных женских ягодиц кремового цвета.

«Очень хорошо, очень жизненно», — ответил Стравинский с еще большей серьезностью.

Услышав это, джентльмен приблизился к Стравинскому, ущипнул его за мочку левого уха и шепнул с улыбкой завсегдатая клубов: «Ах вы, плутишка!» После его ухода Стравинский разразился хохотом и закричал: «Вера, Вера! Посмотри, что я получил».

В тот же вечер в доме Стравинского на вечеринку собрался небольшой кружок его родственников и друзей. Было всего несколько человек: дочь Стравинского с мужем-французом, двое Болмов — известный танцовщик и его миниатюрная жена, Евгений Берман и врач Стравинского, доктор Эдель, с сильным австрийским акцентом и широкой, дружеской улыбкой, и, наконец, двое Баланчиных. Это был тихий и веселый обед с обилием вина, каждый из нас получил тщательно «обдуманный заранее» подарок (Баланчины и я получили серебряные стопки для водки). Во время обеда беседа, из уважения к Марии Баланчиной, велась на пиджин-инглиш[70], но после обеда и по мере наступления вечера лингвистика стала смещаться все сильнее и сильнее в русском направлении, к общему неудовольствию Марии Баланчиной[71], д-ра Эделя и французского зятя Стравинского[72].

---

[70] Pidgin English — ломаный английский.

[71] Мария Баланчина — Мария Толчиф (Elizabeth Maria Tallchief), первая американская прима балерина. В 1942–1947 годах танцевала в Ballet Russe в Монте-Карло, в 1947–1965-х — в New York City Ballet. — *Ред.*

[72] Дети Стравинского: Федор (1907–1989), Людмила (1908–1938), Святослав (1910–1994), Милена (р. 1914). Речь, очевидно, идет о Милене, по мужу Leysinde. — *Ред.*

На следующий день, 26 декабря, я должен был возвращаться в Нью-Йорк. Мы ехали в аэропорт в сгущающихся сумерках, задолго до времени вылета (старая русская привычка). У стойки компании TWA[73] нам сообщили, что наш самолет опаздывает на один час и что все самолеты на Восток находятся на земле или задерживаются (в этот день в Нью-Йорке была сильная снежная буря). Я лелеял слабую надежду, что мой самолет не взлетит, и я смог бы поехать с ними обратно на North Wetherly Drive.

Мы сидели в зале ожидания, никем не замеченные. Полный мужчина прошел мимо и направился к транспортной стойке.

«Вы знаете, кто это? — спросила Вера Артуровна. — Это Альфред Хичкок».

«А там, — добавил Стравинский, — Генри Фонда. Похоже на то, что вместе с вами собирается лететь целая куча известных людей».

Около выходных ворот стоял человек, которого, как мне казалось, я знал. Он был одет в одно из тех одеяний, которые носят кинозвезды: небрежное длинное и широкое строгое двубортное пальто. Он разговаривал с миловидной женщиной в фетровой шляпе, державшей огромную орхидею, размером буквально с кочан капусты. Ее лицо мне тоже казалось знакомым. Я спросил Веру Артуровну, кто это.

«Я думаю, что это Джун Хавок[74], сестра известной стриптизерши».

Наконец объявили наш самолет, и мы стали продвигаться к воротам № 2. Человек в двубортном пальто обернулся ко мне и сказал: «Я думаю, мы встречались в Вене. Ведь вы — Николас Набоков? Мое имя — Хельмут Дантин[75].

«О, да, — сказал я. — Как поживаете?»

«Еще один известный человек», — прошептал Стравинский.

Мы простились около ворот, и я пошел с толпой пассажиров через туннель к моему самолету, покинув чету Стравинских на платформе перед терминалом. Но нас продержали около двадцати минут, прежде чем мы смогли подняться на борт самолета.

Когда я поднимался по ступеням трапа, я посмотрел вниз на терминал. Там в ярком калифорнийском лунном свете я увидел маленькую фигуру, неистово машущую шляпой. Я помахал в ответ и вошел в самолет.

Хельмут Дантин подошел ко мне и спросил с необычным венским акцентом: «Простите, кто был тот человек, с которым вы пришли в аэропорт? Его лицо кажется таким знакомым».

Я объяснил.

«Это как раз то, о чем я подумал, — ответил он. — Но что он делает в Голливуде? Ах да, я от кого-то слышал, что он там. Он снимает кино?»

Я ответил, что нет, он не снимает кино.

Подготовка текста и вступительные очерки
Евгения Белодубровского

Автор публикации и переводчик благодарят в первую очередь г-жу Dominique Nabokov, давшую разрешение на публикацию перевода ряда глав из книги ее мужа. Мы также имеем честь выразить признательность за помощь и поддержку в реализации этого проекта сыну композитора, г-ну Петру Набокову, князю Никите Дмитриевичу Лобанову-Ростовскому, ректору г-ну Свену Юнссону (Швеция), главному редактору «Нового журнала» г-же Марине Адамович, г-же Марине Минской (США), научным сотрудникам Музея-квартиры В. В. Набокова в Санкт-Петербурге Даниле Сергееву и Микаэлу Давтяну.

---

[73] TWA–Trans World Airlines, авиакомпания США. — *Прим. пер.*

[74] June Havoc (1916–2010) — американская актриса, писательница, театральный режиссер. Младшая сестра танцовщицы Gypsy Rose Lee. — *Прим. пер.*

[75] Helmut Dantine (1917–1982) — американский киноактер, родился в Вене. — *Прим. пер.*

Эпоха и образы

Лев АННИНСКИЙ

СТРАСТИ ПО ГЕОРГИЮ

Роман Ирины Муравьевой «Страсти по Юрию» посвящен памяти Георгия Владимова. Георгий Владимов в романе переименован в Юрия Владимирова. Так что от автора «Большой руды», «Верного Руслана», «Трех минут молчания», «Генерала и его армии» мне придется несколько отодвинуться.

Хотя биографическая сторона писательской жизни героя воспроизведена Муравьевой с замечательной скрупулезностью. Событийная сторона. Три жены. Диссидентство. Изгнание из Советского Союза. Эмигрантские дрязги. Роковая болезнь. Горькие обстоятельства смерти. Все это описано настолько точно, что будущие авторы «Жизни замечательных людей» (а я уверен, что со временем Владимов станет героем этого жанра и, может быть, не единожды) — его биографы смогут опираться и на роман Муравьевой. Во всяком случае — соотноситься с ним.

Самый яркий и сильно написанный пласт этой истории — лирико-эротический. Недаром же Ирина Муравьева входит сейчас в мировой рейтинг лучших женщин-писательниц (во всем мире отобрано экспертами с четверть сотни шедевров).

Хватка чувствуется! Не столько в сексе (который, естественно, рядом), а именно в эросе, в душевном терзании, разрывающем сердца любящих. Поразительно срифмован стук сердец двух возлюбленных героя, с одной из которых он расстается, к другой уходит. Поразителен и возглас его, когда безвозвратно исчезают из этой жизни обе: пусть они, Арина с Варварой, «там встретятся... Пусть разберутся сами...» Хорош любовник! Да ведь это ты, ты сам должен был с ними разобраться, при их жизни, и не там, а здесь... Но это здравое соображение (мое, читательское) незаметно тонет в той бездонности, которая все время ощущается в этих эротических терзаниях: в них ведь и там никто до конца не разберется. Ибо ни конца, ни края нет этим страстям. Ни дна... а разве что покрышка...

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. Советский и российский литературный критик, литературовед. Окончил филологический факультет МГУ. Лев Аннинский — автор и ведущий циклов передач «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк», «Мальчики державы», «Охота на Льва», передачи «Я жил. Я звался Геркулес» на телеканале «Культура». Является членом Союза российских писателей, ПЕН-клуба, членом жюри литературной премии «Ясная Поляна». Живет и работает в Москве.

«Как будто судьба заглянула в окошко да так и стоит там, среди красных маков».

Но куда беспощаднее взгляд судьбы, когда она стоит не среди красных цветов эроса, а среди желтых листков диссидентской братии, тусующейся на международных конференциях в надежде «решить мировые вопросы и остановить большевистскую гидру».

Как ни отбивается Юрий Владимиров от этой братии, заявляя, что его место — за индивидуальным письменным столом, а не за общим столом очередной политконференции, приходится и ему, эмигрировав, ободраться о грани и такого ангажированного издания.

Тут уж, в описании диссидентской оргии, Ирина Муравьева дает волю фантазии:

«Марь Степанна сказала про Юрочку так: ДДа он через месяц завалит журнал. Какой он редактор? Как я балерина!“»

Марь Степанна, конечно, не балерина, но от чрезмерного вдохновения переходит у Муравьевой на четырехстопный амфибрахий... То ли Муравьева ее таким образом подкалывает, то ли сама невольно прикалывается, переходя на стиховой лад при описании диссидентских дискуссий...

И Марь Степанна, супруга диссидента Винявского, и все прочие трубадуры-эмигранты награждены у Муравьевой вымышленными именами, прозрачными до смеха. Зус Олешевский — поняли, кто такой? Баранович — поняли кто? А старик Евторханов?

Их всех действующих лиц этого диссидентского хора под своим именем выступает в романе один только Солженицын. По причине особой ответственности приписываемых ему поступков.

Каких?

Почему не вышел протестовать на площадь, когда другие вышли? Почему за тех, кто вышел, не вступился? И вообще как это он так ловко «разобрался и с Западом, и с Востоком, отчего сделался неуязвимым ни для того, ни для другого, поскольку изворотливость его арифметического ума...»

Обрываю цитату по причине грубой несправедливости и очевидной ее бестактности. В характере Солженицына можно найти много соблазнов: соблазны пророчества, властолюбия, вождизма (учил вождей уму-разуму!), но насчет «изворотливости» у Муравьевой явный прокол... А может, это у нее такой стилистический переброс к Мишане Устинову? Вот уж от кого несет изворотливостью, хотя сам он уверен в своей боевитой прямоте:

«— У нас, казаков, ведь какая повадка? Раз по сердцу девка, хватай — и в седло!!»

Опять амфибрахий...

Я-то сначала думал, что Устинов — это Аксенов. Потом, когда из Михаила Валерьяновича его кто-то переименовал в Михаила Емельяновича, я подумал: не Максимов ли имеется в виду? А то еще и Вадим Валерьянович Кожинов мелькает в подсознании. Или еще кто-нибудь их крутых диссидентов то ли в проклятом отечестве, то ли в клятой загранице... Что тут скажешь?

«— А то, что вы все на хлебах Вашингтона, так это вам чести не делает, так-то! — Философ вскочил и задвигал глазами. — Откуда штаны-то? Ведь из „Лафайета“? Вот я в тренировочных век прохожу, помру в тренировочных, выкуси, ну-ка!

— А мне наплевать, чем ты ж... прикрыл! — вдруг рявкнул Устинов».

Простите. Очень поэтично. Амфибрахий.

Не буду больше цитировать диссидентский базар. Хорошо, что Владимиров, хлебнув этой отравы, вернулся за письменный стол.

Что же должно выйти у Муравьевой из-под его пера? Это — самый интересный аспект романа. Диссидентство середины века, со всеми его правыми и левыми закидонами — уже отлетает понемногу в сферу мифологического инобытия. Приходят новые поколения, рождаются новые мифы. С чем войдет в это новое инобытие Юрий Владимиров, жизнью расплатившийся за свои убеждения и страсти?

Прикасаясь к тайне его творчества, Ирина Муравьева каждый раз словно отдергивает руки.

«...Владимиров был уверен в том, что нельзя ничего понять до конца ни в одном человеке и поэтому нельзя судить ни одного человека. Только так доберешься до сути...»

И еще: «То же самое чувство, что он никогда не сумеет передать главного, охватило его...»

И еще: «Чувство это заключалось в радостной и лихорадочной озабоченности чем-то неизвестным, что совершенно от него не зависело, но было при этом важнее всего...»

А ведь главное тут уловлено. Через потерю! То ощущение таинственной глубины существования, которое теряется при любом уверенном глубокомыслии. Та суть, до которой не доберешься, потому что она неисчерпаема и неизъяснима. То есть в последнем пределе — неприкосновенна.

У Владимова меня всегда именно это завораживало: ощущение неисчерпаемости, сколько ни черпай. Непроницаемость последней истины при завидной проницательности ближнего зрения. И при всей острой готовности сцепиться с любым противником ради выяснения немедленной правды. Владимов — в общении со мной, в переписке, в разговорах — с таким удовольствием отвечал ударом на удар, что мои ответные действия оказывались непоправимо «квелыми» (что и заметил, не без злорадства в мой адрес, один зоркий критик, наблюдавший наши баталии).

Но для меня именно это ощущение тайны бытия, тайны предназначения, тайны судьбы и делало Владимова ее исповедником — независимо от того, глядела судьба из красных или из желтых кулис.

Эта неисчерпаемость когда-то сразу поразила меня уже в «Большой руде», дохнув из пропасти вроде бы элементарного сюжета. Не было, знаете ли, мостика над пропастью между «отдельным человеком» и «социальным целым», хотя мостиков таких в коллективистском сознании эпохи предлагалось сколько угодно.

Мостик Владимов виртуозно выстраивал потом в «Верном Руслане», на поводке службы удерживая волчонка в тотальном лагере, пока вольная воля не подписала приговор и лагерю, и прирученному зверю.

А вся громадная непосильность Великой Отечественной войны — разве не ощущается в перенапряжении «Генерала и его армии»?

Ближе всего к истине (к истине нашего поколения, спасенного от прямой гибели, но не спасенного от крушения идеалов, оказавшихся «химерами») — проницательнее всего к этой неразрешимости подошел Владимов в неровном и не лишенном противоречий романе «Три минуты молчания».

Что такое эти три минуты? Тихий возглас «SOS» в грохоте успешного самоутверждения...

Это вот его тихое переспрашивание о смысле и было мне дороже всего. Хотя он не разделял моих суждений. Но из двух великих прозаиков моего поколения первенство я всегда отдавал Владимову, а не Аксенову именно по этой таинственной причине. Владимов, яростно разрешавший острейшие вопросы, главный вопрос оставлял в таинстве неразрешимости. Аксенов же, похоже, был уверен во всех своих ответах — дали бы только высказаться! Ну, дали, ну, высказался и ушел, кажется, в сознании исполненного до конца писательского задания. А у Владимова это

задание до конца неисполнимо, и в этом его загадка, которую осторожно огибает, очерчивает и обнимает Ирина Муравьева...

Впрочем, не удержалась она от попытки ответить на последний, проклятый русский вопрос: почему со всеми нами случилось то, что случилось?

Вот что выходит у нее из-под пера... нет, не Георгия Владимова, а Юрия Владимирова:

«Если вы меня спросите, кто на этот раз мой герой, то я вам отвечу: герой мой — офицер СС Гартунг Бер».

Если вы меня спросите, возможно ли такое, то я вам отвечу, что это розыгрыш. Ничего подобного я у Владимова я не припомню. Последние его тексты (известные мне) тронуты отнюдь не германской, а скорее британской краской: «Путь далекий до Типерери и до Англии родной» — песенка, которую все мы пели в год Победы, стоит в заглавии последней, незаконченной мемуарной повести Владимова, посвященной годам его обучения в Суворовском училище МВД... когда за сочувствие проклинаемому Зощенко тебя могли объявить нечестивцем и вышибить вон, а образцовые воспитанники с легкой руки Лаврентия Берии звались «волчатами» (будущие Русланы?).

Словцо это Ирина Муравьева перебрасывает от Георгия Владимова Юрию Владимирову:

«Он был „нечестивцем“, его Гартунг Бер. И он расширялся, он укоренялся, он не отпускал. За Гартунгом не было — мира. И все же его нужно было понять. Поскольку не с Гартунга ведь началось. „Волчат“ заловили туда, внутрь зла, и там, внутри зла, их и бросили сразу».

А вдруг это — владимовский текст, отыскавшийся теперь в тайниках и архивах? Нет, не думаю. Скорее это стилизация. Волчата там и волчата тут. Несчастье-счастье и там и тут:

«Зачем отказывать Гартунгу Беру в земном счастье?»

Все пережитое отступает, размазывается, обесцвечивается. Остается один Гартунг Бер.

«Зачем он ему?» — переспрашивает Ирина Муравьева, оставляя сию фигуру в неясности недописанного... Но это — Владимиров. А Владимов?

Но что-то «немецкое» есть все-таки в его прозе? Должно быть! Прожил же в Германии столько лет! И когда работал над романом «Генерал и его армия», проникся ведь неожиданным, нечуждым симпатии уважением к Гейнцу Гудериану.

Однако не генерал противостоящей армии оказывается финальным героем муравьевского писателя Юрия Владимирова, а эсэсовец! Подполковник войск СС! Он предается самоанализу при виде «тех голых евреев», которых «должны вот-вот убить». Да еще и дневник ведет со всей немецкой аккуратностью...

И тут меня обжигает неожиданная догадка. А если этот эсэсовец не из предполагаемых владимовских текстов влетел в тексты владимировские, а из... Джонатана Литтелла, чей огромный том «Благоволительницы» вышел в русском переводе аккурат в ту пору, когда Муравьева готовила к печати свои «Страсти по Юрию», и мы все кинулись читать там исповедь кающегося эсэсовца?

Там его зовут Максимилиан Ауэ, тут — Гартунг Бер...

До Типерери (и до милой Мэри) путь действительно далек. До Германии — поближе (особенно когда рядом с Бэром — Маша Волынская). Юрий Владимиров об этом рассказал. А если Георгий Владимов рассказать не успел, не рассчитался с этой темой в оставленных текстах и уж наверняка рассчитался бы — если б успел... Ибо тема эта для всех нас фатальна.

«Идея Германии — любящей матери... в его романе отнюдь не случайна», — заключает Муравьева.

Да, так. Если вопрос об истоках того ужаса, через который прошла Россия в проклятом XX веке, остается и после всех пронзительных описаний этого ужаса, то что же дальше? Откуда грядет следующее испытание нашей душевной крепости? С юга (от тюрок, от персов?). С востока (от японцев, китайцев?). А вдруг опять с запада? Как укрепить душу в предчувствии всего, что может произойти?

Памятью укрепить.

Памятью о той боли, которой оплачено спасение.

Памятью о тех страданиях, которые обозначаются теперь таким лучащимся словом: «страсти».

Правда художественная и историческая

Ольга КАРБАСОВА

Федор Достоевский.
Ускользающая вера

Дихотомия нигилизма и веры составляет основную философскую подоплеку романов Достоевского. Антагонизм нигилизма и веры является главным философским «зерном», из которого произрастают его неповторимые «детективные» сюжеты. Возможно, типичная для Достоевского «детективность» сюжетов (иногда буквальная), их «закрученность», наличие интриги и все сюжетные перипетии (которые Достоевскому часто ставятся как в заслугу, так и в упрек) являются закономерным следствием и зеркальным отражением действительно «детективных» отношений внутри этой антагонистичной пары — разумного, рационального отрицания всего, с одной стороны, и необъяснимой разумом мистической веры.

Все, что пишет Достоевский, пишется им в ответ на вопросы о том, как связаны эти два явления — разум (разумный нигилизм) и вера, почему противопоставлены друг другу, являются ли они взаимоисключающими, возможно ли их сочетание и какова их природа.

Отвечая на последний вопрос, вопрос о природе разумного нигилизма и веры, Достоевский неизменно приходит к выводу о том, что нигилизм — это явление и философия общедоступная, легко усваиваемая и передаваемая и, можно сказать, заразная. На страницах его романов вокруг одного нигилиста всегда образовывается своеобразный кружок, то есть нигилизм от одного «идеолога» передается многим, в то время как вера таким свойством не обладает. Все верующие персонажи Достоевского существуют внутри себя, недоступны и непонятны для окружающих, которые пытаются объяснить себе такое состояние веры какой-то приемлемой формулой, например: идиотизмом, эпилепсией, пьянством или впадением в старческий маразм.

Ольга Вячеславовна Карбасова окончила в 2003 году Самарский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков. В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию. Присвоена степень кандидата исторических наук. В настоящее время работает в Самарском государственном техническом университете.

Другое свойство нигилизма заключается в его почти осязаемой материалистичности, в его картинности, почти карикатурности, которая так мастерски передается Достоевским. Все его бесы-нигилисты имеют четкий набор признаков, комично ярких, как будто его нигилисты — это не настоящие люди, а ряженые. Все его нигилисты появляются в ярких и неопрятных костюмах, как будто это не обычная одежда, а предметы бутафории, которые сто лет пылились в гримерках и носились не одним поколением актеров. Здесь и засаленные до неприличия пиджаки, и грязные, сальные (снова сальные) шарфы, и отсутствие сорочки при наличии жилета (что очень характерно для театрального гардероба) и т. п. Все это обычно диких крикливых цветов. Говорят нигилисты неприятными, также крикливыми или визгливыми голосами. При этом часто демонстрируют странную неуверенность в себе при всем их пренебрежении к тому, что принято в обществе.

При этом надо заметить, что верующие Достоевского хотя и не демонстрируют такого разнообразия в гардеробе, но одеваются особенно. Это либо траурный наряд, как у матери Рогожина, либо иностранные штиблеты и шинель, как у князя Мышкина. Они как бы находятся либо на полдороге в мир иной (мыслями уже там), либо на полдороге из иного мира (в случае князя Мышкина не только в переносном, но и в буквальном смысле — из-за границы). Такая одежда внешне подчеркивает один общий признак всех верующих Достоевского — их «неотмирность», принадлежность к другому миру.

Портрет матери Рогожина — это удивительный, поражающий своей точностью и краткостью «постулат» (один из главных постулатов), лежащий в основе философии Достоевского и в то же время своеобразное ее резюме. При том что в масштабах романов Достоевского описание матери Рогожина, развернутое едва ли на полстраницы, это ничтожная капля по сравнению со всем сказанным, но в этом портрете, как в настоящей капле, отразился весь мир Достоевского. Это «мимолетное видение», как бы случайно появившееся в романе, являет собой аллегорию разума (безумия) и веры:

«В углу гостиной, у печки, в креслах, сидела маленькая старушка, еще с виду не то чтоб очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая и (с первого взгляда заключить было можно) впавшая в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье, с черным большим платком на шее, в белом чистом чепце с черными лентами. Ноги ее упирались в скамеечку. <...>

— Матушка, — сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, — вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин; мы с ним крестами поменялись; он мне за родного брата в Москве одно время был, много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Постой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку...

Но старушка, прежде чем Парфён успел взяться, подняла свою правую руку, сложила пальцы в три перста и три раза набожно перекрестила князя. Затем еще раз ласково и нежно кивнула ему головой.

— Ну, пойдем, Лев Николаевич, — сказал Парфён, — я только за этим тебя и приводил...

Когда опять вышли на лестницу, он прибавил:

— Вот она ничего ведь не понимает, что говорят, и ничего не поняла моих слов, а тебя благословила; значит, сама пожелала... Ну, прощай, и мне, и тебе пора».

Эта миниатюра из примерно двухсот слов в составе огромного романа показывает несколько способов «решения» Достоевским дилеммы об отношениях веры и разума. Старушка Рогожина в силу определенных причин (старости и слабоумия)

исключает компонент разума из своей жизни полностью. Она настолько слабоумна, настолько «впала в детство», что, по словам самого Рогожина, даже «не понимает, что говорят». Из всех способностей, которые она приобрела в жизни, она не сохранила ни одной: она не говорит, не понимает и ничего не делает. Она даже не сохранила, как старушка приживалка, которая при ней находится, рефлекса вязания. Единственный «рефлекс», который у нее остался, это рефлекс крестного знамения, символизирующий ее веру.

Через эту миниатюру Достоевский показывает всю «физиологичность» веры, ее врожденность, ее природную свойственность человеческой натуре. Этим и объясняется живучесть этого рефлекса, который в отличие от всех разумных проявлений не исчезает, когда угасает человеческий разум. Достоевский также (со всеми свойственными ему сомнениями, впадением в уныние и неверием) доводит эту мысль о неискоренимости веры до гротеска, параллельно с портретом матери Рогожина выписывая на протяжении всего романа портрет генерала Иволгина — выжившего из ума старика пьяницы, маразматика, пропивающего остатки собственного достоинства, патологического лгуна, заходящего в своих безудержных фантазиях до самого невероятного бесстыдства и при всем при этом повторяющего рефреном две фразы: «благословляю» или «проклинаю» («Проклятие дому сему!»). Эти две фразы генерала Иволгина при всей их дешевой театральности, наигранности и неуместности являются для него необходимостью: без этого он не может, без этого он не генерал Иволгин. Театральная, пафосная религиозность для него так же рефлекторна, как для старушки Рогожиной способность складывать три пальца для благословения. При этом, как и должно быть в хорошем гротеске, персонаж генерала Иволгина заставляет читателя сомневаться в своей гротескности, всегда оставляя «открытым» вопрос о том, так ли наигранна его религиозность, так ли фальшивы его благословения и проклятия.

Значимой деталью в портрете матери Рогожина является так же и то, что сам Парфён Рогожин сомневается в этой последней способности своей матери — способности верить: «Постой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку...» Он сомневается, что она может сложить три пальца для благословения. Это его сомнение отражает всю глубину происходящей в нем самом борьбы веры и разума или также типичной для героев Достоевского борьбы разума за веру, желания осмыслить веру, понять ее рассудком, прийти к вере через разум. Сомнения являются неотъемлемой и характерной частью такой борьбы, происходящей во взрослом человеке и отсутствующей у ребенка или старого человека, «впавшего в детство».

По сути, внутри этой миниатюры Достоевский через персонаж Рогожина дает еще один вариант взаимоотношений веры и разума, когда разум выступает в качестве инструмента исследования по отношению к вере — инструмента, выбранного неправильно, неподходящего и неспособного дать никаких результатов, но единственно доступного и потому используемого. Особенностью таких отношений является постоянное состояние сомнений и неверия. Именно поэтому, а вовсе не так неожиданно, как может показаться для такого грубого и неотесанного персонажа, Рогожин обращается к князю Мышкину с вопросом: «Веруешь ты в бога иль нет?»

Третий вариант решения вопроса об отношениях веры и разума Достоевский дает через персонаж генеральши Епанчиной. Вопрос этот снова «решается» через исключение разума, но в данном случае это исключение частичное: разум здесь как бы уравновешивается «сердцем». Звучит этот вариант противоречиво и не совсем понятно «технически» (для разума), поэтому и «транслируется» таким противоречивым, импульсивным и почти эксцентричным персонажем, как генеральша: «Они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать. Потому сердце главное, а

остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно... может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу: дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца».

Произнеся этот афоризм, Лизавета Прокофьевна также выражает сомнение в силе разума и вообще в его пригодности в жизни: «Посмотрим, как-то вы обе (я Аглаю не считаю) с вашим умом и многословием вывернетесь, и будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином?..» Для нее разум — это всего лишь способ «вывернуться», способ не смотреть правде в глаза, найти какой-то временный выход. И, конечно, разум никак не является для нее дорогой к счастью. Желание сочетать ум с сердцем и таким образом «примирить» разум с верой является для нее инстинктивным и не до конца осознанным.

Так же неосознанно и инстинктивно она считает всех исключительно «разумных» людей, людей «без сердца», шарлатанами, которых она «видит насквозь», как племянника Лебедева («Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу... всю игру вашу вижу!»). Для нее это скользкие типы, которые используют разум, логику и рассуждения, чтобы «выворачиваться». Этим и объясняется ее возмущение в ответ на признание Лебедева в том, что он «низок»: «Да что мне в том, что ты низок! Он думает, что скажет: низок, так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прощу тебе!»

При этом, учитывая то, что Лизавета Прокофьевна вообще всех людей считает дураками и дурами, не исключая себя (слово «дурак» у нее повторяется даже чаще, чем «выворачиваться» и «галиматья»), отношение ее к разуму становится подчеркнуто презрительным. Она почти уничтожает разум, отказывает ему в праве на существование, почти как мать Рогожина, хотя и не так буквально. Если ей и нужен разум, то только как техническое приспособление, способное уравновесить ее «сердце».

В этом состоит ее формула счастья, которую она представляет в самом начале романа и затем развивает в середине во время встречи с «нигилистами»: разум + сердце = вера. По ее мнению, именно сочетание разума и сердца, рационального и иррационального способов восприятия помогает постичь веру и, собственно, поверить.

Разумно-нигилистическое (оно же атеистическое) восприятие мира и все происходящие от такого восприятия философские рассуждения генеральша в своем очередном припадке гнева (которые, по словам генерала, происходят «года в три по одному разу, но уж никак не чаще») называет не иначе как «галиматьей»: «Довольно, — провозгласила вдруг, чуть не дрожа от гнева, Лизавета Прокофьевна, — пора прервать эту галиматью!..» Все, что способно сотворить такое чисто рациональное и отрицающее все отношение к миру в глазах генеральши является «низостью», «хаосом» и «безобразием»: «Это низость, низость! Это хаос, безобразие, этого во сне не увидишь!» В своем порицании, почти отрицании разума Лизавета Прокофьевна доходит до апокалипсических пророчеств, рисуя картину погибающего, если не погибшего мира: «...и впрямь последние времена пришли. Этого я еще и не слыхивала. Теперь мне всё объяснилось!» Главной характеристикой этих «последних времен» является несправедливость, которая прикрывается законностью и легальностью или, по крайней мере, легитимностью, хотя на самом деле представляет собой беззаконие, творимое при попустительстве разума, используемого как оправдание и прикрытие для любого преступления (в качестве примера приводится случай, когда «защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как по бедности шесть человек укокошить»).

Люди, живущие в этом, казалось бы, рациональном мире, представляются генеральшей не иначе как сумасшедшие: «Сумасшедшие! Тщеславные! В бога не веруют, в Христа не веруют! Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это?» Лизавета Прокофьевна идет еще дальше, представляя этот мир не только как «хаос и безобразие», но и как грязь. Именно поэтому она называет главного «идеолога» этого мира, основанного на рационально-нигилистическом восприятии, «пачкуном» и «развратником»: «А ты у меня не усмехайся, пачкун! (накинулась она вдруг на Ипполита) сам еле дышит, а других развращает. Ты у меня этого мальчишку развратил (она опять указала на Колю); он про тебя только и бредит, ты его атеизму учишь, ты в Бога не веруешь, а тебя еще высечь можно, милостивый государь, да тьфу с вами!..» Заканчивается эта тирада фактически приговором: генеральша приговаривает Ипполита к порке, как преступника, поскольку в ее глазах он и есть настоящий преступник, который силой своего разумного отрицания способен перевернуть все «с ног на голову».

Все романы Достоевского, по сути, являются для него самого полем для экспериментов с персонажами и условиями (нередко жестоких экспериментов), чем и объясняется часто возникающее ощущение искусственности его героев, их неправдоподобности, а также «экстремальности» условий, в которых они существуют в романах. На самом деле причиной «экстремальности» условий и персонажей Достоевского является как раз их экспериментальность: автор не «списывает» эти персонажи с жизни, он намеренно создает их такими эксцентричными и намеренно ставит их в крайние жизненные условия (условия крайней бедности, безумия, одержимости страстью, наполеоновскими идеями и т. п.). Эти крайности нужны ему для его экспериментов над верой, разумом и человеком. С помощью этих экспериментов он хочет понять отношения между разумом и верой, проследить развитие, этапы и варианты борьбы человека за веру или человеческого разума против веры. Романы Достоевского — это большая лаборатория, в которой он пытается создать «эликсир веры».

Среди персонажей Достоевского Настасья Филипповна представляет собой один из самых жестоких из его экспериментов. По своей жестокости этот эксперимент сравним с экспериментом над Раскольниковым. Оба этих персонажа поставлены Достоевским в «идеальные» экспериментальные условия — условия глубокого отчаяния, безнадежности, уныния и неверия (в случае Раскольникова это еще и бедность, голод и чахотка). Пользуясь своим авторским всесилием, он делает этот мрак, эту бездну абсолютно беспросветной, не оставляя для Настасьи Филипповны ни одного луча надежды, окружив ее исключительно негодяями и подлецами, малодушными, слабыми «искателями», из которых Рогожин — самый положительный персонаж, хотя бы потому, что в нем в отличие от остальных есть «масштабность» и широта (хотя бы в ее грубом «мужицком» варианте).

Ставится этот «эксперимент» над персонажем Настасьи Филипповны (как и над Раскольниковым) с целью получить ответ на вопрос: может ли в этих условиях беспросветного мрака, отчаяния и безнадежности появиться росток веры? Может ли вера возникнуть там, где нет надежды? И возможно ли в этом искусственно созданном, рукотворном аду получить шанс на спасение?

Замечательно в этом смысле то, что Настасья Филипповна не является «оппозицией» по отношению к этому мраку. Ее образ — это не образ «девы» среди «адских привидений», как образ Татьяны у Пушкина. Настасья Филипповна — это одно из адских привидений. Возможно, она самое страшное и сильное из этих привидений, поскольку именно вокруг нее и вращается этот темный мир порока,

грязных денег и страстей. Она притягивает к себе другие «адские привидения». Она является стержнем этого мира, своеобразной «осью зла».

Как самое крупное и «масштабное» исчадие ада (в романе ее часто называют «тварью» и «королевой»), Настасья Филипповна является еще и самым умным из всех «адских привидений» (князь Мышкин все время говорит, что она все «понимает»). Будучи способной понимать, что происходит, она не может не страдать от сознания своей обреченности. Чувство причастности к миру тьмы (в разговорах с князем Мышкиным она настаивает на том, что она не жертва, что она на самом деле «тварь») сочетается в ней с желанием изменить свою жизнь, вернуться к настоящей жизни, обрести надежду и веру. В своих мечтах она представляет именно такого «спасителя», как князь Мышкин, который явится чудесным образом из ниоткуда и скажет ей те слова, которые она хочет услышать.

Наконец, волей автора луч надежды в облике князя Мышкина помещается в эти искусственные условия безверия и уныния. Он внедряется в эти условия так же искусственно, как создавался сам эксперимент. Совершенно «случайно» при нем оказывается конверт с завещанием Павлищева, которое дает ему возможность вытащить Настасью Филипповну из ее ада.

Появление князя Мышкина должно было бы «воскресить» Настасью Филипповну, воодушевить ее, вселить в ее сердце надежду и веру. Она должна была ухватиться изо всех сил за протянутую ей руку и начать новую жизнь. И тут должен был бы наступить хеппи-энд, как в хорошем романе Диккенса или Теккерея, со слезами умиления на глазах. Вместо этого Настасья Филипповна отвечает так, как может ответить преисподняя — адским хохотом. Она смеется над последней появившейся возможностью спасения. Вера для нее — это слишком просто. Недаром у ее неизменного спутника Рогожина, который часто «транслирует» ее мысли, возникает идея о том, что в России больше неверующих, потому что «мы дальше их пошли»: «...мне вот один с пьяных глаз говорил, что у нас, по России, больше, чем во всех землях таких, что в Бога не веруют? „Нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли...“»

Получается, что ад со всеми его страданиями и присущей ему расчетливостью, воплощенный в образе Настасьи Филипповны, ведет себя парадоксально иррационально: она отказывается от, казалось бы, «выгодной» для нее возможности спасения. Создается ситуация, когда рациональный расчет, типичный для отсутствия веры, перестает действовать. Зная, что она обрекает себя на гибель, причем гибель, возможно, буквальную (Рогожин собирается ее зарезать после свадьбы), Настасья Филипповна отказывается от возможности выхода.

И здесь Достоевский делает нечто особенное: он рисует ад, сошедший с ума. Это ад, для которого свойственно «бескорыстие» (эпитет, часто употребляемый при описании Настасьи Филипповны), ад, который, как и «рай» и «свет», воплощенные в образе Аглаи, «в торги не вступает», ад, который не ценит деньги (причем не ценит буквально: Настасья Филипповна бросает сто тысяч, принесенных Рогожиным, в камин). Это сумасшествие ада, отсутствие в нем всякой рациональности, разума и расчетливости, приписываемых ему, делает картины ада, рисуемые Достоевским, особенными и неповторимыми. Он возвышает ад до рая, зло приравнивает добру, оставляя человека со всей его борьбой разума совершенно за пределами добра и зла. Все потуги человеческого разума становятся как бы не относящимися к делу.

Таким образом, Достоевский в результате своих экспериментов приходит к выводу о том, что разум не имеет никакого отношения к противостоянию добра и зла и не может использоваться как инструмент познания и поиска истины, потому что

истину он ищет не ту и не там. Эта мысль озвучивается князем Мышкиным в разговоре с Рогожиным: «...сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить».

Для самого князя Мышкина «религиозное чувство» — это не только вера, это вера через откровение. В отличие от других персонажей, князь Мышкин демонстрирует не веру, постигаемую разумом, или веру через разум плюс «сердце», или веру, отвергаемую и одновременно желанную, а потому несбыточную, как у Настасьи Филипповны. Его отношения с верой самые сложные, но и самые «настоящие». Он в отличие от прочих умеет обрести момент «молитвы и красоты», почувствовать, хоть на мгновение, гармонию с миром, примириться с ним, почувствовать себя частью общего «хора» природы (как та мушка, о которой говорит Ипполит во время своей исповеди: «вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива»). Обретение веры происходит через откровение — секундный момент просветления и счастья, который наступает перед эпилептическим припадком.

В этом вся сила и одновременно слабость его веры. С одной стороны, она «наступает» необыкновенно ярко и «по-настоящему», у князя открываются глаза, ему становится все понятно. При этом его вера так же «физиологична», как и у старушки Рогожиной: она является «симптомом» эпилептического припадка, ее причиной является болезнь. Она, как и болезнь, заключается внутри самого человека, а не дается ему «свыше». За этим проблеском веры следует долгий период мрака, болезни и впадения в идиотизм с почти полной потерей разума.

В этой картине веры — весь Достоевский со всеми его собственными противоречиями и сомнениями. Достоевский, сталкивающий свои собственные утверждения, сомневающийся и оспаривающий сам себя. Если портрет матери Рогожина — это гимн вере и ее природной сущности, то портрет князя Мышкина в эпилептическом припадке — это отражение его собственных сомнений в этой самой «природности» веры. Здесь природная свойственность веры для человека сравнивается с болезнью. Проблеск веры, откровение накануне эпилептического припадка становится всего лишь обманом воображения, миражом, горькой усмешкой судьбы над... идиотом.

Кажется, как будто через этот образ Достоевский сам пытается «разуверить» себя. При этом его персонаж, сам князь Мышкин совершенно не теряет веры, хотя мысль о том, что момент «красоты и молитвы» — это мираж и обман, посещает и его. Но увидев раз в своем откровении «виденье, непостижное уму», князь Мышкин полностью уверовал в него и считает его истиной, правдой и «светом». Весь пафос его веры в том, что, как истинный Дон Кихот, как «рыцарь бедный», он продолжает верить, даже допуская возможность того, что его откровение — мираж и обман.

В его вере, однако, нет слепого фанатизма. Его вера держится и сильна не просто за счет фанатизма. Скорее, она существует благодаря воле и внутренней силе. При всей своей физической слабости князь Мышкин, в отличие от других персонажей, пытающихся выработать свою «формулу» веры, оказывается способным на духовный подвиг, на рыцарское служение вере, на презрение к сомнению, на движение к «свету» усилием воли и силой духа.

Еще одна группа персонажей Достоевского отражает другой способ взаимоотношений веры и разума. Наиболее яркие представители этой группы — Ипполит и

Смердяков. Их отношения с верой можно описать как дуэль. Сначала это дуэль разума с верой, которая потом переходит в дуэль буквальную с попыткой самоубийства или самоубийством.

Причиной озлобленности и ожесточенности этих и подобных персонажей является, как это обычно бывает у Достоевского, какое-то физическое заболевание. Спектр этих физических заболеваний у Достоевского небольшой (их всего два): у Ипполита это чахотка в последней стадии, у Смердякова — эпилепсия. Эти заболевания (нередко в сочетании с другими обстоятельствами) делают этих персонажей отверженными, изгоями общества. Если с ними и общаются, то со слабо скрываемыми отвращением и брезгливостью.

Персонажи этого типа — еще один эксперимент Достоевского. Эти персонажи лишаются автором всего: здоровья, общения с людьми, возможности учиться (Ипполит даже не берется за изучение греческой грамматики, поскольку ему кажется: «Еще до синтаксиса не дойду, как помру») и т. п. Эти люди лишены всего, кроме разума. Оставив своих героев в такой компании, Достоевский как бы задается вопросом, к чему приведет этот тет-а-тет.

Болезнь, отверженность, ожесточенность и озлобленность вызывают своеобразное противодействие — единственно доступное в этих экспериментальных условиях противодействие разума. Синдромом этого противодействия является отрицание всего: презирающего смердяковых и ипполитов общества, его законов, порядков и устоев, даже возможного сострадания и сочувствия. Это отрицание выражается в виде созвучных этому отрицанию философий и идеологий: материализма, атеизма и нигилизма. Эти философии перенимаются и «проповедуются» персонажами этого типа. «Идеалом» или высшей точкой «развития» для таких людей является, по словам Ипполита, «всеотрицающее высшее существо», которому «умереть, разумеется, ничего не стоит». Поэтому закономерно, что наиболее «развитые» нигилисты приходят в конечном итоге к сведению счетов с жизнью.

Иногда у Достоевского это сведение счетов выглядит гротескно, как в случае с Ипполитом, у которого как бы «случайно» не выстрелил пистолет. Ипполит — это случай сомневающегося нигилиста, который, несмотря на всю свою идеологию, боится не то чтобы смерти или расплаты за грехи в загробном мире (он отрицает эту расплату: «какой суд меня осудит?» — спрашивает Ипполит), а боится за свою жизнь, точнее, шкуру, боится до последнего, уже стоя одной ногой в могиле. И даже якобы решившись на последний шаг, самим этим последним шагом цепляется за жизнь, рассчитывая самоубийством оставить память и след. Этот страх Достоевский в свойственной ему манере преувеличивает до комического: в своей исповеди Ипполит как бы между прочим завещает оставить свой скелет медицинской академии для исследований.

Другое впечатление производит «эксперимент» Достоевского над Смердяковым. В его угрюмой дуэли разума и веры нет никакой показухи и дешевых театральных эффектов, как в случае с Ипполитом. Отличается Смердяков от всех прочих нигилистов Достоевского и возрастом: по сравнению со всей этой молодежью, «злыми мальчишками», Смердяков является «зрелой личностью». Его разочарование в жизни, отчаяние, уныние и неверие — это его собственные умозаключения, результат всей его жизни. Вся его философия доморощенная, ни у кого не заимствованная. К ней он пришел действительно «своим умом». Созревшее в нем решение покончить с жизнью является гораздо более сильным, чем у Ипполита (если оно у него было), поскольку он убежденный, а не сомневающийся нигилист.

Условия эксперимента над персонажем Смердякова гораздо более экстремальные, чем в случае Ипполита, который все-таки находит в лице князя Мышкина че-

ловека, с которым стоит попрощаться. Смердяков ни от одной живой души не получает сочувствия. Его дуэль веры и разума существует в условиях полного вакуума и изоляции от мира. Ни один человек в нее не вмешивается. Это дуэль только между ним и Богом. Поэтому только Богом эта дуэль и может быть прервана. Так и происходит в романе: веревка обрывается, и Смердяков в последний момент получает прощение и отпущение грехов. Как убежденный нигилист он отвечает на этот «жест» отрицанием, презрением и неверием. Показав образам шиш, он вешается повторно... Так Достоевский отвечает на вопрос о том, к чему приводит уединение человека с разумом.

Все персонажи Достоевского похожи на обычных, встречающихся в действительности людей так же, как похожи на людей обитатели острова доктора Моро. Это жертвы его «экспериментов», полулюди, полуживотные, обладающие уникальными свойствами и способностями, которые не встречаются в обычной жизни. Все они служат одной большой цели: дать ответ на вопросы об отношениях веры и разума, о природе «религиозного чувства» и о путях, по которым может пойти жизнь человека и жизнь человечества при выборе того или иного способа решения вопроса о вере и разуме.

Приметы времени

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

НЕТЕРПИМОСТЬ на «улице веротерпимости», или Как отразилась в городском фольклоре эпоха разрушения храмов и глумления над верой

1

По разным источникам, до 1917 года в Петербурге насчитывалось от 600 до 800 молитвенных домов различных религиозных конфессий, в том числе восемь католических костелов, десять лютеранских кирх, две синагоги, две му-

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому... От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

сульманские мечети, один буддийский храм. В общее число входили как отдельно стоящие приходские, кафедральные, кладбищенские храмы и часовни, так и включенные в архитектурные объемы зданий ведомственные, дворцовые или домовые церкви. Такое количество культовых сооружений не могло не оказать сильнейшего влияния на формирование архитектурной среды города. В отличие от старых городов Европы, где большинство церковных зданий, буквально втиснутые в жилую застройку, обнаруживают себя только центральным входом, петербургские храмы ставились на открытых пространствах, все их четыре фасада имели ярко выраженные архитектурные акценты, а сами церкви становились естественными организующими центрами целых городских районов. Перед ними создавались площади, а к ним сходились улицы. В совокупном массовом сознании петербуржцев церквам отводилась особая общественная роль. Исключительно точно сформулировал это поэт Иван Демьянов, говоря об одном из самых удивительных культовых сооружений Петербурга:

И развел собор Казанский руки,
Обнимая вечер голубой.

Едва ли не с первых дней своего существования Петербург становится не только многоязычным, но многоконфессиональным. Вместе с тем он, по свидетельству иностранных путешественников, был исключительно веротерпимым. Молитвенные дома самых различных вероисповеданий строились в Петербурге в буквальной близости к царскому дворцу и, что особенно важно, рядом друг с другом. На Невском проспекте до сих пор соседствуют Голландская церковь, костел Святой Екатерины, Армянская церковь, Лютеранская кирха, православный Казанский собор, Финская церковь. Повидавший немало иностранных государств и побывавший в середине XIX века в Петербурге французский писатель Александр Дюма (отец) предлагал даже переименовать Невский проспект в улицу Веротерпимости. Он и Петербург называл «Городом веротерпимости», видя в этом одно из главных отличий новой русской столицы от других городов мира.

Австрийский эрцгерцог, посетивший однажды Петербург, по возвращении на родину любил повторять рассказ о веротерпимости в русской столице. Впоследствии этот рассказ вошел в сокровищницу исторических анекдотов. Передаем его в изложении известного журналиста и издателя, автора «Достопамятностей Петербурга и его окрестностей» Павла Свиньина. «Вообразите, говорил он, что пять или шесть человек идут в воскресенье вместе и разговаривают дружески; дойдя до Невского проспекта, они расходятся все в разные стороны, уговорясь в тот день обедать или быть ввечеру вместе. Все они пошли к обедне, но только один идет в русскую церковь, другой в лютеранскую, третий в реформатскую и так далее: все они были разных вер». И далее Свиньин добавляет: «Сие согласие между разноверцами не приносит ли отличной чести русскому правительству и характеру россиян».

Между тем тяжелая наследственность, доставшаяся Петру I от многовекового уклада московского быта, не могла кануть в Лету в одночасье, вместе с отказом от жизни в старой столице и появлением новой. Достаточно напомнить, что даже через целое столетие после того, как Петр начал прорубать «окно в Европу», в самом конце просвещенного екатерининского царствования, многие «пожилые аристократки не знали грамоты, с трудом читали, выставляли свои имена какими-то иероглифами, и за многих на векселях подписывались их дочери». И хотя жизнь петербуржца была в значительно меньшей степени, чем в Москве, окрашена, по

выражению А. В. Предтеченского, в «религиозно-церковный цвет», патриархальные догматы еще долго пронизывали скованное старообрядческими домостроевскими традициями сознание обывателей. Даже придуманный и учрежденный Петром так называемый «всешутейший собор», якобы направленный на развенчание всесильного авторитета церкви, имел некоторый успех не столько благодаря ярко выраженному пропагандистскому характеру этой петровской затеи, сколько из-за обыкновенного страха православного человека перед Богом за разврат, непотребство и богохульство.

Даже само название придуманного Петром пресловутого потешного детища — «Сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор» — уже приводило в дрожь и изумление богобоязненного обывателя. Этот «собор», состав которого иногда доходил до двухсот человек, чаще всего заседал в беспробудном пьянстве в так называемой резиденции «собора» Пресбурге, крепостце, построенной Петром вблизи села Преображенского для военных забав семеновцев и преображенцев.

В основном собор состоял из ближайших приближенных царя во главе с самим Петром. Чести быть принятым в члены «Всешутейшего собора» удостаивался далеко не всякий. В него принимали отборных пьяниц и обжор, записных шутов и откровенных дураков. Именно они составляли высшую иерархию собора от патриарха до дьякона, адекватную по чинам и званиям той, что имела место в официальной церкви. Например, первым «князь-папой» был Матвей Нарышкин, по выражению современников, «муж глупый, старый и пьяный». Завидным умением пить славился и другой высший чин «Всешутейшего собора» Никита Зотов. В петербургский период существования этого полугосударственного института князь-папой всех «петербургских пьяниц, обжор и шутов» был Петр Иванович Бутурлин. Петр I, который в равной степени обладал так ценимыми соборянами качествами пьяницы, развратника, шута, весельчака и матерщинника, в этом ряду имел титул протодьякона. Сколь важная роль отводилась пьянству, можно судить по тому, с какой почтительностью в среде «сумасброднейших» соратников Петра оно именовалось «Ивашкой Хмельницким».

Шумные застолья «Всешутейшего собора» сопровождались не только непристойным матом. Обычным явлением были пьяные драки и всеобщие потасовки. Любимым развлечением соборян были грубые шутки неистощимого на дикие необузданные выдумки Петра. Так, он мог заставить кого-нибудь из сановных вельмож раздеться догола и лечь посреди стола с зажженной свечой, вставленной в причинное место. Вставать без разрешения, возражать или выражать недовольство не полагалось, и зачастую несчастному приходилось пребывать в таком непотребном виде до конца пиршества. Иногда такие варварские забавы заканчивались летальным исходом. Так, однажды в зимнюю стужу за отказ изображать во время шествия черта боярин Матвей Головин был по приказанию царя раздет догола и на целый час в таком виде, в колпаке с рожками на голове был посажен на невский лед. Головин схватил горячку и умер. Ему в то время было восемьдесят лет. В другой раз адмирал Головкин во время пиршества неосторожно заметил, что ему не очень нравится поданный к столу уксус. Это услышал Петр. Он схватил бутыль с уксусом и со смехом влил его в горло незадачливого адмирала.

Впрочем, даже такие дикие, варварские выходки выглядели невинными забавами по сравнению с гуляньями, устраиваемыми опьяневшими «соборянами» на улицах насмерть перепуганной Москвы. Оглашая вымершую и притихшую столицу пьяными криками и воплями, царева кавалькада носилась по городу, запряженная свиньями, собаками, козами и медведями. Так что тем, кому очень хочется увидеть в этом «соборе» чуть ли не глубоко продуманную сатиру по дискредитации

папства, стоит задуматься, есть ли в этой петровской затее что-либо, кроме дикого азиатского беспутства и обыкновенной животной необузданности.

Между тем вовсе не случайно в народе жили мрачные легенды о Петре как Антихристе, противнике Христа, который должен появиться на земле для борьбы против христианской церкви. Эти легенды передавались из уст в уста еще при жизни основателя Петербурга. Говорили, будто Господь, разгневанный на людей за их грехи и вероотступничество, отвернулся от чад своих. Воспользовавшись этим, на землю в образе Петра I явился Антихрист с градом своим, названным его именем, то есть Петербургом. Свершилось древнее пророчество. Антихрист колеблет веру, посягает на освященные церковью традиции, разрушает храмы, поклоняется иноземцам. И так будет до тех пор, пока народ не укрепится в вере, не сотрет с лица земли град его. Староверы называли Петра «окаянным, лютым, змееподобным, зверем, гордым князем мира сего, губителем, миру всему явленным, хищником и разбойником церковным, гордым и лютым ловителем». Но он не просто зверь, а «зверь двоеглавый», так как присвоил себе главенство и над церковью, и над государством. «Из чисел, связанных с его царствованием, — пишет историк Петербурга Николай Павлович Анциферов, — вывели „звериное число“ 666. Дела Петра — деяния Антихриста. Происхождение Петра от второй жены „тишайшего царя“ почиталось за блудное. Ему приписывались чудеса богомерзкие».

У фольклора действительно были все основания называть Петра «двоеглавым зверем». В 1721 году он отменил существовавшее на Руси с 1589 года патриаршество, заменив его Духовной коллегией, во главе которой стоял император. Этим актом он на два века вперед задал вектор развития государственного отношения к церкви. В дальнейшем даже по чисто формальным признакам церковь становилась одним из приводных ремней механизма государственного управления. Так, например, в проекте здания для размещения государственных коллегий, которых к тому времени было одиннадцать, была предусмотрена двенадцатая секция для Синода — ведомства, управлявшего церковными делами. Это здание до сих пор известно под именем Двенадцати коллегий. А когда в 1832 году на левом берегу Невы были выстроены два новых здания, отдельно для Сената и отдельно для Синода, то проект, разработанный Карлом Росси по указанию Николая I, предусматривал между ними величественную арку, которая должна была символизировать единство Церкви и Государства.

Между тем Петр при всей своей бесспорной религиозности не любил ни церковь, ни ее служителей, которых уничижительно называл «племенем монахов». В арсенале петербургского городского фольклора сохранилась легенда о том, как образовался излом Невского проспекта в районе современной площади Восстания. Невский проспект начали прокладывать одновременно с двух сторон. Со стороны Адмиралтейства работали пленные шведы и солдаты регулярной армии, а им навстречу со стороны Александро-Невской лавры с тачками, кирками и мотыгами шли лаврские монахи. Предполагалось, что они встретятся у Большой Новгородской дороги — будущего Лиговского проспекта, а обе части проспекта окажутся прямолинейным продолжением друг друга. Однако этого не случилось. Согласно старинным преданиям, при прокладке трассы ошиблись как те, так и другие, и Невский проспект оказался не прямым, а получил досадный излом. Говорят, Петр, узнав об этой ошибке, был так разгневан, что велел уложить всех монахов — а в их вине он ничуточки не сомневался — на месте образовавшегося излома и примерно высечь. Если верить легенде, царь лично присутствовал при экзекуции и старательно следил за правильным исполнением своего приговора.

Известно также, что Петр был крайне нетерпим к суевериям и боролся с ними

всеми доступными ему средствами. Частенько это приводило к открытым конфликтам с духовенством. Однажды во время его отсутствия в Петербурге разнесся слух, что в одной церкви на Петербургской стороне большой образ Богородицы проливает слезы. В великом множестве туда начал собираться народ. В толпе шептались, будто Матерь Божия недовольна царевыми реформами и что ее слезы предвещают великое несчастье новому городу, а может быть, и всему государству. Вот как рассказывает об этом один из первых русских академиков, проработавший в России более пятидесяти лет, Якоб Штелин: «Петр Великий, немедленно прибывши в Петербург, тотчас пошел в упомянутую церковь. Государь, рассматривая некоторое время образ весьма пристально, приметил нечто подозрительное. И скоро нашел в глазах у образа весьма малые и почти неприметные дырочки. Оборотивши доску и отодрав оклад, открыл обман и источник слез: а именно в доске против глаз у образа сделаны ямки, в которые положено было несколько густого деревянного масла. „Вот источник чудесных слез!“ — сказал государь. Каждый из присутствующих должен был подойти, видеть своими глазами сей хитрый обман».

Штелин литературно обработал услышанное от рассказчика. Изустная легенда, дошедшая до наших дней, более откровенна. Согласно ей, гнев императора, раскрывшего тайну плачущего образа, был неописуем. Он размахивал иконой Богородицы перед носом испуганного не на шутку настоятеля, приговаривая: «Если иконы еще раз заплачут маслом, ж... попов заплачут кровью».

Но не только борьба за людские души влияла на отношения церкви и государства. Насущные требования государства не всегда совпадали с церковными традициями. Возникали неразрешимые конфликты. Так, во время Северной войны многие церковные колокола по требованию Петра I были перелиты на пушки. Сохранился исторический анекдот о том, как монахи по окончании войны обратились к царю с петицией вернуть металл для восстановления колоколов. Петр на петиции будто бы написал: «Получите х...». Обиду церковники проглотили, однако когда Петр скончался, они бросились с той же петицией к Екатерине I. Императрица прочитала резолюцию почившего монарха, усмехнулась и, если верить фольклору, с милой улыбкой проговорила: «А я и этого дать не могу».

2

Непростая история отношения православного народа к церкви в Новое и Новейшее время как к институту, регулирующему повседневное поведение верующего христианина, корнями своими уходит в середину XVII столетия. В 1652 году новгородский митрополит Никон, в миру Никита Минов, становится московским патриархом. Никон начинает церковные реформы, которые далеко не всем на Руси пришлись по вкусу. В результате часть православных верующих отделяется от официальной церкви. На Руси появляются так называемые старообрядцы, или раскольники, не признающие никоновских реформ. Церковный собор 1666 года осудил Никона и лишил его патриаршества, однако формально русская церковь приняла начатые им преобразования. С тех пор русское православие раскололось на две неравные части. Возникло мощное церковное движение, вошедшее в историю под названием «раскол». Одна церковь, известная как никонианская, стала на Руси господствующей, другая, вошедшая в историю под именем старообрядческой, ушла в подполье и на протяжении двух с половиной столетий преследовалась как церковной, так и государственной властью.

В петровское время раскол стал знаменем антиреформаторских сил, противостоящих стремлению Петра I повернуть Россию лицом к Европе. Множество сле-

дов этого противостояния сохранилось в городском фольклоре. Известный уже нам Якоб Штелин в своих записках о России пересказывает исторический анекдот о том, как однажды, когда Петр, проводив гостей, возвращался через переднюю Летнего дворца в свои покои, какой-то незнакомец с мешком, сшитым из разноцветных лоскутков, преградил ему дорогу. Из мешка выпал длинный нож, завернутый в рогожу. Когда незнакомца схватили, Петр спросил у него, кто он такой и что собирался делать. «Убить тебя», — ответил тот. «За что? Разве я чем-нибудь тебя обидел?» — спросил Петр. «Нет, ты ничего худого мне не сделал, но сделал много зла моим единоверцам и нашей вере», — ответил злоумышленник, который оказался раскольником. «Хорошо, — сказал царь, — мы разыщем это. Отведите его теперь под караул и не делайте ему ничего худого, а завтра сам я расспрошу его обо всем».

О дальнейшей судьбе злоумышленника анекдот умалчивает. Можно только предполагать, какая судьба постигла несчастного во время пресловутого розыска. Впрочем, в других источниках нет вообще никаких упоминаний о попытке покушения раскольников на царя, однако действительно по указу Петра I все раскольники обязаны были носить на одежде особую мету: лоскут красного сукна с желтой нашивкой, по типу заплечного лоскутного мешка того легендарного раскольника. Такие отметины стали называть на Руси козырями. Они прочно вошли в петербургский фольклор и не только в легенды. В XIX веке Владимир Даль записывает пословицу: «Лоскут на ворот, а кнут на спину».

Известно, что преобразования, начатые Петром, коснулись всех сторон жизни человека, в том числе его одежды и внешнего вида. Укорачивались на европейский лад не только длиннополые кафтаны, но изменялись и лица русских людей. Под угрозой наказания царь приказывал резать бороды, традиционно считавшиеся на Руси не только принадлежностью свято верующего православного человека, но и исключительно важным для мужчины так называемым «вторым признаком пола». Появиться в деревне взрослому человеку с голым лицом считалось несмываемым позором и нестерпимым унижением. Между тем за ношение бороды вводился штраф, сумма которого чаще всего была непосильной для простых мужиков. В фольклоре сохранились поговорки того времени. И хотя с одной стороны говорили, что «Борода — лишняя тягота», а с другой — «Без рубля бороды не отрастишь», но была третья, самая непримиримая сторона, представители которой — раскольники — на дыбе могли крикнуть в лицо палачу: «Режь наши головы, не тронь наши бороды».

Преследование раскольников со стороны государства продолжалось вплоть до начала XX столетия. Первые признаки облегчения, почувствованные старообрядцами, появились только в 1905 году. Еще существовал формальный запрет на раскольничьи храмы, введенный при Николае I, но среди петербургского старообрядчества уже поговаривали, что «Николай опечатал, Николай и распечатает». И действительно, надежды на другого Николая — Николая II — оправдались. При нем и с его личного благословения в Петербурге на Тверской улице начали возводить первый в городе старообрядческий храм.

Тем не менее до сих пор существует старообрядческая традиция не жить поблизости от Петербурга, поскольку этот город считается проклятым. Известна легенда о нескольких раскольничьих семьях, которые невесть почему во время наводнения 1924 года оказались на братских могилах Марсова поля. «Очевидцы» рассказывают, что, стоя по пояс в воде, они громко молились, не скрывая радости, что «пришло наконец время исполниться предсказанию о гибели города, построенного Антихристом на болотных пучинах».

Как мы видим, известная терпимость к различным вероисповеданиям вовсе не предполагала снисходительного отношения государства к различным религиозным сектам, гонимым официальной церковью. Тут государство было полностью на стороне церкви. В этой связи представляет интерес история двух близких по идеологии друг к другу русских религиозных сект — хлыстовства и скопчества.

Принято считать, что секты так называемых духовных христиан, или хлыстов, появились в России в конце XVII — начале XVIII века. По одной из версий, название секты происходит от искаженного самоназвания сектантов — «христов», которые на радениях доводят себя до религиозного экстаза. Согласно легенде, первые ячейки хлыстов зародились среди кронштадтских моряков. Вот почему, если, конечно, верить фольклору, на языке хлыстов мелкая ячейка секты, состоящая, как правило, из двадцати-тридцати человек, называется «кораблем». Говорят, в состав первых сект входили не только нижние чины, но и офицеры. Руководитель ячейки назывался «корабельным мастером».

Впрочем, есть и другая версия возникновения названия «корабль». Будто бы в представлении самих сектантов морские суда, корабли являются символами «изоляционного характера» человеческой жизни. В пользу такого толкования говорит и другая специфическая лексика сектантов. Так, глава «корабля» на их языке называется не только «корабельный мастер», но и «кормчий», а рубахи, в которые хлысты обряжаются на своих радениях, — «паруса».

В XIX веке после официального церковного православия и старообрядчества, хлыстовство считалось третьей по количественному охвату своих последователей верой русского населения. В Петербурге хлыстовство имело широкое распространение во всех районах города, а имена лидеров сектантов вошли в городской фольклор. В системе иерархического чинопочитания им придавался самый высокий статус. Так, Петра Обухова из Новой Деревни называли «Новодеревенским Христом», а хлыстовку Дарью Смирнову — «Охтинской Богородицей».

Расцвет хлыстовства в Петербурге пришелся на последнее так называемое «Мистическое десятилетие» царствования Александра I. В это время в обществе обозначилась заметная склонность к мистицизму и суеверию. В мистицизме был замечен даже сам император. Он и в самом деле был вовлечен в масонскую ложу и в течение десяти лет был ее членом. В Петербурге говорили о его тайных посещениях домовой церкви князя А. Н. Голицына — обер-прокурора Синода, министра народного просвещения и личного друга государя. Церковь была более чем странной. Ее внутреннее убранство, исполненное архитектором А. А. Витбергом, имело таинственный, мистический характер. Отсутствие дневного света, темные ступени притвора, подобия гробов, расставленные в молельнях, лампы красного стекла в виде кровоточащих сердец — все это как бы символизировало духовную тьму падшего человека и надежду на просветление и благодать.

Сохранилось предание о происходивших в этой церкви тайных хлыстовских радениях под руководством некоего старца Федора. Только после того, как Голицын обнаружил, что святой старец является «орудием какого-то тайного политического общества, старца по его указанию будто бы завлекли в вырытую ночью перед домом глубокую яму, где и засыпали живого землею».

Не прошло и нескольких десятилетий, как во второй половине XVIII века в России возникла новая религиозная секта скопцов. В основе вероучения секты лежало утверждение, что единственным условием спасения души является борьба с плотью путем оскопления. Широкому распространению скопчества на Руси способствовала легенда о таинственном конце царствования Елизаветы Петровны. Будто бы она была на троне только два года. Затем, передав правление любимой

фрейлине, похожей на нее внешне, переоделась в нищенское платье и ушла из Петербурга. Где-то в Орловской губернии она встретилась с «людьми божьими и познала истинную веру». Елизавета Петровна поменяла имя на Акулину Ивановну и осталась жить со скопцами.

Как сказано в легенде, сын ее — Петр Федорович — был оскоплен еще в то время, когда учился в Голштинии. Вот почему, продолжает легенда, по возвращении в Петербург и женитьбе на будущей русской императрице Екатерине II он не мог выполнять супружеские обязанности, о чем без устали судачили не только во дворце, но и во всем Петербурге. Несколько забегая вперед, скажем, что, по той же легенде, будучи свергнутым своей супругой Екатериной, арестованным и сосланным в Ропшу, Петр Федорович, в то время уже Петр III, сумел поменяться одеждой со своим караульным, тоже скопцом, и сбежал из-под ареста к Елизавете Петровне, то есть Акулине Ивановне. Там он якобы назвал себя Кондратием Селивановым и таким образом стал «отцом-основателем русского скопчества».

Для большей достоверности всей этой невероятной истории были использованы петербургские скопцы. По их утверждению, им будто бы удалось обратить в свою веру бывшего лакея Петра III Кобелева, который подтвердил, что «Селиванов действительно император и что он его сразу узнал, как только увидел».

Легенды о Петре Федоровиче в петербургском городском фольклоре постоянно переплетаются с легендами о Кондратии Селиванове и даже с легендами о Пугачеве. Так, например, в народе ходили слухи, что все эти три лица суть одно и то же, что это Спаситель, который вырос у немцев, а затем пришел к нам царствовать под именем Петра III. А потом уже после чудесного спасения скрывался под разными именами, в том числе и под именем Емельяна Пугачева.

Между тем подлинный Кондратий Селиванов продолжал называть себя то Петром III, то Иисусом Христом. По указанию Павла I он был разыскан и доставлен в столицу. По некоторым сведениям, «император довольно долго и тихо говорил с ним в кабинете».

В Петербурге Селиванов жил до 1820 года. Свободно проповедовал и, как утверждают, принимал у себя многих высокопоставленных персон, вплоть до обер-прокурора Синода, личного друга Александра I — князя Голицына. Да и сам император, по некоторым легендам, накануне Аустерлицкого сражения имел с Селивановым продолжительную беседу, во время которой тот предсказал ему поражение. По другому преданию, в 1812 году Селиванов «лично благословил своего „внука“ Александра I на войну с Наполеоном».

Запрет на деятельность скопцов в Петербурге появился неожиданно. Едва столичный генерал-губернатор Милорадович узнал, что его племянника, поручика гвардейского полка Алексея Милорадовича будто бы по его личному согласию вот-вот готовы оскопить, как тут же добился у императора высылки Селиванова и запрета его секты.

Легенды, напоминающие о скопцах, нет-нет да появляются и сегодня. На Троицком поле, что вблизи проспекта Обуховской Обороны, недалеко от Троицкой церкви в свое время были выстроены дома для рабочих. Вскоре в обиходной речи они приобрели прозвище «корабли». Сохранилась легенда о том, что во время наводнения 1924 года они как бы всплыли, а затем, как только вода спала, встали на свои прежние места. Но есть и другая легенда об этих домах. Будто бы здесь некогда обитали многочисленные секты скопцов, благодаря чему эти дома в народе и стали называть «кораблями».

В известной степени последователем Селиванова можно признать Екатерину Филипповну Татаринову. Она родилась в 1783 году. Урожденная баронесса фон

Буксгевден, Татаринова блестяще окончила Смольный институт, знала несколько иностранных языков. Вышла замуж за армейского офицера Татаринова, который после нескольких ранений, полученных в Отечественную войну 1812 года, вышел в отставку и удалился в Рязань, отказавшись при этом взять с собой свою семью.

Оставленная мужем, Екатерина Филипповна ударилась в религиозность, а после того, как в 1816 году поселилась в Михайловском замке, основала сектантскую мистическую секту, близкую по духу к селивановским хлыстам. В Петербурге их иногда называли «Русскими квакерами». Как и последователи английских и американских протестантских сект квакеров, они отвергали церковные обряды и всю религиозность сводили к хорошо отлаженным и строго соблюдаемым домашним ритуалам.

Страстная вера и личное обаяние Татариновой привлекали к ней людей самого различного социального статуса. К ней благоволил император Александр I. Кружок Татариновой посещали министры и генералы, высшие сановные чиновники и даже сам президент Академии художеств.

О способности Татариновой предсказывать будущее ходили легенды. Говорили, что она умоляла Александра I не ездить в Таганрог, так как ей стало известно пророчество о его скорой кончине именно в этом городе. Будто бы накануне восстания декабристов в кружке Татариновой появилось и другое пророчество: «Что же делать, как же быть, Россию надо кровью омыть». Было якобы предсказано и польское восстание 1831 года.

В связи с передачей Михайловского замка Инженерному училищу Татаринова, как, впрочем, и все другие временные жильцы замка, была выселена из квартиры. Но она продолжала принимать сектантов и пророчествовать на новой квартире, в 1-й роте Измайловского полка. Однако в правительственных кругах назревал протест против благодушия чиновников к деятельности Татариновой. Наконец в 1837 году последовало распоряжение Бенкендорфа о закрытии ее кружка и запрещении ей самой жить в Петербурге. Татаринова была выслана под строгий надзор в Сретенский монастырь города Кашина Тверской губернии. Многие вспоминают, как перед самым арестом Екатерина Филипповна произнесла свое последнее пророчество: «Крышу раскрою, посрамлю, разошлю...» Что это могло означать, знали, вероятно, только посвященные. Но в фольклоре эти туманные слова связали с закрытием секты и арестом ее лидера.

3

Строго говоря, масонство сектой в буквальном понимании этого слова назвать нельзя, так как масонство не является отпавшей или отделившейся частью какой бы то не было религии, в том числе христианства. Масонство не является также и каким-либо религиозным институтом. Однако сразу после своего возникновения оно встретило сопротивление со стороны всех официальных религий. В основе такого негативного отношения лежало ложное представление о том, что главной задачей масонства является уничтожение всякой религии как таковой, особенно христианства. Хотя на самом деле это не так. Как утверждают масонские уставы и инструкции, основной обязанностью каждого масона является нравственное самосовершенствование и духовный рост в рамках той религии, которую тот исповедует. Вот почему рассказ о судьбах русского масонского движения в преломлении петербургского городского фольклора мы включили в настоящий очерк.

Появление первых масонских, или, по-французски, франкмасонских, лож в Петербурге исследователи относят к концу 1740-х годов. К середине XVIII века их,

как уверенно утверждают литературные источники, «было уже немало». С 1787-го по 1822 год, когда императором Александром I они были официально запрещены, в столице насчитывалось до двадцати различных масонских лож. Все они имели замысловатые экзотические названия. Существовали такие ложи, как «Розенкрейцерская», «Умирающего сфинкса», «Пламенеющих друзей», «Великая ложа Астрея» и так далее.

В фольклоре же появление масонства в России вообще и в Петербурге в частности связано с именем Петра I. Еще в бытность свою в Москве Петр тесно сблизился с «ярым католиком» шотландцем Патриком Гордоном и немцем Лефортом, давшим свое имя знаменитой московской немецкой Лефортовой слободе, или Кокую, как ее называли в народе. И Лефорт, и Гордон, как считают историки, принадлежали к одной масонской ложе. В народе не без оснований верили, что именно они внушили царю лютую ненависть ко всему московскому и безграничную любовь ко всему иноземному, вплоть до католических церковных обрядов, что русскому православному государю было, как считает историк Сергей Платонов, и вовсе не прилично.

Председательствовал Лефорт и в тайном, так называемом «Нептуновом обществе», открытом в Москве в Сухаревой башне. Было это общество масонским или каким-либо иным, историкам выяснить так и не удалось, но среди москвичей того времени ходили упорные слухи о некой «черной книге», которая там была замурована в стену и «заколочена алтынными гвоздями. Охраняли ту книгу, как утверждают московские легенды, двенадцать нечистых духов.

По питерским преданиям, первая масонская ложа была основана царем в Кронштадте, после его возвращения из заграничного путешествия 1717 года, хотя, надо признаться, первые документальные свидетельства о масонских ложах в России относятся к 1731 году, когда после смерти основателя Петербурга прошло уже более пяти лет. Но в фольклоре считается, что именно Петр вывез тогда из Европы масонский статут. Может быть, поэтому у русских масонов в XVIII веке Петр I пользовался необыкновенным уважением. На своих собраниях они даже распевали «Песнь Петру Великому», сочиненную Державиным.

Отношение русской официальной власти к масонству было неоднозначным. Его то разрешали, то запрещали. Не жаловали масонов и в простонародной среде. Молва утверждала, что на их собраниях творится что-то нечистое. Слово, производное от «франкмасона», «фармазон» очень скоро превратилось в откровенное ругательство. Правда, это связано еще и с тем, что доступ в масонские ложи был строго ограничен и оговаривался многочисленными условиями, среди которых не на последнем месте были древность рода, высокое общественное положение и богатство.

Среди петербургских масонов встречаются имена видных общественных и государственных деятелей, крупных военных чиновников и даже членов царской фамилии. Как мы уже говорили, если верить фольклору, император Александр I чуть ли не в течение десяти лет был членом одной из масонских лож. По другому преданию, император Павел I еще в бытность свою наследником престола был «келейно принят в масоны» сенатором И. П. Елагиным. Елагин считался одним из виднейших деятелей русского масонства. О нем говорили самые невероятные вещи. Даже после своей смерти Елагин оставался в центре внимания городского фольклора. Так, легенды утверждают, что при вскрытии его склепа в Александро-Невской лавре могила сенатора оказалась пустой.

С именем Елагина связано имя еще одного всемирно известного масона — Джузеппе Калиостро. Эта личность заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько

слов. Калиостро — далеко не единственное имя прославленного авантюриста XVIII века. Он был сыном бедных родителей, и звали его Джузеппе Бальзамо. Однако в Европе он широко известен под самыми различными именами: Тискио, Мелина, Бельмонте, Пеллегрини и некоторыми другими. И хотя официальная церковь характеризовала его как мошенника, шарлатана и развратника, его популярность в Европе была исключительно велика. Его бюсты украшали многие аристократические салоны, а его изображения в то время можно было увидеть на дамских веерах, табакерках, носовых платках, перстнях, кофейных чашках. Французский король изгнал его из Франции, Калиостро уехал в Лондон, откуда предсказал штурм Бастилии и гибель французской королевской семьи на гильотине.

Жизнь «великого мага», как называли его современники, овеяна самыми невероятными легендами. По одним из них, он жил еще во время Всемирного потопа и спасся от гибели исключительно благодаря библейскому Ною, который взял его на свой ковчег. По другим, Калиостро был лично знаком с Моисеем и Александром Македонским, беседовал с Иисусом Христом и даже присутствовал на Голгофе при его казни. Но сам он скромно утверждал, что родился от великого магистра Мальтийского ордена и трапезундской княгини.

В Россию Калиостро приехал в 1780 году, будто бы по совету другого знаменитого французского авантюриста графа Сен-Жермена. В Петербурге он скромно представился «гишпанским полковником», врачом, графом Фениксом. В высшем петербургском свете Калиостро появился в черном одеянии, расшитом золотыми иероглифами, и в уборе древнеегипетского жреца.

Известно, что в то время как Екатерина II была к нему исключительно холодна, ему покровительствовал всесильный князь Григорий Потемкин. Калиостро удалось снискать уважение и многих других петербургских сановников. Если верить легендам, он был своим человеком у графа Строганова, во дворце которого занимался поисками философского камня. Затем долго жил в доме И. П. Елагина на Елагином острове. Там будто бы по его совету глубоко под павильоном Пристань был устроен секретный зал, куда из Елагина дворца вел подземный ход. Зал якобы предназначался для тайных масонских собраний. Говорят, вблизи этого павильона Калиостро предсказал и гибель Российской империи, «увидев однажды в Неве ее обреченный лик».

Общественная карьера Калиостро в России закончилась неожиданно. Однажды он взялся вылечить безнадежно больного ребенка, а когда тот, не выдержав методов лечения шарлатана, умер, долго скрывал его смерть от родителей, продолжая «опыты» по оживлению уже умершего мальчика. Екатерина II воспользовалась этим чудовищным случаем и приказала немедленно выслать Калиостро за пределы страны. Правда, согласно некоторым легендам, это произошло по другому поводу. Будто бы ревнивой императрице стало известно о любовной связи хорошенькой супруги Калиостро Лоренцо с князем Григорием Потемкиным. Так или иначе, Калиостро вместе с женой погрузили в кибитку и тайно вывезли в Митаву. А в Петербурге распространились слухи, будто бы Калиостро проехал одновременно через все «пятнадцать столичных застав», всюду оставив свою личную роспись.

Но и на этом приключения Калиостро в России не закончились. Многие мистики утверждают, что на рубеже XIX и XX веков Калиостро вновь появился в Петербурге под именем мага Сегира.

Не забывают Калиостро и современные легенды. Они утверждают, что в зеркалах Елагина дворца и сегодня время от времени появляется таинственная тень графа с масонскими символами в руках — молотком и треугольником каменщика. Если кому-то удается с ним встретиться глазами, то в зеркале можно увидеть, как

Калиостро поднимает руки вверх, к небу, на миг застывает в этой загадочной позе, затем поворачивается и медленно исчезает.

Свою земную жизнь Калиостро закончил в мрачных застенках европейской инквизиции. Кроме чародейства, магии и алхимии, его обвиняли в крупной афере с бриллиантовым ожерельем королевы Марии Антуанетты. 28 августа 1795 года, после восьми лет тюремного заточения, Калиостро умер. По одной легенде, он был задушен палачами, по другой — был отравлен.

Между тем в 1822 году вышел указ Александра I о запрещении масонских лож. В 1826 году он был подтвержден новым императором Николаем I, после чего масонство как общественное явление в Петербурге вроде бы исчезло. Во всяком случае, официально.

Если судить по некоторым сообщениям средств массовой информации, ныне масонское движение в России вновь возрождается. В Москве будто бы официально существует масонская ложа со всеми внешними атрибутами и символами Великого Архитектора Вселенной — циркулем, молотком каменщика, фартуком и другими предметами масонского культа.

4

Падение монархии в результате Февральской революции было с ликованием встречено практически всеми слоями петербургского общества. Даже церковь, если верить фольклору, на первых порах заигрывала с новой властью. Рассказывают, как некий дьякон во время богослужения дошел до привычных слов: «Господи! Силою твоею возвеселится царь». Но вспомнив, что царь только что отрекся, смутился, и, сразу сориентировавшись, ничтоже сумняшеся провозгласил: «Господи! Силою твоею возвеселится Временное правительство».

Впрочем, прошло чуть более полугода, как Октябрьская революция все расставила по своим местам. Временное правительство было свергнуто. Власть захватили воинствующие атеисты. Церкви напомнили о ее месте в жизни нового общества. Появились указы о ее отделении от государства. Формально народ действия большевистского правительства поддержал. У народа, по сути своей глубоко религиозного, были серьезные претензии к духовенству. На этот счет есть свидетельства фольклора:

Вот поп с кадилою идет,
И он такую речь ведет:
«Товарищи, я тоже за Совет», —
А пролетарии ему в ответ:
«Алеша-ша!
Возьми полтона ниже,
Брось кадило раздувать!
Эх, не подсаживайся ближе —
Петрограда не видать».

Наполняются новым, богохульным содержанием и частушки тех лет, хотя их смысл не всегда понятен даже самим исполнителям:

Ванька с Питера приехал,
Новостей много привез:
Вскрыли Невского святыню,
Огорчив попов до слез.

* * *

Никаких святых не стало,
Бог уехал в Петроград,
Богородица осталась
На молоденьких ребят.

Церковь пыталась сопротивляться. Рассказывают, что появилось даже церковное песнопение, которое на первых порах исполнялось в некоторых петроградских церквах. Акафист будто бы начинался словами: «Ужасайся, темную массу привлекающий...» — и заканчивался: «О прегадкий и премерзкий Ленине».

Очень скоро началось тотальное изъятие церковных ценностей, по сути своей более похожее на откровенный грабеж, чем на государственную конфискацию. Несмотря на мощное пропагандистское обеспечение этой акции, производимой якобы для нужд голодающего трудящегося населения, оценки ее в низовой культуре отличались полным единодушием. Вот как расшифровывались в фольклоре фамилии крупнейших деятелей революции, превращенные в обыкновенные аббревиатуры, которые якобы использовали в своих телеграммах друг к другу вожди революции. ТРОЦКИЙ — Ленину: «Трудное Ограбление Церквей Кончено. Исчезаю. Исчезаю»; ЗИНОВЬЕВ — Троцкому: «Зачем Исчезать. Нужно Ограбить Все, Если Возможно»; ЛЕНИН — Троцкому: «Лева, Если Награбил, Исчезай Немедленно».

Гонения против священнослужителей приобретали все более массовый характер. Среди верующих ленинградцев долгое время бытовала страшная легенда о заживо погребенных на Смоленском кладбище сорока священниках Ленинградской епархии. В 1920-х годах их якобы привезли сюда, выгрузили на краю вырытой ямы и велели «отречься от веры или ложиться живыми в могилу». Три дня после этого, рассказывает легенда, шевелилась земля над могилою заживо погребенных, и в ветвях кладбищенских деревьев слышался скорбный плач по погибшим. Затем люди будто бы видели, как упал на то место божественный луч, и все замерло. Этот участок Смоленского кладбища до сих пор привлекает внимание необычным убранством. Здесь можно увидеть зажженные свечи, бумажные цветы, ленточки, записки и «нарисованные от руки плакаты».

Буквально на другой день после октябрьского переворота большевики с присущим им цинизмом продемонстрировали народу свое отношение к культурным ценностям. Были назначены специальные комиссары по защите музеев и художественных коллекций. Чем это обернулось для страны на самом деле, стало понятно уже через несколько месяцев. 12 апреля 1918 года был обнародован ленинский план монументальной пропаганды, который прямо и недвусмысленно призывал к уничтожению памятников. Декрет Совнаркома так и назывался: «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции». Ретивые большевистские комиссары на местах поняли это как прямое указание к действию. Тысячи скульптурных и архитектурных памятников старины были снесены только потому, что они не укладывались в рамки большевистской идеологии. Церкви и монастыри разрушались, становясь строительным материалом для возведения новых сооружений. В народе это получило хлесткое обозначение: «Производство кирпича по системе Ильича».

Ленинградцы как насмешку над здравым смыслом расценили создание в городе Государственной инспекции по охране памятников, хорошо известной по аббревиатуре ГИОП. С ее молчаливого согласия, а то и вообще без ее ведома церковные здания продолжали превращаться в руины. В них устраивали склады театральных декораций и овощехранилища, передавали для размещения в них секретных кон-

структорских бюро и воинских хозяйственных подразделений, подвергались разорению и перестройкам в угоду сиюминутным административным нуждам. Об отношении общественности к деятельности инспекции можно судить по ругательству, невольно вырывавшемуся из уст ленинградских интеллигентов, узнавших об очередной безвозвратной художественной утрате: «Гиоп твою мать» — и фольклорному прозвищу этого пресловутого учреждения: «Архиломсносплан».

Большевики делали все возможное, чтобы отвлечь народ от религии. Мировоззрение, складывавшееся веками, было перевернуто с ног на голову и извращено. Однако не все удавалось. Когда Казанский собор превратили в Музей истории религии и атеизма, на его фронтоне повесили лозунг «Религия — опиум для народа». На открытии присутствовал Горький. Согласно одной легенде, он спросил у случайно оказавшегося рядом красноармейца, знает ли он, что такое опиум. «Знаю, — уверенно ответил тот, — это лекарство». Это из жизни простого народа. А вот легенда из жизни питерской интеллигенции. В 1920-х годах, когда религия была под запретом, на Пасху интеллигенты выходили на улицу и, встречаясь друг с другом, обменивались восклицаниями: «Крестовский остров!» — «Васильевский остров!» На тайном языке того времени это означало: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!»

5

Самые драматичные, а порой и трагические судьбы складывались в послереволюционное время у церквей, пользовавшихся наибольшей популярностью в народе. Это не удивительно. Чаще всего это были храмы, возведенные на народные пожертвования в память о погибших воинах или жертвах террора. Может быть, поэтому в городском фольклоре о них сохранилось так много легенд и преданий.

В 1911 году по старинной традиции память погибших в Русско-японской войне была отмечена строительством на набережной Ново-Адмиралтейского канала церкви во имя Происхождения Честных Древ Креста Господня и Святителя Николая Чудотворца. Церковь строилась на деньги, собранные по всей России. В народе храм называли «Церковью Христа Спасителя», «Спасом на водах» или «Цусимской церковью». Храм был задуман не только как памятник, но и как «символ братской могилы для погибших без погребения героев-моряков» Русско-японской войны 1904–1905 годов. Церковь строилась по проекту архитектора М. М. Перетятковича. Спас на водах считался одним из красивейших храмов города. В его оформлении принимали участие такие известнейшие художники, как В. М. Васнецов, Н. А. Бруни, В. М. Микешин и другие. Церковь украшали мозаики, среди которых самым почитаемым прихожанами был мозаичный пласт с изображением лика Иисуса Христа.

Возведенная в ретроспективном стиле, церковь напоминала древнерусский белокаменный храм Покрова Богородицы на Нерли. Говорят, на этот прототип указала архитектору греческая королева Ольга Константиновна, возглавлявшая Комитет по увековечению памяти моряков. На внутренних стенах храма были укреплены бронзовые доски с именами двенадцати тысяч погибших моряков — от рядовых до адмиралов. «Летописью ужаса» называли этот скорбный список в Петербурге. Над досками висели копии судовых икон и были начертаны названия кораблей.

После революции храм несколько раз закрывали. Наконец в 1932 году его просто взорвали. Сценарий уничтожения храма тщательно разработали в кабинетах Смольного. В день сноса храма предполагалось устроить настоящий городской праздник. Очевидцы рассказывают, что на противоположной стороне Невы, на Ва-

сильевском острове, был сооружен специальный деревянный помост, откуда руководители города наблюдали за гибелью «символа старого режима». Согласно одной из городских легенд, доски с именами погибших предварительно были сброшены в Неву. Правда, по другой легенде, местные жители собирали разбросанные взрывом осколки мемориальных бронзовых плит и прятали их по домам. Одну из этих досок, говорят, еще долго можно было увидеть в магазине вблизи Большого дома. На ней разделывали мясные туши. Согласно той же легенде, камни разрушенного храма пошли на строительство Большого дома.

Рассказывают, что во время взрыва мозаика с изображением лика Христа в целости сорвалась со стены и упала в воды Ново-Адмиралтейского канала. Согласно преданиям, глаза Спасителя еще долго укоризненно и печально глядели со дна канала в небо.

В настоящее время разработан проект восстановления мемориального храма.

Трагическая очередь дошла и до знаменитого кронштадтского Морского собора. Это самое грандиозное островное сооружение. Морской собор построен в 1901–1913 годах по проекту архитектора Василия Антоновича Косякова. Он расположен в центре города на Якорной площади. Возведенный по образцу собора Святой Софии в Стамбуле, он хорошо виден издалека. Собор организовал и упорядочил панораму Кронштадта и сделал ее необыкновенно яркой и выразительной. В ясную безоблачную погоду семидесятиметровым силуэтом собора можно любоваться из Петербурга. Особенно впечатляет купол собора, диаметр которого составляет более 26 метров. «Морской короной Петербурга» любят называть его петербуржцы.

В советское время собор был закрыт. Вскоре после подавления знаменитого Кронштадтского восстания собор будто бы решили взорвать и раз и навсегда покончить с религиозным дурманом на мятежном острове. Под фундамент собора заложили несколько тонн взрывчатки, подожгли фитиль. Громадная масса храма медленно приподнялась над землей, на мгновение застыла в воздухе и на глазах изумленной толпы, как рассказывает легенда, медленно опустилась на прежнее место. Может быть, это была ошибка взрывников, может быть, вмешательство небесных сил. Однако собор больше не трогали. Его превратили в гарнизонный матросский клуб.

Но, как свидетельствует городской фольклор, не все сходило коммунистам с рук. Согласно одной легенде, на танцевальном вечере, устроенном революционными моряками Кронштадта в соборе, пьяный матрос решился пригласить на танец девушку. Та, видя его состояние, отказалась. «Хорошо, — вызывающе проговорил матрос, — тогда я найду себе другую пару». С этими словами он сорвал со стены икону Богородицы и «пустился с нею в непристойный пляс». Помните залихватскую частушку о Богородице, которая «осталась на молоденьких ребят»? Однако не все так просто. Внезапно пляшущий матрос на глазах у всех свалился замертво. Смерть его, как рассказывают, была страшна и «произвела впечатление» на окружающих.

В последние годы в соборе шли долгие, а по мнению верующих, слишком долгие восстановительные работы. Передача храма православной церкви затягивалась и затягивалась. Это обстоятельство, как утверждают прихожане, не раз приводило к событиям совершенно непредсказуемым. Казалось, напоминали о себе некие необъяснимые мистические силы, которые таким образом мстили за долгие годы надругательства над храмом. Так, например, только на третий раз удалось установить крест на купол собора. Первый раз, когда все было уже почти готово, неожиданно «закончилось финансирование». Через шесть лет, в августе 2002 года, крест был уже подвешен к вертолету, и оставалось только подвести его к куполу и

закрепить. Но вдруг при подлете к куполу оборвался трос, и позолоченный крест размером семь на четыре метра и весом более двух с половиной тонн рухнул на землю. При падении крест развалился на множество частей и стал вообще непригодным к использованию.

Наконец в 2005 году началась передача Морского собора церкви, и сразу, как утверждает фольклор, случилось чудо: сами по себе стали проявляться лики святых на фасаде храма, некогда замазанные штукатуркой и тщательно закрашенные.

Как известно, 1 марта 1881 года в результате от рук террористов погиб император Александр II. В тот же день на набережной Екатерининского канала, вокруг места, где произошло чудовищное убийство, был установлен забор и поставлен часовой. На другой день, 2 марта 1881 года, Петербургская городская дума на своем чрезвычайном заседании постановила просить нового императора Александра III «разрешить городскому общественному управлению возвести часовню или памятник». На это император ответил: «Желательно бы иметь церковь, а не часовню». Но первоначально все-таки установили часовню, в которой ежедневно служили панихиду по убиенному императору. Часовня была возведена по проекту архитектора Н. Л. Бенуа.

Одновременно был объявлен конкурс на создание храма-памятника. В конкурсе участвовали крупнейшие архитекторы того времени. Победителем оказался архитектор Альфред Александрович Парланд. Дальнейшую работу он вел совместно с другим архитектором — архимандритом Троице-Сергиевой пустыни Игнатием, в миру И. В. Малышевым.

Идея создания храма-памятника царю-освободителю и мученику стала заветной мечтой отца Игнатия сразу же после трагического покушения. Уже 25 марта он сделал наброски плана фасада, а затем, по преданию, с помощью набожной княгини Александры Иосифовны довел до сведения царя, что ему во сне будто бы явилась Богоматерь и показала «главные основы храма».

Закладка храма состоялась 6 октября 1883 года, освящен же он был почти четверть века спустя — в 1907 году. Собор, созданный «в русском стиле», украшен мозаичными панно, выполненными по рисункам В. М. Васнецова, М. В. Нестерова и других известных художников. Внутри храма, над сохраненным в неприкосновенности фрагментом набережной Екатерининского канала с частью решетки, плитами тротуара, булыжниками мостовой, на которые упал, истекая кровью, царь-освободитель, соорудили специальный навес на колоннах, или сень. Народная молва утверждает, что до сих пор, если подойти к этому своеобразному мемориалу, можно услышать стоны невинно убиенного государя. В начале XX века в Петербурге сложилась необычная традиция. Посетители бросали на фрагменты мостовой монетки.

Мемориальный характер собора подчеркнут и другими любопытными архитектурными особенностями. Так, например, высота храма от его пола до верхней точки креста над куполом составляет ровно 81 метр — число, дважды, если читать слева направо и справа налево, входящее в состав даты 1881 — года гибели царя, освободившего народ от крепостного права. Следует напомнить читателю и то, что в обиходной письменной или разговорной речи сокращением до двух последних цифр в России всегда пользуются для обозначения текущего или какого-либо другого упоминаемого в разговоре года. Так что цифра «81» по замыслу строителей храма должна всегда вызывать точные и недвусмысленные ассоциации.

И еще одна немаловажная деталь. До революции в соборе не совершались никакие церковные службы. Здесь не крестили младенцев, не отпевали умерших, не венчали молодоженов. Здесь совершались только ежедневные поминальные мо-

литвы и произносились проповеди. Ритуальные службы начались только после 1923 года, когда собор на короткое время получил статус кафедрального.

За время советской власти мемориальный собор успел побывать и свалкой мусора, и складом театральных декораций, и даже моргом. Во время блокады под своды собора свозили трупы с городских улиц. В 1920–1930-х годах в храме было устроено овощехранилище. Ленинградцы вспоминают, что в то время собор называли «Спас на картошке».

С Воскресенским собором, или «Храмом на крови», как называют этот мемориальный храм в народе, связана удивительная легенда о долговечности и устойчивости власти. С некоторых пор эта тема стала в Петербурге традиционной. Впервые она обозначилась в городском фольклоре еще во второй половине XIX века в связи с постоянными ремонтами и подновлениями Исаакиевского собора. Известно, что даже после освящения собора строительные леса вокруг него не снимали. Они стояли так долго, что в народе начали связывать их с прочностью и устойчивостью монархии. Как только начнут снимать леса со стен Исаакиевского собора, говорили в Петербурге, так тут же падет династия Романовых. И действительно, леса начали разбирать не то в конце 1916-го, не то в самом начале 1917 года, едва ли не накануне отречения Николая II от престола. Затем эта щекотливая тема надолго выпала из поля зрения фольклора.

Но вот в 1970-х годах, после полувека поистине варварского глумления над мемориальным храмом, вокруг Спаса на крови появились строительные леса. Началась его реставрация. В соборе предполагалось открыть музей керамики и майолики. Но, как обычно это бывает, работы затянулись. Сначала на пять лет. Потом — на десять. На пятнадцать. К строительным лесам привыкли. Они стали достопримечательностью Ленинграда. Их непременно показывали иностранным туристам, вот, мол, как заботится советская власть о памятниках церковной архитектуры. Леса попали даже в стихи и песни. Наконец появились весьма осторожные в ту пору предсказания. Мол, стоять советской власти до тех пор, пока стоят леса вокруг Спаса на крови.

Леса разобрали едва ли не накануне августовских событий 1991 года в Москве, когда советская власть наконец пала. Может быть, именно эту дату и имеет в виду проницательный городской фольклор в одной из самых невероятных легенд Спаса на крови? Если верить этой легенде, на одной из икон при желании можно разглядеть все роковые и поворотные даты российской истории: 1917... 1941... 1953... «И еще какая-то дата, — загадочно добавляет легенда, — да вот непонятно какая».

Пик оголтелого глумления над церковными сооружениями пришелся на 1930-е годы — годы наивысшего расцвета антирелигиозной пропаганды. В 1938 году был закрыт для верующих Троицкий собор в Измайловской слободе. Если верить городскому фольклору, он был предназначен к перестройке под крематорий. Реализации этого чудовищного замысла помешало только начало Великой Отечественной войны, когда на реализацию таких проектов просто не хватало ни сил, ни средств.

В 1932 году была закрыта старинная Владимирская церковь, построенная еще при Елизавете Петровне. Ее передали Публичной библиотеке для книгохранилища. Верующим церковь возвратили только в 1990 году. Все эти годы библиотечным служащим время от времени являлся призрак расстрелянного священника с запекшейся кровью на ризе. Призрак молча проходил сквозь «оцепеневших от ужаса людей в направлении осквернённого алтаря» и только затем полностью растворялся в воздухе.

В марте 1936 года была закрыта церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины на Съездовской линии Васильевского острова. Здание перестроили и разместили в нем государственные учреждения. В народе церковь называли «Оспенной», так как ее посещали больные оспой. По преданию, ее перенесли сюда с Гаванского поля, где она первоначально стояла. В 1809 году церковь сгорела, и на ее месте в 1811–1823 годах возвели новую по проекту архитектора А. А. Михайлова-второго.

Мощный купол церкви, который доминирует над окружающей застройкой и хорошо виден с моря, увенчан фигурой ангела, как бы приветствующего поднятой над головой рукой входящие в Неву корабли. В свое время ангел держал в руках крест. Затем крест был утрачен, и ангел с пустыми руками стал напоминать юного школьника, пионерским салютом приветствующего окружающих. В народе его так и называют: «Пионер» или «Ангел — пустые руки». Еще он известен под именем «Черный ангел». Говорят, что когда-то фигура ангела была выкрашена в серебряный цвет и невесть по какой причине кем-то была перекрашена в черный. Это один из трех ангелов, от которых, если верить фольклору, зависит благополучие Петербурга. Напомним, что Петербург, согласно городской фольклорной традиции, охраняют три ангела: на шпиле собора Петра и Павла в Петропавловской крепости — золотой, на вершине Александровской колонны в центре Дворцовой площади — бронзовый и на куполе василеостровского Екатерининского собора — серебряный. Но охраняют будто бы при одном непременном условии. Город должен постоянно следить за их первоначальным состоянием.

В 1930 году снесли часовню Святителя Николая Чудотворца, установленную в 1854 году по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера на развилке Благовещенского моста со стороны Васильевского острова. Снесли будто бы в связи с предполагаемой установкой на этом месте памятника герою первой русской революции лейтенанту Шмидту. В народе часовню называли «Николай на мосту». В советское время ее превратили в кладовку для хранения метел, лопат, ломов и другого инструмента мостового уборщика. В предвоенном Ленинграде жила легенда о посещении этой часовни самим святителем Николаем. Зашел как-то в светлый праздник Пасхи в свою кладовку старичок уборщик метлу поставить, а в часовне все прибрано, и на том месте, где недавно была икона святого Николая, — образ Богородицы, а перед ним на коленях молится «ветхий-ветхий батюшка». Присмотрелся уборщик и видит: «батюшка как-то светится, словно он из лучей весь соткан». «Святителю отче Николае, — кинулся в ноги ему сторож, — моли Бога за нас, грешных!» Улыбнулся будто бы Чудотворец, благословил старика и исчез. Ленинградцы шепотом передавали легенду из уст в уста. И на что-то надеялись.

Собирались закрыть, а затем и снести церковь во имя Входа Господня в Иерусалим, более известную в народе как Знаменская, что стояла на углу Невского и Лиговского проспектов. Она была закончена строительством и освящена в 1804 году и с тех пор более ста лет служила архитектурной доминантой этого оживленного перекрестка. Возводилась церковь по проекту архитектора Ф. И. Демерцова. Тогда, в 1932 году, от сноса ее спас всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов. Ссориться с ним ленинградские власти не хотели. С именем знаменитого академика связаны две легенды, широко известные в городе. По одной из них, в этой церкви Павлов венчался, хотя хорошо известно, что венчание будущего великого физиолога происходило в Ростове.

По другой легенде, Иван Петрович, будучи необыкновенно религиозным человеком, часто бывал в Знаменской церкви и даже читал на клиросе. Такая страстная религиозность ученого человека импонировала обывателю, и церковь в народе часто называли «Павловской». Эту легенду уже в наши дни попыталась опровергнуть

невестка Ивана Петровича — жена его сына Всеволода. Она рассказала, как «однажды после кончины Ивана Петровича зашла в Знаменскую церковь и, к удивлению, увидела двойника Ивана Петровича, спускавшегося с большой церковной книгой с клироса. Сходство было поразительное, тем более что и седая борода этого человека была подстрижена точно так, как у Ивана Петровича. Отличие было лишь в том, что Иван Петрович после перелома ноги сильно хромал, а у этого двойника была ровная походка».

Так это или нет, сказать трудно. Но то, что Павлов был усердным прихожанином и даже почетным старостой Знаменской церкви, факт общеизвестный. Известно и то, что вскоре после его смерти храм был закрыт, а в 1940 году снесен. На его месте в 1950-х годах выстроен безликий наземный павильон станции метро «Площадь Восстания». Павильон увенчан куполом со шпилем, более похожим на корабельный флагшток, на который, говорят, до сих пор нет-нет да и перекрестятся проходящие мимо старушки. А еще верующие люди утверждают, что здесь, возле станции метро, на месте которого некогда стоял приходской храм, можно увидеть призрак академика Ивана Петровича Павлова.

Поблизости от Знаменской церкви, на противоположной стороне Лиговского проспекта, на Летней Конной площади, что в то время находилась на берегу Лиговского канала, в 1861–1866 годах по проекту архитектора Р. И. Кузьмина для проживавших в столице греков строится первая греческая церковь во имя Святого Димитрия Солунского. Иконостас и утварь для нее были привезены из Греции. Это было необычное для Петербурга сооружение, построенное в «подлинно византийском стиле». Низкий пологий главный церковный купол, такие же пологие боковые купола, живописные аркады напоминали византийскую архитектуру VI–XI веков.

Церковь принадлежала Греческому посольству и стояла вблизи него. Богослужения велись исключительно на греческом языке. В народе церковь называли: «Греческая» или «Посольская церковь».

В 1939 году церковь была закрыта, а в 1961-м — снесена. «Теперь так мало греков в Ленинграде, / Что мы сломали греческую церковь, / Чтобы построить на свободном месте / Концертный зал», — грустно заметил в своем стихотворении с символическим названием «Остановка в пустыне» Иосиф Бродский.

В настоящее время на месте Греческой церкви находится концертный зал «Октябрьский». Возведением нового театрального здания было решено отметить 50-летие Октябрьской революции. Дело происходило при предшественнике Романова, но идею строительства фольклор приписал Григорию Васильевичу. Будто бы он лично курировал и проектирование, и реализацию замысла. Когда проект был уже готов и времени для его осуществления оставалось мало, выяснилось, что место для строительства вообще не определено. Исполнители нервничали, постоянно напоминая об этом первому секретарю. Однажды, как рассказывает легенда, такой разговор зашел в машине Романова по пути от Московского вокзала в Смольный. Романову давно уже надоели эти разговоры, он не выдержал и махнул рукой: «Вот здесь и стройте!» Машина в это время проезжала как раз мимо Греческой церкви. Так, если верить легенде, была решена ее судьба. Она была снесена, и на ее месте действительно в 1967 году был открыт новый концертный зал, названный громко и символично — «Октябрьский». Во всяком случае, именно этим поспешным и, по всей видимости, случайным решением первого секретаря можно объяснить поразительную недостаточность пространства, в которое буквально втиснут архитектурный объем здания. Говорят, архитектор Жук был возмущен таким решением, но ничего сделать не мог. Против первого секретаря приемов нет.

6

За семьдесят лет советской власти в Ленинграде было уничтожено более 150 церквей, абсолютное большинство остальных были закрыты для верующих. Они, как мы уже говорили, были использованы для размещения государственных, научных, проектных, хозяйственных или иных учреждений. И все-таки для отправления религиозных обрядов православных христиан несколько храмов были оставлены нетронутыми. Между тем в отдельные периоды советской истории представителям других конфессий и религий вообще было отказано в молельных домах. Так, к 1939 году были закрыты все действовавшие на тот момент католические храмы, за исключением одного — костела Французской Богоматери в Ковенском переулке. Та же судьба постигла буддийский храм. В 1970–1980-е годы единственным действующим лютеранским храмом в Ленинграде и Ленинградской области оставалась Спасо-Преображенская церковь в городе Пушкине. В начале войны была закрыта мусульманская мечеть. Несколько раз после революции закрывалась для верующих Большая хоральная синагога.

Успехи советской власти в борьбе с «религиозным дурманом» были столь впечатляющими, что казалось, сама память о культовых сооружениях сотрется и навсегда исчезнет. Однако этого не произошло. Народная память оказалась цепкой. Легенды и предания о снесенных храмах передаются из поколения в поколение, а события и происшествия настоящего в совокупном народном сознании соотносятся с утраченным прошлым. 10 июня 1999 года, в 19 часов 40 минут, в момент наибольшего скопления людей, рухнул козырек станции метро «Сенная площадь». По официальным сведениям, семь человек погибли. Многие были ранены. Свидетели трагического обвала утверждают, что падение козырька сопровождалось какой-то мистикой. Создавалось впечатление, что на козырек кто-то «надавил сверху». Кто? И за что? И замолкали, вслушиваясь в комментарии знатоков: «Вестибюль станции метро углом заходит как раз на фундамент взорванного в 1961 году собора Спаса на Сенной. На месте снесенной церкви был построен наземный вестибюль станции метро. О некогда одном из главных храмов столицы будто бы забыли. Вновь вспомнить о Спасе на Сенной заставили трагические обстоятельства.

Экзотическое, в восточном стиле здание мусульманской мечети появилось в Петербурге на Кронверкском проспекте в 1910–1914 годах. Строилось оно по проекту архитекторов Н. В. Васильева, С. С. Кричинского и А. И. фон Гогена. В качестве образца был использован мавзолей Гур-Эмир в Самарканде. Купола и порталы мечети богато декорированы майоликой, выполненной петербургскими мастерами под руководством художника-керамиста П. К. Ваулина. Согласно легенде, мечеть выстроена исключительно на так называемые «дворницкие деньги». Дворниками в Петербурге были в основном татары. Они были добросовестны в работе и, что самое главное, всегда были трезвы. Пить не разрешала религия. Дворники-татары считались в Петербурге людьми богатыми.

Несмотря на то, что мусульманская мечеть, по определению, считается и татарской, и узбекской, и чеченской и т. д., то есть общей для всех мусульман, в городском фольклоре ее называют «Татарской» или по столице Республики Татарстан — «Казанской», а весь район вокруг мечети — «Татарстаном».

В 1930-х годах мечеть была закрыта. Во время войны в ней находился склад медикаментов. Вновь открыли мечеть для верующих только в начале 1960-х годов. Говорят, это было связано с дружественным визитом в Советский Союз президента Индонезии Сукарно, который будто бы одним из условий своего приезда поставил посещение ленинградской мечети.

Высочайшее разрешение на строительство первой в Санкт-Петербурге синагоги было получено в 1869 году. Но, как оказалось, не это было самым главным. Трудно было найти подходящее место для строительства. Открывать еврейские молельные дома вблизи христианских церквей запрещалось. Кроме того, богатые домовладельцы всячески этому препятствовали, так как боялись, что близость синагоги отпугнет квартиросъемщиков-христиан. В конце концов место было найдено в далекой от центра города провинциальной Коломне на Большой Мастерской улице, ныне Лермонтовском проспекте.

В 1893 году Большая хоральная синагога, построенная в мавританском стиле по проекту архитекторов И. И. Шапошникова и В. А. Шретера, была открыта. Интерьеры синагоги оформлены по эскизам Бахмана, кстати, первого еврея, поступившего в Академию художеств. Говорят, что уже в проекте будущая синагога выглядела столь роскошной, что правительство приказало переделать проект, опасаясь, что синагога будет конкурировать со стоящим неподалеку Никольским собором. Тем не менее и сегодня среди петербургских евреев живет легенда о том, что их синагога самая большая и самая красивая в Европе и что она построена на земле самого большого в Петербурге антисемита. Между прочим, выбор мавританского стиля для синагоги в процессе обсуждения проекта подсказал В. В. Стасов.

После революции 1917 года предпринимались неоднократные попытки закрыть синагогу. Иногда это удавалось. И тогда в помещениях молельного дома размещалось то овощехранилище, то Дом политпросвета, то какой-то районный клуб.

Петербургские евреи гордятся своей синагогой, в стенах которой они особенно остро чувствуют свое кровное национальное единство. На протяжении всей своей истории, несмотря на внешнюю лояльность к власть предержащим, синагога являла собой образец независимости и суверенности и отстаивала эти качества даже перед лицом явной опасности. Почти как «В чужой монастырь со своим уставом не суйся» выглядит охранительная формула евреев на территории синагоги: «Это же синагога, а не Зимний дворец, который вы захватили».

Первый и единственный в Петербурге дацан был построен в 1909–1915 годах на Приморском проспекте, по инициативе далай-ламы. Здание возводилось по проекту петербургского зодчего Г. В. Барановского в стиле традиционного тибетского зодчества.

В 1938 году постановлением Ленсовета закрытый для верующих буддистов храм был передан профсоюзу работников жилищного хозяйства «для использования под физкультурную базу». К тому времени все художественные ценности храма были перевезены в Музей религии и атеизма, располагавшийся в те годы в Казанском соборе. По рассказам старожилов, позолоченная статуя Будды во время демонтажа была разбита, а ее обломки, согласно местному преданию, «сбросили в один из прудов Елагина острова».

В 2003 году статуя золотого Будды была возвращена в храм. Ее отреставрировали в Таиланде: восстановили голову и руки, утраченные во время советской власти, и вновь позолотили. Это был подарок таиландского короля к 300-летию Петербурга.

7

Между тем ни закрытие молельных домов, ни их физическое уничтожение не смогли ни искоренить саму веру в Бога, ни погасить религиозные чувства, которые теплились в сердцах и душах верующих. Проявлялись они по-разному. В тайных крестинах, в свадебных и погребальных обрядах, в участии в религиозных празд-

никах и, особенно, в почитании местных святых. В Ленинграде такой святой стала Ксения Петербургская, могила которой на Смоленском кладбище превратилась в Ленинградскую Мекку.

Среди небесных покровителей Петербурга Ксения Блаженная занимает особое место. Вот уже более двух веков многие петербуржцы искренне верят в то, что ее забота распространяется не столько на весь город вообще, сколько на каждого конкретного человека в отдельности. А ее помощь людям отличается ясностью жизненного содержания и предметной определенностью форм. Не случайно среди ее почитателей и адептов так много представителей петербургской молодежи и студенчества, которые менее всего склонны к общим фразам и расплывчатым обещаниям. Причем в то время как, например, возникновение культа официального святого покровителя Петербурга князя Александра Невского напрямую связано с волей и желанием одного-единственного человека — Петра I, который приложил к этому немало как личных, так и общественных сил, в том числе подключил мощную идеологическую машину целого государства, то почитание блаженной Ксении Петербургской возникло стихийно, в самых низовых слоях общества и только затем распространилось и окрепло во всем городе.

«Житие» Ксении Блаженной в фольклоре началось с легенды о счастливой молодой паре, некогда жившей на одной из небогатых улиц Петербургской стороны. Придворный певчий Андрей Петров и его жена Аксинья, «взятые словно живьем из романов Лафонтена», так любили друг друга, что и «представить невозможно». Вся Петербургская сторона смотрела на них с умилением. Но вдруг неожиданно, или, как говорили соседские кумушки, «ни с того ни с другого», Андрей Петрович умер, оставив 26-летнюю вдову. И с Аксиньей что-то случилось, будто бы «съехала с ума» от печали и горя. Вообразила, что вовсе не Аксинья она, а Андрей Петрович, что это она, Аксинья, умерла, а он только обратился в нее, а «в сущности, остался Андреем Петровичем». Она переоделась в мужское платье и на свое прежнее имя не откликалась. Только когда к ней обращались «Андрей Петрович», отвечала: «Ась?» Окрестный народ сходился смотреть на нее. Качали головами. Затем привыкли. И улицу, где она жила, прозвали улицей Андрея Петровича.

В середине XIX века название улицы получает более традиционное звучание. Она стала называться Петровской — от «некоего Андрея Петрова, которому первоначально принадлежал дом и участок» на этой улице. Так витиевато, как будто за что-то извиняясь, объясняли происхождение этого названия путеводители и справочники по Петербургу. В 1877 году улицу переименовали в Лахтинскую.

По другим источникам, начало подвижнической деятельности Ксении выглядело несколько иначе. Когда ее окликали по имени, она, свято веря, что муж воплотился в нее, сердито отвечала: «Ну какое вам дело до покойницы Аксиньи, которая мирно спит на кладбище. Что худого она вам сделала?» А в ответ на вопрос, как она будет жить без мужа, отвечала: «Да ведь я похоронил свою Ксеньюшку, и мне теперь больше ничего не надо».

Впрочем, чтобы эта запутанная история стала более или менее понятной, фольклор предлагает довольно последовательное и логичное объяснение. На самом деле, утверждает еще одно предание, Ксения просто не смогла перенести того, что ее муж, скончавшись скоропостижно, не успел исповедаться и причаститься. И «чтобы спасти душу любимого от вечных мук», она решила отказаться от самой себя. В этой связи особый интерес приобретает легенда о том, что родные и близкие Ксении сочли ее просто сумасшедшей, а после того, как она начала раздавать направо и налево свое имущество, подали жалобу в департамент, где служил певчим Андрей Петров. Там, кстати, ее признали совершенно нормальной и имеющей полное право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению.

Но есть еще одна легенда, которая утверждает, что Ксения происходила из старинного княжеского рода. Однажды она безнадежно влюбилась в некоего офицера, который ей изменил. Тогда-то Ксения и раздала все свое имущество и пошла странствовать. А уж затем начала предсказывать людям будущее и прослыла хорошей пророчицей.

В обширном мифологическом цикле рассказов о Ксении Петербургской сохранилась замечательная легенда о ее непосредственном участии в строительстве церкви на Смоленском кладбище. Методы строительства в то время были незамысловатыми. Когда стены поднимались достаточно высоко, то каменщики сперва всей артелью переносили кирпичи на леса и только затем продолжали кладку. Ксения решила помочь им. По ночам, когда строители уходили на отдых, она носила кирпичи и складывала их на лесах. Наутро мастеровые обнаруживали кирпичи, но не могли понять, как это происходит. Так продолжалось несколько дней, пока строители не выследили свою помощницу. По всей округе разнеслась молва, что такое праведное дело, как строительство церкви, в руках божьей угодницы.

К тому времени популярность Ксении приобрела поистине всенародный характер. К ее советам внимательно прислушивались, ее словам безоговорочно верили, ее указания охотно исполняли. У торговцев Сытного рынка существовала примета. Если с утра Ксения Блаженная возьмет у них с прилавка или лотка хоть какой-нибудь товар, то весь оставшийся день их будет сопровождать удача. Особым уважением пользовалась Ксения у извозчиков. Едва завидев ее где-нибудь на улице, они наперебой предлагали ей свои услуги. И если кому-нибудь удавалось провезти Ксению хоть несколько метров, считалось, что ему непременно повезет в деле.

Особо подчеркивается в фольклоре провидческий дар Ксении, ее удивительная способность предсказывать будущее. Рассказывают, как, встретив на улице свою знакомую, Ксения подала ей медный пятак со словами: «Возьми пятак, тут царь на коне, пожар потухнет». Ничего не поняв, знакомая все же взяла пятак и пошла к дому. И только тогда увидела, что ее дом в огне. Она бросилась к нему, но в это время пожар потух.

В другой раз, придя к своей знакомой, Ксения проворчала: «Ты вот тут кофе распиваешь, а твой муж на Охте жену хоронит». Зная о провидческих способностях Ксении, знакомая, хоть и ничего не поняла, все же пошла на Охту. По дороге ей попалась похоронная процессия, провожавшая на кладбище какую-то покойницу. А спустя некоторое время вдовец стал мужем девицы, распивавшей кофе.

Одна из подобных легенд похожа на правду. Во всяком случае, ее герой совершенно реальный петербуржец. На Смоленском кладбище до сих пор существует семейный участок, на котором покоится прах Ивана Ивановича Антонова, бывшего в начале XIX века церковным старостой Смоленской церкви. Из жития Ксении Блаженной известно, что свой дом она отдала бездетной женщине Прасковье Антоновой. Так вот однажды она велела этой Прасковье идти на Смоленское кладбище, утверждая, что там она найдет своего сына. Прасковья не посмела ослушаться и пошла на кладбище. По дороге она увидела толпу, «собравшуюся у тела женщины, сбитой извозчиком». Рядом рыдал осиротевший мальчик. Прасковья приютила и воспитала его. Впоследствии он будто бы и стал старостой храма, который помогала строить сама Ксения.

В глазах простого народа Ксения не только сама была праведницей, но и могла наказать за кощунство. Рассказывают, как один молодой сторож Смоленского кладбища, изрядно выпив с друзьями, поспорил, что «переспит с Ксенией Блаженной». И отправился-таки ночевать в часовню на ее могиле. Наутро, проснувшись, он обнаружил сначала на своей одежде, а затем и на всем теле следы подозритель-

ной плесени. Причем особенно заметными они были на участках, которые вплотную прилегали к могильной плите. Еще через несколько дней молодой человек понял, что его здоровье, еще совсем недавно не вызывавшее опасений, становится все хуже. Как рассказывается в легенде, проявления этой непонятной болезни были похожи на симптомы так называемого «проклятия фараонов» — болезни, поражающей всех, кто хоть однажды побывал внутри египетских пирамид и присутствовал при вскрытии древних саркофагов. Спасли будто бы юношу с огромным трудом, после того как он обратился в один из военных институтов.

Если верить легендам, Ксения предсказала кончину трех русских императоров: смерть Елизаветы Петровны, гибель несчастного шлиссельбургского узника Иоанна Антоновича, или императора Ивана VI, и убийство Павла I.

Подлинного года смерти Ксении Блаженной, похоже, никто не знает. По разным источникам, она умерла в период с 1777-го по 1803 год. Известно только, что уже с 1820-х годов началось паломничество на ее могилу на Смоленском кладбище. Даже земля с ее захоронения считалась священной. Земляной могильный холмик вскоре был разобран посетителями. Тогда сделали другую насыпь. На нее положили каменную плиту с надписью, будто бы завещанной самой Ксенией: «Кто меня знал, да помянет мою душу для спасения своей души». Но и эту плита почитатели разобрали на кусочки и разнесли по домам. Установили новую, но и ее вскоре постигла та же участь. Взамен унесенных кусочков плиты верующие оставляли на могиле посильные денежные пожертвования. Тогда кто-то догадался прикрепить к могиле кружку. На собранные таким образом средства в середине XIX века над могилой была воздвигнута часовня.

Часовня Ксении Блаженной стала одним из популярнейших мест паломничества. Со всего города приходили сюда люди просить блаженную о помощи в бедах, несчастьях и невзгодах. Именно в то время появилась петербургская пословица, живущая до сих пор: «Блаженная Ксения поможет». Да и саму часовню в городе называли: «Скорая помощница». В 1960-х годах, в период очередной волны гонений на церковь, ленинградские власти могилу Ксении замуровали, над ней построили помост и саму часовню отдали в распоряжение сапожной мастерской. Но, как рассказывает молва, «ни одного гвоздика не дала им вбить божья угодница». Работали сапожники, как на трясине. Все валилось из рук. Когда выяснилось, что из сапожной артели ничего не получится, устроили в часовне скульптурную мастерскую. Изготавливали фигуры типа «Женщины с винтовкой», «Девушки с веслом» — излюбленные в то время парковые украшения. Но и эта затея провалилась. Вечером запрут ваятели мастерскую на замок, а наутро приходят и видят: на полу вместо скульптур одни разбитые черепки.

Одно время вокруг часовни стоял строительный забор. Но и тогда паломничество к Блаженной Ксении не прекратилось. Только ее почитание приняло другую форму: люди оставляли на заборе записки с мольбой помочь снять грех или вернуть здоровье, поступить в институт или выйти замуж, избавиться от пьянства или спастись от одиночества, оградить от бед или дать счастья. Страждущие матери просили за детей, старики — за внуков, дети — за родителей. Появились записки и общего характера. Святую Заступницу просили сохранить мир, избавить страну от войны, отвратить беды от города.

В 1970-е годы появилось поверье. Щепки от строительного забора способствуют удачному зачатию и благополучным родам. На могилу Ксении потянулись молодые одинокие женщины и юные пары. Особенным почитанием пользовалась часовня Ксении у студентов: считалось, что она может оказать помощь при сдаче экзаменов. Говорят, для этого достаточно изложить свою просьбу Ксении Блажен-

ной письменно, обойти три раза вокруг часовни и подсунуть записку под ящик для свечей.

Но самыми впечатляющими остаются современные легенды о появлении призрака Ксении Петербургской. Как утверждает городской фольклор, в наиболее критические, переломные моменты жизни людей, города или государства Ксения предстает в живом обличье. Так, накануне Великой Отечественной войны ее будто бы видели между могилами Смоленского кладбища. Она предсказывала «великое наводнение». А во время самой войны она неоднократно спасала людей от гибели. В 2005 году в Петербурге при содействии Фонда развития и поддержки СМИ вышла книга с удивительно точным названием: «Четвертое поколение». В ней собраны рассказы современных школьников — правнуков ветеранов Великой Отечественной войны. Дети пишут о реальных событиях страшных военных и блокадных лет, основываясь на подлинных воспоминаниях бабушек и дедушек, услышанных ими в родных семьях. В одном из них мальчик по имени Саша Топчиев передает рассказ своей бабушки, пережившей ленинградскую блокаду. Однажды она, еще девочка, стояла со своей бабушкой в очереди за хлебом. И так случилось, что она почему-то на пару минут отошла, а когда вернулась, то в очередь ее не пустили. И вдруг рядом появилась какая-то женщина в белом платочке и сказала: «Я вас помню. Вы стояли впереди меня. Вставайте в свою очередь». Моя прапрабабушка, рассказывает Саша Топчиев, пыталась объяснить этой женщине, что она стояла намного дальше, что это не ее место, но та женщина ничего не говорила и только качала головой. Когда же подошла их очередь и бабушка получила свою норму хлеба, то оказалось, что этот хлеб был последним. Остальным недосталось. Прапрабабушка ахнула: «А как же та женщина?» Оглянулась, а ее не видно. И никто в очереди не заметил, куда она делась. Только шепотом стали передавать друг другу: «Видать, это была сама Ксения Блаженная».

Несколькими годами раньше в одном ленинградской газете было опубликовано письмо женщины, которая поведала историю своего брата, ныне живущего в Белоруссии. Случайно по телевизору он увидел сюжет о Ксении Блаженной. Он «страшно обрадовался, что наконец может отблагодарить ту, что спасла его в годы войны». Совсем молодым солдатом в 1945 году, участвуя в освобождении Праги, он отстреливался в паре с бывалым воином в подвале одного из домов. Вдруг откуда ни возьмись около них оказалась женщина в платке и на чисто русском языке сказала, что они немедленно должны покинуть подвал, ибо сюда попадет снаряд и они погибнут. Оба солдата опешили и спросили: «Кто ты?» — «Я — Ксения Блаженная, пришла спасти вас», — последовал ответ. Затем она исчезла. Солдаты послушались и остались живы. Очень долго ее брат, рассказывалось в письме, вообще не знал, кто такая Ксения. И только через сорок пять лет случайно услышал о ней по телевизору. После передачи он сразу позвонил в Ленинград сестре, чтобы та немедленно поехала на Смоленское кладбище и поблагодарила святую.

А вот легенда еще более позднего происхождения. В ней рассказывается, как во время последней чеченской войны к солдату на один из блокпостов в Чечне приехала мать. Сын вышел ей навстречу, и она сказала: «Пойдем, сынок, в поле» — и увела сына далеко от поста. А когда они вернулись, оказалось, что всех солдат его блокпоста перестреляли чеченцы. Через полгода солдат демобилизовался, приехал домой, и «каково же было его удивление, когда он узнал от своей матери, что она никогда в Чечню не приезжала, а только плакала и молилась». В тот самый день, когда они якобы встретились на блокпосту, она «со всем жаром души просила Ксению Блаженную прийти на помощь ее сыну».

Из всех петербургских культов святых праведников культ Ксении Блаженной

оказался наиболее живучим. Пройдя сквозь годы кровавых революций и оголтелого атеизма, он не только сохранялся, но и постоянно развивался, пока наконец в 1988 году не получил логического завершения. Ксения Петербургская, как ее называют в народе, была канонизирована и причислена к лику святых.

Ксения, как и прежде, многим помогает. Говорят, она и сейчас бродит по Петербургу — старая, скромно одетая женщина, похожая на обыкновенную пенсионерку с палочкой, «посылая утешение, внушая надежду и бодрость». Кому-то она посоветует, кого-то пристыдит, с кем-то просто поговорит. А порой молча сидит где-нибудь на скамейке в осеннем петербургском садике. Видать, молится за петербуржцев.

8

Канонизация Ксении Петербургской по времени совпала с началом возрождения на территории новой России традиционных верований многочисленных религиозных конфессий, различных по своей форме, но одинаковых по сути и смыслу. На улицах Северной столицы повеяло теплом толерантности и веротерпимости. Насколько это важно в таком многонациональном городе, как наш, можно судить всего лишь по одной цифре. В настоящее время в Петербурге имеются церкви и молельные дома сорока двух различных религиозных конфессий.

Забытая книга

Александр ПОЛЯКОВ

О СМЕРТИ ПУШКИНА. По новым данным

I

После известного труда П. Е. Щеголева о последних днях жизни Пушкина, <...> работы, к которой многого не прибавишь: так сильно насыщена она материалом, и где методы строго научного исследования сочетались с глубоким психологическим анализом и блестящим, увлекательным изложением, на долю других остались второстепениого значения факты и эпизоды, не известные исследователю «по независящим от него обстоятельствам». П. Е. Щеголеву в свое время не удалось получить всех документов в архиве Департамента полиции. <...>

Дело в том, что некоторые документы, почему-либо признанные в свое время III Отделением особо важными, откладывались в картоны и папки, хранились отдельно в шкапах и составляли секретный фонд архива. Содержание этих бумаг весьма разнообразно. Документы относятся к 20–60 годам прошлого столетия и ценны с исторической, историко-литературной и бытовой стороны. Наряду с докладами власть имеющих лиц и с донесениями простых агентов III Отделения встречаются любительские доносы Булгарина, Греча, различные слухи и сплетни

«по поводу» — вроде перехода Бенкендорфа в католичество,— сведения о сексуальных «намерениях» такого-то, о перлюстрованных письмах, любовных историях, о «разговоре молодых людей» и вообще о том, где и что делается. Здесь же оказались и кое-какие документы о Пушкине. <...>

П. Е. Щеголев безошибочно предполагал, что «в будущем вряд ли можно будет разыскать много документального материала в дополнение к его труду. <...>

II

Светские успехи жены Пушкина, Наталbb Николаевны, в 1836 году достигли апогея. «Natalie... в большой моде, как никогда, а ее муж с каждым днем все более и более скучен и себялюбив» писала А. Н. Вульф своей матери 9 марта 1836 года; Летом этого же года настойчивые ухаживания Дантеса сделались настолько явными, что о них говорил весь Петербургский «свет», и около имени Natalie свилась сплетня, недвусмысленно затрагивавшая честь замужней женщины. Все эти разговоры и пересуды, конечно, достигали слуха Пушкипа, пугали поэта, разжигали его ревнивую подозрительность и заставляли постоянно быть настороже. Легко раздражаясь, отзываясь на каждую мелочь, которая ему казалась чуть ли не смертельной обидой... Пушкин находился в подавленном состоянии духа и много страдал. Тяжелые душевные переживания усиливали его повышенную нервность, а к этому еще присоединялись литературныя и материальные неудачи. Нужен был незначительный повод, чтобы личная, трудно скрываемая драма выросла в явную для всех трагедно.

Утром 4 ноября, по городской почте, тогда только что заведенной в столице, Пушкин получил анонимное письмо, в котором поэту выдавался диплом рогоносца. Одинакого содержания письма получили и некоторые его друзья: Карамзины, Е. М. Хитрово, князь П. А. Вяземский, тетка графа В. А. Соллогуба — А. И. Васильчикова, К. О. Россет — брат А. О. Смирновой и граф М. Ю. Виельгорский... Друзья думали скрыть пасквиль от поэта, но, как писал кн. П. А. Вяземский вел. кн. Михаилу Павловичу, «тайна эта далеко не была тайной для многих лиц, получивших подобные письма, и даже Пушкин не только сам получил такое же, но и два других подобных, переданных ему друзьями, не знавшими их содержания и поставленными в такое же положение, как и мы. <...>

Бенкендорфу Пушкин 21 ноября 1836 г. прозрачно намекал на Геккерена, как на автора диплома. «4 ноября поутру я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По бумаге, по слогу письма и по манере изложения я удостоверился в ту же минуту, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата». <...>

Найти в настоящее время виновника письма — задача совершенно неблагодарная, но сделать на основании документов вывод, который вышел бы за пределы простой догадки и был бы в пользу Геккеренов, нам кажется вполне допустимым.

Только болезненная подозрительность и гнев могли подсказать Пушкину «в ту же минуту» по получении диплома виновника этого дела и удостовериться «по бумаге, по слогу письма и по манере изложения», что пасквиль исходит «от иностранца, человека высшего общества, дипломата».

Если те экземпляры диплома, которые попали в руки поэта, писаны на той же бумаге, на какой воспроизведен пасквиль, посланный Виельгорскому... то такое заключение Пушкина было весьма поспешно. Бумага анонимных писем ничего характерного и оригинального из себя не представляет, на ней нет никаких водяных знаков, хотя она хорошего качества и довольно толстая. Бумага Геккерена и Данте-

са, которая дошла до нас из архива III Отделения, имеет водяные знаки тогдашней русской фабрики с гербом императора Николая и более тонкая, чем бумага анонимного письма. Если на основании ее качества ничего нельзя сказать об авторах письма, то утверждение Пушкина, что диплом нерусского происхождения, вполне правдоподобно. Об этом рассказывает граф Соллогуб. Когда он уезжал в начале декабря 1836 года из Петербурга и зашел проститься с д'Аршиаком, тот показал ему «несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания». «Он рассказал мне, — пишет Соллогуб, — что венское общество целую зиму забавлялось рассылкой подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. <...>

Не надо было родиться иностранцем, чтобы написать пасквиль, можно было не принадлежать к дипломатическому корпусу, чтобы скопировать письмо, В первоначальном и решительном утверждении поэта была одна незыблемая истина: пославший письмо принадлежал к высшему обществу. Там было достаточное количество и светских шелопаев, и недругов Пушкина, и различных кумушек, которые следили за любовными успехами красивого кавалергарда и с нетерпением ждали,— кто из злорадства, кто из любопытства,— скандала от несдержанного Пушкина. Семейная драма поэта разыгрывалась у них на глазах.

В писании диплома участвовало не одно лицо. Судя по почерку, их было двое. Один из пасквилянтов писал самый диплом и адрес на обложке, другой — имя, отчество и фамилию поэта.

Сомнительно, чтобы дипломат Геккерен захотел участвовать с кем-нибудь в выходке, которая подстать кавалерийскому корнету или гвардейскому подпоручику, чем представителю иностранного государства, почти старику.

Подобное поведение и неосторожно, и опрометчиво; мы уже не касаемся вопроса, насколько выгодно ему было поступать таким образом. <...> Непричастность Геккерена к этому делу переходит в уверенность, когда мы знакомимся с неопубликованной до сих пор запиской посланника к Дантесу. <...>

«Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я тебе скажу, что оно было запечатано красным сургучом, сургуча мало и запечатано плохо. Печать довольно странная; сколько я помню, на одной печати имеется посредине следующей формы „А“ со многими эмблемами вокруг „А“. Я не мог различить точно эти эмблемы, потому что, я повторяю, оно было плохо запечатано. Мне кажется однако, что там были знамена, пушки, но я в этом не уверен. Мне кажется, так припоминаю, что это было с нескольких сторон, но я в этом также не уверен. Ради Бога, будь благоразумен и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. <...> Да выяснится истина, это самое пламенное желание моего сердца.

Твой душой и сердцем

Б. де Г.

Почему ты спрашиваешь у меня все эти подробности? До свидания, спи спокойно».

Записка Геккерена меньшего формата, чем диплом, написана она на одном листе без всякого обращения и адреса, но содержание ее обнаруживает, что она была послана Дантесу. Письмо доставлено, на наш взгляд, Геккереном графу Нессельроде в числе тех пяти документов, которые он отправил ему 28 и 30 января 1837 года, и которые должны были убедить Николая, во-первых, что «барон Геккерен был не в состоянии поступить иначе, чем он это сделал», а во-вторых, чтобы получить оправдание императора. <...>

Пред нами стоит вопрос: не было ли приготовлено письмо Геккереном после

дуэли и не выдавалось ли им за написанное еще в ноябре прошлого года, как доказательство невиновности посланника и Дантеса в авторстве диплома. Такой взгляд говорит о взаимном уговоре между отцом п его приемным сыном и об единстве действия при своей защите. Как бы мы ни смотрели на роль Дантеса в этой печальной истории, у нас нет никаких оснований приравнивать его поведение к поведению Геккерена. Наоборот, мы нередко видим, что в своих решениях Дантес был самостоятелен, но всегда искренен с своим приемным отцом, не обо всем его осведомлял и, в конце концов, вызвал даже горький упрек со стороны дипломата: «Боже мой, Жорж, что за дело оставил ты мне в наследство! А все недостаток доверия с твоей стороны. Не скрою от тебя, меня огорчило это до глубины души; не думал, что заслужил от тебя такое отношеше». <...>

На наш взгляд дело обстояло следующим образом.

4 ноября Пушкин получил анонимные письма и на другой день послал свой вызов Дантесу. <...>

Дантес узнал о вызове от Геккерена 6-го числа после 12 часов дня, когда вернулся с дежурства, продолжавшегося сутки. Утром седьмого числа, до нового дежурства, он посетил Виельгорского, который был в курсе дела и у которого он встретил Жуковского. <...> Несомненно, разговор о дуэли был и не минул непосредственной причины вызова — анонимных иисем. Дантес, заинтересовавшись последним обстоятельством, послал Геккерену из казарм записку, на которую седьмого числа вечером («bon soir, dors tranquille») получил приведенный выше ответ. Геккерен точно описал внешность письма, подробно, хотя неверно, передал вид печати и графически правильно изобразил развернутый циркуль, ножки которого соединялись дугой. Геккерен догадывался, что анонимные письма явились прямым поводом к вызову и что в составлении их Пушкин обвинял его; в письме сквозит мысль, что на такое предположение у вспыльчивого поэта могли быть основания. <...> Геккерен опасался за поведение Дантеса, боялся его горячности, которая легко могла испортить уже налаживавшееся примирение с поэтом, или, вернее, помешать исполнению плана, проводимого и друзьями, и родственниками Пушкина, и самим Геккереном. Посылая записку, посланник косвенным путем оправдывал себя в глазах приемного сына, не возбуждая вопроса о собственной виновности и в свою очередь убеждаясь, что Дантес к этому делу тоже не имеет никакого касательства. Записка Геккерена — сильный довод, говорящий о жизненной разобщенности между дипломатом и Дантесом. «Да выяснится истина, это самое пламенное желаше моего сердца», пишет в конце Геккерен, и этому восклицанию, сделанному в интимной переписке, у нас нет основания не доверять. Анонимное письмо для Геккерена и Дантеса было неожиданной новостью.

Посланник энергично боролся со возводимым на него обвинением и решительно отвергал авторство «отвратительных анонимных писем»... Подробнее он пишет Нессельроде об этом факте 1 (13) марта. «Есть и еще оскорбление, относительно которого, вероятно, никто не думает, чтобы я снизошел до оправданий, а потому его никто и не нанес мне прямо, однако примешали мое имя и к другой подлости — анонимным письмам! В чьих же интересах можно было бы прибегнуть к этому оружию, оружию самого низкого из преступников, отравителя? В интересах моего сына, или г. Пушкина, или его жены? Я краснею от сознания одной необходимости ставить такие вопросы. Кого же задели, кроме того, эти инсинуации, нелепые и подлые вместе? Молодого человека, который обвиняется в тяжком уголовном престунлении... Мой сын, значит, тоже мог бы быть автором этих писем? Спрошу еще раз: с какой целью? Разве для того, чтобы добиться большого успеха у г-жи Пушкиной, для того, чтобы заставить ее броситься в его объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света, отвергнутой мужем. Но подобное предпо-

ложение плохо вяжется с тем высоконравственным чувством, которое заставляло моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщипы... Я покончил с этим чудовищным собранием гнусностей» <...>

Геккерен был прав. Никто ему прямо в лицо не бросал такого обвинения. Первый, кто начал подозревать его в этом, был Пушкин, но догадки поэта высказывались в раздражении, и впоследствии он сознал всю шаткость обвинения. В конце жизни Пушкин подозревал какую-то даму. Друзья и близкие поэта распространили его мнение сначала устно, а потом и письменно, и о Геккерене стали говорить почти утвердительно, как об авторе анонимного письма[1]. Приводимый документ исправляет почти вековую неправду: Геккерен был несимпатичен, мог быть безнравственным, но участником этой выходки не был. <...>

III

Третье Отделение, конечно, знало об анонимных письмах, полученных поэтом, как знал о них всякий, кто интересовался Пушкиным; жандармы более десяти лет следили за ним, были хорошо осведомлены о его делах и жизненной обстановке. Вплоть до смерти они имели за ним глаз, и драма Пушкина не была для них секретом. Вмешиваться в семейные дела, их устраивать, оказывать на ход их то или иное влияние — было обычным делом для шефа жандармов и его присных. Примеров тому мы в архиве III Отделения найдем не мало. Но в деле Пушкина жандармская власть «безмолвствовала», она держалась в стороне, не принимая никакого участия. Только после смерти поэта, когда общественное мнение высказалось очень решительно и дружно и своей горячностью напугало правительство и Николая, есть намеки на следствия об анониме. Но только намеки, волнующее наше воображение и привлекающие новые имена к этому делу.

Если доверять «Запискам А. О. Смирновой», то лишь один граф Бенкендорф был хорошо обо всем осведомлен, а так как государь сказал ему: «Я хочу знать автора этой мерзости», он должен был все ему открыть. <...> Этим словам есть подтверждение и в бумагах архива III Отделения. Сохранилась «Записка для памяти» шефа жандармов Бенкендорфа, неразборчиво набросанная: <...> «Некто по имени Тибо, друг Россети, служащий в Главном Штабе, не он ли написал гадости о Пушкине».

Ясно, что здесь дело идет об анонимных письмах, но решить вопрос, почему оказался заподозренным некий Тибо, не представляется возможным. Во всяком случае расследование началось, и канцелярия заработала. А. Н. Мордвинов посылает запрос начальнику I Округа корпуса жандармов Д. П. Полозову <...> и через три дня получает следующий ответ:

> Почтеннейший Александр Николаевич!
>
> По записке Вашей от 22 Февраля я сделал выправку, по коей оказалось, что в Главном Штабе на службе не состоит Тибо, а служат два брата Тибо в Почтамте, оба титулярные советники, один из них Осип в Почтовом департаменте помошником контролера, а другой Виктор из отставки ныне определен помощником почтмейстера в Умань и вскорости туда отправляется. <...>

---

[1] См. об этом хотя бы в письме кн. П. А. Вяземскаго к вел. кн. Михаилу Павловичу. <...> Н. М. Смирнов в «Памятных заметках» (Русский архив. 1882. I. С. 235) говорит: «Одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерен был их [т. е. анонимов] сочинителем. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримыя доказательства». — *Прим. автора.*

Почерк руки обеих г. Тибо при сем имею честь препроводить. <...>

Душевно преданный Вам
Д. Полозов.
25 Фев. 837

К письму приложены два образца почерков братьев Тибо, написанных на оберточной бумаге, и тут же записка Осипа Тибо. <...>

Не от одних только братьев Тибо добивались жандармы почерка руки, нужен был им такой же образец на русском языке и от Дантеса. Чтобы не дать ему прямо почувствовать, чего от него хотят, граф Бенкендорф потребовал от Дантеса адреса его русского учителя. Жандармам легко можно было сыскать французский почерк Дантеса, между тем как по-русски нужно было или принудить его писать или поставить в такие условия, которые исключали бы возможность писания на иностранном языке. Дантес ответил шефу жандармов все-таки по-французски и приложил адрес, доставленный другим, так же, как и Дантес, плохо справлявшимся с русской грамотой человеком. Возможно, что почерк принадлежал тому дворовому, о котором упоминается в записке[1].

<...>

Касается ли это расследование анонимных писем 4 ноября, или Бенкендорф имел в виду и другие пасквили на Пушкина и его жену, <...> объединяя их названием «гадостей» <...>,— сказать трудно, но приведенными документами исчерпывается папка «О присланных Пушкину безымянных письмах». Мы остаемся в таком же неведении относительно авторов диплома, как и прежде. Вопрос,— без сомнения праздный,— не разрешен, наше любопытство не удовлетворено, но теперь есть основание категорически утверждать, что в писании анонимного письма участвовало не менее двоих и что Геккерены к этому делу касательства не имели. Нашел ли виновников Бенкендорф и действительно ли открыл их Николаю, мы не знаем, прямых данных пока не имеется. Не подлежит сомнению, что Николай каким-то ответом шефа жандармов был удовлетворен, и в этом ответе Геккерену не поздоровилось.

IV

Утром 28 января, на другой депь после дуэли, весь Петербург знал о тяжелом положени поэта. Быстро разнесся слух, что Пушкин умирает. Передняя его квартиры осаждалась толпами людей, совершенно незнакомых, приходивших справиться о состоянии здоровья раненого. В три четверти третьего часа 29 января Пушкин скончался. Его трагическая смерть, неожиданная для большинства, произвела потрясающее впечатление, вызвала неподдельные слезы и искреннюю печаль. Ни один поэт, ни один писатель в то время не пользовался такой известностью, как

---

[1] Дантес, приехав в Россию, не знал русского языка. Гр. В. О. Адлерберг <...> которого Николай I спрашивал, знает ли Дантес русский язык, на удачу отвечал утвердительно. В письме к Дантесу гр. Адлерберг советовал «взять учителя русского языка». <...> В. В. Никольский утверждает <...> что Дантес был освобожден от экзаменов по русской словесности, уставу и военному судопроизводству, хотя по русскому языку ему, видимо, пришлось устроить подобие экзамена. В формуляре Дантеса в графе: «Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли», сказано: «По-российски, по-французски, по-немецки, географии и математике». <...> Дантес не сразу поступил в действующий эскадрон полка, а состоял два месяца в 7-м запасном, потому что «не зная российского языка, не может быть переведен в действующий эскадрон» (См.: Сборник биографий кавалергардов. 1826–1908. С. 76. Примечание 3). Русский язык Дантесу остался чужим, и выучиться ему он так и не успел. — *Прим. автора.*

Пушкин. Он был всероссийской знаменитостью, его имя чтили более десяти лет в различных слоях и столичного и провинциального общества. <...> К глубокой скорби, доходившей у некоторых до отчаяния, присоединилось сознание, что Россия потеряла не только гениального поэта, но и поэта истинно национального. Более десяти тысяч человек перебывало у гроба поэта. <...> «Смерть Пушкина, — доносил 2 (14 Февраля) прусский посланник Либерман своему двору, — представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие». <...> Люди, даже отрицательно относившиеся к Пушкину, не могли пройти мимо такого события, хотя бы по его сенсационности[1].

<...>

Писать подробно о смерти Пушкина, говорить о его дуэли, оценивать его значеше как поэта, газетам и журналам было строго воспрещено. Этим думали ослабить впечатление, которое произвела его кончина на средний и интеллигентный класс русского общества. Правительство напугалось горячего, непосредственпого чувства, неприкрашенной скорби к человеку совершенно частному, нечиновному, умершему бедняком. Для николаевского времени такое проявление общественного горя было событием удивительпым, а с точки зрения охранителя государственного порядка и общественного спокойствия, каковым и был шеф жандармов, буквально опасным. <...> По мнению охранителей государственного порядка, поэт исповедывал демагогические идеи. Не голословно сообщал барон Геккерен барону Верстолку, что «смерть г. Пушкина открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был... Эту партию можно назвать реформатской; этим названием пользуются сами ее члены», — уверяет посланник. <...>

Таково было о нем мнение официальных сфер, но оплакивавшая тогда смерть великого поэта мыслящая Россия не считалась с этим.

<...>

Если Пушкин при жизни был подозрителен для III Отделения как политически неблагонадежный человек и находился под неусыпным наблюдением властей, хотя и «не в виде арестанта», то и мертвый он внушал не меньшие опасения. У его гроба переодетые шпионы зорко следили за всем, что творилось в квартире поэта, проникли даже в его гостиную, и, конечно, все сведения сообщали в III Отделение.

Каждый шаг друзей покойного делался известным Бенкендорфу. Благонамереннейший Жуковский, стоявший не раз на дороге у шефа жандармов как постоянный защитник Пушкина. пользовался особым вниманием агентов. Его заподозрили в утайке бумаг поэта и не допустили одного к разборке рукописей. К нему был приставлен Дубельт.

<...>

Но за Пушкиным в последние годы жизни, кроме его литературной деятельности, ничего не значилось, что бы позволяло считать поэта не только главарем революционной партии, но даже рядовым членом ее. Да и в самом существовании такого общества можно было сомневаться. Необходимо было, кроме слухов, сплетен, голословных заявлений, иметь более существенные факты. Случай для этого представился.

Еще прах поэта не был похоронен, как В. А, Жуковский и граф А. Ф. Орлов полу-

---

[1] Подробный перечень писем по поводу смерти Пушкина приведен в статье Б. Л. Модзалевского «Смерть Пушкина» («Пушкин и его современники». Вып. VI. СПб., 1908 г. С. 98–100. Примечание). — *Прим. автора*.

чили анонимные письма. Писало их, судя по почерку, одно и то же лицо, уже немолодых лет, разбиравшееся в политических событиях того времени, человек не без образования. Автор очень удачно выразил настроение читающей России по случаю смерти поэта: глубокую скорбь по умершему, сознание, что родина потеряла национального гения, негодование против выскочки-француза и сожаление, что трон императора окружают иностранцы, которым чуждо все русское. Смерть поэта, по мнению анонима, есть убийство предумышленное. Последнее было прозрачным намеком на Бенкендорфа и в комментариях не нуждалось.

Письма известны до сих пор не были и нами опубликовываются впервые. Жуковский получил письмо раньше графа Орлова.

> Милостивый государь, Василий Андреевич!
>
> Убийство А. С. Пушкина, делавшего честь России своим именем и поставившего себя (здесь неуместно употреблять лесть) первым после Вас поэтом, для каждого россиянина есть чувствительнейшая потеря. <...> Неужели после сего происшествия может быть терпим у нас не только Дантест, но и презренный Гекерн? Неужели правительство может равнодушно сносить поступок презренного им чужеземца и оставить безнаказанно дерзкого и ничтожного мальчика? Вы, будучи другом покойному, конечно, одинаковое со всеми принимаете участие в таковой горестной потере, и, по близости своей к царскому дому употребите всевозможное старание к удалению отсюда людей, соделавшихся чрез таковой поступок ненавистными каждому соотечественнику вашему, осмелившихся оскорбить в лице покойного дух народный. Вы один из тех, на которых имеется надежда в исполнение сего общего желания. Явное покровительство и предпочтение подобным пришлецам-нахалам и иностранцам, может для нас быть гибельпым. — А вы носите важную на себе обязанность. Не подумайте однако же, что письмо сие есть средство к какому-либо противозаконному увлечению, нет, его писал верный подданный, желающий славы и блага Государю и отечеству и живущий уже четвертое царствование.
>
> 30 января 1837.
> Его Превосходительству Милостивому Государю
> Василию Андреевичу Жуковскому
> В Шепелевском дворце.

Жуковский получил письмо не позднее утра 31 января; 1 февраля он рассказал о нем императрице, а та сообщила мужу. Бенкендорф узнал о нем от императора 2 февраля, когда шеф жандармов имел в руках другое анонимное письмо, присланное графу А. Ф. Орлову. Опираясь на приказание императора, Бенкендорф посылает Жуковскому записку, давая в ней понять, как Жуковский должен был поступить при получении анонимного письма.

> Е. В. Император уполномочил меня спросить у вас анонимное письмо, которое вы вчера получили, и о котором вы сочли нужным сказать Е. В. Императрице. Граф Орлов получил подобное же письмо и поспешил вручить его мне. Сравнение двух писем может дать указание на составителя. <...>
>
> Ваш А. Бенкендорф.

Жуковский ответил на другой день. Его записка в черновике была известна ранее. <...> Обмен записками между шефом жандармов и Жуковским носит характер стычки, в которой противники стараются уколоть друг друга. <...> В обоих Жуковский не преминул указать на «живое чувство, которое пробуждено в сердце каж-

дого русского». Рядом с присланным анонимным письмом напоминание било в цель.

Милостивый государь
Александр Христофорович.

Имею честь препроводить к Вашему Сиятельству требуемое вами письмо. Повторяю ‹...› покорнейшую просьбу мою о разрешении подписки на сочинения Пушкина и на «Современник». Единственная цель моего желания поспешить публикацию есть та, чтобы воспользоваться тем живым чувством, которое пробуждено в сердце каждого русского ко памяти Пушкина, и собрать большую подписку в пользу его детей.

С совершенным почтением честь имею быть Вашего Сиятельства покорнейший слуга Жуковский.

3 февраля.

Получив записку Жуковского вместе с анонимным письмом, шеф жандармов приказывает Мордвинову: ‹...›

«Пришлите мне бумагу для Жуковского; вот письмо, которое он получил; мне кажется, что это тот же самый почерк, что и в письме, полученном Орловым». ‹...›

Письмо к графу Орлову, по внешности и почерку, как безошибочно отметил наблюдательный глаз Бенкендорфа, совпадает с анонимным письмом к Жуковскому. ‹...› Содержание его несколько иное, тон более резкий, категорический и в конце почти угрожающий. События последних трех дней, протекших между посылкой писем Жуковскому и Орлову, оказали свое влияние на неизвестного автора. Общественное движение, точнее, проблески общественного мнения, доказали правоту высказанного в предыдущем письме и позволили заговорить не только от своего имени.

Ваше сиятельство.

Лишение всех званий, ссылка на вечные времена в гарнизоны солдатом Дантеста[1], не может удовлетворить русских за умышленное, обдуманное убийство Пушкина; нет, скорая высылка отсюда презренного Гекерна, безусловное воспрещение вступать в российскую службу иностранцам, быть может, несколько успокоит, утушит скорбь соотечественников Ваших в таковой невознаградимой потере. Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам день ото дня делается для нас нестерпимее. Времена Бирона миновались. Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было любопытных русских — следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому. Граф! Вы единственный у престола представитель своих соотечественнпков, носите славное и историческое имя и сами успели заслужить признательность и уважение своих сограждан; а потому все на Вас смотрят как на последнюю надежду. Убедите Его Величество поступить в этом деле с общею пользою. Вам известен дух народный, патриотизм, любовь его к славе отечества, преданность к престолу, благоговение к Царю; но дальнейшее пренебрежение к своим верным поданным, увеличивающиеся злоупотребления во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцов, все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и самом народе! Ваше сиятельство, именем Вашего отечества, спокойствия и блага государя, просят Вас представить Его Величеству о необходимости поступить с

[1] Автор передает распространенный тогда, но неверный слух, что Дантеса уже судили и приговорили к разжалованию в солдаты. ‹...›. — *Прим. автора.*

желанием общим, выгоды оттого произойдут неисчислимые, иначе, граф, мы горько поплатимся за оскорбление народное, и вскоре.

С истинным и совершенным уважением
имею честь быть К. М.

Вторник.
2-февраля.

<...>

Отношения Бенкендорфа к Пушкину достаточно известны: поэт в его глазах был опасный революционер. Такое мнение он не раз высказывал и императору. Анонимное письмо позволяло шефу жандармов с настойчивостью говорить о существовании революционного общества. Признаки были налицо: группа русских, желающих выставить себя горячими патриотами и недовольных правительством, ненависть к иноземцам, предостережение на будущее,— все было знакомо царю и его приближенному по 1825 году. Бенкендорф, несомненно, держался такого мнения: смерть видного деятеля общества обнаружила существование заговора, который пока выявился в демонстрации против власти, в раздраженных разговорах, грозящих перейти в дело. Тени 14 декабря вставали пред верноподданным Николая и пугали его ужасами революции. Надо было действовать и скорыми мерами прекратить все проявления общественного возбуждения.

Возвращая в тот же день анонимное письмо гр. Орлову, Бенкендорф шлет ему записку со своим безапелляционным мнением. <...>

Это письмо очень важно, оно доказывает существование и работу общества. Покажите его тотчас же императору и возвратите его мне, чтобы я мог по горячим следам найти автора.

Граф Орлов не медлит. Он препровождает письмо Николаю I вместе с запиской шефа жандармов и прилагает свою. <...>

Еще пе получив обратно резолюции Николая на посланные письма, Бенкендорф вторично видится с царем и передает ему свежую новость, что неудавшаяся с распряжкой лошадей демонстрация в Петербурге готовится теперь в Пскове. Получается новый приказ, и шеф жандармов шлет псковскому губернатору Пещурову немедленное распоряжение принять меры, распоряжение, эхом раздавшееся в различных инстанциях псковской администрации. <...>

Бенкендорф пишет А. Н. Мордвинову 2 же февраля: «...Я только что видел императора, который приказал сказать вам, чтобы вы написали Псковскому губернатору: пусть он запретит для Пушкина все, кроме того, что делается для всякого дворянина; к тому же, раз церемония имела место здесь, не для чего уже ее делать». <...>

Отношения императора Николая Павловича к Пушкину до некоторой степепи известны, но требуют больших сведений при глубоком анализе и беспристрастном взгляде историка. До недавнего времени при поверхностном исследовании или за отсутствием необходимого документального материала эти отношения представлялись благожелательными, говорили о большом и милостивом внимании царя и о редком, почти дружелюбном обращении с поэтом. Все неприятности жизни Пушкяна, постоянные уколы самолюбию, надоедливый надзор и придирчивую цензуру многие ставили на счет Бенкендорфа и его присных. Государь оставался в стороне даже тогда, когда его неприязненность трудно было скрыть: ее приписывали постороннему влиянию.

Такое представление вытекало из неправильной характеристики личности Николая.

Николай Павловнч, обладая сильной волей и ярко выраженной индивидуальностью, не нуждался во временщике. Он на все и всегда имел свой собственный, «николаевский» взгляд. Достойный брат Александра Павловича, скрытность и неискренность которого могли бы войти в пословицу, Николай еще великим князем обращал на себя внимание как человек холодного сердца и рассудка, человек злопамятный. Декабрьское восстание отметило мстительность его натуры, оно же породило недоверчивость и подозрительность к людям. Установив раз свой взгляд на человека, царь мог менять внешнее обращение с ним, но суть отношений оставалась та же.

Будучи создателем III Отделения, Николай был и душой его. Бенкендорф, Орлов, Дубельт et tutti quanti состояли исполнителями воли царя. Во главе корпуса стоял талантливый руководитель — сам император. Он умело скрывал свои способности и, как за ширмы, прятался за своих менее одаренных помощников, которые всегда пели с его голоса и должны были попадать в тон. Бенкендорф в этом преуспевал.

Государь был ловким и умным человеком. Таковым, по крайней мере, он рисуется нам в своих отношениях к Пушкину, начиная с известной беседы во время коронации в Москве до последней минуты жизни поэта. Где нужно было, то есть где это было выгодно для царя, он шел навстречу и легко прикрывал милостями и баговолениями скрытое недоброжелательство и постоянную недоверчпвость. Успокоив умирающего поэта, одарив деньгами и пенсией его семью, Николай расположил к себе общественное мнение дома и заставил заговорить о монаршем великодушии дипломатический корпус.

<...>

На наш взгляд, поведение Николая в это время вытекало из раз установившегося о Пушкине мнения, которое подкрепили события январских и февральских дней: экспансивность толпы по случаю смерти поэта, анонимные письма и несомненный страх пред революционным брожением. Император не слушал Жуковского главным образом потому, что его слова могли казаться насторожившемуся монарху если не подозрительными, то усыпляющими его бдительность. Не из сочувствия Бенкендорфу он принял ряд мер в последние дни пребывания Пушкина в Петербурге и при похоронах поэта: подобного поведения требовала сущность вещей. Надо было как можно скорее прекратить создавшуюся около праха поэта шумиху. Бенкендорф учитывал нравственное состояние своего повелителя, действовал по его указке и не расходился в оценке переживаемого ни на йоту.

Мы имеем несомненное доказательство, что Николай Павлович придавал большое значение анонимным ппсьмам и в них, как и Бенкендорф, видел грозное memento декабрьских дней. <...>

Итог, дающий характеристику поэту и событиям по случаю его смерти, хотя кратко, но определенно подведен в «Отчете о действиях корпуса жандармов» за 1837 год.

Отчеты обычно представлялись царю ежегодно и кратко пересказывали события за обозреваемый период, останавливаясь на самом существенном и достойном внимания с точки зрения высшей полиции. <...> О дуэли и смерти поэта говорится во второй части Отчета, озаглавленной «Обозрение расположения умов и некоторых частей государственного управления». Взгляд, который дан о Пушкине в обзоре III Отделением, мы не в состоянии отделить от мнения императора Николая, так как смерть поэта принесла много хлопот и тому и другому; они действовали заодно, и высказанное в Отчете было повторением передуманного и переговоренного между монархом и заправилами корпуса жандармов.

«В начале сего года, — говорится в „Обозрении“, — умер от полученной на по-

единке раны знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина, образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. <...> И те и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось вьпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. — Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. — В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов,— высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».

Быстрые распоряжения «высшего наблюдения» касались не только петербургской и псковской администраций. Была опасность, что литературная и интеллигентная Москва также не останется равнодушпой к кончине Пушкина и выкажет, как и северная столица, «неприличную картину торжества либералов». Не без внушения корпуса жандармов министр народного просвещения С. С. Уваров писал 1 февраля московскому попечителю графу С. Г. Строганову поддерживать «надлежащую умеренность и тон приличия» в статьях московских изданий по случаю смерти поэта. Общим приказом III Отделения объясняется неудача М. П. Погодина отслужить торжественную панихиду по умершему Пушкину. <...>

V

Георг Дантес, покидая Россию, передал «тяжелое наследство» старшему Геккерену и о себе оставил неизгладимо печальную память. Более трех лет он жил в России, где на первых порах ему, что называется, повезло. Благодаря лестной рекомендации прусского принца Вильгельма Дантес пользуется милостивым вниманием императора Николая, за него хлопочут важные лица русского двора и, наконец, его усыновляет голландский посланник Геккерен. Чрез несколько месяцев после прибытия в Петербург, ровно за три года до дуэли с Пушкиным, он допущен к экзамену и принят офицером в Кавалергардский полк. Дантес, по словам Данзаса, обладал «врожденной способностью нравиться всем с первого взгляда». <...> Это был видный, красивый молодой человек, неглупый по природе, со злым язычком, не лишенный остроумия, находчивый и развязный. В Петербурге около имени французского выходца создается легенда о высоком его происхождении, которая, как теперь мы знаем, была совершенно вздорной. Общительный, постоянно веселый, пользующийся успехом у дам, Дантес оказался вполне подходящим к тому кругу, в который он вошел. Великий князь Михаил Павлович любит его общество, смеется над его остротами, пахнущими казармой каламбурами и рискованными mots. Одним словом, перед молодым офицером широко открылись двери салонов, его охотно принимают в высшем обществе. <...>

Дантес не получил большого образования, но его самоуверенность и развязность, доходившая порой до нахальства, производили впечатление па товарищей по полку: они считали его весьма развитым, начитанным и образованным человеком. Впрочем, этого достигнуть было нетрудно. Кавалергардские офицеры в зна-

чительной части комплектовались из пажей, которые отличались от других офицеров образцовой невежественностью. <...>

С поступлением на русскую службу Дантес приобщился к кругу военной молодежи, делившей досуг между кордегардией и салоном, проникся неглубокой житейской мудростью, без труда воспринял несложную мораль об офицерской чести и так называемого порядочного человека[1]. Духовные запросы и высшие интересы были чужды молодому авантюристу.

Принятый охотно аристократией, барон Дантес де Геккерен легко освоился среди нее и перезнакомился на балах и раутах с блестящими ее представителями. Без труда он увидел, что Пушкин занимал там весьма скромное место и играл какую-то непонятную Дантесу «роль в маленьком кружке» великосветской молодежи. Он случайно свел знакомство с Пушкиным в 1833 году, обедая с ним за общим столом в ресторане Дюме, увидел в нем остроумного человека, вошел в дом поэта и поддерживал с ним знакомство как с мужем молодой женщины <...> в которую и влюбился.

О поэте Пушкине Дантес знал мало. Для него, пришельца, он значил немного больше, чем для того швейцара, который при разъезде выкрикивал карету «сочинителя Пушкина». Дантес выходил на поединок с легкомысленным задором, с сознанием задетой чести и с той же долей ответственности, ответственности нравственной, с какой встал бы против Данзаса, графа Соллогуба или любого из своих однополчан кавалергардов. Только после смерти поэта обстоятельства дали Дантесу почувствовать истинное значение его противника.

Дантес дуэли не боялся, он не был трусливым человеком, законная же ответственность за участие в поединке обыкновенно сводилась к ничтожному наказанию. <...>

Слух о дуэли разнесся по Петербургу немедленно, о ней одним из первых узнал командир Кавалергардскаго полка генерал Гринвальд, который в тот же день, 27 января, подверг Дантеса домашнему аресту. <...> Через день, 29 числа, дело о дуэли было передано суду Конной гвардии и приказом по Отдельному Гвардейскому корпусу высказывалось пожелание: «Дело сие окончить сколь возможно поспешнее». <...> Презусом суда 1 февраля назначался полковник Конного полка, флигель-адъютант Бреверн... и в приказе стояло распоряжение: «Судить его [Дантеса] военным судом арестованным». <...>

Суд отнесся к делу формально. Вдова Пушкина не допрашивалась, потому что Комиссия считала «дело довольно ясным»[2]. О причине дуэли и Данзас... и Дантес на следствии говорили мало. <...>

---

[1] Н. Ф. Дубровин приводит такую характеристику тогдашнего воспитания: «Прежде всего мальчику внушалась необходимость иметь сознание о собственном достоинстве — point d'honneur,— но в чем оно заключалось, никто ему не объяснял; внушали неуступчивость, сварливость, «отчего молодежь поставляет себе долгом и обязанностью ничего не извинять, что кажется оскорбительным». Отсюда происхождение частых дуэлей, которые существовали в первую половину настоящего столетия, и поводы к которым доходили до глупости и даже пошлости... У большинства молодежи понятия о чести, долге, справедливости и обязанностях перепутались; учтивость заменила благонравие, расточительность изгнала умеренность, мнимая острота ума заглушила рассудок. Люди, причислявшие себя к большому свету, говорили, что человеку «дан ум для злословия, вкус — для щегольства, а сердце — для волокитства». Благовоспитанный молодой человек, в сущности, был круглый невежда, не имевший никаких основательных сведений» (Русская старина. 1899. Март. С. 543–544; статья «Русская жизнь в начале XIX века»). — *Прим. автора*.

[2] 14 февраля аудитор Маслов рапортовал Комиссии, что «считал бы нужным о поведении Г.г. Геккеренов в отношении обращения их с Пушкиной взять от нее также объяснение». На это

Не военно-судная комиссия пугала Дантеса своей «сентенцией»: гораздо страшнее было общественное мнение, под влиянием которого могло сложиться окончательное решение судьбы начинавшего свою карьеру кавалергардского офицера, А предзнаменования были дурные. Посланник Геккерен уже 2 февраля в письме к барону Верстолку признается: «Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине г. Пушкина с большей силой, чем предполагали», и выражает желание «переменить резиденцию. <...> К охране голландского посольства принимаются меры. <...> Имя Дантеса. как убийцы Пушкина, становится иенавистным. Вюртембергский посол князь Гогенлое-Кирхберг депешей доносит: «Непосредственно после дуэли между Пушкиным и молодым бароном Геккереном большинство высказывалось в пользу последнего, но не понадобилось и 24 часов, чтобы русская партия изменила настроение умов в пользу Пушкина. Что же касается баронов Геккеренов, то они, правда, сделали все, чтобы, с своей стороны, навлечь па себя всеобщее неудовольствие, и многие лица, в былые времена отличавшие посла барона Геккерена, принуждены в настоящее время сожалеть об этом». <...> Самоуверенности Дантеса был нанесен чувствительный удар, и он понял, что преступление для него не пройдет бесследно.

Приговор в окончательной форме не мог принести ничего утешительного, и Дантес опасался тягостной для себя развязки. Надеяться на чью-либо помощь было напрасно; лишился он и протекции, приходилось защищаться самому. В архиве III Отделения нашлось одно письмо Дантеса к полковнику Бреверну от 26 февраля, то есть после приговора военно-судной комиссии и до конфирмации доклада генерал-аудиториата императором Николаем. <...> В письме к Бреверну Дантес, что называется, с места в карьер приступает к изложению фактов, бывших ранее дуэли и характеризующих Пушкина. Начало и содержание письма дает повод предполагать, что письмо не было одиноким, или, по крайней мере, ему предшествовали частные разговоры Дантеса с Бреверном на ту же тему: «Я Вам пишу это письмо в надежде, — говорит Дантес, — что оно, может быть, даст еще некоторые объяснения насчет этого грязного дела». Несомненно, Дантес дополнял письмом уже известное Бреверну не из показаний обвиняемых и свидетелей, так как в военно-судной комиссии подобные вопросы обходились молчанием.

<...>

Господин полковник!

Я только что узнал от моей жены, что при madam Валуевой <...> в салоне ее матери он говорил следующее: «Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастие, когда хочу». Она также только что мне рассказала о двух подробностях, которых я не знал. Вот почему я вам пишу это письмо в надежде, что оно, может быть, даст еще некоторые объяснения насчет этого грязного дела.

Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе

тогда же комиссия ответила постановлением: «Комиссия при слушании вчерашнего числа дела имела оные в виду, нашла дело довольно ясным, то дабы без причины не оскорбить г-жу Пушкину требованием изложенных в рапорте аудитора Маслова объяснений, определила, приобщив помянутый рапорт к делу, привесть оное к окончанию по точным словам определения, заключенного Комиссиею вчерашнего числа». <...> Командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром в бумаге от 41 марта 1837 года отмечает это упущение суда наряду с другими малозначащими и приходит к заключению: «Хотя бы и следовало возвратить означенное дело для изъясненных пополнений, но, как главные преступления подсудимых достаточно объясняются, то, дабы не замедлить в дальнейшем его представлении, я решился препроводить оное в таком виде, в каком есть». <...> Но упущение суда настолько значительно, что, думается, такой обход случился не без желания императора, который полагал кончить дело «по законам». — *Прим. автора.*

madam Пушкиной, он садился рядом с ней и на замечания относительно этого, которое она ему однажды сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот же самый вечер. Он воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. <...> После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я вам принесу несчастие». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела мне тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими.

В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы; 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, <...> где он себя вел обычно по отношению к обеим этим дамам, madam Пушкина на замечание г. Валуева, как она позволяет обращаться с нею таким образом подобному человеку, ответила: «Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, когда он обращается ко мне, меня охватывает дрожь». Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что madam Валуева передала мне начало разговора. Я вам даю отчет во всех этих подробностях, чтобы вы могли ими воспользоваться, как вы находите нужным, и чтобы вам дать понятие о той роли, которую играл этот человек в вашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я вас отсылаю, чтобы почерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта, но здесь я взываю к их честности и совести, и я их слишком хорошо знаю и убежден, что я их найду такими же, как я о них сужу.

С величайшим почтением, г. полковник, имею честь быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой.

Барон Георг Геккерен.

Петербург 26 февраля 1837.

Господину полковнику Бреверну [флигель-]адъютанту Его Императорского Величества.

Петербург. От барона Геккерена.

Дата указывает, что противник Пушкипа посылал письмо Бреверну не как презусу суда, а, скорее, как близкому к «высшему начальству» офицеру, который его поймет и, может быть, из сочувствия поможет. На это намекает и сам Дантес: «Я вам даю отчет во всех этих подробностях, чтобы вы могли ими воспользоваться, как вы находите нужным»...

Дантес хотел на примерах подтвердить безвыходность своего положения, но он ни одним звуком не обмолвился о главной причине, которая привела обоих противников к поединку 27 января. Писать на такую щекотливую для него тему было невыгодно.

Воспоминания и письма современников знакомят нас с поведением Дантеса после его женитьбы на сестре madam Пушкиной, Е. Н. Гончаровой. «Он не переставал волочиться за своей невесткой, — вспоминает Н. М. Смирнов, — он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальей Николаевной, за ужином пил за ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь». <...>

Поэт терял душевное равновесие и доходил до бешенства. Видеть жену на балах и в гостиных в обществе Дантеса, не спускавшего с нее влюбленных глаз и щеголя-

ющего пошлыми остротами, было для него нестерпимо. На вечере перед новым годом — Дантес уже был женихом Е. Н. Гончаровой — графиня Наталья Викторовна Строганова говорила хозяйке вечера, княгине Вяземской: «У него [то есть у Пушкина] такой страшный вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой». <...>

При манере непринужденного обращения с Натальей Николаевной Дантес делал вид, что не замечает враждебных взоров ее мужа. В глубине души он просто презирал Пушкина, так как французский выскочка мог уважать только «своих». В письме к Бреверну он считает совершенно лишним называть поэта по имени, а везде упоминает о нем в третьем лице. Как человека Дантес рисует Пушкина с весьма неприглядной стороны. Пушкин, как можно заключить из письма, был зол, мстителен, нетерпим в обществе по своей невоспитанности, придирчив и деспот своей жены, которая безмерно от него страдала. Вывод напрашивается сам собой: дуэль с подобным человеком, едва ли не бретёром, явление естественное, и если кто виноват в смерти поэта, то прежде всего он сам[1].

Если сведения, полученные Дантесом,— факты, то верно ли они переданы в письме к Бреверну и правильно ли освещены? Для проверки их мы располагаем кое-каким материалом.

Пушкин не был сдержанным человеком, а при разговорах о Дантесе или упоминании о старом Геккерене не стеснялся высказывать о них далеко не лестное мнеше. Жуковскому, постоянному ходатаю по делам Пушкина, не раз приходилось уговаривать раздраженного поэта и упрекать в излишней болтливости: «Вот что сказал княгине, — писал он Пушкину в ноябре 1836 года, — уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра перед тем, что я намерен сделать», и тому подобное». <...> Сказанное поэтом месяца за два до смерти пригодилось Дантесу, когда Пушкин лежал уже в земле. Может быть, на этой фразе, достигшей слуха Дантеса, и было построено его доказательство мстительной натуры поэта. Дантес тут был прав. Пушкин, конечно, ему мстил и видел, не без основания, в нем заклятого врага. Поведение поэта на дуэли — хороший тому пример. <...>

Правдоподобны и разговоры Пушкина с Екатериной Николаевной Дантес. Любопытно здесь замечание поэта относительно самочувствия двух сестер при встрече и выражения их лиц во время беседы, замечание язвительное, которое говорит о наблюдательности Пушкина. Он старался проверить правильность своих подозрений и найти оправдание клокотавшим в нем чувствам. «В конце концов он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы», — продолжает Дантес. И такое наблюдение правильно. <...> Не только дамы боялись Пушкина, старались избегать его общества и мужчины. Кн. А. В. Трубецкой вспоминает свой разговор с Пушкиным на балу у португальского посланника незадолго до дуэли. «Во время танцев я зашел в кабинет, все стены которого были увешаны рогами различных животных... Вошел Пушкин. „Вы зачем здесь? Кавалергарду да еще неженатому, здесь не место. Вы видите, — он указал на рога, — эта комната для женатых, для мужей, для нашего брата“. „Полноте Пушкин, вы и на бал притащили свою желчь; вот уж ей здесь не место“. Вслед за этим он начал бранить всех и вся, между прочим Дантеса, так как Дантес был кавалергардом, то и кавалергардов. Не желая ввя-

---

[1] Старший Геккерен пишет г-же Дантес, сестре своего приемного сына: «Иначе поступить мы не могли; Жоржу не в чем себя упрекнуть; его противником был безумец, вызвавший его без всякого разумного повода; ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир». — *Прим. автора.*

зываться в историю, я вышел из кабинета и, стоя в дверях танцевальной залы, увидел, что Дантес танцует с Natalie». ‹...›

Наше внимание останавливается на разговоре П. А. Валуева с Н. Н. Пушкиной. Всего разговора мы не знаем, до нас дошло только его начало, которое дает понятие о тяжелом положении Н. Н. Пушкиной в последние месяцы жизни поэта. Судя по письму Дантеса к Бреверну, грубое обращение поэта с женой переступало границы, и Natalie приходилось много переносить неприятностей от мужа. Как ни странно может показаться с первого взгляда, но и здесь сведения, полученные Дантесом, не грешили против истины.

«Отношения Пушкина к жене были очень сложны, — пишет П. Е. Щеголев в своем исследовании. ‹...› — Прежде всего неровны. — Далее он цитирует так называемые конспективные записки Жуковского. ‹...› — После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной... При тетке ласка к жене, при Александрине и других, кои могли бы рассказать. ‹...› Дома же веселость и большое согласие». «В этой заметке, — продолжает П. Е. Щеголев, — все неясно. При тетке Пушкин ласков к жене, при других, кто мог бы рассказать, грубоват. Кому рассказать? Дантесу, что ли? Если Дантесу, то почему же Пушкину нужно, чтобы до Дантеса дошли сведения не о том, что он ласков с женой, а о том, что он с ней груб? Последняя фраза записи: „Дома же веселость и большое согласие“ как будто противоречит приведенной раньше записи: „Мрачность при ней. Веселость за ее спиной“. Слишком скудны заметки Жуковского, не дают они ответа на бесчисленные вопросы, не дают представления о том, что же было?»

Пред нами стоят те же вопросы, что и пред П. Е. Щеголевым, и мы позволяем себе высказать предположение.

Кому нужно было знать, что поэт груб с женой? Почему Пушкину хотелось, чтобы об его семейном разладе дошло до ушей этого неизвестного?

Конечно, он имел в виду не пресловутый «свет», который... составил о поэте определенный взгляд как о человеке дурном.

Может быть, он думал о Екатерине Дантес? Но она могла узнать об этом непосредственно от Natalie. Да и зачем ей знать? Чтобы повлиять на мужа, удержать его и тем сделать жизнь сестры сносной? Прежде всего Екатерина Николаевна никакого влияния на Дантеса не имела, он был для нее в то время непогрешим, каковым остался в ее мнении и потом. При отъезде за границу, расставаясь с родиной навсегда, madam Дантес высказала возмущающую нас теперь несообразность, что «она прощает Пушкину». ‹...› В медовый же месяц она, как сомнамбула, смотрела на все происходившее широко раскрытыми глазами и в слепой влюбленности ничего не хотела примечать.

Не добивался ли Пушкии, чтобы слухи сделались известными Дантесу?

Но на чем основать такое предположение? Почему Пушкину важно было, чтобы Дантес знал о его неладной семейной жизни? Делаем по этому поводу небольшое отступление.

Дантес увлекся Наталией Николаевной и увлек ее собой, тут была не вина, а беда их, Пушкин защищал свою честь, как находил нужным, но дуэль не состоялась, и все сошло благополучно. Дантес женился на сестре Natalie, Екатерине Николаевне Гончаровой. П. Е. Щеголев в числе мотивов неожиданного решения Дантеса «закабалить» себя выдвигает мысль, что «поединок оторвал, отдалил бы его навсегда от Пушкиной, а брак на ее сестре, наоборот, приблизил бы, облегчил бы возможность встреч, сближений под покровом родственных отношений и чувств». ‹...› Согласимся с ним и перейдем к новым его догадкам. «Недалеко от правды предположение, что после всего происходившего в ноябре Пушкин не считал искренним и сколько-нибудь серьезным увлечение Дантеса Натальей Николаевной...

В ноябрьском столкновении Пушкин на момент почувствовал некий романтизм в страсти Дантеса; теперь же романтизм исчез бесследно, и осталась одна грубая проза житейских отношений». <...> Нам думается, что Пушкин мог держаться подобного взгляда только в первые дни сватовства Е. Н. Гончаровой. После предложения Дантеса он был успокоен сознанием, что заставил играть своего противника «жалкую роль». Удовлетворенность скоро прошла, ее снова заменили волнения за жену, за свою честь. Любовь противника Пушкина не покрывалась никаким флёром, не скрывала своего удовольствия и Natalie: ей всегда было весело с Дантесом. <...> Обоюдное увлечение было несомненным фактом. <...>

Пушкин, по нашему мнению, верил в искреннюю любовь Дантеса и видел, что сердцу молодого кавалергарда Наталья Николаевна была дороже всех, не исключая и собственной жены. Дантес должен был интересоваться самочувствием любимой женщины и принимать близко к сердцу все ее невзгоды.

Может быть, отчаявшись, Пушкпн прибегнул к последнему средству, чтобы вывести Дантеса из терпения и окончить дело дуэлью?

Такое предположение грешит большой натяжкой. Прежде всего средство уж не так сильно, чтобы понудить Дантеса на решительный шаг. Пушкиным применялись меры куда действительнее: отказ от дома, нежелание быть знакомым, личные разговоры с Екатериной Николаевной, угрозы чрез нее Дантесу, обмен резкостями при встречах с ним и т. п. Кроме того, такой способ действия мог затянуться на долгое время, Пушкин же горячился и сильно нервничал; ему как можно скорее хотелось положить конец и сплетням, и оскорбительному поведению Дантеса. <...>

Остается одно лицо, которое, по нашему мнению, решил осведомить стороной Пушкин. Этим лицом был Николай Павлович.

Между поэтом и царем стоял всесильный тогда Бенкендорф, но обращаться к нему теперь Пушкин не желал. Один раз он делал попытку и даже 21 ноября 1836 года писал Бенкендорфу: «Я вправе и думаю даже, что обязан довести до сведения вашего сиятельства о случившемся в моем семействе». Дальше идет краткое изложение ноябрьских событий: получение анонимных писем, вызов на дуэль, предложение Е. Н. Гончаровой, отказ Пушкина от вызова. В конце письма говорится: «Я убедился, что анонимное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю обязанностию довести до сведения правительства и общества.

«Будучи единственным судьею и хранителем моей чести и чести моей жены — почему и не требую ни правосудия, ни мщения, не могу и не хочу представлять доказательств кому бы то ни было в том, что я утверждаю». <...>

По этому поводу П. Е. Щеголев замечает: «Задача этого письма — обличение Геккерена-старшего, составителя анонимного пасквиля, и таким образом сильнейшая компрометация посланника европейской державы. По всей вероятности и по показаниям традиции, письмо это осталось непосланным и план неслыханной мести Геккерену остался неосуществленным ни в целом, ни в части». <...>

Указание на роль Геккерена в ноябрьских событиях могло угрожать посланнику большими неприятностями, если бы только Бенкендорф не состоял в первых рядах врагов Пушкина. Шеф жандармов знал все и без письма поэта, но он не предпринимал никаких мер и не старался устранить надвигавшуюся развязку семейной драмы поэта. Отчасти тем и объясняется, что Пушкин не послал ему письма в ноябре и не осведомлял его впоследствии. В январские дни у него созрел иной план.

Только вмешательство Николая могло порвать сеть хитросплетений, которыми враждебная часть петербургского «света» опутала Natalie и самого Пушкина. Только царь в силах был прекратить интриги рассерженного Геккерена и указать место зарвавшемуся Дантесу, приказав ему оставить Петербург. Проект выслать Дантеса на Кавказ существовал. Исходил он от графа В. О. Адлерберга, который даже док-

ладывал о нем великому князю Михаилу Павловичу. «Меру, предложенную гр. Адлербергом, не успели привести в исполнение», потому что не желали лишать дам общества веселого п красивого кавалера. <...>

Николай Павлович имел полное представление о ссоре Пушкина с Дантесом и знал причину их столкновения. Передают, что император, при встрече с Пушкиным после того, как поэт счел свой вызов Дантесу несуществующим, «взял с него слово, что <...> он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед». <...>

Пушкин учитывал доброе отношение Николая к Natalie. Им он и хотел воспользоваться, чтобы положить конец возобновлению ухаживаниям Дантеса, светским пересудам и закулисным интригам юркого Геккерена. Слабостью царя было постоянное желание выказывать себя строгим семьянином и охранителем домашнего очага, отечески вмешиваться в семейную жизнь посторонних людей. Мог и на это рассчитывать Пушкин. Создавая своим обращением с женой видимость разлада и подчеркивая его при чужих, поэт желал, чтобы великосветские Марьи Алексевны не преминули посплетничать насчет тирана мужа, пожалели бедную Natalie и разгласили о ее размолвке с Пушкиным. Пушкин не сомневался. что толки дойдут до Николая и вызовут с его стороны благоприятные распоряжения. Но царь на этот раз остался глух и в холодном созерцании ожидал развязки «неловкого положения» поэта и его противника.

Таково наше объяснение малопонятной записи Жуковского: «При Александрине и других, кои могли бы рассказать, — des brusqueries (резкости (*фр.*). — *М. Р.*) <...>

После смерти поэта этот справедливый nonsens — как иначе назвать непонятную па первый взгляд мистификацию Пушкина?— приходилось друзьям опровергать обиняками. Кн. Вяземской, например, не без цели пишет и вел. кн. Михаилу Павловичу и А. Я. Булгакову, что в период ухаживания Дантеса за Пушкиной, отношения поэта к жене не пострадали. <...>

Как далеко зашли отношения Дантеса и Пушкиной, осталось тайной. До сих пор у нас нет ничего непреложного, уличающего Natalie в супружеской неверности. Все, что имеется в распоряжении исследователей авторитетного, скорее опровергает, чем подтверждает подобный взгляд. Мы знаем одно: поэт был уверен в полной ее невинности, что неоднократно и незадолго до дуэли высказывал разным лицам. К нему присоединяются и близкие друзья Пушкина. В их единодушии мы отказываемся видеть только одну защиту чести молодой женщины. Но такова уже сплетня: она всегда имеет свой осадок.

К сожалению, данные о последних месяцах жизни поэта, его семейных отношешях, об отношениях Natalie к Дантесу и мужу настолько сбивчивы, запутаны и благодаря этому неясны, что не позволяют исследователю высказаться категорически. <...>

Было бы наивностью считать характеристику Пушкина Дантесом близкой к истин. Для людей, чуждых поэту по духу и по интересам, Пушкин был недоступеп. Им не дано было постигнуть необычайную красоту его душевных свойств, сложных и глубоких. Им странен он был, начиная со своего внешнего облика, кончая богатым содержанием внутренних переживаний, всегда волнующих и несказанно прекрасных. Всякий, кто знал его близко, столько же ценил его за гениальные способности, сколько и любил за редкие качества мятущейся, неугомонной души. <...> Не злоба и месть, не нудная сварливость были главными качествами его, а безграничная доброта, детское простодушие и чуткое, «золотое» сердце. Несмотря на свою искренность и редкую прямоту, Пушкин не был разгадан «толпой» и остался непонятен «черни». <...>

На этом и заканчивается настоящая работа, может быть, несколько неточно

озаглавленная «О смерти Пушкина». Если нам удалось здесь осветить некоторые факты, касающиеся поэта, и дать материал для его биографа, то свою задачу мы сочли бы выполненной. <...>

Публикуется по: А. С. Поляков. О смерти Пушкина. По новым данным (Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук). Пг., 1922. С. 5–108.

Александр Сергеевич Поляков (1882–1923) — литературовед, театровед, библиограф. Родившись в селе Ундоры Симбирской губернии (отсюда происходит его псевдоним — А. Ундорский), А. С. Поляков большую часть своей жизни провел в Петербурге. Здесь он учится в Психоневрологическом институте, а затем и на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В Петербурге он становится членом Русского библиологического общества, сотрудничает с Пушкинским Домом, Российской Книжной палатой, издает свой журнал «Бирюч петроградских государственных театров» (1918–1920). С 1918 года А. С. Поляков возглавляет Центральную библиотеку Русской драмы, создает в ней Фонд пьес драматической цензуры, приобретает новые документы для рукописного отдела (Википедия).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной

Заметки постороннего

Наталья ГРАНЦЕВА

НЕЗАБВЕННЫЙ ХЕРАСКОВ

К 280-летию со дня рождения

Гений первой величины

Нет, не варвары, захватившие здание российского поэтического Олимпа, не дикие оккупанты из непросвещенных закоулков ойкумены, не дремучие враги культуры громят созданное нашими литературными предками — этой вандалистской практике предается каждое новое поколение россиян-прогрессистов, занявшихся литературным строительством.

Вот пришло на российскую землю поколение первых литературных гигантов — оно заложило фундамент отечественной литературы, создало проект ее развития, возвело опоры и стены первого этажа, способные выдержать внушительный вес будущих конструкций, устремленных ввысь. Это были гении восемнадцатого века — Ломоносов, Херасков, Державин.

Наталья Анатольевна Гранцева родилась в Ленинграде, окончила Литературный институт им. Горького. Автор семи книг поэзии и исторической эссеистики. Живет в Санкт-Петербурге.

Но вот пришло поколение девятнадцатого века — оно возвело второй этаж отечественной словесности, который действительно оказался выше первого, легче, светлее... Это поколение заявило, что для строительства третьего этажа первый — не нужен. Новые властители умов назвали предшественников консерваторами, устаревшими и бесполезными для будущего — созданные развенчанными гениями опоры и своды были безжалостно снесены...

Но вот пришло на просторы российской словесности третье поколение архитекторов, и строящееся здание российской культуры, поднявшееся еще выше, творцы третьего этажа объявили способным обойтись без устаревших предшественников. Так гении предшествующего этапа строительства были провозглашены ненужными новому миру двадцатого века, обреченными на выбрасывание за борт... И конструкции второго этажа тоже стали жертвами отбойного молотка.

Не за горами, видимо, и новый приступ культурного вандализма, и, может быть, мы еще станем свидетелями того, как отважные литераторы двадцать первого века начнут крушить великие имена, возводившие ценой собственной жизни третий этаж, оказавшийся опять бесполезным для возведения четвертого, создающегося на наших глазах...

Будущий независимый исследователь этого фантастического архитектурного сооружения, называющегося историей российской литературы, войдя внутрь довольно высокого здания, будет поражен: он окажется в огромном пустом пространстве, ограниченном лишь внешними стенами, над головой его будет висеть лишь потолок третьего этажа, а под ногами окажется монблан осколков колонн и известковый прах старинных фресок, смешанный с золотой пылью литературных убранств прошлого...

Как воссоздать память о сокровищах минувшего? Как собрать разрушенное? Как объяснить необъяснимую уверенность строителей культурного проекта в том, что возведение каждого нового этажа невозможно без уничтожения этажа предыдущего? Почему для того, чтобы видеть дальше, подобно Ньютону, стоявшему на плечах предшественников, российские творцы предпочитают уничтожить предшественников и повиснуть в пустоте? Не пора ли приступить к археологическим изысканиям, пока не рухнула это безопорная высотная многоэтажка и не погребла навсегда проект, рассчитанный на века отцами-основателями?

Литературные гиганты российского XVIII столетия, строители-атлеты, показавшие олимпийские результаты в греко-римской борьбе с историей и природой, может быть, потому и смогли возвести мегалитический фундамент отечественной словесности, что не объявляли себя венцом мирозданья, а с огромным пиететом относились к достижениям тех, кто посвятил себя духовному созиданию до них. Сегодня будет справедливым вспомнить об одном из плеяды литературных атлантов, ныне совершенно забытом культурной элитой страны и абсолютно неизвестном ни одному любознательному школяру. Вспомним о выдающемся поэте Михаиле Матвеевиче Хераскове, родившемся 280 лет назад, прожившем большую и творчески насыщенную жизнь — прах его упокоен на кладбище Донского монастыря как подтверждение несомненных заслуг перед Отечеством.

В 1797 году, уже в зрелых летах благоуханных седин, этот необыкновенный человек, поистине с юношеской жаждой знаний и неугасимой любовью к поэзии реагирующий на всякое новое веяние развития литературного многообразия, с восторгом откликнулся одним из первых на явление публике великого предшественника — автора «Слова о полку Игореве». Михаил Херасков не заявил, будучи первым в литературной табели о рангах своего времени, что новой России, созданной Петром Великим империи, не нужен какой-то устаревший певец феодальной раздробленной Руси XII века. Михаил Херасков заявил другое.

«Находку „Слова о полку Игореве“ первым в литературе, как известно, отметил Карамзин. Херасков, зорко следивший за литературными новостями, также откликнулся на открытие гениального памятника русской словесности и в третьем издании „Владимира“ (1797) посвятил ему несколько строк:[1]

О! древних лет певец, полночный Оссиан!
Руинами веков скрываемый Баян!
Тебя нам возвестил незнаемый писатель;
Когда он был твоих напевов подражатель,
Так Игорева песнь изображает нам,
Что душу посылал Гомер твоим стихам;
В них слышны, кажется мне, песни соловьины,
Отважный львиный ход, парения орлины.
Ты, может быть, Баян, тому свидетель был,
Когда Владимир в Тавр Закон принять ходил,
И ежели твой дух еще витает в мире,
Води моим пером, учи играть на лире...
(II, 300–301)»[2]

Обращаясь мысленно к вещему Баяну, легендарному древнерусскому поэту-сказителю, Михаил Херасков счел великой заслугой неизвестного автора «Слова...» то, что он наследовал традиции Баяна, как Баян наследовал Гомеру. Михаил Херасков считал своим долгом почтительно склонить голову перед далеким предшественником и смиренно просить взять его в ученики...

Конечно, сейчас можно только поблагодарить одного из немногочисленных исследователей творчества Михаила Хераскова за, так сказать, средневзвешенный курс вступительной статьи к однотомнику избранного поэта, вышедшему более полувека назад, но все-таки и нельзя не отметить немного странного комментария А. В. Западова к приведенной цитате: «Однако ничем из художественных сокровищ „Слова о полку Игореве“ Херасков не воспользовался, как не включил он в свою поэму и мотивов народного устного творчества».

Неужели автор комментария всерьез полагал, что шестидесятичетырехлетний поэт, снискавший к 1797 году национальную славу, как «российский Гомер», жаждал чему-то новому научиться при чтении «Слова...»? Неужели автор комментария не почувствовал в этих строках символического заявления поэта о духовном и творческом родстве с создателями эпических форм древних времен?

Поэтому, утверждаем мы, Михаил Херасков и «не воспользовался» сокровищами «Слова о полку Игореве», что уже давным-давно ими обладал. И особенно странно выглядит этот полускрытый упрек при том, что комментатор не указал читателю: а кто же после 1797 года воспользовался внезапно воскресшими «художественными сокровищами»? Еще более странным выглядит упрек, что Михаил Херасков не обогатился «мотивами народного устного творчества»... А что, разве тот, аутентичный Гомер, которому следовали Баян, неизвестный создатель «Слова...» и Михаил Херасков, был переполнен этими мотивами?

Упомянутое комментатором 3-е издание «Владимира», в которое Михаил Херасков включил приведенные строки, посвященные открытию «Слова о полку Игореве», удостоилось более чем сдержанного вердикта: «Среди стихов „Владими-

[1] Здесь и далее цитаты из произведений М. Хераскова в отдельных местах избавлены от архаизмов. — *Прим. автора.*

[2] М. М. Херасков. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1961. (Библиотека поэта. Большая серия).

ра“ нередко встречаются хорошие строки. Херасков отлично владеет шестистопным ямбом, речь его течет внушительно и ровно».

Да разве ж это главное? Главное то, что к 1797 году поэт написал две грандиозных эпических поэмы — два эпоса на русскую тему и на русском языке (а третью, блестящую, но менее грандиозную еще ранее — «Чесменский бой»). И если первый из крупных поэтических эпосов, «Россиада» (1779), принесший автору всероссийскую славу отечественного Гомера, был посвящен судьбоносному для Московской Руси событию — взятию Казани Иваном Грозным — и был «на ура» встречен неподготовленной читательской аудиторией, из любопытства одолевшей 12 песен и более 9 тысяч строк, то второй эпос, «Владимир», посвященный еще более фундаментальному историческому событию — принятию христианства Киевской Русью, был встречен более спокойно. Но все-таки, обратите внимание, издавался уже третьим изданием, то есть был востребован! Автор этих поэм — поэт-первопроходец, превзошедший не только М. В. Ломоносова, но и других предшественников, не сумевших взять национальную эпическую высоту. А Михаил Херасков — первым! и дважды! — смог!

Но почему же «Владимир» был принят более спокойно? Почему же Михаила Хераскова современники не объявили «дважды Гомером»? Во-первых, публика уже и так знала, что автор умеет создавать эпические полотна на высоком уровне, а во-вторых, далеко не всякий читатель мог одолеть еще более сложный и объемный литературный проект — восемнадцать песен и более десяти тысяч стихов. Ну а в-третьих, религиозно-государственная проблематика воспринималась читающими россиянами уже менее адекватно в связи с прогремевшими событиями Великой Французской революции, которая попрала завоевания властителей и духовное подвижничество церкви с помощью такого прогрессивного орудия просвещения, как гильотина.

Но одно дело — непосредственная реакция живого современника создателя поэмы «Владимир», другое дело — объективный взгляд историка литературы, обязанного на расстоянии объективно видеть большое. Разве уже одно это — приоритет в создании двух поэтических национальных колоссов — не повод для того, чтобы имя российского Гомера, как и имя великого древнего грека, создавшего тоже две эпические поэмы («Илиаду» и «Одиссею») было хотя бы известно каждому российскому школьнику, патриотическим воспитанием которого неустанно занимаются госслужащие и педагоги? Но нет, имени Михаила Хераскова школьник в учебнике не найдет. Так и выйдет за стены обители знаний с убежденностью, что великих произведений мастера прошлого не создали.

Конечно, современный читатель хотел бы убедиться в том, что обе эпические поэмы Михаила Хераскова обладают несомненными литературными достоинствами, демонстрирующими максимальную эстетическую высоту, возможную для конца XVIII века. Но увы, современный читатель не найдет подробного аналитического исследования на эту тему, созданного филологами XIX или XX века. Их нет.

Единственный прецедент относится к 1815 году! Тогда, удрученный непрофессиональными восторгами широкой публики относительно «Россиады» — а прошло уже более тридцати пяти лет со дня выхода поэмы в свет! — профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков предпринял первую попытку анализа в противовес беспардонным суждениям развязного историка-подростка П. М. Строева, поразившего взыскательного профессора эстетической глухотой и агрессивным невежеством в публичном высказывании о «Россиаде». Легкость в мыслях необыкновенная, продемонстрированная самозванным ниспровергателем, пленила сливки тогдашнего общества — читающих барышень и читающих юнцов, считающих вершинными знаниями данные школьных учебников.

Использовав сильнейшие приемы красноречия, А. Ф. Мерзляков призвал талантливую молодежь серьезно рассмотреть наивысшее достижение российской словесности — поэму «Россиада» — проанализировать художественный замысел, разложить по полочкам сильное и слабое, отыскать в поэтике М. М. Хераскова архаичное и новаторское, определить возможное направление развития этой сложной формы... Алексей Федорович не ограничился пламенными воззваниями к историкам и филологам своего времени, он сам, как первопроходец, показал пример действием... Но, кажется, услышал его лишь один-единственный человек — лицеист Александр Пушкин.

Поэт, впоследствии объявленный «нашим всем», будучи шестнадцати лет от роду, никакой аналитической статьи не написал, зато весьма внимательно изучил «Россиаду», «Владимира», и многое другое из собрания сочинений Михаила Хераскова, а кое-что полезное для себя — в области поэтики и композиции — усвоил и применил в собственном творчестве. Однако современный читатель напрасно будет разыскивать внушительные монографии, посвященные влиянию творчества Михаила Хераскова на творчество Александра Пушкина... Более того: пушкинисты с упорством, достойным лучшего применения, продолжают твердить, что поэзия XVIII века (М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, М. М. Херасков) к моменту явления Пушкина на литературной сцене (то есть после 1815 года, после усилий А. Ф. Мерзлякова) оказалась безнадежно устаревшей и не сыграла никакой роли в формировании творческого своеобразия Пушкина-реалиста. Но так ли это?

Более двухсот лет минуло с тех пор, как покинул сей бренный мир Михаил Херасков. И неблагодарные потомки так и не удосужились хотя бы раз переиздать полное собрание сочинений своего национального гения, равновеликого Гомеру, глубоко исследовать его масштабные и просто крупные произведения, произнести слова благодарности за то, что этот подвижник российского просвещения подготовил благодатную почву для Пушкина и его последователей... И разве мы не видим теперь в строках батальных сцен «Россиады», что ее творец, сумев сохранить ломоносовскую экспрессию, в то же время смог заменить ломоносовскую тяжеловесность речи на легкий, живой слог, буквально подготовивший почву для явления поэм Пушкина? Видим. Хотя бы в этом фрагменте:

Тот скачет на коне, неся стрелу в гортани;
Иной, в груди своей имея острый меч,
От смерти возомнил, несущий смерть, утечь;
Иной, пронзенный в тыл, с коня стремглав валится,
И с кровью жизнь спешит его устами литься;
Глаза подняв наверх, катится голова,
Спеша произносить невнятныя слова;
Иной беспамятен в кровавом скачет поле,
Но конь стремит его на копья поневоле.

Отдельные энтузиасты-исследователи пытались иногда сказать что-то одобрительное о Михаиле Матвеевиче, но быстро спохватывались и следом за первым добрым словом произносили несколько других, дезавуирующих похвалу. А ведь мы пока говорим только о двух эпических поэмах Хераскова и еще ни слова не сказали ни о его повестях и романах, ни о его поэтической драматургии... Как ни странно, но и в этих литературных формах он проявил себя настоящим разведчиком будущего!

Исследователи отмечают, что по существу основы российского сентиментализма в прозе заложены именно им, хотя история литературы основателем этого направления называет Карамзина. Некоторые даже мягко журят В. Г. Белинского,

считавшего, что «Бедная Лиза» Карамзина «убила» наповал первый сентиментальный двухтомный роман, написанный Михаилом Херасковым — «Кадм и Гармония»: «Он не сказал только, что „Кадм и Гармония“ сначала породили „Бедную Лизу“ и что проза Карамзина имеет свои истоки в прозе Хераскова» (А. В. Западов). Справедливое уточнение.

О том, что Херасков первый вывел на российскую сцену главных героев драматических событий октября 1612 года, прервавших Смуту и обеспечивших развитие российской государственности, исследователи тоже знают. Но, кажется, знают только и исключительно они. От этого герметичного знания ничего не меняется в общей картине истории отечественной литературы и в общей картине развития театрального дела в России. Да только ли эти несообразности можно заметить в закосневшей традиции освещения фигуры Михаила Матвеевича Хераскова? Наследие его объемно и многогранно. Это настоящая терра инкогнита!

Но вернемся к Пушкину, который, видимо, единственный понял Михаила Хераскова как Поэт Поэта (с помощью хороших наставников и высоко ценивших сделанное творцом «Россиады» старших братьев по поэтическому цеху Г. Р. Державина и В. А. Жуковского).

Пушкин еще в 1825 году считал репутацию Михаила Хераскова заниженной — из-за неразвитости отечественной критики, о чем прямо заявлял в письме, написанном летом 1825 года[3]. Но сам-то он прекрасно понимал значение великого предшественника уже тогда, когда писал поэму «Руслан и Людмила» (1817–1820). Стоит только провести сравнительный анализ сюжета этого шедевра с сюжетом «Россиады» (с одной из сюжетных линий), так сразу становится очевидным творческий генезис волшебной поэмы! По существу, она является блистательной переработкой сюжетного фрагмента «Россиады»[4]. А может быть, и грандиозный образ Медного истукана, возведенного в Казани в начале шестнадцатого века и явившегося в «Россиаде», объяснит нам и явление Медного всадника в Санкт-Петербурге в одноименной поэме? (А это уже в 1833 году!)

Недоверчивый читатель скажет, что эти гипотезы никак не доказывают пушкинского пиетета перед гением Хераскова? А мы попросим читателя объяснить, каким волшебным образом в числе соперников пушкинского Руслана оказались Ратмир и Рогдай? Ведь имя Ратмир впервые прозвучало в 1800 году! А. В. Западов пишет: «В 1800 году Херасков издал стихотворную повесть в семи песнях „Царь, или Спасенный Новгород“. Спасать Новгород понадобилось от „ужаса безначальственного правления“, а виновником бед послужил буйный и развратный юноша Ратмир. Под этим именем Херасков выводит упомянутого в Никоновской летописи Вадима Храброго, который выступил в 863 году против первого варяжского князя Рюрика и был убит». (Однако А. В. Западов не отмечает того факта, что имя Ратмир через двадцать лет перекочевало именно из херасковской повести в пушкинскую поэму.)

А имя Рогдай появилось в литературе еще раньше, в поэме Михаила Хераскова «Владимир» (1785)! Каким же образом эти херасковские имена оказались в поэме Пушкина «Руслан и Людмила», которая и воспроизвела любовную интригу четырех рыцарей из «Россиады»? Ответа нет. А может быть, в наследии А. С. Пушкина можно обнаружить следы и других влияний Михаила Хераскова? Исследователь, на мнение которого мы опираемся с помощью цитат, как бы сквозь зубы признает, что все-таки Михаил Херасков немного повлиял на творчество Пушкина.

«В 1803 году, семидесяти лет от роду, он изумил современников, издав самое

---

[3] Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1975.

[4] Гранцева Н. А. Сказанья Русского Гомера. СПб.: Журнал «Нева», 2012.

большое по объему свое поэтическое произведение — поэму „Бахариана“, протяженностью в пятнадцать тысяч стихов. Название ее происходит от слова „бахарь“ — говорун, рассказчик, сказочник. В подзаголовке стояло: „Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок“».

Своего мнения о «Бахариане» исследователь не сообщает, зато опирается на авторитетное суждение известного пушкиноведа Д. Д. Благого: «Литературного успеха эта поэма Хераскова не имела, но тем не менее она сыграла известную историко-литературную роль: опыт автора „Бахарианы“ был в какой-то мере творчески использован Пушкиным при создании им своей сказочной поэмы „Руслан и Людмила“»[5].

Показательная лапидарность и странная тональность! Получается, что эталонные поэмы Хераскова и его же пионерские опыты в поэтической драматургии никакого влияния на Пушкина не оказали, а вот самая неудачная, не имевшая успеха у публики неподъемная поэма Пушкину пригодилась? Позвольте же не поверить! Воздействие художественного мира Михаила Хераскова на «переимчивого» Пушкина вряд ли ограничивалось пренебрежительно упомянутыми «известной ролью» и «опытом в какой-то мере»; не только и не столько сказочный элемент, разработанный автором «Бахарианы» — а еще раньше явленный в «Россиаде»! — был «творчески использован» создателем «Руслана и Людмилы»... Мы это уже видели выше...

Ничего удивительного! Ведь еще в начале 30-х годов XIX века, как свидетельствовал В. Г. Белинский, читающая публика в своем большинстве относилась к созданному Михаилом Херасковым с благоговением! Почему же поэт Пушкин должен был относиться к предшественнику без почтения и чураться благоговейного изучения наследия мастера и стремления наследовать лучшее из сделанного великим собратом?

Навести порядок в умонастроениях творческой молодежи и избавить ее от благоговейного низкопоклонства перед заслугами предыдущего поколения литературных титанов взялся Белинский. Едва преодолев рубеж совершеннолетия, критик объяснил публике, что М. В. Ломоносов и наследующий ему М. М. Херасков — устарели. Да, кое-чем для прошлого они были полезны, но значение их — сугубо историко-литературное. Для развития словесности отныне они ничего не могут дать. И вообще — эти трудолюбивые люди шли ошибочным путем. Падение их славы бесспорно и окончательно. Что же касается Хераскова, то его поэмы Белинский назвал длинными и скучными, а самого сочинителя низвел с высот поэзии в трясины версификационного ремесла. «Херасков был человек добрый, умный, благонамеренный и, по своему времени, отличный версификатор, но решительно не поэт»[6].

Нужна была недюжинная отвага для того, чтобы одним ударом лишить жизни в будущем крупнейших авторов XVIII века, объявить выдающихся поэтов ничего не понимающими в поэзии! Херасков был не единственной жертвой...

И с таким зубодробительным заявлением выступил двадцатипятилетний автор единственной написанной им трагедии, в которой никто не разглядел никаких художественных достоинств — только плоские пропагандистские осуждения крепостного права... Неистовый Виссарион, прямо скажем, трагическим образом повлиял на дальнейшие литературные умонастроения, заменив дотошное и глубокое изучение наследия мастеров предыдущего столетия, полезное для художе-

---

[5] Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1955.

[6] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953.

ственного совершенствования словесного искусства, неистовыми же требованиями правильной с его точки зрения политической ориентации. Зачем корпеть над исследованиями поэтики, ломать голову над тайнами литературных технологий? И благодарные современники Белинского, избавленные от чрезмерно усердных трудов по изучению интеллектуальных сокровищ прошлого, облегченно вздохнули. С тех пор и пошла мода на низвержение титанов прошлого, механизм которой мы образно описали в самом начале этого эссе.

И конечно, благонамеренные граждане-поэты тоже вышли из моды. Наступило время, когда гениями объявлялись неблагонамеренные, даже если их дар был вполне пигмейским. А благонаременный Михаил Херасков, к своему несчастью, не догадался хоть что-то сочинить полезное для обличения крепостного права...

И никто уже не относился с благовением или хотя бы внимательным уважением к речам профессоров Московского университета, в котором так и не доучился Белинский. Никто не желал слушать призывов профессора А. Ф. Мерзлякова и профессора П. В. Победоносцева, который взывал типографским способом[7] (еще в 1812 году) и устно к согражданам и убеждал не забывать великого поэта, стяжавшего славу российского Гомера.

«Незабвенный Херасков! давно уже чувство удивления и благодарности к тебе таилось в груди моей; давно уже мысли мои стремились привести праху твоему жертву хваления, хотя слабую, но усердием дополняемую. Ныне да позволено мне будет исполнить сие желание. Не смею льстить себя надеждою изобразить дарования твои во всем их пространстве. Наперсник Аполлона достойно может быть воспет только подобными себе. Судить о картинах Рафаэля, единогласно признанного первым живописцем, и прославлять искусство его может только Корреджио или Рубенс. Но вменяется ли в дерзость неопытному ученику его, если он, покоряясь могущественному впечатлению, в нем произведенному образцовою работою своего Учителя, восхищается одушевленною его кистью, дивится правильности в рисовке и сообщает другим свой восторг, свое удивление? <...> Высокое нравоучение, почерпнутое из рассуждений и действий лиц, отличается мыслями столь возвышенными, что Мильтон и Тасс не постыдились бы признать их своими. <...> Какое богатство мыслей и обилие уподоблений, какая сила выражения, откуда живописец заимствовал такие удивительные краски для картины, на которой изобразил столько ужасов разнообразных? не тот же ли Гений вкуса водил пером нашего Поэта, который управлял кистью Микеланджело, написавшего Страшный суд, и на нем пораженных горестью и отчаянием?

Откуда же Херасков почерпнул ту быструю чувствительность, которая вдруг, со всеми оттенками, объемлет предмет, его поразивший — ту зоркую дальновидность, от которой ничто не скрывается, — и тонкую разборчивость, которая умеет назначать всему свое место, показывает все с лучшей стороны, дает всему надлежащую цену? откуда получил он дары сии? — От природы. Не она ли вложила в душу Хераскова ум и деятельность, украсила его талантами, с помощью которых находил он источники изящного и выспреннего в беспредельной и разнообразной ее области, восхищался красотами ее, и восторги свои изливал в песнопениях?.. <...>

Науки привели в зрелость, усовершенствовали его дарования, снабдили высокими мыслями и счастливыми объяснениями оных. Чтение книг, писанных на славянском языке, который почитается корнем и основанием российского, доставляло ему способ узнать правильное производство слов, пристойное их сочетание и употребление в высоком слоге; помогло заметить различие между языком богослужебным и общенародным; обогатило его выражениями громкими, сильными,

многозначительными и красивыми — выражениями, соответственными тому, что он воображал и чувствовал.

К особливой похвале Хераскова надобно сказать, что он читал все, что только мог читать, и всем умел пользоваться; ловил, так сказать, каждую минуту, чтоб она не ушла, не сообщив ему новых понятий. Каждый день, каждый час доставлял новые открытия душе, новые сокровища чувствований его сердцу. Умная книга служила к утверждению разума его, а приятная — к украшению пылкого воображения. Сие занятие или, лучше сказать, сия страсть составляла единственное удовольствие, самую приятную пищу для души его. Знание иностранных языков познакомило его с Гомером и Вергилием, с Виландом и Расином, а сношение с древними и новыми учеными мужами сблизило с их творческим гением. Размышление научило его находить сокровенные сходства и согласия в вещах, замечать тесную связь там, где обыкновенный человек не может найти ее; видеть отличительные черты предметов в полном раздроблении частей их; восходить от простого к сложному, от чувственного к умственному, от малого к великому; знать разные степени вероятности, различать истинное от ложного. Наконец вкус — сие соединение многих врожденных и приобретенных свойств ума и сердца, сие искусство наблюдать и сравнивать, — научил его удерживать порывы воображения, пленяться только истинно совершенным и возвышенностью чувствований, мыслей и выражений внезапно изумлять или приводить в приятный ужас читателя. <...>

Кто не знает, что бросают камнями в те деревья, на которых много плодов?.. Будем подражать таким критикам, которые собирают не песок, но отделяют от него частички золота и любуются ими; собирают — по выражению одного из наших писателей — не соломинки, плавающие на поверхности воды, но жемчуг на дне лежащий и пленяются драгоценностью. Отдадим справедливость великим трудам Хераскова, обогатившего отечественную словесность творениями своими. Согласимся, что любезен и в самых погрешностях Поэт, паривший на крыльях вдохновения по следам великого наставника своего Ломоносова, который, заметив дарования его, возбудил в нем охоту к стихотворению, открыл ему средства сделаться известным и славным, называл его сыном своим, и заставил дсйствовать на умы и сердца соотечественников»[7].

Сын Ломоносова

«Как между прошлыми поколениями и нашим имеется тайный уговор, точно так же и между текстами прошлого и настоящего имеется такой же уговор, и цитаты служат как бы своднями, обеспечивающими встречу между прошлым и настоящим. Поэтому не удивительно, что цитаты должны вести себя незаметно и уметь выполнять свою работу тайком от посторонних глаз», — писал современный итальянский философ культуры и искусства, автор трудов по политической и моральной философии Джоржо Агамбен[8], комментируя тезисы Вальтера Беньямина «О понятии истории»[9].

Размышления обоих мыслителей, имея в своей основе историческую проблематику, относятся непосредственно к области художественного созидания. Ведь В. Беньямин, рассуждая об истории, говорил об особенностях творческого мышле-

[7] Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете. Ч. I. М,, 1812 (http://www.umwerden.de).

[8] Джоржо Агамбен. Скрытый подтекст тезисов Беньямина «О понятии истории» (из книги: Оставшееся время: Комментарий к «Посланию к римлянам»». *Пер. с итал.* С. Козлова). НЛО. № 46. 2000.

[9] Вальтер Беньямин. О понятии истории (*пер. с нем.* С. Ромашко). НЛО. № 46. 2000.

ния и об образных системах. «Образ есть то, — утверждал он, — в чем происходит мгновенное соединение бывшего с нынешним, и вместе они образуют созвездие». То есть две (три, четыре...) простых звезды-единицы образуют одно новое, более сложно устроенное множество. А если таких «созвездий» в произведении не одно, а несколько, не образуется ли таким образом целая галактика, отдельный художественный космос?

Джорджо Агамбен, видимо, соглашается с мыслью своего предшественника, и особо подчеркивает отличие позиции коллеги от распространенного ныне массового заблуждения в том, что всякое произведение может быть во всякий момент объектом неограниченной интепретации. Нет, соглашается с В. Беньямином итальянский философ, «всякое произведение, всякий текст содержит в себе самом некий исторический указатель, который указывает не только на принадлежность произведения исторической эпохе, но также и на то, что произведение достигает прочитываемости лишь в определенный исторический момент». Это присуще всем значительным текстам, в том числе текстам апостола Павла и В. Беньямина. Нужно только, говорит Дж. Агамбен, чтобы для текстов наступил час прочитываемости. Чтобы они составили констелляцию, то есть созвездие, взаимно благоприятное расположение светил... Как мы иногда говорим в нашей обыденной речи: так сошлись звезды.

Какое отношение это высказывание имеет к творчеству Михаила Матвеевича Хераскова? К незаметному поведению цитат, объединяющих времена? Самое прямое. Цитаты из его произведений, как неопознанные летающие объекты, возникают, вспыхивая и угасая, во множестве текстов авторов пушкинской и послепушкинской эпохи. Но и в созданном Михаилом Матвеевичем можно легко обнаружить доказательства системного смыслового цитирования в самом широком плане.

И так же, как Александр Сергеевич Пушкин благодаря умелому цитированию композиционных и смысловых решений поэмы «Россиада», по сути, воздвиг чудесный нерукотворный памятник Михаилу Хераскову в «Руслане и Людмиле», не позволивший бесследно для потомков исчезнуть славному имени старшего собрата, так и Михаил Херасков создавал лучшие свои произведения, включая в их ткань внятные отсылки к своему старшему современнику Михаилу Ломоносову. Недаром, как свидетельствует пламенный профессор Победоносцев, Ломоносов называл Михаила Хераскова своим сыном. А сын, понятное дело, не мог не чтить отца как самого близкого и понимающего наставника. И именно поэтому, утверждаем мы, пошел правильным путем, обеспечившим долговременный успех.

Известно, что юный Михаил Херасков учился в Сухопутном шляхетном корпусе именно в те годы, когда кадеты этого учебного заведения воплощали на сцене трагедии Михаила Ломоносова. Исследователи утверждают, что в то время Хераскова литература не интересовала, да и сохранились данные о том, что его имя не значится в списке школяров, занятых в спектаклях «Тамира и Селим» и «Демофонт». Однако достаточно ли этого факта, чтобы уверенно приписывать кадету Хераскову равнодушие к театральным опытам Ломоносова? Ведь юный кадет мог быть просто восхищенным зрителем постановок. А также внимательным наблюдателем последующего непонимания со стороны публики. К тому же тексты обеих трагедий были тогда же изданы большими тиражами, и никто не мешал талантливому юноше их приобрести и досконально изучить.

Вполне логично было бы чисто теоретически допустить, что оба Михаила — «сын« и «отец» — имели возможности и для личного знакомства. В принципе такое допущение могло бы многое объяснить. Но, увы, филологическая наука не рас-

полагает документальными подтверждениями близкого общения сорокалетнего Ломоносова с семнадцатилетним Херасковым. Или очень хорошо их скрывает, ибо таковых нам не удалось разыскать в доступных источниках. И тем не менее следы системного влияния нашего «отца поэзии» на развитие и феноменально быстрый творческий рост его «сына» настолько отчетливы, что исследователей, отрицающих этот факт просто не существует.

Поэт Ломоносов дебютировал в литературе «Одой на взятие Хотина» (1739). Наш отечественный Леонардо, как называли его современники и потомки, как подлинный естествоиспытатель, занимался формированием литературного языка, создал теорию трех штилей и сам свои изобретения опробовал в деле. Он писал оды, переложения псалмов, басни, послания, анакреонтическую лирику и многое другое. К 1751 году он уже был автором двух успешных (судя по продажам, но не по мнению критиков) драматических произведений. И именно в этом же году состоялась первая публикация Михаила Хераскова: «Ода на воспоминание победы Петра Великого над шведами». (Не здесь ли нужно искать «эмбрион» будущей пушкинской «Полтавы»?) Но ныне это издание считается редким. Через два года, в 1753 году, двадцатилетний Херасков издал «Оду императрице Елизавете Петровне на день восшествия на престол». Издание тоже настолько редкое, что и оно не считается специалистами дебютом поэта.

Сверимся с биографией Михаила Хераскова. Она фиксирует, что именно в эти годы (1751–1754) поэт служил поручиком Ингерманландского полка, расквартированного в Санкт-Петербурге — по давней традиции, заложенной создателем этого драгунского формирования Александром Даниловичем Меншиковым. А это значит, что выпускник кадетского корпуса имел множество возможностей для неформального творческого общения с Ломоносовым. Это гипотетическое общение объяснило бы тот странный факт, что юный Херасков не только оказался в числе первых сотрудников созданного Ломоносовым Московского университета в 1755 году, но и тот факт, что двадцатидвухлетний асессор стал заведовать университетской библиотекой, типографией, а вскоре и театром. Видимо, Ломоносов все-таки знал и о первых литературных опытах Хераскова, и о его богатом организационном и творческом потенциале. А ведь без личного общения такое было бы невозможно!

Можно предположить, что Ломоносов вполне мудро и по-отечески поспособствовал изданию первых од Хераскова, но сделал все, чтобы известность их была минимальной: ведь такой дебют, несомненно, поставил бы молодого автора в невыгодное положение подражателя учителю. Отправив своего литературного «сына» в свободное плавание (в Москву), Михайла Васильевич обеспечил таким образом ту необходимую дистанцию, которая бы не позволила злоязычным современникам обвинить Хераскова в несамостоятельности. И следовательно, в воспроизводстве, хотя и на новом уровне, ломоносовских творческих установок, то есть в сознательном цитировании... Такая предположительная стратегия «отца поэзии» могла послужить во благо как молодому автору Михаилу Хераскову, так и самому Ломоносову. Если оба, невзирая на расстояния, стремились совместно подготовить тщательнейшим образом эффектный выход поэта Хераскова на литературную сцену, то это им в полной мере удалось.

Поэтому несомненным фактом в истории литературы является блистательный дебют молодого московского поэта Михаила Хераскова в 1758 году. Интересно, что дебютировал он не со сборником од или псалмов, а с трагедией! «Литературный дебют Хераскова был смелым и значительным», — отмечает современный исследователь А. В. Западов. Он же утверждает, что этот первый опыт был замечательным в своем роде и принципиально важным. В чем же важность и замечательность? В

том якобы, что поэт отошел от жестких регламентов классицизма! Вместо того, чтобы изображать размышления и поступки высокопоставленных особ — королей, князей, вельмож или полководцев, — изобразил жизнь частных людей, находящихся под гнетом религиозных установлений... Странное, если не сказать более, толкование смысла трагедии «Венецианская монахиня»!

Примечателен тот факт, что трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» и «Демофонт» менее десяти лет назад до того порицались современниками именно за отход от норм классицизма. А тут получается, что установки классицизма можно нарушать и добиваться блистательного успеха?

За 250 лет, минувших со дня смерти Ломоносова, сложилась неколебимая филологическая традиция отказывать Ломоносову в наличии у него драматургического таланта. Его упрекали в антиисторизме и излишнем патриотизме — на материале трагедии «Тамира и Селим», первой отечественной пьесы о Куликовской битве. Его упрекали и в отсутствии патриотизма — на материале трагедии «Демофонт», первой отечественной пьесы на тему греко-троянских баталий. Ломоносова упрекали также и в том, что обе трагедии написаны им по заказу двора. Продолжают это делать и ныне.

«Трагедии, однако, были заказаны не потому, — пишет В. Живов, — что в них возникла какая-либо политическая или идеологическая нужда, а потому, что, посмотрев „Хореев“ Сумарокова, императрица увлеклась русским театром и решила разнообразить его чрезмерно ограниченный репертуар, задав работу подходящим служащим — академическим сочинителям Ломоносову и Тредиаковскому: новые пьесы нужны были для развлечения, а не для политики и оставались, по существу, поэзией на случай»[10].

Неубедительно! А может быть, мысленно вопрошаем мы маститого филолога, заказ трагедий был продиктован не политикой и идеологией с их плоскими нуждами, а конкретной художественной нуждой в создании монументальных исторических эталонов в поэзии?

Когда читаешь подобные комментарии, право слово, даже неловко думать, что впечатлительная императрица, дочь Петра Великого, продолжающая дело отца, в том числе и по увековечиванию памяти великих исторических деятелей России, могла считать заказным развлекаловом сценическое воплощение подвига Дмитрия Донского, сразившегося с Мамаем... Показательное и огорчительное упрощение картины создания основ российской культуры...

Однако вернемся к литературному дебюту Михаила Хераскова — трагедии «Венецианская монахиня». Это произведение действительно необычное.

Во-первых, в трагедии все-таки действуют настоящие «высокопоставленные особы», правда, не облеченные высшей государственной властью. Во-вторых, поэтический язык трагедии можно назвать максимально приближенным к ломоносовскому. В третьих — и самое примечательное! — ее нельзя упрекнуть в композиционной сложности, в историзме, а также в антиисторизме, в патриотизме, а также в антипатриотизме. И самое главное — она не написана по заказу двора, ибо двадцатипятилетний драматург обитал вдали от царствующей Елизаветы. Трагедия проста по сюжету, не имеет никакого отношения к истории и современности, в ней нет ни одного исторического персонажа. Поэта-драматурга упрекнуть не в чем. Просто романтическая любовная история вымышленной венецианской монахини, заставляющая читателя и зрителя проливать море слез...

---

[10] Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. НЛО. № 25. 1997.

Более смелый эссеист, нежели автор этих строк, поспешил бы выдвинуть гипотезу о нераспознанной литературной мистификации! Не скрылся ли за титульным именем публикатора сам Ломоносов, доказавший таки с третьей попытки свой талант драматурга? Не он ли является подлинным автором «Венецианской монахини», сумевшим учесть все направления возможных ударов по предыдущим опытам и счастливо теперь избежавшим их повторения? Более смелый эссеист, возможно, насладился бы мысленной картиной тайного триумфа нашего Леонардо, который, спрятавшись за именем «сына», не дал возможности злопыхателям сказать, что его поэзия создана «грязными руками химика»... Картиной творческого ликования от сознания успешно проведенного матч-реванша против самонадеянного Сумарокова — «боевого идеолога дворянской общественности»...

Но автор этого эссе, размышляя о такой нераспознанной мистификации (она же — изощренная форма крупного цитирования!) сказал бы не только то, что невозможно ее принимать всерьез ввиду отсутствия документальных подтверждений, но и отметил бы полное отсутствие хотя бы робких попыток исследователей отыскать подтверждения косвенные., объясняющие чудесное явление миру нового драматурга ломоносовской выделки...

Дебютное произведение Михаила Хераскова ныне доступно для знакомства и изучения как в типографском виде, так и в электронном. Любознательный читатель, если б он был знаком с трагедиями, написанными Ломоносовым, мог бы убедиться, что «сын» нашего Леонардо в двадцать пять лет сделал то, что не смог сделать в зрелом возрасте «отец»: написал новаторскую классицистскую трагедию. Конечно, это было подлинным чудом в глазах современников: молодой автор буквально с пустого места взлетел на недосягаемую для новичка высоту! (Уже за одно это молодой Белинский, не сумевший с первой попытки взять дебютную драматургическую высоту, мог на всю жизнь возненавидеть Михаила Хераскова.)

Но не странно ли, спросим мы читателя, что после несомненно удачного дебюта в такой сложной синтетической форме как поэтическая трагедия, молодой Херасков, как утверждают исследователи, «пошел по другому пути»? Почему же? Почему вместо того, чтобы закрепить достигнутый успех и доказать, что и в Российской империи возможно рождение новых Ньютонов, Платонов и Шекспиров, драматург Херасков перешел на массовое сочинение произведений малых форм — нравоучительных од, назидательных басен? Почему он еще не один год оттачивал свое драматургическое мастерство, пытаясь создать безделки комедийного жанра? «Комедийное творчество было явно не в духе литературного дарования Хераскова, — пишет А. Западов, — и он не оставил в этой области значительных произведений.

Свойство комедии — издевкой править нрав;
Смешить и пользовать — прямой ее устав, —

учил Сумароков»[11].

Почему же Херасков вернулся к написанию трагедий, связанных с исторической и религиозной проблематикой только уже в зрелом, ломоносовском возрасте? Здесь есть над чем задуматься. Но следов такой задумчивости, увы, не найти в респектабельных филологических трудах.

Драматургическое наследие Михаила Хераскова внушительно, однако полный

[11] А. П. Сумароков. Избранные произведения. Л., 1957.

корпус его сценических творений возможно отыскать только в издании двухсотлетней давности![12] Их не найти в полном объеме в отсканированном виде в Интернете. В издании 1961 года избранного Михаила Хераскова читатель обнаружит только две трагедии — «Венецианская монахиня» (1758) и «Освобожденная Москва» (1798). Во вступительной статье А. В. Западова можно встретить упоминание о пяти: об этих двух, а также о трагедиях «Идолопоклонники, или Гориславa», «Пламена», «Борислав». Там же сказано несколько умеренно критических слов о драмах Хераскова, созданных автором уже в зрелые годы: «Хераскову принадлежит несколько ранних образцов русской сентиментальной драматургии: он опубликовал слезные драмы „Друг несчастных“ (1774), „Гонимые“ (1775), „Школа добродетели“, „Милана“ (1798)».

В общей сложности Михаил Херасков написал двадцать пьес: девять трагедий, пять драм, две комедии, комическую оперу («Добрые солдаты»), театрализованный пролог («Счастливая Россия») и две пьесы перевел и переработал («Сид» Корнеля и «Юлиан Оступник» Вольтера). Пьесы Хераскова шли на сцене (не все), печатались и составляли неотъемлемую часть русского репертуара.

Почему же ни одной из них мы ныне не видим на российской сцене? Ведь пять его трагедий написаны на сюжеты, связанные с историческим прошлым России: «Борислав» (1774), «Идолопоклонники, или Гориславa» (1782), «Пламена» (1786), «Освобожденная Москва» (1798) и «Зареида и Ростислав» (напечатана посмертно, 1809).

Неужели ни одна из них — хотя бы «Освобожденная Москва» о подвиге Минина и Пожарского или «Борислав» о Борисе Годунове, не может быть воплощена современными средствами на подмостках? Почему вполне архаичные тексты Шекспира и Мольера обретают жизнь на сцене, а столь же архаичные трагедии Ломоносова и Хераскова находятся вне поля зрения режиссеров?

На этот риторический вопрос каждый читатель вправе дать свой ответ, если знает о хроническом репертуарном голоде наших театров.

Мы же, не забывая о том, что Михаил Херасков сам называл себя сыном Ломоносова, выскажем предположение о том, что пьесы Хераскова — при всей их внешней простоте — имеют более сложную, ломоносовскую, структуру. Поэтому его драматургия оказалась слишком трудной для понимания и анализа, как и драматургия Ломоносова[13], не только для специалистов эпохи классицизма, но и для тех, кто уже не был связан требованиями этого направления. И это предположение мы попробуем подтвердить конкретным примером, который, надеемся, сможет проиллюстрировать утверждение Дж. Агамбена о том, что для каждого автора наступает час прочитываемости... Может быть, такой час ныне, накануне 280-летия со дня рождения поэта, наступает и для Михаила Матвеевича Хераскова?

С этой целью мы обратимся к одной из самых малоизученных трагедий Хераскова — «Мартезия и Фалестра» (1766), опубликованной в четвертом томе «Творений».

Хотя специалисты по творчеству Хераскова утверждают, что в своих трагедиях он оставался строгим классицистом, мы позволим себе этому не поверить, ибо совсем недавно показали, что таковым он не являлся даже в своем дебютном произведении. Нам кажется более логичным предположение, что и в следующих пьесах он, подобно Ломоносову, усложнял внешнюю простоту и прозрачность, используя не только ломоносовские идеи, но и его нестандартные композиционные реше-

---

[12] Творения Михаила Хераскова. Ч. 1–12. М., 1796–1802.

[13] Гранцева Н. А. Ломоносов — соперник Шекспира? СПб.: Журнал «Нева», 2011.

ния. Читатель вместе с нами увидит, есть ли основания для подобных предположений.

В название трагедии «Мартезия и Фалестра» вынесены имена двух прекрасных сестер-амазонок царского происхождения. Кроме этих дам в сценическом действии участвуют трое мужчин и безымянные воины трех народов. Один из мужских персонажей — анонимный Вестник. Второй — царь Локриянский Аякс. То есть уже три имени — Мартезия, Фалестра и Аякс свидетельствуют о том, что главная коллизия трагедии непосредственно связана с историей падения Трои и последующими передвижениями ее героических разрушителей. Что ж, пока ничего нового: бегущие из Трои победители, случайно оказавшиеся в разных географических точках, нам известны и по трагедии Шекспира «Зимняя сказка», и по трагедии Ломоносова «Демофонт». Вообще же этим героическим беглецам посвящено несметное число произведений европейской литературы и европейского театра. Однако истинное ноу-хау Михаила Хераскова состоит в том, что герои посттроянских событий оказались на территории царства древних славян! Ибо первым и главным героем произведения, названным в списке действующих лиц, предваряющем текст трагедии, оказывается герой по имени Славен — князь древних славян. Вопреки тому, что Славен назван автором князем, сам герой буквально на первой странице заявляет, что он — царь!

С л а в е н (*один*)

Я вижу брачные царицины чертоги,
Приготовляется напасть моя, о боги!
Уже Мартезии лишаюсь навсегда;
Зачем несчастливый Славен вступил сюда?
Тоска моя ничем не будет облегченна,
Когда уже она Аяксу обрученна;
Или, надеяся на царский мой венец,
Я сделаться хочу мучителем сердец,
В руках имея скиптр, носить любовны узы,
Согласию мешать и разрывать союзы;
О слабость, варварам приличная одним!
Зачем ты к чувствам прикасаешься моим?
Душа моя слаба, но в пагубу не вникла;
Она в молчании тревожиться привыкла.
Молчанью предадим любовь и страсть навек.
Увы! Что делать мне? Я Царь, но человек.

Что может сказать читатель о такой трагедийной экспозиции? Он непременно осудит Хераскова за то, что драматург поместил персонажей Троянской войны на территорию несуществующего славянского царства. Сочтет это решение не только анахронистическим, но и возмутительно дерзким! Вызывающим и неграмотным. Ведь никаких славянских царств в XIII веке до нашей эры, когда и гремели грекотроянские баталии, на карте Европы не существовало. А тут мы видим князя, считающего себя царем своей территории. Да и действие трагедии происходит не где-нибудь, а в столичном граде этого царства! То есть практически Херасков заявляет, что государства древних славян существовали одновременно с городами-государствами Древней Греции и Троянского царства? Не вызов ли это исторической мысли? Вовсе нет.

Троянские герои и героини греческого происхождения до Хераскова не раз уже

оказывались на литературных славянских территориях. Например, Шекспир отправил их в победное турне по Богемии (современная область Чехии), которая тоже до XVI века нашей эры не являлась ни царством, ни королевством, зато была населена славянами. Да и Ломоносов в трагедии «Демофонт» отправил своего заглавного греческого героя прямиком из разрушенной Трои — на территорию Фракии (современной Болгарии), где тоже испокон веку обитали славянские племена. Но в обоих случаях образование славянских царств (королевств) происходило примерно через три тысячи лет после падения Трои.

Конечно же, это не свидетельствует о том, что Шекспир, Ломоносов и Херасков не знали географии и истории. Это говорит лишь о том, что писатели использовали топонимы, как условные обозначения территорий, на которых оказались их герои. И давали героям своих произведений условные имена, которые, по сути, являлись сжатыми («сгущенными») образами-характеристиками. То есть в самих этих именах был заложен конкретный образ действий персонажей Троянской войны, полно и глубоко описанных Гомером и другими античными и средневековыми авторами.

Лучшие драматурги XVII и XVIII веков в своих пьесах говорили не о далеком прошлом, а о своей современности, они создавали монументальную летопись СВОЕГО времени в крупных театрально-поэтических формах, а для описания сюжетов современности использовали устоявшиеся поэтические образы.

Это хорошо видно по творчеству Шекспира. О чем бы, о каких эпохах и событиях ни писал Великий Бард, исследователи утверждают, что в основе их покоятся какие-то конкретные события реального шекспировского времени.

Еще лучше это видно по творчеству драматургов постпетровской эпохи. Ведь корпус пьес, составляющих театрально-поэтическую летопись, является хоть и усложненной, но все-таки несомненно историографической монументальной пропагандой. А регламентировал историческое творчество, то есть и сами сочинения по истории, и художественные тексты на историческую тему, самолично Петр Великий. Именно поэтому его и называют архитектором российской истории. Соответственно ни Ломоносов, ни Херасков не могли игнорировать требования великого и почитаемого ими монарха-преобразователя.

В чем же состояли эти требования?

«„Троянская история“ оставалась актуальной для Петра: летом 1709 года она была напечатана по личному указанию царя под заглавием «История <...> о разорении града Трои»[14].

В анонимном комментарии были изложены права сочинителей-историков, назван принцип составления «истинной» истории.

История должна:

первое: составляться непосредственно вслед за событием,

второе: авторы исторических текстов должны быть участниками события или «истинными свидетелями» — «самоочевидцами бывшего»,

третье: только после этого авторы последующих времен могут, опираясь на правдивые и достоверные данные, творить свои баснословные, неистинные с точки зрения истории поэтические тексты, как это собственно и сделал острозрительный стихотворец Гомер спустя пять веков после Троянской войны.

Отсылки к древнегреческой проблематике мы без труда обнаруживаем в текстах российских авторов-классицистов и сентименталистов. Н. М. Карамзин в «Афинской жизни» писал так: «Греки! Греки! Кто вас не любит? Кто с холодным

[14] Погосян Е. А. Петр I — архитектор российской истории. СПб.: «Искусство-СПБ», 2001.

сердцем может вообразить себе прекрасную картину древних Афин?»[15] Современный исследователь тоже считает несомненной особую привязанность писателей елизаветинской и екатерининской эпох к теме Древней Греции: «Увлечение древностью, и прежде всего Грецией, в России имело, кроме того, особую политическую и культурную ориентацию, оно было связано с так называемым греческим проектом, проектом освобождения Греции от турецкого ига и превращения России в новую Элладу»[16].

Удивительно ли, что мы обнаруживаем гомеровских героев греческого происхождения, разгромивших Троянское царство, в трагедии Ломоносова «Демофонт» и в трагедии Хераскова «Мартезия и Фалестра»? Это как раз неудивительно и полностью соответствует установкам Петра Великого. Но из этих же установок следует, что и Ломоносов, и Херасков должны быть участниками исторических событий, описанных в их трагедиях. Да, именно так — или хотя бы самоочевидцами, свидетелями тех коллизий, которые запечатлены с помощью литературных образов. Событий, которые происходили на неизвестных российских территориях, условно названных Фракией и Царством древних славян.

Увы, мы знаем, что ни в великих сражениях, достойных летописания, ни в борьбе крупных властных сил, определяющих историческое движение государства, Ломоносов и Херасков не участвовали. Один большую часть жизни провел в стенах Академии, другой — в стенах Московского университета. Самоочевидцами чего же они были? Ответ содержится в их текстах.

Посмотрим на действия героев трагедии «Мартезия и Фалестра».

Царь Славен возвращается издалека в столицу своего царства. Там, оказывается, обитает царевна-амазонка Мартезия, в которую герой влюблен. Однако за время его отсутствия Мартезия спасла гибнущего в кораблекрушении беглеца Аякса, влюбилась в него и даже обручилась с ним. Аякс, хоть и знает, что соблазнил невесту царя Славена, утверждает, что это Мартезия его соблазнила, а сам он тайно влюблен в ее сестру Фалестру. Фалестра в свою очередь клянется в верности и любви к сестре, в то же время готовится к тому, чтобы сбежать с Аяксом в его Локриянское царство. Герои беспрерывно лгут друг другу, а когда истинное положение дел вскрывается, к царю Славену является Вестник и сообщает, что пойманные при попытке к бегству Фалестра и Аякс — мертвы. Неистовая амазонка Мартезия обвиняет в случившемся князя-царя Славена и тоже грозится умереть.

Ознакомившись хоть с нашим кратким изложением фабулы трагедии, хоть с самим текстом Хераскова, читатель вряд ли поймет: как в этой жуткой и кровавой любовной истории мог участвовать благодушный высоконравственный поэт, верный муж своей мирно обретенной в Москве единственной супруги Елизаветы Васильевны Нероновой, с которой был связан брачными узами почти полвека. Не понимают, видимо, этого и исследователи, хотя уверенно утверждают, что многие произведения Михаила Хераскова не могут быть полностью поняты потому, что в них есть «второе дно». Но где и в чем оно?

Не будет, видимо, слишком смелой гипотезой утверждение, что для Хераскова, литературного «сына» Ломоносова, было бы наиболее целесообразным спрятать это второе дно с помощью действий, уже освоенных отцом в аналогичной конструкции. И действительно: обращаясь к трагедии Ломоносова «Демофонт», мы легко убеждаемся, что Михаил Херасков прибег к одной из изощренных форм цитирования. Судите сами. Вот что происходит в «Демофонте».

---

[15] Карамзин Н. М. Сочинения. СПб., 1834. Т. 7.

[16] Кибальник С. А. Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века. Очерки. СПб.: ИД «Петрополис», 2012.

Князь Фракии Полимнестор возвращается в столицу своего княжества-царства Фракии. Там, оказывается, обитает царевна-троянка Илиона, в которую герой влюблен. Однако за время его отсутствия другая царевна (сестра Илионы?) — Филлида, обитающая там же, спасла гибнущего в кораблекрушении беглеца Демофонта, влюбилась в него и собирается с ним бежать в его греческое царство-государство. Демофонт, хоть и обещает Филлиде жениться, на самом деле влюблен в Илиону, невесту царя Полимнестора и без конца бегает в ее чертоги. Герои беспрерывно лгут друг другу и Полимнестору, а когда истинное положение дел вскрывается, является Вестник и сообщает, что пойманные при попытке к бегству Демофонт и Филлида мертвы. Неистовая троянка Илиона обвиняет в случившемся князя-царя Полимнестора и угрожает ему смертью.

Нетрудно убедиться в том, что трагедия Михаила Хераскова «Мартезия и Фалестра» по существу является грандиозной композиционной и смысловой цитатой из «Демофонта». А на втором дне «Демофонта», как мы показали ранее[17] находится подлинное историческое событие: история внебрачного появления на свет царя-консорта и тайного супруга императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского. И еще: история внебрачного появления на свет другого младенца, в которой можно при желании разглядеть и историю появления на свет самого Ломоносова.

Другими словами, трагедия Ломоносова «Демофонт» имеет конкретно-историческое содержание, относящееся к его жизни. Да, он в младенческом возрасте был участником и «самоочевидцем» трагических обстоятельств своего рождения. И соответственно написанная им трагедия «Демофонт» — интереснейший опыт драматургической автобиографии. То есть и здесь наш Леонардо оказался первопроходцем! Ибо ни один из российских литераторов эпох, предшествующих ломоносовской, не оставил нам собственной автобиографии — ни прозаической, ни поэтической.

А ведь традиция автобиографического самовыражения берет свое начало в глубине веков, его элементы можно обнаружить не только в трудах Платона, Цезаря, Плиния Младшего, Сенеки, Марка Аврелия. «Исповедь» Августина Аврелия стала уже тем вершинным образцом, у которого нашлись легионы последователей и подражателей в многовековой европейской традиции. Современный философ пишет:

«Безусловно, написание автобиографии (в той или иной форме, как „мемория“, то есть Увековечивание в памяти сохранившегося, как „исповедь“, то есть Троякое значение латинского confessio — покаяние в грехах, благодарение творцу и исповедание веры, как „дневниковые заметки“, то есть Продолжающаяся какой-то период фиксация внутренних и внешних впечатлений, как эпистолярные серии, то есть Документальная хроника), <...> стимуляция самосознания — только одна из причин и, может быть, не самая главная, по которой человек „выговаривает пером“ свою жизнь»[18].

И если мы отчетливо видим, что Михаил Херасков в трагедии «Мартезия и Фалестра» откровенно процитировал сюжетообразующую конструкцию трагедии Ломоносова «Демофонт», то нет ли у нас оснований заподозрить поэта в том, что он попытался повторить и опыт «отца поэзии» в области драматургической автобиографии? Ведь и в его жизни единственным подлинным историческим событием, участником которого он точно был, была история его появления на свет, история

---

[17] Гранцева Н. А. Ломоносов — соперник Шекспира? СПб.: Журнал «Нева», 2011.

[18] Соколов Е. Г. Удостоверение личности. СПб.: Алетейя. Метафизические исследования. Вып. 5. Культура.

его рождения. Может быть, в «Мартезии и Фалестре» и воспроизведена история несчастной любви его матери, оказавшейся соблазненной и брошенной с ребенком на руках? (А публикация приурочена к годовщине смерти Ломоносова?)

Мы не будем скрывать того факта, что в отличие от Ломоносова Херасков не назвал в тексте своей трагедии ни одного имени младенца. Но так ли это важно? Он и не должен был рабски и стопроцентно копировать «отца». Он должен был рассказать СВОЮ историю, которая, безусловно, имела свои особенности. Ни один жизненный сюжет не повторяет похожие на него.

По верному замечанию современного философа, «как на сцене благодаря режиссерам, актерам, оформителям меняется содержание, смысл, интерпретация пьесы, так и в реальной истории одни и те же сценарно-сюжетные ходы не могут повторяться одинаково; великим интерпретатором истории выступает время[19].

Поэтому Михаил Херасков интерпретировал ломоносовский сюжет о несчастной любви Илионы, женщины царского происхождения (она — дочь царя Трои Приама) в соответствии с подлинной историей несчастной любви своей матери, тоже женщины царской фамилии: урожденная княжна Анна Даниловна Друцкая-Соколинская, представляла одну из генеалогических ветвей Рюриковичей.

Впрочем, возможно, сюжет «Мартезии и Фалестры» содержит и скрытые отсылки к образу реального отца Михаила Хераскова, включает в себя и конкретные элементы его биографии. Но этот вопрос мы пока не исследовали по причине скудости данных о жизни Матвея Хераскова, официально считающегося родителем поэта.

Был ли Матвей Андреевич подлинным отцом поэта или только номинальным? Понять это, возможно, смогут лишь будущие исследователи обширного литературного наследия Михаила Хераскова. Мы же знаем только то, что, по свидетельству его университетских коллег (П. Победоносцева), сам поэт называл себя сыном Ломоносова, таким образом провозглашая свое духовное родство с отцом-наставником имеющим несомненно более значительную ценность, чем родство биологическое.

А мы в этом небольшом экскурсе в поэтику всего лишь одной трагедии Михаила Хераскова смогли увидеть не только творческую родственную преемственность в текстах обоих крупнейших поэтов-драматургов XVIII века, долгое время непризнаваемых в качестве мастеров сценического искусства, но и общую безрадостную картину равнодушия отечественной филологической науки к двум великим творцам-энциклопедистам, поэтам, историкам-драматургам, заслуги которых перед отечественной словесностью, мы уверены, будут оценены более справедливыми и благодарными нашими потомками, когда пробьет час прочитываемости.

На маленьком пространстве нашего юбилейного эссе мы, конечно же, не могли претендовать на то, чтобы исчерпывающим образом осветить все стороны природных дарований Михаила Матвеевича Хераскова, но и из этого скромного опыта можно понять, что написанное поэтом, нашим российским Гомером, не только достойно тщательного изучения, но и способно открыть нам в поэтических образах некоторые новые страницы отечественной истории, не известные исторической науке. Ибо, как справедливо сказал современный философ, «человечество будет все сильнее осознавать, что нам следует обратиться к поэзии, объясняющей нам нашу жизнь, утешающую и поддерживающую нас. Без поэзии наука покажется нам неполной; и большая часть того, что ныне занято религией и философией, будет замещено поэзией».

---

[19] Гашкова Е. М. От серьеза символов к символической серьезности. (Театр и театральность в XX веке). СПБ,: Алетейя. Метафизические исследования. Вып. 5. Культура. 1998.

Взяв к своей статье[20] эпиграфом эти слова авторитетного английского поэта и литературоведа XIX века Мэттью Арнольда, сказавшего немало эстетически ценного и о Гомере, и о достижениях эпохи классицизма, американский философ XX века Джон Дьюи как бы символически передает эстафетную палочку главных смыслов литературной деятельности веку нашему, двадцать первому.

И может быть, именно цитаты из трудов Д. Дьюи увидим мы в будущих исследованиях, посвященных творчеству нашего литературного титана — Михаила Матвеевича Хераскова, неукоснительно следовавшего всю свою долгую и плодотворную жизнь высоким жизненным, моральным и творческим установлениям. Цитатами из статьи Джона Дьюи, как нельзя лучше описывающими духовно-подвижнический образ Михаила Хераскова, одного из столпов российского классицизма, мы и завершим наше волонтерское эссе.

«Если жизнь изобилующая, обещающая, бесконечная, поэзия будет непринужденной, жизнерадостной, страстной; она будет наслаждением. Если жизнь несет в себе смысл, исполняет предназначение, создает такие настоятельные требования, которые соответствуют и одновременно оказываются для нас благоприятными возможностями, то поэзия будет возвышенной, дающей утешение и поддержку».

«Если поэту удается возвыситься над мыслью, овладевшей современной жизнью, то лишь потому, что его инстинкт или желание прибегает к значительным и свободным идеям прежних дней. Если идеи эпохи дышат торжественной атмосферой божественного порядка, если они обнаруживают реальность, перегруженную смыслами, то мы можем вообразить, какая поэзия проистекает из этого. Такова поэзия Гомера, Данте, Шекспира».

Возможно, таковой окажется при тщательном рассмотрении и поэзия Михаила Хераскова.

[20] Дьюи Д. Поэзия и философия. Пер. О. А. Смирновой. СПб.: Алетейя. Метафизические исследования. Вып. 4. Культура. 1997.

Пилигрим

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ХОРН

«Горн — знатный и крепкий город в Голландии, с великою и пространною гаванью для купецких судов», — так сообщалось об этом городе в ста-

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

ринном путеводителе середины XVIII века[1]. Всего две строчки, а между тем у Хорна богатая история, также этот город прославили знаменитые путешественники.

В начале XV века Хорн был втянут в междоусобную войну, обернувшуюся для него самым неожиданным образом. Вот как звучит эта история в изложении отечественной писательницы С. В. Пантелеевой.

Голландские графы поддерживали добрые отношения со своими городами и поощряли мелких земледельцев в их борьбе с крупными. Дворяне носили красный шапочки, и красный цвет считался дворянским цветом. К «красным шапкам» постоянно примыкали крестьяне, даже цеховые ремесленники для борьбы с патрициями больших городов, подавлявших крестьян и лишавших прав простой народ. Все общество разделилось на две партии — «крючков» и «трески».

Особенно сильно обострилась борьба «крючков» и «трески» при нашествии герцога бургундского, пытавшегося завладеть Голландией. Большие города стали на сторону герцога, воюя против дворян, соединившихся с крестьянами и маленькими городами. В течение этой продолжительной войны бургундский герцог жестоко расправлялся с захваченными в плен крестьянами, но не смог совладать с ними и кончил тем, что стал подкупать обещаниями широких прав. Одновременно и противница его графиня Якуба (1426) обещала крестьянам еще более широкие права. За графиню Якубу встали с дворянской партией все фризы, все свободные голландские крестьяне, а также к ней примкнули маленькие города. Так что герцогу оставалось только возвратиться в Брабант, чтобы запастись новым войском и вновь нагрянуть на Голландию[2].

Городок Горн, примкнувший было к партии Якубы, вдруг перешел в другой лагерь из-за курьезного случая. Сын богатого купца из Горна, сторонник графини, впервые увидев ее, был так поражен ее удивительной красотой, что горестно воскликнул: «Какая жалость, что такой удивительной красавице приходится скитаться как странствующей женщине!» (Wie eine fahrende Frau). В извращенном смысле это было передано графине, и молодой купец был казнен. Отец его приехал заступиться за сына, но ему выкатили отрубленную голову сына. Старик вернулся в Горн и рассказом поднял население городка против Якубы[3].

Как и другие средневековые города, Хорн был окружен крепостной стеной. Однако к XVII столетию почти повсеместно укрепления, когда-то прикрывавшие с боков ворота города, были разрушены. Некоторые все же сохранялись, скорее по эстетическим соображениям, лишь в исключительных случаях имея оборонительное значение. Как правило, это массивная башня с часами из двух или даже трех этажей, на которых размещались помещения различных муниципальных организаций: охрана, гильдии, «зал риторики». Таким был воротный комплекс Хорна из кирпича и серого камня, в котором располагался городской арсенал и который был сооружен таким образом, что дорога, проходившая между двумя его мощными круглыми башнями, выписывала сильно изогнутую кривую[4].

Но и сегодня в Хорне сохранились остатки средневековых укреплений. У местной гавани, в начале Хаутен Хоовд, там, где стоят корабли с их мачтами и парусной оснасткой, высится полукруглая Хоовд (главная) башня. Здесь она «несет вахту» с 1532 года. Восточные ворота (Остерпоорт) также дошли до нашего времени.

---

[1] Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. Изд. 2. М., 1782. С. 199.

[2] Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 105–107.

[3] Там же. С. 107.

[4] Зюмтор Поль. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. М., 2001. С. 28.

В начале XVI века купцы города Хорн снарядили два судна, взявшие курс на запад. Экспедиция благополучно пересекла Атлантику, но на последней стоянке у берегов Южной Америки в конце 1615 года меньшее судно («Хорн») сгорело; экипаж перешел на «Эндрахт» («Согласие»). В середине января 1616 года начальник экспедиции Виллем Схаутен повел корабль к южной оконечности Огненной Земли. «К вечеру 29 января мы увидели землю на северо-западе, — записал Схаутен. — Она кончалась острым выступом, который мы назвали мысом Горн...»[5] — в честь города Хорн в Голландии.

На набережной Фееранскаде когда-то жил Виллем Бонтеку, известный мореплаватель и путешественник, посетивший Китай и Ост-Индию. Он подробно описал свои путешествия в 1618–1625 годы в Ост-Индию. Позднее Фабрициус написал по этим журналам приключенческую книгу «Юнги Бонтеку». Так юнги Падде, Хайо и Ролф, увековеченные в бронзе, заняли свое место на набережной.

На площади Роде Стейн стоит здание муниципальной палаты мер и весов. В середине XVII века сюда в «закупочный сезон» на тысяче крестьянских телег везли более 150 тысяч фунтов сыра[6]. Напротив «весовой» стоит памятник Яну Питерсзону Куну. Этот самый знаменитый уроженец Хорна путешествовал от Ост-Индской компании на Дальний Восток и в 1619 году основал на развалинах разрушенной Якатры новый город — Батавию. Этот город теперь называется Джакарта.

С историей Хорна и Западной Фрисландии можно ознакомиться в Западно-Фризском музее. Первоначально это здание служило местом для собраний Государственного правительства провинций.

В последние дни августа в Хорне проходит празднование дня св. Мартина (St. Maartensviering — голландск.) Перед Второй мировой войной молодежь из Хорна устраивала накануне дня св. Мартина шествия с горящими свечами или бумажными фонариками-лампионами. Дети пели песни в его честь. Празднику св. Мартина сопутствовали веселье, шалости, переходившие иной раз в грубость.

Впрочем, проявления грубости случались и раньше. Так, в 1672 году хорнская «чернь» при подстрекательстве какой-то женщины взяла штурмом дом бургомистра, сокрушив мебель, выкатив из подвалов бочки и вылив их содержимое прямо на мостовую. При приближении отряда городской милиции все моментально разбежались[7].

Летний праздник св. Мартина достигал своей кульминации 31 августа, заканчиваясь костюмированным шествием[8].

У России с Хорном особые, «колокольные» связи. В 1756 году в Санкт-Петербурге от удара молнии обрушился шпиль колокольни Петропавловского собора; пожар уничтожил и часы-куранты, изготовленные в Голландии. По заказу императрицы Елизаветы в 1760 году голландский мастер Оорт Класс (Классен) изготовил новые часы. Они имели 38 колоколов, отлитых каждый в определенной тональности литейщиком Й. Дерком в голландском Хорне, и могли исполнять многоголосые мелодии. Их установили на колокольне собора в 1776 году[9].

---

[5] Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. М., 1983. Т. 2. С. 359.

[6] Зюмтор Поль. Указ. соч. С. 356.

[7] Там же. С. 278.

[8] Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М., 1978. С. 63.

[9] Вагнер В. Куранты Петропавловки. Ленинградская правда, № 249, 29 октября 1989 г.

Дом Зингера

Дэн Браун. Инферно: роман; пер. с англ. М.: Аст, 2013. — 543 с. — (Величайший интеллектуальный триллер).

Дэн Браун как он есть: бесконечный бег, преследование, потайные лестницы и ходы, лабиринты, гроты, пещеры... Мопеды, автомобили, поезда, самолеты... Выслеживающие беглецов, в том числе с помощью вертолетов-беспилотников, то ли международная служба по надзору и реагированию, действующая в критических ситуациях, то ли итальянская военная полиция, а также женщина-убийца из таинственного Консорциума. Бегут от многочисленных неведомых врагов знакомый читателю специалист по истории искусств, знаток символики Лэнгдон и симпатичная тридцатилетняя блондинка, доктор Сиена Брукс. Им предстоит спасти мир от нависшей над ним смертельной угрозы — пандемии черной чумы, как полагает Лэнгдон, или какой-то более страшной биологической угрозы, о чем знает только Сиена Брукс. Обычный американский катастрофизм: гибель — так всего человечества, спасатели — так отважные одиночки. Впрочем, в данном случае спасением человечества занимается и Всемирная организация здравоохранения, и Консорциум, частная организация, оказывающая за большие деньги конфиденциальные услуги, строго придерживаясь заповеди: сделать все что угодно, лишь бы сдержать данное клиенту обещание. Но даже шеф этой организации, просмотрев — вопреки правилу никогда не углубляться в детали — жуткое видеопослание своего клиента-самоубийцы, днями раньше бросившегося с высокой башни во Флоренции, понял, что согласился оказать услугу не тому человеку. Не тот человек — швейцарский миллиардер, знаменитый биохимик, решивший предотвратить демографический апокалипсис весьма оригинальным способом. «Большая» идея романа, над которой автор предлагает задуматься читателям, — перенаселение планеты и неконтролируемый рост населения, способы решения проблемы, допустимые и недопустимые. Ситуация усугубляется тем, что Лэнгдон, великий расшифровщик тайн, которому история искусств и древние секреты гораздо ближе, чем пальба по живым мишеням и биологические угрозы, пребывает в амнезии: он не помнит, как и почему очутился во Флоренции, да еще с огнестрельной раной головы. И все-таки искать путь к очагу возможной инфекции приходится именно ему, с помощью своих богатых познаний в дешифровке символов и знаков. Путеводной нитью является «Божественная комедия» Данте, исходной точкой «Карта ада» Сандро Боттичелли, вдохновленного гениальным творением Данте, — подробный, изобилующий деталями план преисподней, одно из самых устрашающих изображений загробной жизни, когда-либо созданных человеком. К Данте отсылает и само название романа: Инферно — преисподняя, изображенная в эпической поэме Данте в виде сложно организованного подземного царства, населенного так называемыми тенями, застрявшими между жизнью и смертью. И снова Дэн Браун выступает как просветитель: цитаты-подсказки из «Божественной комедии», ее символика, биография Данте, его посмертная маска. А также вплетенные в текст подробные рассказы о Боттичелли, Микеланджело, Вазари и многих других... У тех из читателей, кто бывал в Италии и Турции, есть возможность припомнить узкие улочки старой Флоренции или особенные звуки и запахи Венеции, в которой нет ни автомобилей, ни автобусов, ни трамваев, или экзотический Стамбул. Кому не довелось узреть достопримечательности этих городов, могут увидеть их глазами многознающего Лэнгдона, узнать их историю, события, с ними связанные. Ворота Порта Романа,

дворцы Медичи, сады Боболи, палаццо Питти и стариннейший символ Флоренции палаццо Веккьо, ее сердце в эпоху Данте. Баптистерий Сан Джованнни, где семьсот с лишним лет омывали и крестили юных флорентийцев, в числе которых был и Данте. Церковь, где Данте впервые увидел Беатриче. Венецианская лагуна, площадь и собор Сан Марко. Айя-София, православный храм, ставший мечетью, а затем музеем, знаменитое подземное водохранилище Стамбула, более похожее на подземный дворец. Порой увлеченность автора книги красотами старинных городов, их историей выглядит, по меньшей мере, неуместно: в минуту смертельной опасности, при временно*м* цейтноте (а на спасение человечества отводится всего один день) герои то любуются красотами произведений искусства — скульптур, мозаик, картин, то восхищаются смелостью и красотой архитектурных замыслов, то совершают экскурсы в историю. А то Лэнгдон вспоминает свою же прочитанную ранее лекцию «Божественный Данте: символы ада». И все-таки энергичный ритм сохраняется — неожиданные повороты сюжета, короткие главы с интригующими концами, резкие переходы от одной сюжетной линии к другой, срывание масок, когда враги становятся друзьями, а друзья — врагами. И красной строкой восходящее к Данте: «Самое жаркое место в аду принадлежит тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность».

Сергей Кибальник. Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века. Очерки. СПб.: ИД «Петрополис», 2012. — 416 с.

Античные традиции в русской поэзии: антологическая поэзия (эпиграммы и миниатюры), идиллии, эпопеи, гимны, дифирамбы, аллюзии и реминисценции, имена, подражания, переводы, вариации на темы. Без всестороннего осмысления роли античного наследия в русской поэзии нельзя, полагает доктор филологических наук Сергей Кибальник, в полной мере ни оценить национальное своеобразие русской поэзии, ни уяснить ее место в истории мировой культуры. Однако до сих пор относительно полно и детально изучены лишь русские переводы Гомера и античные мотивы в поэзии Пушкина. Через «всемирную мастерскую античности» русская поэзия прошла главным образом в первую треть XIX века. Но хронологические рамки данного исследования значительно шире. В большей части книги анализируется русская литература конца XVIII — первой трети XIX века. Так, судьба Катулла в русской литературе прослеживается, начиная с Феофана Прокоповича и на протяжении всего XIX века, а история рецепции Греческой антологии завершается этюдом, в котором она и вовсе доведена до начала века XX. В приложении же «Латинские риторики в России XVIII века» собраны статьи, посвященные исключительно писателям первой половины этого столетия. Первая часть книги включает статьи и заметки об «отражениях» у русских поэтов наследия Гомера, Мосха, Катулла, Овидия, Горация. Фактически это история усвоения русскими поэтами жанров, тем и конкретных текстов античной поэзии. Отдельная работа посвящена Катуллу, оказавшему глубокое и плодотворное влияние на многих русских поэтов. Катулл пришел в Россию в первой половине XVIII века. Его переводили, ему подражали практически все русские поэты, к нему обращался и Пушкин. Репутация Катулла-гения формировалась в русской культурной традиции именно в пушкинскую эпоху. Рецепции Катулла в русской поэзии стали предметом специального анализа впервые. В неожиданном ракурсе предстает первый переводчик на русский язык «Илиады» — Н. Гнедич («Афинская звезда»). До сих пор остаются неопубликованными его стихи, письма, наброски, планы больших произведений и даже законченные творения — их сберегли петербургские архивы. Перелистывая некоторые страницы этих рукописей, С. Кибальник прочитывает биографию поэта

и его произведения, и история русского филэллинизма начала XIX века предстает в большей полноте. Отдельная статья — «Конец золотого века» — посвящена поэтической эстетике А. Дельвига, Дельвиг в ней не только поэт, увлеченный античностью, но и критик, оставивший своеобразное и до сих пор по-настоящему не оцененное критическое наследие. Как внутренний, существенный элемент классическая античная поэзия вошла в лирику Пушкина, отсюда ряд сюжетов, Пушкину посвященных: Пушкин и Овидий, Пушкин и Гораций, Пушкин и Мосх, из комментариев к «Евгению Онегину» («Он знал довольно по латыни» — а что значило «довольно» для Евгения Онегина и Александра Пушкина?). В основу второй части книги легла авторская монография «Русская антологическая поэзия первой трети XIX века. Из истории рецепции Греческой антологии в России. В данной работе антологическая поэзия понимается как произведения малых жанров, близкие по характеру к греческой эпиграмме. Творчество в духе антологических эпиграмм древних имело наибольшее распространение в русской поэзии и оказало наиболее сильное влияние на ее общий характер, и именно этот род поэзии едва ли не наименее изучен (исключение лишь Пушкин). Первым начал у нас писать в антологическом роде Державин. Появление в русской поэзии оригинального короткого лирического стихотворения в духе древних связано с именем М. Муравьева. Создателем русской антологической эпиграммы стал А. Востоков. Заслуга утверждения в русской поэзии антологической миниатюры принадлежит К. Батюшкову. Вскоре после Батюшкова к Греческой антологии обратился Ф. Глинка. Далее Д. Ознобишин, М. Лермонтов, Е. Баратынский. В центре внимания исследователя — поэты первого ряда, но также и второстепенные, и даже третьестепенные, особенно приверженные к этому виду творчества. Антологические стихи русских поэтов рассыпаны по персональным собраниям сочинений, старым журналам и альманахам, остаются в рукописях. Поэтому первоначальной задачей исследователя было определение корпуса текстов русской антологической поэзии первой трети XIX века, а затем — создание целостной и достаточно детальной картины возникновения и эволюции русской антологической поэзии этого периода. Анализ одного рода русской поэзии дает автору возможность затронуть и более общие вопросы о закономерностях ее развития, жанровой системе и художественных особенностях, поставить античную традицию в русской поэзии в соответствующий литературный контекст.

Михаил Булгаков, его время и мы. Коллективная монография под редакцией Гжегожа Пшебинды и Януша Свежего при участии Дмитрия Клебанова. Краков, 2012. — 920 с.

В 2010 году исполнилось 70 лет со смерти Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), в 2011-м — 120 лет со дня его рождения. Институт восточнославянской филологии Ягеллонского университета отметил обе эти памятные даты международной научной конференцией «Михаил Булгаков, его время и мы» (Краков, 2011). В ней приняли участие 86 булгаковедов из 17 стран Европы и Азии. На основе прочитанных докладов специально для данного сборника подготовлено 69 статей. Филологи-литературоведы и лингвисты, театроведы, культурологи, искусствоведы, историки и философы попытались пополнить наши знания о Булгакове новыми темами научных изысканий и новым прочтением его творчества, то есть уловить те аспекты художественного мира писателя, которые открываются перед исследователями в наше время. Обращаясь к прозе Михаила Булгакова, исследователи сосредотачивались на текстологии, поэтике, мировоззрении писателя. Отдельные статьи посвящены архитектонике романов М. Булгакова; особенностям

трагизма произведений М. Булгакова в сопоставлении с творчеством А. Платонова; эволюции повествования в прозе М. Булгакова. В новых ракурсах рассмотрены конкретные рассказы и повести писателя: «Морфий», «Ханский огонь», «Красная корона», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце». Особое внимание уделено «Белой гвардии»: контексты сада в романе, традиции женского демонизма Серебряного века. Творчество Булгакова соотносится с творчеством А. Платонова, Н. Лескова, М. Лермонтова, М. Волошина. Десять статей посвящено непосредственно роману «Мастер и Маргарита». Еще девять — драматургии М. Булгакова: разбор текстов, постановок, театральная судьба Булгакова-драматурга. Разносторонне представлено присутствие М. Булгакова в современной культуре: «Булгаковский миф» в современной русской «звучащей» и сетевой поэзии; «Мастер и Маргарита» и русский постмодернизм на примере «Московских сказок» А. Кабакова, Булгаков на современной сцене (опера Н. Сидельникова «Бег», «Багровый остров» в интерпретации студенческого театра «Одуванчик»). Специальный раздел («Михаил Булгаков в межкультурном пространстве: рецепция, переводы и переводоведение») посвящен проблемам перевода произведений писателя на различные языки: словацкий, венгерский, грузинский, китайский, переводимому и непереводимому. Творчество писателя рассматривается также в лингвистическом и лингводидактическом аспектах: от пушкинских традиций в языке М. Булгакова до трансформации советского языка в его произведениях. Наверное, закономерно, что такая масштабная конференция, материалы которой оформлены в многостраничный сборник, состоялась именно в Польше. Интерес к творчеству Булгакова имеет в этой стране давние традиции. Писатель принадлежит к числу наиболее известных, любимых и высоко ценимых читателями русских прозаиков и драматургов. Творческое наследие Булгакова, в первую очередь роман «Мастер и Маргарита», давно стало предметом изучения для польских литературоведов, регулярно появляются переводы, журнальные статьи и рецензии, посвященные Булгакову, обширна библиография его произведений и работ о нем. И даже — наблюдается определенная нехватка книг не только Булгакова, но и о Булгакове. О польском Булгакове, о его месте в польском культурном пространстве рассказывает в своем очерке Алиция Володьзко-Буткевич: «В начале 1990-х годов, когда распался Советский Союз, казалось бы, исчезли все связи, объединявшие ранее, добровольно или по принуждению, наши страны. Поляки смотрели на Запад и думали о Европе: многим казалось, что за Бугом расстилается Азия — дикое, опасное для цивилизованных наций пространство. Некоторые публицисты даже возмущались, что Запад чрезмерно внимателен к России. Так или иначе, в польских СМИ на рубеже XX–XXI веков образ восточного соседа был непривлекателен и тенденциозен — бывшее советское государство рисовалось преимущественно черной краской как „империя зла“. Несомненно, это была реакция на насаждаемую в течение четырех десятков лет „польско-советскую дружбу“. В 90-е годы прервались не только политические и экономические связи, но также культурные и литературные контакты. В эпоху рыночной экономики, когда книга стала товаром, возможность популяризации русской литературы в Польше свелась фактически к нулю». (Не было ни спонсоров, ни желающих покупать русские книги, кроме того, выяснилось, что в новом, капиталистическом строе — как, впрочем, и у нас — мало кто вообще что-либо читает.) Но продолжим цитирование статьи: «Сегодня, во втором десятилетии XXI века, эта неприглядная картина начинает меняться. Молодое поколение поляков (по крайне мере значительная его часть) уже не воспринимают Россию как молох, который поработил их родину и насаждал в ней ненавистный коммунизм. Несмотря на присущую нашей политике русофобию, действует в Польше около 20 универси-

тетских русистстких центров, а издательства, в основном частные, выпускают книги русских писателей — от классиков до новейших авторов. ...Но если спросить рядового поляка, кто из русских писателей ему наиболее интересен, ответ чаще всего будет один и тот же — Булгаков. Действительно, Михаил Булгаков в нашей стране — культовая фигура. ...В ситуации, когда русская литература занимает далеко не первое место на польском читательском рынке, триумф Булгакова, так или иначе вызывающего интерес поляков, будь это восторг или возмущение, очевиден.... Культурный пейзаж Польши XXI века не обходится без автора Мастера и Маргариты. Булгаков символизирует в нашей стране лучшие традиции русской литературы, открывает двери в русский мир все новым поколениям польских читателей».

Николай Стариков. Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов. СПб.: Питер, 2012. — 288с.: ил.

Другая история освободительного движения на территории России: факты неизвестные, малоизвестные и даже очень известные, но с комментариями нетиповыми. Николай Стариков задает «неудобные» для исторической науки, все еще не отошедшей от многих советских (читай партийных) штампов, вопросы. Кто финансировал всех наших борцов за свободу? Кто кормил наших революционеров? На чьи деньги Герцен бил в свой «Колокол»? Зачем борцы за свободу убили царя-освободителя Александра II? Почему народовольцы хотели развалить Россию на части? Зачем Евно Азеф, одна из самых таинственных фигур «русского освободительного движения», решил работать на полицию и революцию одновременно? Почему декабристы так не любили русскую армию? Почему революционеры очень любили японцев, а потом стали грабить банки? Почему боевики Пресни были вооружены лучше полиции, но победить не смогли? Кто писал программные, удивительно похожие друг на друга документы наших партий (развал Российской империи на части, отделение от России национальных окраин, уничтожение армии, разрушение экономики)? Почему Временное правительство решило, что России не нужны армия, полиция и госаппарат? Автор приводит удивительные подробности жизни наших революционеров. Он вскрывает темные истории взаимоотношений Герцена с англичанами, с Ротшильдом. А именно Герцен первым начал агитировать население Российской империи похоронить Российскую империю и предлагал русским солдатам сдаться англичанам в Севастополе и то же сделать в 1863 году под Варшавой. А на какие деньги жил за границей (с 1900-го по 1917 год), и жил на широкую ногу, не считая копейки, самый известный революционер — Ленин? Н. Стариков убедительно доказывает, что традиционная версия — помощь матери — несостоятельна: престарелая мать на пенсию по потере кормильца и арендную плату за небольшой участок земли не могла содержать за границей своих пятерых детей. Он развеивает мифы о неисчерпаемости таких источников финансирования революции, как помощь Саввы Морозова, пресловутое наследство Николая Шмидта, грабежи банков. Деньги же были у всех революционеров, и у тех, кто банки грабил, и у тех кто не грабил. Аксельрод, Чернов, Луначарский, Шляпников, Красин, Зиновьев, Бухарин, Троцкий, некоторые несимпатичные подробности жизни «пламенных революционеров»... В неожиданном свете предстает «прогнившая» Российская империя. Даже почитывая Герцена, российские интеллектуалы, молодежь в решающие моменты истории дружно становилась на сторону своей страны. И хотя уже в середине XIX века в России поругивать правительство и порядки становилось излюбленной национальной забавой, однако если польские повстанцы начинали резать русских солдат или английские корабли обстреливали

родную землю, вчерашний критик был готов взяться за оружие, чтобы ее защищать. Известный в нашей истории «душитель свободы» Николай I, один, без охраны, без свиты, спокойно разгуливал по улицам своей столицы — последний лидер России, кто мог это сделать, не рискуя собственной жизнью. Один, без охраны, приехал он во время холерного бунта к погромщикам и словом сумел прекратить бесчинства. Н. Стариков показывает, насколько России того времени были чужды всевозможные революционные идеи, и даже пропаганда из-за границы не давала нужного результата. А значит, делает вывод он, необходимо было создавать идеологическую базу внутри самой России, требовалось перенести усилия по разложению населения на ее территорию. И появились «бесы», по определению Ф. Достоевского, и «нигилисты» И. Тургенева. Воспитанные и интеллигентные люди стали испытывать ненависть к собственной стране; новоиспеченные борцы за народное счастье демонстрировали крайний фанатизм и предельную кровожадность; русские подданные покушались на своего царя и убивали его ближайших помощников, взрывали дворцы и железные дороги, обклеивали стены городов подрывными прокламациями, разбрасывали на улицах антиправительственные газеты. Болтуны и мечтатели, идейные слепцы, которые хотели как лучше, а в итоге разрушили свою страну и уничтожили миллионы собственных сограждан, составляют добрую половину тех, кто пытался поменять власть в Российской империи, утверждает Н. Стариков. Остальные работали за деньги. Всей своей книгой Н. Стариков доказывает, что все революционные организации в России вот уже почти два столетия финансировались и пестовались спецслужбами соперничающих с Россией стран. Или одной такой страны. Особенность этой книги в том, что автор знаменательные даты из календаря русских «борцов за свободу» сверяет с мировыми событиями той поры. Сопоставляя и сравнивая, он обнаруживает интересную закономерность: всплеск революционной активности внутри России всегда совпадает с обострением международной обстановки вокруг нашей страны; невероятное множество событий революционного характера происходит в те же самые сроки, что и войны и баталии дипломатов за столами важных переговоров. Александр II, царь-реформатор, был убит, когда в военно-политическом отношении Россия достигла своего наивысшего расцвета и стала угрожать гегемонии своих геополитических соперников на мировой арене (присоединение к России Амурского и Уссурийского краев, Средней Азии, окончательное покорение Кавказа, восстановление державных прав России на Черном море, освобождение балканских христиан от османского ига). 1904 год: подрывные листовки появились в русских городах не просто после начала конфликта, а точно в первый день Русско-японской войны. Цусимский разгром 1905 года и восстание на броненосце «Потемкин» произошли практически одновременно. Можно ли считать случайностью, а не четко спланированной акцией восстания только на новых и самых мощных кораблях? Новый взгляд на Русско-японскую войну: почему историки и современники решили, что Россия проиграла эту войну? И вообще, потери русской армии были вполне сопоставимы с японскими. Однако для маленькой Страны восходящего солнца они были куда более чувствительны. И никакой революции там не началось. Как ненужная «самодеятельность» русских бунтарей представлены два года Первой русской революции (1906–1907): зарубежным «инвесторам» потребовалось придержать революцию в ослабленной России в свете будущего конфликта Россия–Германия, поэтому уже после событий 1905 года финансирование революционной борьбы прекратилось, а зарубежная пресса с сочувствием относилась к репрессивным мерам царского правительства. Н. Стариков отбрасывает многие привычные штампы, развенчивает мифы, заново анализирует и сопоставляет факты извест-

ные и неизвестные. Книга, как всегда у этого автора, острополемична и обращена в день сегодняшний. Меняются исторические декорации, но цель и методы борьбы с Россией и по сию пору остаются неизменными. «Ведь наш сегодняшний мир возник не на пустом месте. В каждое историческое время перед всяким государством стоят одни и те же задачи. Это сохранение внутренней стабильности и проведение внешней политики, наиболее способствующей развитию и упрочению страны. На политической карте мира всегда много игроков, их интересы сталкиваются. Проигрыш одной державы — это всегда выигрыш другой. Ослабление одной страны — это всегда усиление другой. Будем помнить об этом, и тогда прекрасные сказки о самопроизвольном возникновении революций и разрушительных движений больше не будут застилать туманом наши глаза». Что революций без денег не бывает, почти ежедневно доказывает наша современная реальность.

Александр Боханов. Царь Алексей Михайлович. М.: Вече, 2012. — 368 с.: ил. — (Великие исторические персоны).

Царь Алексей Михайлович (1629–1676), второй из династии Романовых, вступил на престол в июле 1645-го и правил 31 год. Еще при жизни в народе он получил прозвание «Тишайший», хотя его правление было далеко не спокойно: народные мятежи — Соляной и Медный бунты, выступление Степана Разина, изнурительные войны с Польшей и Швецией. В царствование Алексея Михайловича значительно расширилась территория страны, в 1654 году в состав России вошла Левобережная Украина, под власть русского царя перешли вся Белоруссия и многие местности Литвы. С эпохой Алексея Михайловича неразрывно связано такое потрясение русского национально-государственного бытия, как раскол. И все-таки Тишайший. И недооцененный — в советской (если и не в российской) историографии он оставался в тени своего сына-реформатора Петра I, был властителем «темной и дремучей» Московской Руси. Руси «темной и дремучей»? Или Руси — уникального Государства-Церкви, в котором воцерковленность была всесторонней и безусловно преобладали духовные приоритеты? Александр Боханов в Московской Руси времен царствования Алексея Михайловича видит обетованный христианами Третий Рим, прямую духовную преемницу Рима Второго, то есть Константинополя, погибшего в 1453 году. «Но если и существовал в Русской истории период, когда сакральные эталоны и земные упования приблизились друг к другу в максимально возможной степени, то это — годы правления Царя Алексея Михайловича. При нем закон сакральный и закон земной находились в полной смысловой гармонии, причем закон формальный, государственный весь был пронизан духовной интенцией, защита и отстаивание церковного установления и церковного священнодействия ставились первее и выше всех прочих государственных интересов». И Алексей Михайлович в этой книге предстает как главный и высший земной хранитель православия, не собственно Церкви как учреждения, а в первую очередь — защитник благодатной жизни, страж, охранитель вселенской миссии Церкви, снискавший всеобщее почитание не только в силу своего «местопребывания», но и личных качеств: благочестия, незлобивости, кротости. Пожалуй, главным недостатком книги можно считать излишне выспренний тон, панегирические тирады в адрес Московской Руси и ее образцового царя. Яркой, самобытной, вызывающей уважение Московскую Русь времен царя Алексея Михайловича делает само ее мироустройство и мироощущение ее обитателей. В книге богато представлена внешняя, событийная сторона бурных лет правления Тишайшего: войны и дипломатические хитросплетения, бунты и государственные преобразования, раскол и житейский уклад благочестивого царя (вплоть до забот и переживаний Ти-

шайшего). Не менее «густо» прописана история идей: концепции Третьего Рима, религиозных, государственно- и церковно-строительных. Подробно рассмотрена история раскола, первого в русской истории острого противостояния между двумя «устроениями Божиими», Царством и Священством. С точки зрения автора, это в первую очередь несогласие между двумя личностями: царя и патриарха. В нынешнее время, считает А. Боханов, данная коллизия трактуется линейно и упрощенно, тогда как вся история с патриархом Никоном, история его возвышения и падения вольно или невольно, но поднимает огромные смысловые пласты всей христианской истории, неразрывно связанной с базисной проблемой Церкви и Государства. Отдельная глава посвящена выдающемуся универсальному правовому своду той поры, определявшему практически все стороны жизни государства — Уложению 1649 года, отдельные статьи которого сохраняли свое значение более полутора веков. Первый в истории России систематизированный закон должен был навести «чистоту и порядок» в управлении государством в жизни всех русских людей, заменив собой господствующие ранее, неписаные, традиционные нормы. Уложение твердо стояло на защите идеалов православной веры и ее земных законов, и любые выступления против Веры и Церкви квалифицировались как первостатейные преступления. Но, подчеркивает А. Боханов, инаковерие и даже неверие само по себе не воспринималось законодателем как преступление: преступление начиналось там, где проявлялись общественно зафиксированные покушения на святыню. Актуальными смотрятся сегодня некоторые статьи Уложения. Одна из первых, защищавшая церковное священнодействие: если какой «бесчинник» в церкви Божией во время святой литургии помешает литургическому действию, то такого богохульника требуется выявлять, провести дознание, и если такой факт будет точно установлен, то «казнить смертию без всякой пощады». И другая, относительно судей, творящих «дела несправедливо», «по дружбе» или «из-за корысти», — в таких случаях судьям грозили отстранение от дел, значительные штрафы или «торговая казнь». В текст книги включены небольшие новеллы о сподвижниках царя: дипломате А. Ордин-Нащокине, Ф. Ртищеве, И. Лобанове-Ростовском, о составителях «Уложения» князьях Н. Одоевском, С. Прозоровском, Ф. Волконском. Представлен и взгляд на Русь со стороны («Московское царство глазами иноземцев»). В который раз убеждаешься, что привычные ярлыки, навешиваемые на нашу страну — «отсталая», дикая», «царство тирании», — были порождены непохожестью русского уклада на западноевропейский, отсюда мировоззренческое неприятие роли, функции, характера и облика государства Русского на разных исторических этапах. А. Боханов — один из тех современных историков, кто не боится рушить распространенные в историографии шаблоны и штампы. Так, он не считает, что Иоанн Грозный повинен в смерти митрополита Филиппа. Так, он рассматривает правление Петра I как национально-духовную катастрофу в истории России, когда русский исторический опыт был ошельмован и предан долгому забвению. Об искаженности наших исторических представлений свидетельствует тот факт, что, связывая русское православие с Византией, мы зачастую даже не отдаем себе отчета в том, что для наших предков Византии не существовало. Византия — продукт западноевропейской историографической мысли XIX века (сами жители империи со столицей в Константинополе именовали себя «ромеями» (римлянами), а свое государство — «Римской», «Ромейской» империей» или кратко «Романией»). В этом свете по-другому предстает идея «Третьего Рима». А. Боханов обильно цитирует труды российских дореволюционных историков, в том числе видных историков церкви, историков времен советских: А. Карташева, П. Голубовского, Ф. Терновского, С. Платонова, Г. Флоровского, Н. Каптерева и Б. Успенского, Главное же

достоинство этой книги, вероятно, в том, А. Боханов не приписывает людям прошлого мысли, побуждения, восприятия и реакции, свойственные эпохе позитивизма, рационализма, атеизма. Он руководствуется системой миропредставлений русских людей XVII века, их православным мироощущением и мировосприятием, религиозными идеями, представлениями о «Боге и Государе» как о высшей ценности, отношением к жизни земной и вечной, к смерти и греху. И убеждаешься: психологический строй русского характера, сложившийся в далеком прошлом, несмотря на все исторические пертурбации, сохраняется и поныне.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, www.spbdk.ru)

Contents

PROSE AND POETRY

Alexey Grigoriev. Poems • 3
Dmitry Skurihin. Reggae Novel • 8
Alexander Vepryov. Poems • 86
Tatiana Yankovskaya. And so She is Standing like a Swallow on the Stone. *Story* • 92
Maria Rubina. Poems • 98

PUBLICISTIC WRITING

Konstantin Frumkin. Regularities of Moral Revolutions • 102

CRITICISM AND ESSAYS

Nikolai Nabokov. Koussevitzky. Christmas with Stravinsky. Chapters from the Book «Old Friends and New Music». *Mikhail Yamschikov's translation from English and comments. Yevgeny Belodubrovsky's preparation of the text and introductory essays* • 113
Mikhail Roomer-Zaraev. At the Junction of Three Worlds. Historic Essay: Islam - Judaism – Christianity • 157

PETERSBURG BOOKMAN

Times and Images. Lev Anninsky. Georgii Passion. **Truth of Art and Truth of History.** Olga Karbasova. Fyodor Dostoevsky. Elusive Faith. **Signs of the Times.** Naum Sindalovsky. Intolerance in the «Toleration Street», or how the Destruction of Churches and Mockery of the Faith Era was reflected in the Urban Folklore. **Forgotten Book.** Alexander Polyakov. On Pushkin's Death. According to new data. *Margarita Raitsina's publication*. **Notes of a Stranger.** Natalia Grantseva. Unforgettable Kheraskov. **Pilgrim.** Archimandrite Augustine (Nikitin). Horne. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 168–254

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”». Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18. Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaeditor@gmail.com; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: http://magazines.russ.ru/neva/
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Проект «Современники будущего»
реализуется на средства гранта Санкт-Петербурга

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:
в Санкт-Петербурге — в магазинах: «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), Книжная лавка «Исткнига» (Васильевский остров, Кадетская линия, 27/5, литер А, тел. 986-8251), также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); ***льготную подписку*** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).
В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 25.09.2013. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2800 экз. Заказ № 14.00
Издательство «Журнал „Нева”»

Отпечатано по технологии CtP
в ООО «СЗПД-ПРИНТ»
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 Б